

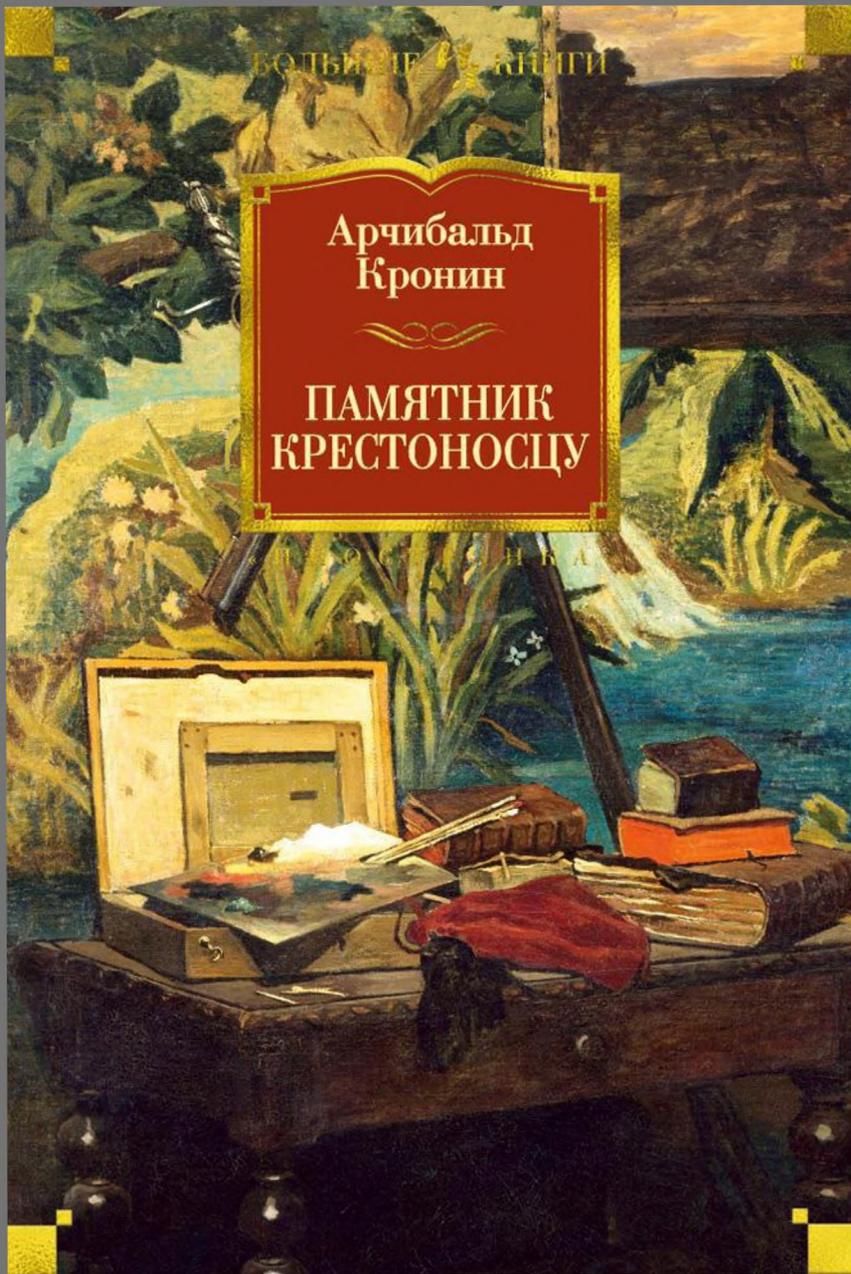
БОЛЬШЕ КНИГ

Арчибальд
Кронин



ПАМЯТНИК
КРЕСТОНОСЦУ

БОЛЬШЕ КНИГ



Замок Броуди

Звезды смотрят вниз

Ключи Царства

Цитадель

Памятник крестоносцу

Арчибальд
Кронин

ПАМЯТНИК
КРЕСТОНОСЦУ



РОМАН

Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
К 83

A.J. Cronin
A THING OF BEAUTY
Copyright © A.J. Cronin, 1956
All rights reserved

Перевод с английского Т. Кудрявцевой и Т. Озерской

Серийное оформление В. Пожидаева

Оформление обложки В. Гореликова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-13494-2

© Т. Кудрявцева (наследники), перевод, 2017
© Т. Озерская (наследники), перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Агтикус“», 2017
Издательство Иностранка®

Не только в славе (а до недавнего прошлого и в свободе) отказано при жизни людям гениальным, но даже в средствах к существованию. Зато после смерти им воздвигают памятники и курят фимиам.

Чезаре Ломброзо

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА I

День сменился вечером, и вся жизнь на холмах Даунс замерла — они застыли, залитые жемчужным светом. От покрытой росой травы, словно подернутой серебристым инеем, легкими облачками поднялись испарения и зацепились паутиной на живых изгородях, затянули тонким кружевом низины. Пруды походили на блюдца с густым молоком, и в их матовой поверхности не отражалась даже луна, которая висела совсем низко над землей, круглая и желтая, как глаз огромной кошки, притаившейся перед прыжком на вершине горы.

В эту сияющую безмятежность внезапно упала длинная черная тень, отделившаяся от каменной норманнской церквушки, такой маленькой, такой затерянной среди просторов Южной Англии, что, несмотря на резкие очертания своей абсиды и крыльев, приземистую башню и стены, пестревшие лишаями, она казалась нереальной, как видение во сне; раздался грохот дубовой двери, лязг тяжелого запора, и появилась фигура человека — пожалуй, менее длинная, чем тень, но не менее черная. Это, разумеется, был священник Бертрам Десмонд, настоятель Стилуотерского прихода.

Он шел в накидке, наброшенной на плечи, но с непокрытой головой. Выбравшись из лабиринта замшелых могильных плит, он миновал два огромных сросшихся тиса, младший из которых по меньшей мере пять столетий назад уже поставлял сырье сассекским лучникам, распахнул калитку и очутился наконец на дорожке. Здесь он остановился, замороженный белизною этой ночи, охваченный внезапным приливом тайной радости, и, глубоко втянув в себя свежий воздух, залюбовался красотой

своего надела — добрых двух сотен акров, простиравшихся в одну сторону от букового леса на высоких склонах Дитчли, а в другую — до поросшей дроком песчаной пустоши, что тянулась вдоль проселочной дороги, ведущей в Стилутер. Вдали, на востоке, на фоне неба вырисовывались очертания Кольца Чанктонбери, а пониже, среди деревьев, проглядывала нелепая, но такая милая сердцу башенка Броутоновского поместья. На запад уходила равнина, перерезанная меловыми разработками, зиявшими, словно бескровная рана, и грядою насыпей, которые якобы сохранились здесь со времен римлян, а скорее всего, были остатками старинных обжигаемых печей. Дальше виднелись домики рабочих, они стояли рядом — все шесть, — словно грибы, а повыше дороги слабо мерцали огоньки деревни. Внизу, у ног настоятеля, ярко переливался огнями его дом.

Дом был внушительный, в духе Георгиевской эпохи, с окнами в стиле Палладио и большим портиком, покоящимся на колоннах с каннелюрами и (счастливая мысль!) обнесенным балюстрадой, — словом, настоящий загородный дом; прапрадед нынешнего владельца каноник Хилари Десмонд построил его в 1780 году из местного белого камня (каменоломня, откуда он добывался, расположена поблизости, к счастью, теперь истощилась). Сохранились и следы более ранних построек, относящихся к эпохе Тюдоров: кирпичный амбар и конюшня, различные службы, а также прелестная старинная стена из кремневой гальки и круглых камешков, опоясывающая обширный огород. И сейчас, окруженный нежно-зелеными лужайками, вдоль которых шел бордюры из клумб с тюльпанами и примулами и еще не вполне расцветшими розами, дом этот, стоявший на площадке, похожей на шестигранник солнечных часов, где с южной стороны, точно статисты в древнем хоре, выстроились ряды старых яблонь в полном цвету, а подъездную аллею охранял гигантский дуб, — этот маленький Бленхейм¹, такой неотделимый от всего окружающего и неизменный, его дом, в течение стольких лет служивший кровом Десмондам, преисполнил сердце настоятеля особой теплотой и гордостью.

¹ *Бленхейм* — дворец в Англии, местопребывание герцога Мальборо. (Здесь и далее примеч. перев.)

Его предки осели здесь, должно быть, со времен Вильгельма Завоевателя. Один из них — его светлость д'Эсмонд, рыцарь, участвовавший в Крестовых походах, — лежал тут, в маленькой церквушке, под мраморной плитой с его изображением, от которого какой-то вандал-турист — увы! — отбил горбатый нос. И если фамилия их с тех пор несколько изменилась соответственно особенностям местного произношения (тут едва ли применимо «была исковеркана»), то разве это не означало, что они теперь связаны более прочными узами с доброй сассекской землей? Они преданно служили родине на трех поприщах, приличествующих дворянину: прежде всего — в церкви, а также в адвокатуре и в армии. Брат настоятеля, Хьюберт, после долгой и плодотворной службы на границах Афганистана ушел в отставку в чине генерала и поселился в «Симла Лодж», в пятнадцати милях отсюда. Тем не менее он продолжал поддерживать связь с военным министерством, а в свободное время занимался выращиванием груш по новейшим научным методам. На памяти всей их семьи только один из Десмондов опустил ся до торговли; в начале царствования королевы Виктории некто Джозеф Десмонд, брат деда настоятеля, вздумал открыть торговлю церковной утварью. Но поскольку дело это было в общем благое и принесло немалые доходы, дядюшкин промах считался хоть и достойным сожаления, но не таким уж непростительным.

— Добрый вечер вам, сэр.

Погруженный в свои думы, настоятель и не заметил коренастой фигуры старика Моулда, своего старшего садовника и одновременно церковного сторожа, который, прихрамывая, направлялся к церкви, чтобы запереть ее на ночь.

— Добрый вечер, Моулд. Я уже закрыл церковь, так что поворачивайте назад и пойдемте вместе домой. — Настоятель помедлил и хоть и не объяснил, зачем в такой неурочный час ходил в церковь, однако слишком велика была владевшая им радость, он не удержался и сказал: — Вы знаете, сегодня приезжает Стефен.

— Точно я мог забыть про это, сэр. Очень уж новость-то приятная. Надеюсь, у него найдется время поохотиться со

мной на зайцев. — И совсем другим, более серьезным тоном добавил: — Видать, он скоро у нас и проповедником станет.

— Ему еще надо немного подучиться, Моулд. — Они шли рядом по дорожке, Бертрам улыбнулся. — Хотя вам, наверно, было бы куда приятнее слушать юнца, только что окончившего Оксфорд, чем такого старого чудака, как я.

— Нет, пастор, вы так не говорите. Уж я-то Десмондов знаю: недаром служу им пятьдесят лет. И чего-чего, а таких проповедей во всем графстве не услышишь.

Это трогательное доказательство чуть ли не рабской преданности их роду еще больше укрепило радужное настроение настоятеля. Терпкий запах примул показался ему необычайно сладким, а жалобное блеяние овец в загонах — таким трогательным, что он ощутил стеснение в груди. Ах эта Англия, подумал он, и тут, в самом сердце ее, — драгоценная жемчужина, этот Ноев ковчег, плывущий по волнам лунного света, его маленький приход, который будет приходом Стефена; здесь все подчинено прочным, раз и навсегда заведенным устоям, и ни время, ни обстоятельства не властны ничего изменить.

— Нам самим не справиться будет с багажом. Вы не скажете Алберту, чтобы он зашел помочь?

— Я пришлю его к вам, хозяин... ежели он дома. Больно много хлопот мне с этим мальчишкой. Не очень-то он услужлив. Но уж я его заставлю... можете не беспокоиться.

— Ничего, Моулд, со временем образумится, — рассудительно заметил Бертрам. — Не будьте с ним слишком строги.

Он расстался со стариком у приземистой сторожки с дверью под аркой и через несколько минут уже стоял в просторном холле своего дома, где его, по обыкновению, поджидала дочь Каролина. Она тотчас поспешила к отцу, чтобы снять с него накидку.

— Еще не приехал? — Он потер руки.

В холле был один серьезный недостаток — из-за высокого потолка и выложенного плитками пола воздух в нем был всегда промозгло-холодный, что не могли устранить даже батареи теплых труб.

— Нет, отец. Но они скоро будут. Клэр поехала за ним на станцию в своем новом автомобиле.

— Придется и нам обзавестись этой дурацкой новинкой. — Лукавая улыбка засветилась в глазах Бертрама, и его узкое лицо с запавшими щеками сразу утратило свою суровость. — Куда удобнее будет объезжать приход.

— Вы, конечно, шутите, отец. — Каролина, отличавшаяся практическим складом ума, была начисто лишена юмора и всерьез приняла слова отца. — Ведь вас так раздражают запахи бензина и пыль. И потом — разве я плохо вожу вас в двуколке или вам надоел наш пони?

Предстоящее возвращение Стефена, несомненно, вывело ее из душевного равновесия. Она говорила с бóльшим пылом, чем ей этого хотелось, а ее некрасивое озабоченное лицо покрылось пятнами от бурливших в ней чувств. Но она была жестоко наказана еще прежде, чем успела пожалеть о своем тоне: отец посмотрел на нее отсутствующим взглядом, весь обратившись в слух, стараясь уловить шуршание шин на подъездной аллее. Каролина опустила глаза; ее рыхлое тело на коротких толстых ногах сразу как-то обмякло. Неужели он никогда не оценит ее безграничной преданности, не поймет, что ее единственное желание — служить ему? Ведь она только этим и занималась с минуты своего пробуждения, когда для нее начался день, долгий день, и она, поспешно одевшись без помощи зеркала, взваливала на себя бремя хозяйства, совещалась с поваром о том, что подать на завтрак отцу, расставляла цветы в вазах, обходила сад и ферму, разбирала отцовскую почту, выпроваживала бесцеремонных посетителей, навещала больных прихожан, принимала высохших археологов и туристов, приезжавших на автобусе из Литлси и требовавших, чтобы им разрешили «осмотреть гробницу», и при этом еще находила время следить за бельем отца и штопать его шерстяные носки. А теперь вдобавок ко всему она ужасно простудилась и вынуждена то и дело сморкаться в уже насквозь промокший платок.

— Мама сойдет вниз? — осторожно осведомился настоятель.

— Думаю, что нет. Я, правда, натерла ей виски одеколоном. Но она чувствует себя все еще плохо.

— Значит, мы будем обедать вчетвером.

— Нет, втроем. Клэр сказала по телефону, что, к своему великому огорчению, не может остаться.

— Жаль. Ну ничего... приедет в другой раз.

В тоне настоятеля прозвучало сожаление, однако Каролина почувствовала, что, несмотря на свою привязанность к Клэр, дочери леди Броутон, владелицы соседнего поместья, и горячее одобрение, с каким он относился к молчаливому сговору между нею и его старшим сыном, в глубине души отец был рад, что проведет этот вечер в кругу своей семьи и что Стефен будет всецело принадлежать ему.

Сделав над собой усилие, Каролина сказала ровным голосом:

— Я еще не успела перепечатать ваши тезисы для завтрашней проповеди. Когда вы поедете в Чарминстер?

— О, должно быть, после второго завтрака. Тамошний настоятель — человек далеко не пунктуальный.

— Значит, в два часа. Я отвезу вас. — И вдруг добавила с ревнивым блеском в глазах: — У вас такой усталый вид, отец. А вам предстоит тяжелый день. Не задерживайтесь долго со Стефеном.

— Успокойся, Каролина. Кстати, я надеюсь, ты приготовила нам что-нибудь повкуснее.

— У нас будет сегодня луковый суп и лосось, которого прислал дядя Хьюберт из Тэста, с огурчиком и, конечно, под зеленым соусом; затем бараньи ребрышки с домашними бобами и молодым картофелем. На сладкое Бизли приготовила яблочную шарлотку с кремом, которую так любит Стефен.

— Совершенно верно, дорогая. Помнится, он всегда заказывал шарлотку, когда приезжал из Марлборо. Прекрасно. Постой-ка, это не мотор там урчит?

И в самом деле, послышался глухой ритмичный рокот; подойдя к двери, настоятель распахнул ее и увидел у подъезда небольшую закрытую машину «де дион», из которой, когда она перестала сотрясаться и вздрагивать, вдруг — словно из шкапки с секретом — выскочили две фигуры.

— Стефен!

— Как поживаете, отец?.. А ты, Каролина? Дэви здесь?

— Нет еще... У него каникулы начнутся в понедельник.

В полосе света, падавшей из подъезда, возникла фигура худощавого мужчины ниже среднего роста во всем темном, который с трудом тащил большой кожаный чемодан, ибо сын Моулда так и не появился; мелькнули тонкие черты, красиво вырезанные ноздри, узкое задумчивое, пожалуй, чересчур серьезное лицо. Затем, выждав, пока семейство поздоровается с гостем, из темноты на свет вышла высокая девушка в шоферских перчатках и длинном клетчатом пальто. Даже нелепая шляпа с вуалью, напоминающая по форме пшеничную лепешку, — принадлежность автомобилистки, которую Клэр надевала, лишь уступая настояниям матери, — не могла испортить впечатления, производимого этой уравновешенной, хорошо воспитанной молодой особой. Тон, каким она заговорила, подойдя к маленькой группе у подъезда, лишь подкрепил это впечатление.

— К сожалению, нам пришлось оставить кое-что из вещей на вокзале. Моя машина слишком мала для сундуков.

— Не беспокойтесь, дорогая Клэр. Мы пошлем за сундуком завтра. — Настоятель отеческим жестом положил руку ей на плечо: — А вы бы не могли все-таки остаться с нами?

— Увы, никак не могу. К маме должны прийти люди из деревни... какой-то сельскохозяйственный комитет... арендаторы... Эту встречу никак нельзя было отложить.

— Ну что поделаешь! Не так-то легко быть хозяйкой поместья. Какой сегодня чудесный вечер, правда?

— Великолепный! Когда мы выехали из Халборо, было светло как днем... — Голос ее потеплел, она повернула голову; тень от уродливой шляпы сместилась, и показалось лицо с тонким, точеным профилем. — Стефен, правда было красиво?

Он стоял все это время молча и теперь, казалось, лишь с трудом вышел из своего оцепенения.

— Да, поездка была приятная. — Затем, словно чувствуя, что надо еще что-то сказать, добавил с несвойственной ему шутливостью: — Только в одном месте мне показалось, что нам придется выйти и подталкивать машину сзади.

— Это было на холме Эмбри, — рассмеялась Клэр. — Я плохо управляюсь с тормозами и никак не могла взять подъем. — Ее улыбка на миг сверкнула в темноте подъезда. — Не буду вас задерживать. Доброй ночи. Приезжайте к нам поскорее... Завт-

ра, если сможете. И берегите себя, Каролина, вы совсем простужены.

Когда она уехала, Бертрам обнял сына за плечи и повел в дом.

— Как хорошо, что ты приехал, Стефен. Ты и понятия не имеешь... Впрочем, ладно... Как ты расстался с Оксфордом? И как вообще себя чувствуешь? Проголодался, наверно. Сбегай наверх — поздоровайся с матерью. А потом приходи обедать.

И пока Каролина, у которой глаза и нос покраснели от холодного вечернего воздуха, втаскивала в дом пакет с книгами, забытый на крыльце, отец стоял и смотрел вслед поднимавшемуся по лестнице Стефену с выражением нескрываемой любви, граничившей с обожанием.

ГЛАВА II

После прекрасного обеда, умело поданного двумя горничными — простыми деревенскими девушками, великолепно вышколенными Каролиной, — настоятель, пришедший в благодушнейшее настроение, повел Стефена в кабинет, где уже были задернуты портьеры из драгета и в камине ярко горел превосходный корабельный уголь. Отопление в доме, правда, не отвечало требованиям современности, но каминные были большие и топлива сколько угодно. Комната, куда отец с сыном прошли после обеда, была уютной, несмотря на обилие лепных украшений, — в ней было что-то приятное и веселое, бравшее верх над церковным душком, исходившим от письменного стола с выдвигающейся крышкой, на которой лежали проповеди Пьюзи, «Календарь церковнослужителей» и тщательно сложенный малиновый орарь. У каминных стояли два потертых кресла, обитых коричневой кожей; у одной стены возвышалась стеклянная горка с разным огнестрельным оружием, у другой — витрина с монетами саксов, плодами археологических поисков настоятеля, а над камином, под чучелом лисьей головы, перекрещивались два охотничьих хлыста с костяными рукоятками.

Днем, готовясь к приезду сына, Бертрам прошел по подземному коридору в погреб и теперь со слегка виноватым видом взял запыленную бутылку, запечатанную белым сургучом, — она лежала у него на столе, — и, неумело вытянув крошащуюся пробку, налил в два бокала портвейн. Человек он был воздержанный, почти не притрагивался к спиртному и никогда не курил, но возвращение сына было событием, которое следовало отметить по установившейся в семье традиции.

— Эта бутылка была поставлена в погреб еще твоим дедушкой, — сообщил он, поднимая бокал с темно-красным вином и нарочито критическим оком рассматривая его на свет. — Это «Грэхем»... тысяча восемьсот семьдесят шестого года.

Стефен, ненавидевший портвейн, буркнул что-то в знак одобрения из глубокого кресла, где он расположился с бокалом в руках. Его желают видеть в такой роли — что ж, придется подчиниться.

— Портвейн, по-моему, отменный, сэр.

Слова эти пришились по душе настоятелю.

— Да, твой дед понимал толк в подобных вещах. Это он выложил холл внизу такими красивыми плитками. Ты ведь знаешь, что в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году проводилась осушка Южной луговины и добрая половина труб, с помощью которых это делалось, осталась. Тогда старик решил изрезать их на части и вставить в каждый кусок по бутылке, затем все это сложили в погреб, залили известью — получились настоящие соты... Он, конечно, не был пьяницей, но любил после дня, проведенного на псовой охоте, выпить пинту кларета. Он ведь ходил на охоту до семидесяти лет.

— Удивительный, по-видимому, был человек.

— Он был хороший человек, Стефен. Настоящий английский помещик и джентльмен. — Старик вздохнул. — Лучшей надгробной надписи и не придумаешь.

— Да и бабушка тоже, — почтительно вставил Стефен; по пути из Оксфорда, взволнованно раздумывая о своем будущем, пока поезд мчался мимо полей, фруктовых садов и речных излучин, он твердо решил быть безоговорочно покорным

сыном. — Она была под стать ему. Моулд немало мне про нее рассказывал.

— Да-а, он был очень предан ей... как и вся ее челядь. Но и пришлось же ему из-за нее попытеть... — От воспоминаний глаза Бертрама потеплели и засветились. — Ты ведь знаешь, что в последние годы жизни старушка страшно располнела. Ей было трудно передвигаться, и ее возили в кресле, а Моулда, который был тогда в учениках у садовника, приставили к ней в качестве тягловой силы. За это ему платили дополнительно шесть пенсов в неделю. Это была великая честь, но штука весьма утомительная, особенно когда твоя бабушка изъявляла желание отправиться в деревню и надо было вкатить ее на холм Эмбри. Как-то раз летом, когда было очень жарко, Моулд, добравшись до вершины холма, остановился, чтобы вытереть рукавом лицо. Но только он отпустил кресло, как оно покатилося вниз и, набирая скорость, с головокружительной быстротой помчалось под откос. Бедняга буквально оцепенел. Он уже считал себя убийцей своей хозяйки. Вопя от ужаса, кинулся он вниз. А когда добежал до подножия холма... — (скрепя сердце Стефен приготовился рассмеяться: он знал эту историю наизусть), — ...то увидел твою бабушку, которая преспокойно сидела в своем кресле посреди деревенской площади и торговалась с мясником из-за бараньего бока. — Улыбка исчезла с лица Бертрама. — Это была женщина нескгибаемой воли. Необычайно добрая. И очень преданная моему отцу. Она умерла ровно через два месяца после него.

Может быть, настоятель в эту минуту подумал о своем собственном браке? Где-то ухала сова. В кладовой, находившейся дальше по коридору, Каролина с излишним грохотом передвигала глиняные кувшины. Бертрам выпрямился и глотнул вина, чувствуя, что надо поскорее прервать молчание, пока оно не стало тягостным. Как странно: он так любит своего сына, а всякий раз, когда они остаются вдвоем, оба испытывают непонятное замешательство. Быть может, это потому, что он слишком любит его? Он никогда не ощущал этой неловкости в присутствии двух других своих детей. Конечно, он любит Каролину, ценит ее преданность и считает дочь «большим подспорьем». Но уродство, которое, по его мнению, обрекало дочь на без-

брачие, невольно уязвляло его чувство отцовской гордости. Что же касается Дэвида, его младшего сына, которому было уже почти тринадцать лет, то тут — увьи! — любовь отходила на задний план, уступая место горечи, жалости и разочарованию. Подумать только, что один из Десмондов — больше того, его сын — оказался эпилептиком, который даже между приступами остается заикой!

Настоятель подавил вздох. Опасно давать волю чувствам. Но сейчас он не мог избежать этого.

— Приятно, что ты так хорошо окончил Оксфорд. Ты великолепно сдал экзамены.

— Ну, не знаю. Перед выпуском я что-то совсем пал духом.

— У меня тоже было такое чувство, когда я кончал колледж Святой Троицы... хотя мне нравилось учиться не меньше, чем тебе.

Стефен промолчал. Разве мог он сказать отцу, что возненавидел университет, возненавидел за дух чопорности и чванства, за оторванность от насущных проблем, за бесконечные занятия спортом, которые не представляли для него никакого интереса, за это иссушающее душу изучение мертвых языков, вызывающее у него зевоту и побудившее его — из чувства противоречия — совершенствоваться во французском и испанском языках, а главное — разве мог он сказать отцу, как возненавидел избранное для него поприще!

А настоятель тем временем продолжал:

— Ты вполне заслужил отдых. Клэр ждет не дождется тебя, чтобы играть в теннис. А дядя Хьюберт приглашал к себе в Чиллинхем... Правда вкусный был сегодня лосось? Это он прислал... У них там гостит сейчас твой кузен Джофри — он приехал ненадолго отдохнуть.

Стефен упорно молчал. И впервые Бертраму пришлось на ум, что спокойствие сына — чисто внешнее, а под ним таится большое внутреннее напряжение. Щеки его, всегда бледные, были бледнее обычного, а темные глаза казались несоразмерно огромными на узком лице — эти признаки с самого раннего детства указывали, что Стефен испытывает душевную или физическую боль. «Он не из крепких; будем надеяться, что он не

болен», — с внезапной тревогой подумал Бертрам и поспешно заботливо сказал:

— Тебе, конечно, надо отдохнуть. До июля можно не думать о практике в Лондоне. Предположим, она займет у тебя пять месяцев, в таком случае твое посвящение в сан придется как раз на Рождество — самое подходящее для этого время.

Стефен стяхнул с себя оцепенение. Как долго он жил в предвидении этой страшной минуты — пытался, по совету своего друга Глина, приблизить ее и потом в волнении отступал; написал добрый десяток писем и порвал — все до одного. И сейчас, когда минута эта все-таки наступила, он почувствовал дурноту и внутри у него все похолодело.

— Отец... я должен с вами поговорить.

— Да? — Настоятель поощрительно кивнул и сложил вместе кончики пальцев.

Молчание. «Очевидно, речь пойдет о деньгах, — снисходительно подумал настоятель. — Какой-нибудь неоплаченный должок по колледжу». Но тут сбивчиво прозвучало:

— Я не хочу принимать сан священника.

Лицо настоятеля даже не дрогнуло — слова сына были столь неожиданны и безгранично удивительны, что черты старика застыли, будто скованные внезапной смертью. Наконец, словно не поняв, он переспросил:

— Ты не хочешь принимать сан священника?

— Я чувствую, что не гожусь для этого... я не умею ладить с людьми... у меня нет организаторского дара... Даже ради спасения собственной жизни я не мог бы произнести приличной проповеди...

— Все это придет со временем. — Бертрам выпрямился и теперь сидел насупившись. — Мои проповеди тоже не отличаются особым блеском. Но этого и не требуется.

— Но, отец, дело не только в этом. Меня не интересует миссия священника. Я... я чувствую, что не способен заменить вас здесь...

Прерывистая речь Стефена навела настоятеля на мысль, что его первоначальные догадки были правильны, и, несколько успокоившись, он сказал примирительно:

— Ты устал и измучился, мой мальчик. Все мы порой падаем духом и разочаровываемся в жизни. Ты почувствуешь себя совсем иначе после нескольких прогулок по окрестностям.

— Нет, отец. — Тяжело дыша, Стефен напряг всю свою волю. — Это у меня уже давно. Не могу я запереться в этой глуши... обречь себя на бессмысленное, жалкое существование.

Что он сказал? В своем отчаянии он употребил явно не те слова. Боль во взгляде отца обожгла его. Минута невыносимо тяжкого молчания. Затем:

— Я не знал, что ты так смотришь на Стилуотер. Приход у нас, быть может, и правда маленький. Но наша роль в стране измеряется, пожалуй, не размерами площади, а чем-то другим.

— Вы не поняли меня. Я люблю Стилуотер... Здесь мой дом. И я знаю, как глубоко уважают вас на много миль вокруг. Я говорю о другом... и вы, конечно, понимаете, что я имею в виду, что я считаю своим призванием в жизни.

Настоятель резко откинулся в кресле, затем, словно прозрев, испуганно воззрился на сына.

— Стефен... неужели опять эта дикая идея?

— Да, отец.

И снова звенящая тишина разделила их. Настоятель поднялся с кресла и сначала медленно, затем со все возрастающей стремительностью зашагал по комнате. Наконец усилием воли он взял себя в руки и, подойдя к Стефену, остановился перед ним.

— Милый мой мальчик, — очень серьезно начал он. — Я никогда не пытался воззвать к твоему чувству долга и таким образом привязать тебя к себе. Даже когда ты был совсем маленький и еще не ходил в школу, я предпочитал воздействовать на тебя с помощью естественных чувств любви и уважения. Однако ты должен понять, сколько надежд я возлагал на то, что ты унаследуешь мое место. Стилуотер так много значит для меня... для всех нас. Обстоятельства моей жизни... болезнь твоей матери... злополучное состояние здоровья Дэвида... то, что ты мой старший и — не сердись на меня за это... — тут голос его слегка дрогнул, — глубоко любимый сын... побудили меня связать все мои надежды с тобой. Однако сейчас я оставляю

все это в стороне. Клянусь тебе честью, я думаю прежде всего о тебе, а не о себе, когда говорю — я бы должен сказать: прошу, выбрось из головы твою нелепую мечту. Ты и сам не понимаешь, к чему это тебя приведет. Ты не должен... не можешь пойти по этому пути.

Стефен опустил глаза, чтобы не видеть, как подергивается щека отца.

— Но ведь имею же я право сам устроить свою жизнь. — Сквозь сыновнюю почтительность прорывался скрытый бунт.

— Только не так. Этот путь приведет тебя лишь к гибели. Отказаться от блестящей перспективы, загубить свою карьеру из-за какой-то прихоти — да это же кошунство! И потом, Клэр... где, ради всего святого, ее место в такой жизни? Нет-нет. Ты еще слишком зелен для своих лет, Стефен... Эта безумная идея, которая овладела тобой, кажется тебе сейчас бесконечно важной. Но через несколько лет ты будешь сам над собой смеяться и дивиться, как такое вообще могло прийти тебе в голову.

Глубоко забившись в кресло, раскрасневшийся, не смея поднять глаза, Стефен не мог придумать ни единого слова в ответ — мысли его притупились и стали какими-то ватными после выпитого портвейна. В эту минуту он, без всякого преувеличения, ненавидел отца... и в то же время его терзал стыд за то, что он так ответил на отцовскую привязанность, мучило сознание, что в словах отца была своя правда, и главное — им овладела грусть, теплой волной подымавшаяся откуда-то из глубины души при воспоминании о детстве: о веселых поездках в двуколке, запряженной пони, на вершину Эмбри (отец небрежно опустил поводья, Кэрри сидит в чистеньком белом передничке, а рядом с ней Дэви, впервые надевший короткие штаны из тонкой белой шерсти), о пикниках на Эйвоне (блики жаркого солнца на прохладной воде, и дикая утка вдруг взлетает из желтых камышей, раздвигаемых носом плоскодонки), о пении рождественских гимнов всей семьей вокруг елки, когда окна запорошены снегом... Ох, до чего же нелегко сбросить с себя эти сладостные пути!

Бертрам подошел и не властным, а каким-то трогательно-уважительным жестом положил руку на плечо сына.

— Поверь мне, речь идет о твоём счастье, Стефен. Не можешь ты... не сможешь так ожесточить своё сердце, чтобы пойти против меня.

Стефен не смел поднять глаза, боясь, что не сумеет справиться с собой и расплачется. Он был побежден... во всяком случае, сейчас.

А ведь он собирался бороться, ожесточенно бороться и поклялся Глину, что победит.

— Хорошо, — пробормотал он наконец, испив до конца чашу горечи, какую поражение приносит мягким, но страстным натурам. — Если вы так этого хотите... я попробую поехать в Дом благодати... Посмотрим, что из этого получится.

ГЛАВА III

Бертрам медленно поднимался вверх. Он испытывал огромное облегчение, но не менее огромным было и внезапно возникшее чувство усталости, а также чувство не покидавшей его тревоги. У двери в спальню жены он остановился, склонив голову набок, прислушался, затем легонько постучал и, инстинктивно призвав на помощь все своё мужество, вошел.

Спальня его жены представляла собой большую комнату, которая в прошлом была верхней гостиной; покойный каноник Десмонд считал её лучшей комнатой в доме, очевидно, из-за правильных пропорций и местоположения, так как окна её выходили на восток, а потому не только распахивались навстречу утреннему солнцу, но и позволяли любоваться видом на холмы Даунс. Избрав эту комнату в качестве своей спальни и гостиной, жена Бертрама сохранила кое-что из первоначальной обстановки: стулья с мягкими сиденьями, вышитыми крестиком, чиппендейловскую кушетку, большое полукруглое зеркало в гипсовой раме, висевшее над белым мраморным камином, и красный брюссельский ковер. Заслонившись экраном от сквозняка, Джулия Десмонд лежала в постели под атласным одеялом и читала. Это была хорошо сложенная, прекрасно сохранившаяся сорокапятилетняя женщина с приятным, необычайно беспечным выражением пухлого гладкого лица и густой копной

каштановых волос, образовавших на подушке нечто вроде облака.

Отметив бледным ногтем место в книге, на которой был нарисован один из знаков зодиака, Джулия приподняла тонкие брови и обратила на мужа вопрошающий взгляд. Глаза у нее под мясистыми бледными веками были голубые-голубые, точно незабудки, — такие бывают обычно у младенцев.

— Вот Стефен и снова дома, — сказал настоятель.

— Да... Мне показалось, что милый мальчик неплохо выглядит.

Можно было не сомневаться, что она скажет своим томным, аристократическим тоном нечто прямо противоположное мнению мужа.

— Как голова?

— Благодарю, получше. Я сегодня днем сидела слишком долго на солнце. Это раннее весеннее солнце очень коварно. Но я уже приняла все необходимые меры.

По приспособлению, лежавшему на маленьком столике, он понял, что она только что закончила вибрационный массаж. На выступе камина стоял металлический чайник, из носика которого со свистом вырывалось веселое перышко пара, указывавшее на то, что через четверть часа будет принесен экстракт из отрубей и из него приготовлено снадобье; затем будут раздавлены и проглочены таблетки дрожжей, принята ложка йогурта — или это теперь не йогурт, а сухие морские водоросли? Потом будет заново наполнена горячей водой грелка, подброшены на ночь дрова в камин, притушен свет, намочены кусочки марли и положены на глаза. И снова — хотя, призвав на помощь весь запас христианского долготерпения, он гнал от себя эти мысли — перед ним возник вечный вопрос: зачем он, собственно, женился на ней?

Она была, конечно, красива своеобразной красотой статуэтки — этого нельзя отнять у нее даже сейчас — и, будучи единственной дочерью сэра Генри Марсдена из Хейзелтон-парка, считалась в то время в их графстве «завидной партией». Кто бы мог предположить, глядя на нее, когда она, такая юная, с горделивой осанкой лебеда, принимала, например, гостей в Хейзелтон-парке во время летнего праздника или, улыбающаяся, но

сдержанная, окруженная молодыми офицерами из Чарминстерских казарм, вызывала всеобщее восхищение на охотничьем балу, — кто бы мог предположить, что у нее со временем разовьются такие странности или из нее выйдет такая никчемная жена?

Если не считать нескольких летних празднеств, которые они устроили в первые годы своего брака, когда в широкополой шляпе, волоча за собой зонтик в кружевных оборках, она грациозно бродила по лужайкам, Джулия с непоколебимой решимостью отказывалась что-либо делать для прихожан. Господь Бог, мило заявляла она, создал ее не для того, чтобы носить суп бедным поселянам или растрачивать здоровье, корпя над приданым для младенцев, и тем самым поощрять их появление на свет. К счастью, жена епископа полюбила ее, но с женами духовенства рангом ниже Джулия ни за что не желала общаться. Она предпочитала проводить время у окна или в розарии, где просиживала, разодевшись в пух и прах, за бесконечным вышиванием шелками, то и дело отрываясь от этого занятия и подолгу глядя в пространство, или вдруг, осененная внезапной мыслью, принималась записывать, что надо сказать доктору, к которому, давно разуверившись в местном враче, она ездила два раза в месяц в Лондон. Дети, которых она родила с поразительной легкостью и беспечностью, представляли для нее лишь эпизодический интерес. Она терпела их постольку, поскольку они не вносили неудобств в ее жизнь. Однако ее отрешенность постепенно возрастала, и она все больше замыкалась в себе, в своем особом мире счастливой ипохондрии, сосредоточив все интересы на физических функциях своего организма. И теперь — мог ли он, о боже, предвидеть это, когда в насыщенный ароматом роз день, двадцать лет назад, чуть не умер от блаженства и мучительной сладости ее душистого поцелуя? — теперь ничто в такой мере не интересовало ее, ничто не доставляло ей большего удовольствия, как мило рассуждать с ним о цвете и консистенции своего стула.

Пожалуй, чучело боевого коня (память о Балаклаве), стоявшее в холле ее отца, могло бы послужить предупреждением будущему настоятелю, но — увы! — кто бы мог предсказать, что отец Джулии, который до семидесяти лет был лишь милым чудачком, возившимся в свободное время со всякой механикой

(он, например, предпринял электрификацию своего поместья с помощью снабженных парусами ветряных мельниц или занимался таким безобидным делом, как изобретение скорострельного ружья, которое, хоть и не было принято на вооружение военным ведомством, все же поразило в мягкое место их старого и верного дворецкого), кто, спрашиваю я вас, мог бы подумать, что этот неугомонный чудак под конец совсем выживет из ума и возьмется за грандиозный проект создания летательного аппарата, причем, заметьте, не простого, на каком впоследствии перелетел через Ла-Манш Блерио (хотя и это уже само по себе было бы великим злом), а сложной конструкции с диковинными винтами, которая якобы могла подняться вертикально в воздух, — словом, вертолета. Таким образом, бросая вызов законам земного притяжения, сэр Генри принялся строить в своем прелестном парке сараи и ангары, выписал из-за границы рабочих, инженеров, бельгийца-механика, стал сорить деньгами направо и налево — короче говоря, довел себя до банкротства и, так и не воспарив над нашей грешной землей, умер всеобщим посмешищем. В результате в Хейзелтон-парке, который мог бы принадлежать Джулии, теперь женская школа, в большом ангаре устроили гимнастический зал, а сараи — свежерыкрашенные страшилища — превратили в склады для грязных хоккейных клюшек и рваной спортивной обуви.

Неужели, в приливе отчаяния подумал Бертрам, эта наследственная неуравновешенность и заговорила сейчас в Стефене? Нет-нет... не может быть. Мальчик слишком похож на него и по складу ума, и внешне — в нем все от отца, это его второе «я». Однако владевшая им тревога и затем эта тягостная догадка побуждали настоятеля, вопреки здравому смыслу, открыть же-не душу и искать у нее утешения.

— Знаешь, моя дорогая, — сказал он, — я считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы развлечь Стефена и как-то встряхнуть его.

Джулия в изумлении уставилась на мужа. Она обладала удивительной способностью понимать все буквально.

— Мой дорогой Бертрам, ты же прекрасно знаешь, что я не в состоянии делать какие-либо усилия. И потом, почему мы должны встряхивать Стефена?

— Я... я тревожусь за него. Он и всегда-то был необычным ребенком. А сейчас у него такой тяжелый период.

— Тяжелый период, Бертрам? Разве он не вышел из переходного возраста?

— Конечно вышел... Но ты же знаешь, как бывает с молодыми людьми. У них весной появляются такие странные идеи.

— Ты хочешь сказать, что Стефен влюбился?

— Нет... впрочем, конечно, он равнодушен к Клэр.

— В таком случае что же ты имеешь в виду, Бертрам? Он ведь не болен. Ты сам минуту назад сказал, что он отлично выглядит.

— Не я, а ты это сказала. — В тоне Бертрама невольно проскользнуло раздражение. — По-моему, он вовсе не хорошо выглядит. Но я вижу, ты не склонна разделять мою тревогу.

— Если ты пожелаешь сообщить мне, в чем твоя тревога, мой дорогой, то я с удовольствием выслушаю тебя. Но неужели надо волновать еще и меня — разве не достаточно того, что ты сам волнуешься? По-моему, я выполнила свою роль, произведя детей на свет. Должна тебе сказать, что в этом занятии, от начала и до конца, очень мало приятного. А остальное уж твоя забота. Я никогда не вмешивалась в то, что ты делал. Почему же ты хочешь, чтобы я вмешалась сейчас?

— Ты права. — Он попытался побороть в себе горечь. — Тебе, конечно, будет глубоко безразлично, если Стефен погубит свою жизнь. Послушай, Джулия, в нем есть что-то, чего я не могу понять и что он скрывает глубоко в душе. О чем он на самом деле думает? Кто его друзья? Помнишь, когда Джофри был у него в прошлом году в колледже Святой Троицы, он встретил у нашего мальчика совершенно невысказанного человека... какого-то проходимца, как назвал его Джофри... нищего художника... валлийца...

Он умолк, чуть ли не с мольбою глядя на жену, так что она вынуждена была в конце концов откликнуться.

— А что ты имеешь против валлийцев, Бертрам? — мягко спросила она. — У них такие красивые голоса. Этот валлиец пел?

— Нет, — вспыхнув, ответил Бертрам. — Он все время уговаривал Стефена поехать в Париж.

— Молодые люди и раньше туда ездили, Бертрам.

— Согласен. Но на сей раз поездка затевалась не в обычных целях.

— А в каких же? Ради чего же еще туда ехать, если не ради француженок?

— Чтобы заниматься живописью!

Наконец он произнес это слово, он заставил себя его произнести и теперь напряженно, но не без чувства облегчения ждал, что она скажет.

— Должна признаться, Бертрам, я не вижу в этом особой беды. Помнится, когда мы ездили с папой в Интерлакен, я писала на озере прелестные маленькие акварели. В голубых тонах. А Стефен всегда любил рисовать. Ты же сам первый подарил ему краски.

Он больно прикусил губу.

— Но теперь это не детские забавы, Джулия. Знаешь ли ты, что он уже целый год, не говоря нам ни слова, ездил из Оксфорда в Слейд и там занимался живописью в вечерних классах?

— Слейд — вполне приличное заведение. У Стефена будет бездна свободного времени в промежутке между его проповедями, и он вполне сможет рисовать. А живопись так успокаивает нервы.

Бертрам еле удержался, чтобы не прикрикнуть на нее. С минуту он сидел потупившись, затем, учащенно дыша, но тоном человека, одержавшего верх в споре, сказал:

— Надеюсь, ты права, дорогая. Я, наверно, зря волнуюсь. Конечно, он образумится, когда приедет в Лондон и с головой окунется в работу.

— Конечно. И знаешь, Бертрам, я решила в будущем месяце ехать не в Харрогейт, а в Чэлтенхем. В тамошних водах есть минеральные соли, которые, говорят, очень способствуют выделению желчи. А когда доктор Леонард в последний раз делал анализ моей мочи, он обнаружил большой недостаток солей.

Еле слышно Бертрам поспешил пожелать жене доброй ночи, пока с языка не сорвалось что-нибудь лишнее.

Когда он вышел из комнаты, до слуха его донеслось неторопливое постукивание машинки — это Каролина неумоимо печатала тезисы его завтрашней проповеди.

ГЛАВА IV

Серым дождливым днем полтора месяца спустя, закончив обход прихожан, Стефен медленно брел по Клинкер-стрит в Восточном Степни. От едкого сернистого дыма, который тянулся из лондонских доков, узкая улица казалась еще более скучной, а воздух — таким тяжелым, что трудно было дышать. Ни света, ни ярких красок — лишь унылый ряд пустых телег, грязная мостовая, ломовая лошадь пивовара плетется под дождем в облачке пара от собственного дыхания, возница согнулся под куском дерюги, с которой стекает вода. Мимо промчался автобус, идущий в западные районы столицы, и, когда Стефен уже сворачивал к Дому благодати, обдал его грязью.

Здание из красного кирпича, к которому он направлялся, стоявшее в ряду других домов с осыпающейся штукатуркой, покосившихся и осевших, точно древние старики, сейчас больше, чем когда-либо, показалось Стефену похожим на маленькую, но весьма совершенную тюрьму. В эту минуту входная дверь широко распахнулась и на пороге появился отец-наставник, достопочтенный Криспин Блисс — высокий, тощий, облаченный в длинный, до пят, черный макинтош. Он держал в руках сложенный зонт и, поворачивая в разные стороны нос, как бы принюхивался, определяя погоду. Стефен понял, что встреча неизбежна, и взошел на крыльцо.

— А, Десмонд... Уже вернулись?

Тон был не очень дружелюбный, Стефен чувствовал, что человек этот старается относиться к нему с приятностью, но, несмотря на все свои добрые намерения и требования братской любви, не может пересилить себя. Достопочтенный Криспин Блисс, брат из монастыря Святого Кузберта, был рьяным священнослужителем, который в поте лица своего трудился на благо ближних, возделывая сей неблагоприятный виноградник. Приверженец евангелистского направления в англиканской церкви, он принадлежал к числу людей, искренне верующих и довольно узколобых. Если же говорить о его человеческих качествах, то они оставляли желать лучшего: Блисс был сух, педантичен, обидчив и одержим манией величия. Неблагоприятное впечатление производила и его манера ходить, высоко подняв голову, его

чванство, а главное — голос: надтреснутый, слегка гнусавый, словно специально созданный, чтобы елейно возражать собеседнику. Стефен, на беду свою, чуть ли не с первых дней появления в этом заведении умудрился оскорбить сию особу.

В верхнем коридоре Дома благодати в толстой золоченой раме висела мрачная картина, изображающая мучения святого Себастьяна, которая Стефену, когда он выходил из своей комнаты, казалась как бы залитой свежей кровью. Поскольку на это полотно, по-видимому, никто, кроме него, не обращал внимания, однажды утром в порыве отвращения он повернул картину лицом к стене. Судя до всему, это прошло незамеченным. Но в тот же вечер, за ужином, сокрушенный взор святого отца, скользнув поверх голов викариев, Лофтуса и Джера, остановился на Стефене, и достопочтенный Блисс своим самым гнусавым голосом заметил:

— Я не против юмора даже в его наиболее неприглядной форме — форме грубой шутки. Но если объектом избирается предмет, который находится в этом доме и по своему назначению или по вызываемой им ассоциации может считаться священным, — это, по-моему, неслыханное богохульство.

Стефен вспыхнул до корней волос и сидел, не поднимая глаз от тарелки. У него не было никаких дурных намерений, и по окончании ужина, движимый желанием объяснить свой поступок, он подошел к святому отцу.

— Я должен попросить у вас прощения: это я перевернул картину. Я поступил так исключительно потому, что она действует мне на нервы.

— Действует вам на нервы, Десмонд?

— Видите ли... да, сэр. Она так ужасающе безвкусна и фальшива.

С лица отца-наставника исчезло недоумение, и выражение его стало жестким.

— Я отказываюсь понимать вас, Десмонд. Это же подлинник Карло Дольчи.

Стефен снисходительно усмехнулся:

— Едва ли, сэр. Если бы еще это был Дольчи! А то смотрите, какой грубый мазок, и колорит совсем современный, а главное — картина написана на белом льняном полотне, которое

стали вырабатывать лишь около тысяча восемьсот девяностого года, то есть через добрых двести лет после смерти Дольчи.

Лицо отца-наставника стало каменным. Он учашенно засопел, и хотя из ноздрей его не вырвалось пламени, они раздулись от христианской разновидности гнева, именуемой праведным возмущением.

— Картина принадлежит мне, Десмонд, и это мое самое ценное достояние. Я купил ее в молодости, когда был в Италии, у человека безупречной честности. А потому, каково бы ни было ваше мнение, я по-прежнему буду ценить ее как подлинное произведение искусства.

Однако сейчас во взгляде отца-наставника чувствовалась не столько враждебность, сколько настороженное недоверие; он предложил Стефену укрыться под его зонтом, так как шел дождь, и спросил:

— Вы сегодня обошли весь Скиннерс-роу?

— Почти весь, сэр.

Стефену не хотелось признаваться, что он торопился, боясь опоздать к приходу Ричарда Глина, и потому не стал заглядывать в дома с нечетными номерами.

— Как вы нашли нашу старушку, миссис Блайми?

— К сожалению, не в очень хорошем состоянии.

— Что, бронхит замучил? — И, поскольку Стефен смущенно мялся, отец-наставник добавил: — Надо вызвать доктора?

— Нет... не в этом дело. Видите ли, когда я зашел к ней, она была совсем пьяной.

Последовало огорченное молчание, затем довольно мирской вопрос:

— Откуда же она взяла деньги?

— Очевидно, я в этом виноват. Я дал ей вчера пять шиллингов, чтобы она заплатила за комнату. А она, должно быть, истратила их на джин.

Отец-наставник прищелкнул языком.

— М-да... живите и учитесь, Десмонд. Я вас не упрекаю, но не надо ввергать в соблазн бедных рабов Божьих.

— Очевидно, не надо. С другой стороны, разве можно ее винить за то, что она хоть ненадолго хочет забыть о своей горькой доле? Она швея, у нее слабые легкие, а потому никто не

дает ей работы, она задолжала хозяину за квартиру и уже заложила все, что у нее было, так что в комнате почти ничего не осталось. Должен признаться, я чуть ли не обрадовался, когда увидел, что она катается по кровати в счастливом забытии.

— Десмонд!

— Больше того... я невольно подумал, что, очутись кто-нибудь из нас в подобном положении, он, наверно, вел бы себя так же.

— Ну-ну! Это уж вы слишком. Надеюсь, с нами — хвала Господу! — никогда не приключится такой напасти. — Он неодобрительно покачал головой и приподнял зонт. — У вас сегодня вечером занятия в юношеском клубе? Я хочу поговорить с вами об этом за ужином.

Он несколько церемонно кивнул на прощание и стал спускаться с крыльца, а Стефен направился наверх, к себе в комнатку — крошечную клетушку с мебелью из светлого дуба, с готическим резным камином и вращающейся этажеркой для книг. Постель была не убрана. Предполагалось, что обитатели Дома благодати должны все делать сами: так, например, по утрам Стефен неизменно встречал викария Джера, жизнерадостного мускулистого слугу Христова, который, нимало не смущаясь, весело направлялся в уборную с полным ночным горшком. Однако, чтобы эта монастырская традиция не казалась будущим священникам слишком суровой, во второй половине дня в доме появлялась маленькая горничная по имени Дженни Дилл, в обязанности которой якобы входило навести в доме глянец, тогда как на самом деле ей приходилось выполнять всю черную работу. И сейчас, бросившись прямо в пальто и шляпе в кресло, Стефен услышал ее легкие шаги в комнате Лофтуса, отделенной от его клетушки лишь тоненькой перегородкой. Лофтус, красивый малый, педантичный и замкнутый, чрезвычайно элегантный — в пределах, разрешенных священнику, — всегда оставлял Дженни уйму дел: тут и обувь надо было привести в порядок, и платье вычистить, и убрать. Однако она, по-видимому, уже справилась со всем этим, так как через несколько минут раздался стук в дверь и девушка проворно вошла в комнату Стефена с метелочкой для обмахивания пыли и ведерком в руках.

— Ах, сэр, вы уж меня извините... я ведь и не знала, что вы тут.

— Ничего, ничего, ты мне не помешаешь.

Он рассеянно следил за тем, как она ловко перестилала простыни и взбивала перину. Это была приятная девушка, с такими румяными щеками, что, казалось, они у нее натерты кирпичом, живыми карими глазами, над которыми нависала черная челка. Типичная обительница восточной части Лондона, подумал он. Мастерница на все руки и отнюдь не глупа. При этом заурядной ее тоже нельзя назвать: в ней какая-то милая услужливость, наивность, участливое дружелюбие и, главное, необычайная жизненная сила, — казалось, она просто не в состоянии сдержать радость и энергию, бывшие ключом в ее молодом здоровом теле. Стефен смотрел на ловкие движения этой девушки с тонкой талией и небольшой крепкой грудью — она не замечала его пристального взгляда, а если и замечала, то не подавала виду, — и рука его инстинктивно потянулась к столу, где лежали альбом и карандаш. Пристроив альбом на колени, он принялся набрасывать портрет Дженни.

Вот она подошла к камину, нагнулась и начала выгребать золу. Эта поза понравилась Стефену, и, когда девушка стала распрямляться, он резко остановил ее:

— Пожалуйста, не шевелись, Дженни!

— Но, сэр..

— Нет-нет. Поверни опять голову и не двигайся.

Она покорно склонилась, приняв прежнюю позу, и карандаш Стефена лихорадочно заметался по бумаге.

— Ты, наверно, считаешь, что я ненормальный, правда, Дженни? Во всяком случае, все здесь считают меня таким.

— Ах, что вы, нет, сэр, — решительно запротестовала она. — Вы, конечно, кажетесь нам немножко странным: подумать только, учите парней в клубе рисованию и всякому такому, не то что другие священники — те ведь только и знают что бокс. Вот когда мистер Джир занимался с ними, они все чуть не убивали друг дружку. Их и узнать-то нельзя было: у того глаз подбит, у того нос расквашен. А сейчас ничего похожего и в помине нет. Так что все мы считаем вас очень замечательным джентльменом.

— Это весьма лестно... и оказывается, такое мнение можно заслужить без всякого кровопролития. Скажи, Дженни, вот если бы ты была старой, прикованной к постели женщиной, что бы ты предпочла — Библию или бутылку джина?

— У меня есть Библия, сэр... даже целых две. От мистера Лофтуса и мистера Джера. Мистер Лофтус подарил даже с красивыми цветными закладками.

— Не увиливай, Дженни. Говори правду.

— Видите ли, сэр, все зависит от того, насколько бы мне было худо. И если б мне было уж очень худо, то джин, пожалуй, больше бы пригодился.

— Молодец, Дженни. Честна и бесхитростна! Ну а что ты скажешь об этом?

Она медленно распрямила затекшую спину, подошла к нему и недоверчиво посмотрела на протянутый ей рисунок.

— Я ведь ничего не понимаю в таких вещах, сэр... но, по моему, работа искусная...

— Господи, глупышка, да неужели ты не видишь, что это ты?

— Вот теперь, когда вы сказали, сэр, — скромно заметила она, — я и впрямь вижу, будто это я... со спины. Только жаль, что на мне старый передник, ведь он рваный — вон какая большая прореха у кармана...

Стефен рассмеялся и бросил альбом на стол.

— Твой старый передник мне как раз и понравился. И прореха тоже. Ты отличная натурщица, Дженни. Как бы хотелось, чтобы ты позировала для меня. Я бы платил тебе по пять шиллингов в час.

Она быстро вскинула на него глаза и тут же отвела их.

— А ведь это было бы нехорошо, правда, сэр?

— Какая ерунда, — поспешно возразил он. — Что же тут плохого? Просто тебя это, видимо, не интересует.

— Видите ли, сэр, — начала она, запинаясь, и румянец на ее щеках запылал еще ярче, — сказать по чести, если тут ничего нет плохого, то мне бы сейчас вовсе не помешали эти деньги.

— В самом деле?

— Да, сэр. Понимаете... Я вскорости собираюсь замуж.

Вопросительное выражение на лице Стефена сменилось озорной, мальчишеской улыбкой.

— Прими мои поздравления. Кто же этот счастливец?

— Зовут его Алфред, сэр. Алфред Бейнс. Он работает стюардом на пароходе Восточной линии. Он вернется домой через месяц с лишком.

— Очень рад за тебя, Дженни. Теперь мне понятно, зачем тебе понадобились деньги. Ну, давай условимся. Когда ты кончаешь работу?

— Вот уберу, сэр, вашу комнату — и все. Обычно часов около пяти.

— Ну что ж... Предположим, ты будешь задерживаться два раза в неделю на час — с пяти до шести. Я могу платить тебе по пять шиллингов за сеанс.

— Это уж больно щедро, сэр.

— Что ты, это совсем немного. И если работа не покажется тебе чересчур утомительной, я могу дать тебе записку к одному моему приятелю, который преподает по вечерам живопись в Слейде. Он с удовольствием наймет тебя ненадолго.

— А он не потребует, сэр... — И лицо Дженни залилось пунцовой краской.

— Ну что ты, конечно нет, — мягко сказал Стефен. — Ты будешь позировать в каком-нибудь костюме. По всей вероятности, ты понадобишься ему для поясного портрета.

— В таком случае я буду вам очень благодарна, сэр... право же... Особенно потому, что это вы...

— Значит, договорились, да? — Он улыбнулся, что случилось с ним не так уж часто и очень ему шло, и протянул Дженни руку.

Она приблизилась к нему. Щеки ее по-прежнему пылали, маленькие пальцы с поломанными, неровно остриженными ногтями были сухие и теплые; на загрубевшей от работы коже ощущались следы порезов и мозолей. Однако эту маленькую руку так приятно было держать, в ней чувствовалось биение молодой жизни, и Стефен с трудом заставил себя выпустить ее. Поняв, что он ее больше не удерживает, Дженни тотчас направилась к двери. Неожиданно побледнев, не глядя на него, она сказала:

— Вы всегда так добры ко мне, мистер Десмонд, что я с радостью для вас все сделаю. Я всегда стараюсь лучше при-

брать в вашей комнате. И особенно слежу за вашими ботинками, потому что... ну просто потому, что они ваши, сэр. — И, произнеся это, она поспешно вышла.

Для человека, страдающего от самоуничужения, в этих словах была заключена особая теплота. Но радость вскоре потухла — Стефен вновь вернулся к реальной действительности, вспомнил, где он находится и какая унылая жизнь ждет его впереди. И ему мучительно захотелось поскорее увидеть Глина.

Он взял «Откровения» Пейли, которые обещал отцу прочесть, и попытался сосредоточиться. Но все было тщетно. Книга не интересовала его. Он ненавидел жизнь, которую вел с тех пор, как поселился в Доме благодати (обходы прихожан, занятия по изучению Библии, клуб), хоть и старался внести во все, что делал, какую-то свою, живую струю, ненавидел вечное лицемерие тепло одетых и сытых святых отцов (к которым принадлежал и сам), стремящихся баснями накормить сырых и голдных.

Он мог понять, что можно посвятить себя церкви из привитой с детства глубокой религиозности, можно пойти по этому пути, видя высокое призвание в том, чтобы наставлять своих собратьев на путь истинный. Но устроить себе легкую жизнь без такого призвания, по соображениям сугубо материальным казалось Стефену величайшим мошенничеством. К тому же разве у него не было собственного призвания, разве некий голос не звучал со все возрастающей настойчивостью в его душе? Каким же он был идиотом, что позволил завлечь себя на эту стезю, точно глупая овца, попавшая в загон на ярмарке! А теперь, раз уж он сюда попал, пути назад, казалось, были для него отрезаны.

Ход его размышлений прервал быстрый стук тяжелых сапог по деревянной лестнице — через несколько секунд в комнату влетел молодой человек немного старше Стефена и, с трудом переводя дух, упал на стул. Он был выше среднего роста, широкоплечий, с коротко остриженными рыжими волосами и небольшой, торчащей во все стороны рыжей бородой; на его левом лице с густыми бровями блестели пронзительные, даже, пожалуй, колючие глаза, которые сейчас искрились смехом. В своих молескиновых штанах и рабочем свитере, с красным

платком в горошек, повязанным вокруг шеи, он походил на настоящего корсара, неистового, неудержимого, наслаждающегося всем, что дает ему жизнь. Немного отдышавшись, он вытащил из кармана никелированные часы, пристегнутые к поясу обрывком потертого зеленого шнура.

— Меньше часа, — с удовлетворением объявил он. — Недурно, если учесть, что старт был дан в Уайтхолле.

Стефен слегка удивился, хоть и знал о любви Глина к спорту.

— Ты всю дорогу проделал пешком!

— Бегом, — поправил его Глин, вытирая пот. — Ну и весело же было! Я всех фараонов поднял на ноги: они, видимо, решили, что я ограбил банк. Зато пить сейчас чертовски хочется! В этом твоём Божьем доме едва ли, конечно, найдется капля пива?

— Увы, нет, Ричард. Нам не разрешают держать пиво в комнатах. Я могу предложить тебе чаю... с печеньем.

Глин так и покатился со смеху.

— Эх вы, юные богословы! Да как же вы можете бороться с сатаной, сидя на одном чае да на печенье? Но если тебя это не затруднит, принеси хотя бы чаю. — И уже совсем другим, более серьезным тоном добавил: — К сожалению, я не могу пробыть у тебя долго, а повидать тебя мне хотелось.

Они болтали, дожидаясь, пока вскипит чайник, который Стефен поставил на газовую плитку у камина. Когда чай был заварен, Ричард выпил целых четыре чашки этого презренного напитка и с рассеянным видом прикончил тарелку макарон. Тут в разговоре наступила неловкая пауза.

— Твоя выставка прошла очень неплохо, — сказал наконец Стефен.

— Вполне сносно, — небрежно отозвался Глин. — Рецензенты были настолько кровожадны, что, можно сказать, сами пригнали ко мне публику.

— Но ты все-таки продал кое-что.

— Одно дурацкое полотно. И то лишь потому, что я валинец. Его купила Кардиффская национальная галерея. Поощрение национального таланта... сын рудокопа и тому подобное.

Друзья снова помолчали.

— Как бы то ни было, — продолжал Глин, — эти денежки помогли мне выкарабкаться из долгов. Мы с Анной уезжаем завтра в Париж.

Стефен весь внутренне напрягся: это была не только реакция нервов на название города, которым он бредил, — он почувствовал, что этой как бы вскользь брошенной фразой объясняется цель прихода Глина. И, стараясь говорить спокойно, он спросил:

— Сколько же ты намерен там пробыть?

— Не меньше года. Я буду жить экономно и работать как черт. Можешь мне поверить, Париж — замечательное место для работы. — Он помолчал и бросил на приятеля быстрый испытующий взгляд. — А ты с нами не поедешь?

У Стефена сдавило горло. Костяшки пальцев, сжимавших ручки кресла, побелели.

— Как же я могу поехать? — пробормотал он. — Ты знаешь мое положение.

— А мне казалось, что ты хочешь заниматься живописью.

Стефен сидел потупившись и молчал. Внезапно он поднял голову.

— Глин... Если я все брошу... добьюсь я успеха на этом поприще?

— Господи боже мой, Десмонд! — Глин нагнулся к нему, сдвинув брови. — Что за дурацкий вопрос? Что значит: добьешься ли ты успеха? И что такое вообще успех? Разве ты не знаешь, что в этом деле не может быть никаких гарантий, все будет зависеть только от тебя самого! И берется человек за такое потому, что, черт возьми, не может поступить иначе. Если он решил заняться этим всерьез, то он бросает все, голодает, крадет, обманывает свою бабушку, нарушает все десять заповедей — лишь бы держать в руках шпатель и палитру с красками. — Глин помолчал, откинулся на спинку кресла и уже спокойнее продолжал: — Я считаю, что у тебя необычайные способности, талант, иначе я не стал бы ломать из-за тебя голову. Я знаю, насколько это трудно для такого, как ты, — по уши погрязшего в традициях. Не там ты родился. Тебе надо было бы начинать жизнь, как я, — в шахтерском поселке, на угольных копях. Во всяком случае, решай сам. На худой конец, из

тебя выйдет более или менее сносный священник. — Резким жестом он извлек из кармашка никелированные часы. — Ну, мне пора. Еще надо уложить вещи. И вообще много всякой канители. Прощай, Десмонд. Пиши мне, когда будет время.

Стефен сидел все так же неподвижно. Глин встал; подождая к приятелю, чтобы проститься, он заметил на каминной доске полосатый кусочек картона с оторванным талоном, выкрашенный в цвета Мэрилбонского крикетного клуба. Это был пригласительный билет на крикетный матч между Оксфордом и Кембриджем, который должен был состояться в будущем месяце. Проследив за взглядом Ричарда, Стефен покраснел.

— Я не могу не пойти, — лаконично объяснил он. — Все наше семейство там будет.

Глин с грустным видом пожал плечами, потряс руку Стефена и вышел.

ГЛАВА V

Матч окончился, ворота были выдернуты из земли, и заходящее солнце отбрасывало длинные тени на зеленую лужайку, где вместе с нарядной публикой (здесь едва ли применимо слово «толпа»), медленно направлявшейся к главному выходу из Сент-Джонского леса, двигалась компания в семь человек. Каролина и Клэр шли впереди с Дэви и его двоюродным братом Джоффри, а в нескольких шагах от них шел Стефен с генералом Десмондом и его женой. Срочные дела по приходу в последнюю минуту помешали настоятелю присутствовать на матче, а Джулия вообще годами не появлялась на таких сборищах. Стефен поехал только для того, чтобы побыть с братом, и, хотя удовольствие, которое получал Дэви от игры (тем более трогательное, что сам он не мог в ней участвовать из-за болезни), в известной мере вознаградило Стефена за скуку, день этот оказался для него сущим испытанием: в ушах у него звенело от нескончаемых криков Джоффри: «Здорово сыграно, сэр!», а смесь высокомерного снисхождения и наглости, с какою супруга генерала относилась ко всем своим родственникам — Стефен редко даже в мыслях именовал ее тетей Аделаидой, — по обык-

новению, пробудила в нем самые дикие, неприглядные чувства. Холодная, властная женщина с узким лицом, воспитанная в атмосфере суровой гарнизонной дисциплины, прокаленная солнцем Индии, она все еще отличалась жестокой, самоуверенной красотой; у нее по-прежнему была великолепная фигура, хоть и чересчур худошавая, а взгляд порою пронзал, как удар штыка.

Выйдя за пределы поля, они остановились в нерешительности, глядя на отъезжавшие непрерывной чередой экипажи и пролетки, и супруга генерала застрекотала, проглатывая — на манер сельской жительницы — окончания слов:

— Сегодня был такой восхитительный день, просто жаль рано расходиться. — Она повернулась к мужу: — Не предложишь ли ты чего-нибудь, Хьюберт?

Генерал Десмонд окинул взглядом компанию. Высокий, прямой, как шомпол, с правильными чертами лица, он даже в сером цилиндре и сюртуке походил на вояку, и притом отменного. Коротко остриженные усы как бы подчеркивали отрывистость его рубленой речи.

— Я полагаю, мы можем поужинать вместе у Фраскати.

— Вот это мило, предок, — сказал Джоффри, в двухсотый раз поправляя галстук и одергивая вышитый жилет, словно желая непременно привлечь внимание к искусству своего портного, благодаря чьим стараниям он стал — тут уж сомневаться не приходилось — предметом всеобщего восхищения. Следование моде (Джоффри именовал это «хорошим стилем») составляло главный предмет его забот, готовился ли он к появлению на плацу или на Пикадилли; короче говоря, это был весьма элегантный, хоть и довольно пустой двадцатичетырехлетний хлыщ.

— Дэви надо быть дома к семи часам, — возразила Каролина. — А сейчас уже больше шести. Но пожалуйста, не меняйте из-за нас своих намерений, я отвезу его на поезде.

— Душенька, вы такая милая, всегда готовы сделать людям приятное, — улыбнулась Аделаида. Ей вовсе не хотелось показываться с Каролиной у Фраскати: лицо у девушки под воздействием солнца стало багрово-красным, а ужасное коричневое платье делало ее похожей на горничную, вырядившуюся ради

воскресного дня; и потом, эти ноги — настоящее несчастье, точно ножки от роаяля! Словом, для тети Аделаиды Каролина была сущим наказанием во время всяких светских увеселений, а особенно на ежегодном охотничьем балу, когда она весь вечер напролет просиживала у двери, никому не нужная, вертя в руках незаполненную программку и с обреченным видом дожидаясь, когда к ней подведут какого-нибудь старичка. А сегодня и вовсе пришлось быть с этой Каролиной весь день. — Мы возьмем вас с собой как-нибудь в другой раз.

— К сожалению, мне тоже надо ехать, — сказал Стефен. Если Дэви не идет, то и ему оставаться незачем.

— В самом деле? — Хьюберт снисходительно приподнял бровь: он, пожалуй, даже любил этого своего племянника, будущего пастора, во всяком случае, вполне терпимо относился к нему. — Так рано?

— Неужели вы не можете еще побыть с нами, Стефен? — Клэр подошла к нему; в тоне ее, несмотря на сдержанность, звучала мольба. Ее нежное, утонченное лицо затеняла широкополая шляпа, украшенная розами. Сегодня, среди этой толпы, она казалась особенно привлекательной — прелестная английская девушка, рассудительная, хорошо воспитанная, с открытым лицом и приятной манерой держаться, она всюду неизбежно завоевывала себе друзей.

— Останьтесь, — добавила она.

— Дорогая моя, — вмешалась Аделаида, прежде чем Стефен успел вымолвить хоть слово, — нельзя нарушать правила и порядок. Ведь Стефен, насколько я понимаю, ведет в Доме благодати более или менее монастырский образ жизни — не так ли? — и притом, конечно, весьма достойный. Очень жаль, что он не может пойти с нами. Придется нам попировать вчетвером. Джофри будет ухаживать за Клэр, а я уж, так и быть, потерплю Хьюберта. — Аделаида снова улыбнулась, на сей раз с довольным видом: у нее были свои причины не желать, чтобы Стефен ехал с ними.

— Может быть, подвезти тебя, Каролина? — предложил Хьюберт.

— О нет, мы с Дэви поедem на метро.

— А я на автобусе, — сказал Стефен.

Все распрощались, и Стефен, смутно чувствуя, что его уход огорчил Клэр, пошел с Каролиной и Дэви. Поскольку до отхода поезда в Стилуотер еще оставалось достаточно времени, он повел их в кондитерскую Фуллера на Парк-роуд, где угостил своего младшего брата земляничным мороженым, а Каролину — чашкой чая. Высвободив незаметно ноги из ботинок, она призналась, что весь день до смерти хотела пить. Стефен проводил их до станции метрополитена на Бейкер-стрит, а сам сел в автобус № 23, направлявшийся в восточную часть Лондона.

Трясаясь в автобусе, Стефен испытывал облегчение оттого, что вокруг него снова простой люд, разместившийся без претензий на жестких сиденьях, и в то же время им владело глубочайшее уныние. Каким физическим и умственно неполноценным, каким отличным от других казался он себе все время, пока они расхаживали вокруг крикетной площадки, встречали знакомых и обменивались с ними приветствиями, завтракали под тентом Гвардейского клуба! «Странный тип», — казалось, читал он в равнодушных взглядах, какими окидывали его приятели Джоффри, обсуждая новую музыкальную комедию, охоту в Западном Сассексе и последнее увлечение кембриджской командой. В таком настроении Стефен прибыл в Дом благодати. В холле, где все еще пахло вареным мясом и капустой, которые подавались ко второму завтраку, он столкнулся с Лофтусом, направляющимся к выходу, и поздоровался. Викарий едва кивнул в ответ и скромно проскользнул мимо, но во взгляде элегантного молодого человека Стефен заметил такое ликование и злорадство, что невольно остановился:

— В чем дело, Лофтус?

Тот уже был в дверях и, обернувшись, посмотрел на Стефена через плечо с еле уловимой елейной улыбочкой.

— Как будто вы не знаете!

— Конечно не знаю. Что случилось?

— Да ничего особенного, очевидно. Если не считать того, что крошка Дилл, кажется, немного набедокурила.

«На что он намекает?» — подумал Стефен. Но тут же выбросил эту мысль из головы и, посмотрев, нет ли для него писем, пошел к себе наверх. А там на жестком стуле, стоявшем посреди комнаты, в своем парадном платье, соломенной шляп-

ке с узенькой ленточкой и в белых нитяных перчатках сидела Дженни.

При его появлении она тотчас, но без особой торопливости поднялась и в ответ на его изумленный взгляд, ибо она обычно не появлялась в Доме по субботам, сказала:

— Вы уж извините меня за вольность, сэ. Но очень нужно мне было вас видеть. А больше мне вроде бы и негде ждать вас.

— Ничего, ничего, — неуверенно заметил Стефен. — Садись же. Вот так. В чем дело?

Он направился к камину, а она снова присела на краешек стула, церемонно сложив на коленях руки в перчатках.

— Видите ли, сэ, я сегодня ухожу отсюда. Получилось это, прямо сказать, нежданно-негаданно. А вы были так добры ко мне, что как же я уйду и не попрощаюсь с вами.

— Мне очень жаль, Дженни. Я не думал, что ты так скоро покинешь нас.

— Да и я тоже не думала, сэ. Только, видите ли, они все узнали.

— Узнали? — ничего не понимая, переспросил он.

— Да, сэ. — Она деловито кивнула и откровенно, без всякого смущения пояснила: — Я сама во всем виновата, надо же быть такой дурочкой: пришла вчера без корсета. Я ведь и не думала, что уже заметно. Но нашу повариху не проведешь. Она сразу помчалась к отцу-наставнику.

— Ничего не понимаю... О чем ты говоришь?

— Да неужели вам не понятно, сэ: у меня будет ребенок!

Стефен до того растерялся, что не мог слова вымолвить. Наконец, чувствуя, что положение обязывает его сделать внушение, он, заикаясь, пробормотал:

— Боже мой, Дженни... да как же ты могла?

— Должно быть, я тогда голову потеряла, сэ.

— Что?!

— Да ведь люди-то не деревяшки, сэ. От этого никуда не уйдешь. О, со мной-то все в порядке, можете не сомневаться. Алф — парень верный. Я ведь говорила вам, что он служит на корабле стюардом и мы поженимся, когда он вернется.

Оба немного помолчали; Стефен с возрастающей симпатией смотрел на Дженни.

— Ты, как видно, любишь его.

— Да, как видно, сэ. — Лукавая улыбка на миг озарила ее молодое, свежее личико. — Он куда старше меня, конечно. И должна признаться, если бы не те две кружки пива, что я выпила тогда в «Благих намерениях», я бы ни за что не сдалась. Но конечно, я могла бы нарваться на парня куда хуже. Алф-то все-таки порядочный. И образованный. Он любит музыку и сам научился играть на губной гармонике.

Новая пауза.

— Что ж... нам будет очень недоставать тебя, Дженни.

— Мне тоже будет недоставать вас, сэ. Должна сказать, уж очень вы были ко мне добры. Не то что другие.

— Кто же это?

— Ну, перво-наперво — отец-наставник, сэ. Должна сказать, уж и задал же он мне трепку перед тем, как уволить.

— Значит, ты уходишь не по своему желанию?

— Ах что вы, сэ. Мне это совсем ни к чему...

Я ведь себя кормлю, родителей моих давно нет на свете. Но отец-наставник сказал, что нельзя такую заразу держать в доме, когда тут живут трое молодых мужчин, и прогнал меня.

Стефен прикусил губу. Поглядывая исподтишка на девушку, он заметил, что, несмотря на обычное спокойствие и добродушие, она выглядит бледной и расстроенной. Он мог бы поклясться, что в ней нет ни капли испорченности.

— Дженни, — поддавшись внезапному порыву, сказал он, — я, конечно, не хочу вмешиваться в распоряжения отца-наставника. Но надеюсь, ты приняла все необходимые меры... позаботилась о больнице и прочих вещах.

— Я не пойду в больницу, сэ. У меня есть своя комната. И я договорюсь с миссис Кетл. Она повитуха, сэ, и, говорят, очень ловкая.

— Ты уверена, что все будет в порядке?

— О, можете обо мне не беспокоиться, сэ. — Впервые в ее голосе прозвучала нотка огорчения. — Только бы я вам не причинила никаких неприятностей. Ведь все открылось и насчет той работы в школе рисования, что вы мне устроили. И отец-наставник, по-моему, очень разгневался.

Это сообщение несколько расстроило Стефена. Однако ему было сейчас не до себя — его искренне тревожила судьба Дженни, он восхищался ее мужеством и здравомыслием и возмущался тем, как с нею обошлись. За последние месяцы он очень привязался к ней, и сейчас ему хотелось чем-то проявить свое доброе к ней отношение. Он отвернулся, застенчиво порывлся в бумажнике и подошел к девушке.

— Видишь ли, Дженни... Я вовсе не хочу обидеть тебя, но ты так много для меня здесь делала... и потом, сейчас, в твоём положении, это тебе очень пригодится. Я хочу, чтобы ты приняла это от меня.

Он неловко сунул ей в руку пятифунтовую бумажку, которую сложил вчетверо, чтобы не так было заметно, какая это крупная купюра. Но к его изумлению, она стремительно вскочила и попятилась, не желая брать деньги.

— Нет... Я ни за что не возьму.

— Но, Дженни... ты должна...

Дженни была не из пласивых, однако сейчас, после того, что ей пришлось вынести за этот день, горячие слезы брызнули из ее глаз.

— Нет, сэр, я не могу... я же ничего для вас и не делала...

В эту минуту — она все пятилась, а он наступал на нее, протягивая деньги, — дверь отворилась и вошел отец-наставник. Воцарилась мертвая тишина. Достопочтенный Криспин Блисс стоял точно громом пораженный. Затем он сухо сказал:

— Можешь идти, Дилл.

Дженни повернулась и в отчаянии, обливаясь слезами, направилась к двери, но у Стефена, несмотря на его смущение и виноватый вид, все же хватило присутствия духа воспользоваться ее растерянностью и сунуть деньги в карман ее жакета.

— Прощай, Дженни, — пробормотал он. — Желаю тебе счастья.

Если она и ответила, то он этого не услышал.

С обычным своим спокойствием достопочтенный Криспин закрыл за ней дверь, затем взглянул на Стефена, поджал губы и устал вил взор в потолок.

— Десмонд, — начал он, — я предполагал, что вы ведете себя отнюдь не благонамеренно. Но я никак не мог подумать, что

вы зайдете так далеко. Будучи другом вашего дорогого батюшки, я безмерно огорчен вашим поведением.

Стефен проглотил комок, вставший вдруг в горле. Щеки его побелели, но темные глаза загорелись огнем.

— Я не совсем понимаю вас.

— Полно, полно, Десмонд. Вы же не можете отрицать, что состоите — и уже довольно давно — в непотребной связи с этой юной особой, которую я только что выгнал.

— Мы были друзьями с Дженни. Она оказывала мне множество мелких услуг. И я в свою очередь пытался помочь ей.

— Ага! — многозначительно кивнул отец-наставник. — И помощь эта, по вашему разумению, заключалась в том, что вы частенько приглашали ее к себе и сидели вдвоем с ней в комнате.

— Она приходила ко мне делать уборку. И я иногда рисовал ее. Вот и все.

— В самом деле? Значит, вы считали вполне возможным — на правах будущего священника — втихомолку использовать в качестве натурщицы одну из служанок этого дома Христова. Я почел своим долгом просмотреть кое-что из рисунков, явившихся следствием этого тайного содружества, и, должен признаться, они показались мне весьма и весьма двусмысленными.

Кровь бросилась Стефену в лицо. Глаза его гневно сверкнули.

— Насколько мне известен ваш вкус, сэр, — сказал он, весь дрожа, — я не вижу ничего удивительного в том, что вы их не поняли.

— В самом деле? — парировал Блисс с ледяным спокойствием, которое, по его мнению, так шло его особе. — Видно, и в самом деле мои взгляды — особенно взгляды на мораль — существенно отличаются от ваших.

— Несомненно, — отбросив всякую осторожность, заявил Стефен. — Я бы, например, не стал выбрасывать на улицу эту несчастную из-за одного проступка.

— Не сомневаюсь. Этого-то я как раз и опасался.

— Что вы хотите сказать?

До сих пор отец-наставник искусно держал себя в руках, но сейчас бурлившие в нем чувства вырвались наружу: нос его заострился и высокое чело почти грозно нахмурилось.

— Хотя Дилл и назвала виновника, я не убежден, что она сказала правду. Во всяком случае, я глубоко уверен, что ваше отношение к этой злополучной девице, то, как вы использовали ее во имя так называемого высокого искусства, делает вас, по крайней мере, ответственным, косвенно повинным в ее падении.

Прерывисто дыша, Стефен недобрим взглядом смотрел в упор на Блисса. Наконец он не выдержал:

— Никогда в жизни я не слышал большей мерзости. И большей лжи. Дженни вовсе не падшее существо. У нее есть возлюбленный, и он намерен на ней жениться. Должно быть, это ваше понятие о христианском милосердии понуждает вас чернить без всяких оснований ее и меня?

— Замолчите, сэр! Я не позволю вам говорить со мной в таком тоне. Если бы я слепо следовал велению долга, я обязан был бы потребовать, чтобы вы покинули наш Дом. — Он помолчал, чтобы успокоиться. — Но из уважения к вашей семье, а также заботясь о вашем будущем — ведь у вас еще все впереди, — я склонен быть более снисходительным. Я обязан сообщить вашему отцу о том, что произошло. А *вам*, конечно, придется дать *мне* письменное обязательство, что вы раз и навсегда покончите с этой манией, которую вам угодно называть «служением искусству» и которая никоим образом не совместима с избранной вами стезей священнослужителя. Кроме того, я вынужден буду наложить на вас и другую епитимью. Зайдите ко мне в кабинет после вечерней молитвы, и я скажу вам, в чем она будет состоять.

И, не дав Стефену возможности произнести ни слова, он круто повернулся и вышел из комнаты.

— Пошел ты к черту! — в ярости воскликнул Стефен. К сожалению, дверь за отцом-наставником уже захлопнулась.

Несколько секунд Стефен стоял неподвижно, сжав кулаки, пристально глядя на панели полированного дуба, опоясывав-

шие стены. Затем махнул рукой, присел к столу, вынул из ящика почтовую бумагу и схватил перо.

Дорогой отец!

Я очень старался приноровиться к здешним порядкам, но из этого ничего не вышло. Я не хочу причинять Вам боль и не хочу принимать окончательное решение вопреки Вашей воле, но обстоятельства сложились так, что я вынужден уехать на время — по крайней мере на год, — чтобы кое в чем разобраться, а также проверить свои способности в той области, которая Вам настолько неприятна, что я даже не стану называть ее. Я понимаю, какой наносю Вам удар, но моим единственным оправданием служит то, что я просто не могу поступить иначе.

Привет всем в Стилуотере, а также Клэр. Я напишу Вам теперь уже из Парижа.

Стефен

ГЛАВА VI

Стефен не знал Парижа, и, хотя дыхание этого кипучего города с первого же мгновения опьянило его, он думал лишь о том, какими ироническими взглядами, должно быть, встречают истинные парижане всякого иностранца. Поэтому-то он и решил остановиться в гостинице, о которой в сдержанно-одобрительном тоне, как и подобает священнику, отзывался его отец, и как можно увереннее назвал ее извозчику, после чего тот с головокружительной быстротой помчал его от Северного вокзала по неожиданно пустым воскресным улицам к гостинице «Клифтон» на улице Ла-Сурдиер.

Это было довольно тихое заведение, пожалуй, чересчур унылое, но вполне респектабельное, с квадратным внутренним двором под стеклянной крышей, куда посетитель попадал через узкий проход и куда выходили обнесенные железной решеткой балконы номеров. Сонные служащие — тон здесь задавала похожая на черепаху кошка, дремавшая на конторке, — нимало не удивились, когда перед ними предстал молодой англичанин. И в самом деле, пожилой швейцар, проведя Сте-

фена навверх, в его номер, который оказался довольно темным и душным, с выцветшими обоями и огромной кроватью под красным балдахинном, снял, усердно отдуваясь, с плеча багаж и, к удивлению Стефена, тотчас спросил, не желает ли он чаю.

— Нет, спасибо. — Стефен улыбнулся, подумав о том, как интересно можно было бы написать этого старика с выцветшими глазами, с обвисшими, в красных прожилках, щеками, в полосатом, желто-черном, жилете на фоне мрачной комнаты. — Я хочу прогуляться... посмотреть город.

— Сегодня вы не много увидите, мсье. — Швейцар благодушно пожал плечами. — Все закрыто.

Но у Стефена едва хватило терпения лишь на то, чтобы упаковать чемодан и сунуть вещи в пыльный шкаф. Затем он в крайне приподнятом настроении вышел из гостиницы и пошел наугад по улице Мон-Табор и дальше, через площадь Согласия. Первая его мысль была о Глине, но прощание с ним было настолько мучительным, что он забыл спросить у Ричарда адрес, а тот за это время не написал ему ни слова. Однако Стефен был уверен, что в том кругу, к которому он намерен примкнуть, они непременно встретятся.

Погода была мягкая, солнечная; по бледному небу плыли сверкающие облака. Увидев набережную, обсаженную каштанами, уже одетыми пышной листвой, Стефен чуть не вскрикнул от восторга. Сочные листья легко трепетали на ветру, лаская глаз. Стефен пересек широкий проспект и вышел к Сене, серой и блестящей, как сталь, — она катила свои искрящиеся на солнце воды мимо черных, пришвартованных к берегу барж. На одной из них молодая полногрудая светловолосая женщина развешивала на веревке розовое белье. Маленькая белая собачонка прыгала у ее ног. Мужчина в котелке и фуфайке с закатанными до локтя рукавами мирно курил, сидя на перевернутом ведре.

В неизъяснимом упоении Стефен медленно брел вдоль берега, он прошел по Королевскому мосту, миновал ряд покосившихся книжных киосков и по Новому мосту снова вернулся на остров Ситэ. Здесь он остановился, любуясь игрою красок на воде, темными тенями, наползавшими на каменные громады.

Только когда дневной свет совсем погас, он повернулся и, одурело вздохнув, направился к себе в гостиницу.

Город начинал пробуждаться от своего воскресного оцепенения. В переулках, к северу от реки, постепенно оживали маленькие кафе. Открылись продуктовые магазины, на улицу вышли подышать свежим воздухом семейства буржуа, на порогах домов появились дородные мужчины в ковровых шлепанцах. Возле еще запертой булочной собирались хозяйки и, мирно судача, ждали, когда откроют, чтобы купить хлеба. «Я в Париже, — пьянея от этой мысли, думал Стефен, — наконец-то, наконец!»

По контрасту с тем, что видел Стефен, «Клифтон» в этом мистическом сумеречном свете походил чуть ли не на суровый склеп. Впечатление это было настолько сильным, что на минуту Стефену захотелось повернуться и пойти ужинать к «Максиму» или в «Кафе Риш» — словом, в один из тех веселых ресторанов, о которых он столько читал. Но он устал и стеснялся идти туда один. Кроме того, он решил не слишком транжирить деньги. От содержания, которое ежегодно давал ему отец, осталось сто пятьдесят фунтов, и этой суммы должно хватить ему на весь год.

Итак, он прошел в холодную, как погреб, столовую и в полном одиночестве — если не считать джентльмена холостяцкого вида, в тускло-коричневом сюртуке из норфолкской шерсти, который не отрываясь читал какую-то книгу в промежутках между едой и во время оной, а также двух старушек в сером, которые непрерывно шептались о чем-то (все трое были, несомненно, англичанами), — съел обед, состоявший из супа, барашка и кислого сливового компота, вполне, конечно, доброкачественный, но начисто опровергавший утверждение, что во Франции искусством французской кухни владеют все повара. Однако ничто не способно было омрачить радужное настроение Стефена. Он, насвистывая, взбежал по ступенькам к себе в номер и заснул беспробудным сном в своей постели под балдахинном.

На следующее утро он без промедления отправился на Монпарнас. После длительного размышления он решил не поступать в Школу изящных искусств, а пойти в знаменитую Ака-

демическую школу на бульваре Селин, которую вел сам профессор Дюпре. Он без труда нашел студию по карте Парижа, которой предусмотрительно запасся в гостинице. Школа помещалась на верхнем этаже здания, похожего на казарму, за высокой остроконечной оградой с двумя пустыми сторожевыми будками у входа, немного в стороне от бульвара. Застоявшийся запах дубленой кожи указывал на то, что в свое время здесь был интендантский склад, а невероятный шум, доносившийся сверху, на какое-то время создал у изумленного Стефена впечатление, что тут до сих пор расквартированы войска. Когда он поднялся наверх, выполнив необходимые формальности и записавшись на посещение занятий у *massier*¹ — огромного детины с плоским лицом, в сером свитере и парусиновых брюках, похожего на бывшего боксера, да, собственно, и сидевшего-то здесь затем, чтобы не допускать слишком уж бесшабашных выходов, — то обнаружил, что занятия начались.

В большой светлой комнате с огромной голландской печью и стенами, которые, казалось, сплошь состояли из окон, было полно народу — тут сидело человек пятьдесят, и более странного сборища Стефену, пожалуй, не приходилось видеть. В большинстве своем это были мужчины в возрасте от двадцати до тридцати лет, одетые сообразно самым различным вкусам и представлявшие самые разные национальности — бородатые славяне, темнокожие индийцы, группа белесых скандинавов и несколько американцев. Не менее своеобразную картину являли собою и женщины. Внимание Стефена привлекла пожилая особа в мышинного цвета блузе, которая сквозь пенсне в золотой оправе пристально вглядывалась в стоявший перед нею холст — ни дать ни взять сельская учительница перед классной доской.

Шум здесь царил поистине оглушительный: молодые художники без умолку болтали, громко пели на разных языках и перекликались через всю комнату. Казалось, в таком гаме появление Стефена пройдет незамеченным. Но когда он, в своем темном священническом одеянии, с жестким белым воротничком и черным галстуком, какие обязаны носить будущие свя-

¹ Староста в школе живописи или скульптуры (*фр.*).

щенники на Клинкер-стрит, несколько побледнев, нерешительно остановился на пороге, в студии вдруг воцарилось молчание и внимание всех присутствующих, на беду Стефена, обратилось на него. Затем в наступившей тишине кто-то фальцетом выкрикнул:

— Ah! C'est monsieur l'abbé!¹

Взрыв хохота вторил этому возгласу. Вконец смущенный, Стефен отыскал табуретку, измазанную высохшими красками, но мольберта не оказалось, и, с трудом протиснувшись на свободное место, он положил на колено папку с бумагой для рисования.

Натурщик — старик с длинной седой шевелюрой, похожий на бывшего актера, — сидел в традиционной позе на деревянном помосте в центре комнаты, слегка нагнувшись вперед, подперев подбородок рукой. Стефену не понравилась поза, да и выражение лица у старца было скучающее, безразличное, но делать было нечего: он взял уголь и принялся за работу.

В одиннадцать часов появился мсье Дюпре — мужчина лет шестидесяти, по-театральному красивый, подтянутый, с густой гривой волос, благородной осанкой и подвижными, нервными руками. Брюки у него, правда, слегка провисали сзади и на коленях, но облегающий сюртук придавал ему чинный, даже почтенный вид, что еще больше подчеркивала ленточка Почетного легиона в петлице. При его появлении, нарочито неожиданном, шум слегка поутих, и в этой относительной тишине он стал медленно продвигаться по комнате, точно врач, совершающий обход палаты; время от времени он останавливался и, прищурившись, разглядывал какое-нибудь полотно, после чего произносил несколько отрывистых слов, сопровождая их плавными и широкими жестами.

Заметив, что профессор направляется к нему, Стефен приготовился услышать слова приветствия или какой-нибудь учтивый вопрос, но мсье Дюпре, державшийся с безразличием человека, которого все это очень мало касается, не сказал ни слова. Он только искоса взглянул на Стефена — отчасти с любопытством, а в общем равнодушно, — затем на его рисунок

¹ А, так это господин аббат! (*фр.*)

и через минуту, даже не шевельнув бровью, уже стоял возле следующего ученика.

В час дня раздался звонок. В мгновение ока поднялся невообразимый гомон, натурщик вскочил, словно его сбросила со стула спущенная пружина, и, шаркая, спустился с помоста, в то время как студенты, побросав кисти и палочки угля, устремились гурьбою к двери. Растерянный и разочарованный, Стефен помимо воли последовал за ними, захваченный общим потоком. Внезапно он услышал рядом чей-то приятный голос:

— Вы англичанин, не правда ли? Я сразу вас заметил. Моя фамилия Честер.

Стефен повернул голову и увидел красивого молодого человека примерно своего возраста, который с улыбкой смотрел на него сверху вниз. Светловолосый, с ямочкой на подбородке и голубыми глазами, затененными длинными темными ресницами, он производил необычайно приятное впечатление и казался человеком с открытой душой. Вокруг шеи у него был повязан старенький галстук воспитанника Харроу¹.

— Я подожду вас внизу! — крикнул он, увлекаемый людским потоком к двери.

На улице Честер протянул Стефену руку.

— Надеюсь, вы не рассердились, что я заговорил с вами. Нам, пришельцам с той стороны Ла-Манша, не мешает держаться вместе среди этого сброда.

После столь удручающего приема, оказанного ему в студии, Стефен рад был обрести приятеля. Он представился, и Честер, помолчав немного, предложил:

— А не позавтракаете ли вы со мной?

И они вместе пошли по бульвару.

Кабачок, в который они направились, находился совсем близко, на площади Селин. Это была узкая комната с низким потолком, вроде погребка, куда вели шесть ступенек; к ней примыкала небольшая темная кухонька, где в очаге пылал уголь и жарилось мясо на вертеле, а в воздухе стоял грохот от медной посуды и приятный запах кушаний. Почти все столики были уже заняты — преимущественно учениками Дюпре, но Честер,

¹ Аристократическая закрытая школа в Англии.

не задумываясь, уверенно провел Стефена во двор, декорированный кустиками бирючины, и, пройдя в дальний угол, с невозмутимым видом убрал со столика карточку, на которой значилось «занято», ловко забросил шляпу на крючок и указал Стефену на стул.

Не успели они сесть, как из кухни в великом возмущении выскочила дородная краснолицая матрона в черном.

— Нет-нет, Гарри... это столик для мсье Ламберта.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, мадам Шобер. — Честер улыбнулся. — Вы знаете, что мсье Ламберт — мой большой друг. К тому же он всегда опаздывает.

Мадам Шобер явно не удовлетворило это объяснение: она спорила и ворчала, но под конец обаяние Гарри Честера — как она ни старалась противостоять ему — одержало все-таки верх. Пожав плечами, как бы в знак капитуляции перед собственной слабостью, она предложила вниманию молодых людей табличку с написанным мелом меню, свисавшую на шнуре с пояса, которым был перехвачен ее передник.

По совету Честера они заказали домашний овощной суп, мясо по-бордоски и сыр бри. На столе уже стоял графин с пенящимся светлым пивом.

— Славная, в общем, старушенция, — с усмешкой заметил Честер, когда она ушла.

Во время еды он поддерживал оживленную беседу и с неистощимым остроумием давал банально-хлесткие характеристики своим соседям. Он показал Стефену итальянца Бьонделло, который в прошлом году — представьте себе! — выставял свои работы в Салоне, а также Пьера Омерля, погибшего человека, который каждый день выпивает по бутылке перно, — сейчас он завтракал с какой-то раскрасневшейся женщиной в широкополой шляпе, при виде которой Честер с улыбкой приподнял брови. Как бы между прочим он задал и Стефену два-три вежливых вопроса касательно его самого. Затем, когда уже принесли кофе, он помолчал с чуть смущенным видом и счел нужным сказать несколько слов о себе.

— Любопытно, правда, — начал он, чертя узоры на клетчатой скатерти, — как можно безошибочно угадать воспитанника университета! И Філип Ламберт оттуда. После Харроу, — он

метнул быстрый взгляд на Стефена, — я тоже должен был пойти в Кембридж... если бы не бросил все ради искусства.

И он с обезоруживающей улыбкой поведал Стефену, что отец его был крупным чайным плантатором на Цейлоне, а мать, овдовев, вернулась на родину и поселилась в Хайгете, в большом особняке с множеством слуг. Она, конечно, очень балует его и не ограничивает в деньгах. Он уже полтора года живет в Париже.

— Тут необычайно весело, — в заключение заявил он. — Я непременно должен показать вам все здешние достопримечательности.

— А что вы думаете о Дюпре? — спросил Стефен.

— Он самый здравомыслящий из всех парижских учителей. Вы знаете, он награжден орденом Почетного легиона.

Стефена это слегка покорило, но он промолчал. Честер озадачивал его, как мог бы озадачить впервые увиденный рисунок, хотя и приятный, но слишком замысловатый, на его вкус.

Они покончили с кофе. Посетители вокруг стали расходиться.

— Ваш друг Ламберт, видимо, не собирается сегодня быть здесь, — наконец заметил Стефен, прерывая молчание.

Честер рассмеялся.

— Филип — великий бродяга. Никто не может сказать, когда он появится... и с какой хорошенькой бабенкой.

— Он тоже занимается у Дюпре?

— Он работает дома... то есть *если* работает. У него, видите ли, имеется свой капиталец, и он исколесил всю Европу, учился в Риме и в Вене. А сейчас он с женой снимает небольшую квартиру близ эспланады Инвалидов. М-да... — Честер кивнул. — Должен сказать вам, Десмонд, миссис Ламберт — пикантная штучка. Но конечно, стопроцентная леди.

Эта фраза опять резанула слух Стефена, и он искоса взглянул на своего собеседника, удивляясь, как тот может говорить так о знакомой даме. Но прежде чем он успел ответить себе на этот вопрос, Гарри Честер вдруг выпрямился.

— Вот и Филип идет.

Проследив за взглядом Честера, Стефен увидел стройного, подчеркнуто элегантного мужчину лет тридцати, в коротком коричневом пиджаке, открывавшем манишку, на которой красовался пышный галстук. Его бледное лицо с темными кругами под глазами выглядело томно-усталым. Блестящие черные волосы были разделены аккуратным пробором посредине, но с одной стороны от них отделялся маленький локон, ниспадавший на белый лоб. От его манер — вообще от всего его облика — веяло жеманной леностью, скукой и самомнением.

Направляясь к их столику, он сунул под мышку трость и принялся стягивать с руки лимонно-желтую перчатку, не сводя с Честера взгляда, исполненного легкого презрения и предвкушения предстоящей забавы.

— Спасибо, старина, за то, что постерег мой столик. А теперь — марш отсюда. Я пригласил кое-кого на два часа. Нянька мне при этом не понадобится.

— Мы уже уходим, Филип. — В тоне Честера появились подбострастные нотки. — Послушай, я хочу познакомить тебя с Десмондом. Он сегодня начал заниматься у Дюпре.

Ламберт взглянул на Стефена и вежливо поклонился.

— Десмонд только в прошлом семестре окончил Оксфорд, — поспешил доложить Честер.

— В самом деле? — проронил Ламберт. — А какой колледж, разрешите поинтересоваться?

— Святой Троицы, — ответил Стефен.

— Вот оно что! — Ламберт изобразил улыбку, обнажившую ровные белые зубы, и, сняв вторую из своих узких замшевых перчаток, что заняло немало времени и что он проделал, несколько не смущаясь, в полном молчании, протянул Стефену маленькую руку. — Рад с вами познакомиться. Сам я окончил правовой факультет. Пожалуйста, не утруждайте себя и не топнитесь. Я могу найти и другой столик.

— Уверяю вас, — сказал Стефен, вставая, — что мы уже закончили.

— В таком случае приходите как-нибудь ко мне на чай. Мы почти всегда дома по средам в пять часов. Гарри приведет вас. Теперь нас будет двое из Оксфорда и один, — он с улыбкой взглянул на Честера, — который чуть не поступил в Кембридж.

Счет, поспешно принесенный мадам Шобер, уже лежал на столе. Поскольку Честер сделал вид, будто не замечает его, Стефен взял бумажку и, несмотря на неожиданный и весьма шумный протест Честера, расплатился.

ГЛАВА VII

Свобода, которой пользовался теперь Стефен, была для него чем-то таким упоительным и новым, что он с восторгом и без всякого труда втянулся в этот приятный для него образ жизни, тем более что через неделю после своего приезда в Париж он получил письмо из Стилуютера, снявшее большую тяжесть с его души. Настоятель, правда, писал о том, какую боль причинил ему внезапный отъезд Стефена, но в общем прощал его. Видимо, писал он, эта тяга к живописи (слово «влечение» было зачеркнуто) оказалась слишком сильной и Стефен не сумел ей противостоять. А потому, может, «оно и к лучшему», если оба они, как предлагает сам Стефен, сочтут этот годовой перерыв своего рода «испытательным сроком». А пока он одобряет выбор гостиницы, сделанный Стефеном, уверен, что вызывать к добродетели сына ему не придется, и хочет, чтобы Стефен жил сообразно своему положению и не нуждался ни в чем.

Просыпаясь утром, Стефен не переставал удивляться тому, что он в Париже и действительно «занимается живописью». Он вставал, быстро одевался и, поскольку завтрак в «Клифтоне» не сулил ничего приятного, отправлялся в маленькую молочную за углом. Здесь за тридцать су ему подавали кружку горячего кофе с молоком и две слоеные булочки, только что вынутые из печки. Прогулка до студии по прохладным утренним улицам была истинным наслаждением. Толпы суетливых пешеходов, полицейские в голубых накидках, вставшие спозаранку хозяйки, направляющиеся за покупками, перевесив корзинку через руку, солдат-зуав в малиновых шароварах, две привратницы, судачащие, опершись на метлы, старик-дворник, выливающий ведро воды на канализационную решетку, тележки, груженные свежими овощами, с грохотом выезжающие с Центрального рынка, — все приводило его в восторг, равно как

и резкие пронзительные выкрики, многоязычный гомон, нежный перезвон колоколов и расплывающиеся в дымке серые громады зданий, изящные белые мосты и красавица-река, по которой солнце уже разбросало свои первые блики.

Зато к атмосфере в студии он никак не мог привыкнуть. Отсутствие порядка и постоянный шум мешали сосредоточиться. Казалось, многие учащиеся приходили сюда не столько для того, чтобы работать, сколько из желания развлечься и дать волю своим изменчивым наклонностям. Они смеялись и пели, грубо подшучивали друг над другом, ходили в кафе, где без конца громко разглагольствовали, спорили и ссорились, усиленно подчеркивая свою принадлежность к богеме манерой одеваться и держать себя. Они говорили на местном жаргоне, были всеведущи по части последних «направлений», признавали Мане, Дега, Ренуара и всячески изощрялись в подражании им, презирали Милле и Энгра, критиковали Делакруа и почти ничего не могли создать сами.

Были, конечно, и такие, которые занимались очень прилежно. Рядом со Стефеном сидел юноша-поляк из маленького провинциального городка близ Варшавы — подстегиваемый честолюбием, он без гроша в кармане приехал в Париж. Для того чтобы оплатить занятия у Дюпре, он целый год работал носильщиком на Монпарнасском вокзале. Усердие его было поистине устрашающим, но талант совершенно отсутствовал. Стефен часто надеялся, что как-нибудь во время своего ежедневного обхода Дюпре одним словом милосердно положит конец этим бесполезным мукам. Но профессор ничего не говорил и ничего не предпринимал, лишь подправит какую-нибудь линию или бесстрастным тоном укажет на нарушение законов композиции. Столь же безразличным было и его отношение к Стефену, если не считать того, что раз или два, посмотрев работу Стефена, он как-то странно, чуть ли не украдкой, испытующе поглядел на него, точно видел впервые.

Постепенно Стефен начал понимать, что под внешней холодностью и высокомерием Дюпре скрывается едкая горечь разочарования, желчное раздражение человека, который в глубине души знает, что его юношеские мечты и надежды потерпели крах. Получить признание в официальных кругах, ежегодно

выставляться в Салоне (где неизменно на выгодном месте вывешивается его очередная, старательно выписанная картина на безобидный сюжет), заседать в советах и комиссиях, представлять «искусство» в белых перчатках на правительственных приемах — что все это могло значить для человека, который намеревался потрясти мир неслыханным шедевром? Дюпре никогда по-настоящему не интересовался своей школой, а еще меньше — своими учениками, если не считать тех случаев, когда с щемящим чувством зависти видел перед собой талант, который мог превзойти его собственное дарование. За высокомерным фасадом скрывался опустошенный человек, вынужденный подчиняться тому, другому, за которого он себя выдавал, — человек, больше достойный жалости, нежели презрения. И теперь, когда профессор с важным видом появлялся в студии, Стефен неизменно представлял его себе в конце дня: медленно сняв узкий сюртук и начищенные штиблеты на пуговицах, пошевелив затекшими пальцами, чтобы не так ныли мозоли, он садится, сгорбившись, у печки в своей роскошной мастерской и, повернувшись к незаконченному полотну «Бретонская свадьба», с содроганием думает: «Боже мой, неужели я опять должен браться за это?»

Обедал Стефен обычно с Честером у мадам Шобер, но иногда он избегал чрезмерного дружелюбия Гарри и отправлялся бродить один по набережной, жуя булку с ветчиной, намазанной ярко-желтой горчицей. Утолив голод, он торопливо бежал в музей — в Лувр или Люксембургский дворец. И лишь с наступлением темноты, покинув длинные галереи, он выходил на улицу, растерянно стоял, пока глаза не привыкнут к реальности окружающего, и шел к себе в «Клифтон».

Честеру и нескольким другим молодым людям, с которыми Стефен познакомился у Дюпре, казалось просто непостижимым, что он проводит вечера в одиночестве, и они неоднократно приглашали его с собой на Монмартр. Как-то раз он согласился, и они всемером отправились в кафешантан «Голубая шляпка» близ «Мулен-де-ла-Галетт».

Но у Стефена скоро скулы начало сводить от скуки: такой глупой и бессмысленной казалась ему эта видимость оживления и веселья. В танцевальном зале топала, толкалась, кружи-

лась полупьяная толпа, которую множили и искажали десятки зеркал, — танцоры выделяли немыслимые фигуры под оглушительный рев третьесортного оркестра. А лица завсегдаев с ввалившимися щеками и мертвыми глазами производили и вовсе удручающее, даже отталкивающее впечатление. Несколько известных кокоток, которых показал ему Честер, были просто омерзительны, а их кавалеры в облегающих черных костюмах выглядели мрачными дегенератами.

Через некоторое время к компании, уже разошедшейся вовсю, присоединилось несколько молодых женщин. Стефен с любопытством принялся их рассматривать. Их грубые голоса и панибратское обращение, бесцеремонная манера обнимать за шею и громким шепотом произносить всякие нежности вызвали в нем чувство гадливости и отвращения. Он сидел бледный, молчаливый, точно рыба, вынутая из воды; внезапно одна из девиц наклонилась к Честеру, который к этому времени успел изрядно напиться, и, глядя на Стефена, шепнула ему что-то на ухо. Честер так и покатился со смеху.

Стефен оставил это без внимания, но по дороге домой потребовал у Честера объяснений.

— Да ничего особенного, старина. Просто она сказала, — пояснил Честер извиняющимся тоном, опуская грубое, нецензурное выражение, — что ты странный малый. — И уже вдогонку Стефену крикнул: — Мне очень жаль, что тебе не было весело сегодня. Не забудь, что в среду мы идем к Ламбертам. Заходи за мной, и отправимся вместе.

В назначенный день около четырех часов Стефен явился на улицу Бонапарта, где в доме номер пятнадцать Гарри снимал комнату на самом верху. Взобравшись по крутой лестнице на четвертый этаж, Стефен услышал громкие голоса спорящих и, толкнув приоткрытую дверь, увидел Честера, препиравшегося с коротеньким человечком в квадратном черном цилиндре и поношенном пальто, который, не обращая на него ни малейшего внимания, наблюдал за своим помощником, а тот деловито засовывал во вместительный холщовый мешок каминные часы, две фарфоровые парные вазы и разные безделушки, украшавшие комнату.

— А теперь позвольте ваши часы, мсье Честер.

— Побойся бога, Морис, — взмолился Честер, — оставь мне часы. Ну хотя бы на этот раз. Подожди до конца недели, и я с тобой сполна рассчитаюсь.

Тут Честер увидел Стефена. На какое-то мгновение он растерялся, затем подошел к гостю и, изобразив на лице улыбку, доверительно пояснил:

— Вот идиотское положение, Десмонд! Кончились деньги, и пришлось залезть в долги. А теперь эти проклятые кредиторы накупились и обдирают как липку. И должен-то я им пустяк. Всего каких-нибудь две сотни франков... а ведь в конце месяца я непременно получу чек от матушки. Конечно, я не собирался просить у тебя, но если бы ты мог...

Небольшая пауза.

— Я с радостью выручу тебя, — охотно согласился Стефен.

— Огромное спасибо, старина. Я верну тебе с процентами первого числа. Держи, Морис, грабила ты эдакий. А теперь foutez le camp!¹

Честер сложил хрустящие банкноты, которые Стефен вынул из бумажника, и сунул судебному приставу. Тот, послушав палец, дважды пересчитал их, затем молча кивнул, вытряхнул содержимое мешка на стол и, поклонившись, с непроницаемым видом выскользнул в сопровождении своего помощника из комнаты.

— Вот и избавились! — весело рассмеялся Честер, словно был свидетелем веселой шутки. — Мне бы очень не хватало моих старых горшков. Ну и, конечно, этого... — Поставив вазы на их прежнее место на каминной доске, он с небрежным видом нажал на пружинку маленькой плоской коробочки, крышка отскочила, и глазам Стефена предстала круглая серебряная медаль на голубой шелковой ленточке. Скромно опустив глаза, Честер помедлил и с совершенно очаровательной, чуть смущенной улыбкой добавил: — О таких вещах не принято распространяться, Десмонд. Но уж раз вы застали меня, так сказать, врасплох... это медаль Алберта. Я получил ее года два тому назад.

¹ Пошел вон! (фр.)

— За что же, Честер? — невольно проникаясь к нему уважением, спросил Стефен.

— За так называемое спасение утопающих. Какая-то глупая старуха упала за борт фолкстонского парохода. Впрочем, трудно винить ее за это: погода была чертовски бурная... зима. Я бросился за ней. Такая ерунда, что и говорить-то не о чем. Мы пробыли в воде не больше получаса, пока пароход развернулся и выслал за нами шлюпку. Но хватит об этом, пора идти. Если мы не поторопимся, то опоздаем к чаю.

Честер снова был в своем обычном хорошем расположении духа и болтал и смеялся все время, пока они спускались по лестнице и шли к Ламбертам, которые жили в тупике позади авеню Дюкен. Там, в глубине мощенного булыжником двора, стоял небольшой серый каменный домик — ярко-зеленая дверь и ящики на окнах того же цвета указывали на то, что здесь живет человек с художественным вкусом; в свое время, в эпоху Генриха Четвертого, это, по-видимому, была привратничьякая при большом доме. В тесных комнатах было довольно темно, пахло едой и недавно сожженной курительной свечкой, но и здесь чувствовался тот же художественный вкус: яркие пятна ковров, занавески из бус, бамбуковые стулья. На пианино лежала испанская шаль.

По милости непоседы Честера они пришли слишком рано. Ламберт, дремавший в качалке у догоравшего камина, все еще пребывал в состоянии послеобеденного оцепенения и с трудом приподнял отяжелевшие веки, когда они вошли. Зато миссис Ламберт радушно приветствовала их. Она была высокая и стройная, немного старше, чем ожидал Стефен, с большими зелеными глазами, слегка заостренными чертами лица, рыжеватыми волосами и характерной для всех рыжих молочно-белой кожей. На ней было нарядное платье из белой парчи, с красивым круглым вырезом у шеи и длинной широкой юбкой.

Между миссис Ламберт и Честером тотчас завязалась беседа, так что Стефен мог спокойно наблюдать за хозяйкой дома — она сидела возле лакированной ширмы в изящной позе, изогнув длинную шею; заметив его пристальный взгляд, она посмотрела на него с лукавой усмешкой:

— Надеюсь, вы одобряете мое платье?

Всем своим тоном она вызывала его на комплимент, и он сказал:

— Я уверен, что Уистлер с удовольствием написал бы вас в нем.

— Как это мило с вашей стороны. — И она доверительно добавила: — Я его сама сшила.

Вскоре она вышла и почти тотчас вернулась, неся на серебряном подносе несколько чашечек, гору тончайших сэндвичей с кресс-салатом и птифуры. Когда она стала разливать чай, Ламберт зевнул и потянулся.

— Чай! — воскликнул он. — Не могу жить без чая. Да здравствует бодрящий чай! Налей мне покрепче, Элиза. — Взяв из ее рук чашку и небрежно покачивая ею, он добавил: — Возможно, даже этот чай прибыл с твоих обширных плантаций на Цейлоне, Гарри. Разве это не вдохновляет тебя поскорее отведать его? Ты уж не скрывай от нас, если он придется тебе по вкусу. — Он взглянул на Стефена. — Ну-с, что же вы подельваете в этом гнусном городе, мсье аббат?

Стефен вспыхнул. Он понял, что Честер рассказывал здесь о нем.

— Должно быть, вам кажется это странным: будущий священник — и вдруг изучает живопись. — И он вкратце пояснил, каким образом попал в Париж.

После его слов на какое-то время наступило молчание, затем Ламберт с обычной своей иронией воскликнул:

— Bravo, аббат! Теперь вы во всем покаялись, и мы безоговорочно отпускаем вам ваши грехи.

А Элиза, слегка наклонившись к нему, прожурчала с подкупающей улыбкой:

— Вас, видно, очень тянуло к живописи. Выпейте еще чаю.

Поднявшись, чтобы передать ей чашку, Стефен заметил на стене три шелковых веера, разрисованных в японской манере. Он остановился, пораженный изяществом исполнения.

— Что за прелестные вещицы! Чья это работа?

Ламберт приподнял брови. Затем закурил сигарету и только тогда намеренно небрежным тоном ответил:

— Собственно говоря, дорогой аббат, моя. Если вам не скучно смотреть на такие вещи, я могу показать вам еще кое-что.

Он поставил чашку на стол и принес из маленького коридорчика несколько полотен, которые с усталым видом устанавливал одно за другим на высокий стул у окна так, чтобы на них падало побольше света.

Почти все картины были маленькие и незначительные по теме — ветка цветущей вишни в синей вазе; две плакучие ивы склонились над заросшим прудом; мальчуган в соломенной шляпе сидит на дереве у реки, — но в каждой была своеобразная декоративность, придававшая известную прелесть рисунку. И благодаря этому безжизненная картина приобретала особое, изысканное очарование.

Когда осмотр полотен подошел к концу — а их было пять, — Стефен повернулся к Ламберту.

— Я и не думал, что вы можете так писать... Это восхитительно.

Ламберт с безразличным видом пожал плечами, хотя его явно порадовала похвала, тогда как жена его, перегнувшись к Стефену, горячо пожалала ему руку.

— Фил настоящий гений. Он и портреты пишет. — Она надолго остановила на Стефене взгляд своих зеленых блестящих глаз. — Если у вас найдется покупатель... учтите, что все дела веду я.

Тут раздался звонок у входной двери, и один за другим стали прибывать гости. Все они были словно специально подобраны для этого дома, где царила атмосфера утонченной богемы: молодой человек в белых носках с рукописью под мышкой; еще один мужчина, не такой молодой, зато с квадратными плечами и необычайно холеной внешностью — из американского посольства; натурщица по имени Нина, которую Стефен частенько видел у мадам Шобер; дородный пожилой француз с моноклем, который с умильной галантностью приложился к ручке Элизы и на которого, как на возможного покупателя, она обратила всю свою тонкую лесть. Принесли свежий чай, Ламберт принялся разливать виски, гул голосов стал громче, и вскоре Стефен, считая, что первый визит никогда не следует затягивать, встал, чтобы откланяться. И Филип, и его жена усиленно приглашали его заходить почаще. Миссис Лам-

берт даже оторвалась от разговора с кем-то из гостей и проводила его до двери.

— Поедьте с нами в воскресенье кататься на лодке. Мы хотим устроить пикник в Шанпросей. — Она помедлила и, сделав удивленные глаза, словно одаряя своего слушателя величайшей похвалой, сказала: — А знаете, вы очень понравились Филипу.

Итак, в воскресенье, а затем и в последующие дни Стефен ездил с Ламбертами — иногда один, а иногда с Честером или с кем-либо еще из их друзей — в прелестные места между Шатильоном и Мелэном, где Сена образует такие красивые излучины. Они садились у Нового моста на пароходик, доезжали до Аблона, а там брали напрокат лодку и лениво плыли против течения медлительной зеленой реки, мирно извивавшейся меж берегов, где рос знаменитый Сенарский лес, затем высаживались у какого-нибудь прибрежного ресторанчика и завтракали под открытым небом за простым дощатым столом.

Погода была великолепная, деревья стояли во всей своей зрелой красе, мальва и подсолнечники были в полном цвету. Сверкающее солнце и легкий, ласковый ветерок, свежий воздух, приятная компания, ошеломляющая новизна всего, что он видел и слышал, — пронзительный свисток на барже, цвет блузы рабочего, поза, в какой стоит жена шлюзового сторожа, отчетливо вырисовываясь на фоне неба, — все это, а главное — сознание, что он наконец-то «нашел себя» в искусстве, рождало у Стефена дрожь восторга, действовало на него, как дурман. Ламберт, если не считать кратких периодов мрачной меланхолии, был совершенно очарователен, он с блеском вышучивал их всех по очереди, тут отпустит остроту, там — эпиграмму, а то примется читать наизусть длинные отрывки из Верлена и бодлеровских «Цветов зла».

— «Священнее, чем Инд, — тихо декламировал он, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух, опустив длинные пальцы в холодную воду; узкая грудь его вздымалась, прядь волос упала на влажный лоб. — О, эти лилии... вы — словно алебастровые чаши... прозрачно-розовые... и холодные... холодные, как груди речной нимфы...» — И так далее.

Впрочем, его прельщали не только красоты природы — всякий раз, как женщина, прислуживавшая им в ресторане, была более или менее недурна собой, он принимался неистово кокетничать с нею, не обращая внимания на раздраженные взгляды жены.

Сначала Стефен возил с собой альбом — ему хотелось зарисовать все, что он видел, но Ламберт своей иронической улыбкой убил в нем всякую охоту это делать.

— Вы должны накапливать впечатления вот тут, дорогой аббат. — И он легонько постучал себя по лбу. — Через некоторое время... когда вы будете один... все это снова всплывет перед вами.

Как-то раз, в воскресенье вечером, после на редкость приятно проведенного дня, Стефен простился с Ламбертами и двумя другими участниками прогулки на пароходике и, высадившись на Сен-Бернарской набережной, отправился с себе в гостиницу. Солнце, закатившееся сейчас за купол Трокадеро, весь день сияло на небосводе. Сраженные дневной жарой, они искупались немного ниже запруды у Эрмитажа, отлично позавтракали холодной форелью и паштетом, подкрепились благородным шамбертенном, а затем поспали на теплой траве под буками Сенарского леса.

До чего же хорошо чувствовал себя Стефен! Кожу слегка пощипывает от загара, легкие полны свежего деревенского воздуха, каждая жилка трепещет после холодной речной воды... Он был поистине на верху блаженства!

Внезапно, когда он пересекал улицу Бьевр, из узенькой входной двери как раз перед ним вышел человек. На нем были грубые башмаки, перепачканные парусиновые штаны и заплатанная синяя блуза грузчика. Вокруг шеи небрежно повязан красный платок. Он походил на труженика, направляющегося домой после утомительного рабочего дня, однако что-то в нем — эта манера идти, распрямив плечи, горделиво вскинув голову, — заставило Стефена вздрогнуть. Он бросился за незнакомцем.

— Глин!

Ричард Глин обернулся — лицо его было сурово и хмуро, однако, когда он всмотрелся в приближавшегося к нему человека, морщины на его лбу разгладились.

— Никак это ты, Десмонд... Значит, все-таки приехал!

— Пять недель назад. — Стефен так и сиял от удовольствия. — Я все время надеялся, что рано или поздно набреду на тебя. Послушай, я как раз возвращаюсь к себе в гостиницу. Пойдем со мной и пообедаем вместе.

— Что ж, — раздумчиво заметил Глин, — я, пожалуй, не прочь проглотить чего-нибудь. У меня сегодня еще крошки во рту не было.

— Боже мой, чем же ты был так занят?

— Писал... с шести утра, — ответил Глин с какой-то мрачной яростью. — Я склонен забывать про завтрак, когда работаю... особенно когда мне не даются эти проклятые переходы тонов.

Его агатово-желтые глаза сверкнули нетерпеливым блеском, выдавая, какого напряжения стоили ему долгие и страстные творческие поиски. Он взял Стефена под руку, и они зашагали вместе по улице.

ГЛАВА VIII

Появление Глина — в красном шейном платке и грубых башмаках, подбитых большими гвоздями, — вызвало некоторое замешательство в столовой «Клифтона». Престарелому метрдотелю, воспитанному в традициях английских лордов, это явно не понравилось, а две старые девы, которые до сих пор с симпатией и одобрением поглядывали на Стефена, возмущенно и удивленно зашептались. Ричарда все это, однако, нимало не тронуло, и, усевшись на стул, он с явным любопытством принялся осматриваться.

— Зачем, ради всего святого, ты живешь в таком месте, Десмонд?

— Право, не знаю... наверно, потому, что я уже привык тут.

Глин попробовал суп — по обыкновению, жирную водичку, приправленную мукой.

— Может быть, тебе нравится, как здесь готовят? — предположил он.

Стефен рассмеялся.

— Я понимаю, что это не бог весть что. Но второе будет неплохим.

— Да уж не мешало бы. — Ричард надломил еще один пирожок. — Я же сказал тебе, что я голоден. Как-нибудь вечером я свожу тебя в такое местечко, где можно по-настоящему поесть.

— К мадам Шобер?

— Господи, конечно нет! Уж во всяком случае, не в эту артистическую харчевню!.. Ненавижу подделку ни в еде, ни в живописи. Нет, я поведу тебя в извозчицье бистро, что рядом со мной. Можешь не сомневаться: в кабаке, куда ходят извозчики, всегда хорошо кормят. Там делают такой паштет из зайца, умереть можно! — Глин помолчал. — А теперь расскажи мне, что ты подделываешь.

Стефен охотно, даже с восторгом, принялся подробно рассказывать о своем житье-бытье. Он поведал об утренних «бдениях» у Дюпре, в самых теплых тонах описал свою дружбу с Честером и Ламбертами, не без лиризма обрисовал их совместные поездки в Шанпросей. Сначала Глин слушал с полусаркастической, полуснисходительной улыбкой, но мало-помалу лицо его приняло серьезное выражение, и он вопросительно посмотрел на своего собеседника.

— М-да! — протянул он, когда повествование было окончено. — Ты, я вижу, был очень занят. Может быть, поднимемся потом к тебе и посмотрим, что ты за это время сделал?

— Да у меня почти нечего показывать, — поспешно ответил Стефен. — Всего несколько набросков. Я, понимаешь ли, главным образом отработывал штрих.

— Понимаю, — сказал Глин.

И молча принялся жевать неподатливый, как резина, английский пудинг, который подавали в «Клифтоне» на сладкое. Добрых пять минут он не произносил ни слова.

Затем в упор посмотрел на Стефена из-под нахмуренных бровей: во взгляде его читалось нескрываемое порицание.

— Десмонд, — сказал он, — ты хочешь писать или ты намерен всю жизнь валять дурака на манер какого-нибудь персонажа из «Богемы»?

— Я не понимаю тебя.

— Тогда слушай. В этом городе есть тысяч десять бездельников, которые воображают себя художниками, потому что немного занимаются живописью, немного малюют, а вечерами сидят в кафе и мелют языками о своих мертворожденных шедеврах. Ты стал почти таким. Черт побери, ты же понапрасну теряешь время, Десмонд. А живопись — это работа, работа и еще раз работа. Тяжелая, чертовски трудная работа, которая вытягивает из тебя все жилы. А ты катаешься по Сене, развалишься в лодке, в обществе недопеченного позера, который декламирует тебе Верлена и Бодлера.

Стефен вспыхнул от возмущения.

— Ты несправедлив, Глин. Честер и Ламберт — порядочные люди. А у Ламберта, несомненно, большой талант.

— Чепуха! Что он написал, чем занимается? Изготавливает безделушки на японский манер: раскрашивает веера, делает мелкие зарисовки... О, это, конечно, немало, согласен, но так мелкотравчато... так надуманно... и так незначительно.

— Но это же вульгарно — писать большие полотна.

Разобиженный Стефен невольно процитировал любимое изречение Ламберта, и Глин сразу понял, откуда дует ветер. Он оглушительно расхохотался.

— Что же ты в таком случае скажешь про Рубенса и Корреджо, или дель Сарто с их грандиозными замыслами, или про старика Микеланджело, расписавшего весь потолок Сикстинской капеллы своим гигантским «Сотворением мира», трудившегося так упорно, что он по нескольку дней подряд не ложился в постель, а если и спал, то не раздеваясь? Все они, по-твоему, вульгарны? Нет, Десмонд... Ламберт — это всего-навсего способный ремесленник, ничтожный художник, о котором никто никогда и не услышал бы, если б не его бойкая супруга. Я ничего не имею против этого малого, я думаю сейчас прежде всего о тебе, Десмонд. У тебя есть то, за что Ламберт с радостью отдал бы душу. И я не хочу видеть, как ты хоронишь этот дар по собственной дурости. Что же до Гарри Честера, — заметил

в заключение Глин, — то неужели ты так наивен, что до сих пор не раскусил его?

— Я тебя не понимаю, — угрюмо молвил Стефен.

Глин хотел было просветить друга на этот счет, но передумал и ограничился лишь презрительной улыбкой.

— Сколько он у тебя выудил?

Стефен покраснел еще больше. Честер неоднократно занимал у него по мелочам и теперь должен был ему более пятисот франков, но разве он не дал честного слова вернуть все?

— Вот что я скажу тебе, Десмонд, — уже более спокойно продолжал Глин, — ты не с того начал, попал в дурную компанию и, что самое скверное, стал настоящим лоботрясом. Если ты не возьмешься за ум, то сам выроешь себе могилу. Помни, что в последнем кругу ада Данте поместил художника, который не работает!

Последовало долгое, натянутое молчание. Хотя Стефен и оборонялся, но когда он сравнил свой бесцельно проведенный день с напряженным рабочим днем Глина, ему стало стыдно.

— Что же я должен делать? — спросил он наконец.

Глин перестал хмуриться.

— Прежде всего надо выбраться из этой дурацкой богадельни, от которой так и несет англиканским духом.

— Когда?

— Немедленно.

На лице Стефена отразилось такое смятение, что это даже рассмешило Глина, но через минуту он уже снова был серьезен.

— Я не могу предложить тебе разделить со мной мою конуру. Но я знаю человека, который с радостью примет тебя.

— Кто же это?

— Его зовут Жером Пейра́. Папаша Пейра. Человек он уже пожилой, не очень обеспеченный и будет только рад, если кто-нибудь поможет ему нести бремя расходов. Станный тип, но, ей-богу, настоящий художник, совсем не то что твоя претенциозная богема. — Глин усмехнулся так, что Стефену стало не по себе, но, тотчас снова приняв серьезный вид, продолжил: — С Дюпре, конечно, все должно быть кончено. Можешь работать у меня в мастерской. И я познакомлю тебя с торгов-

цем, у которого я покупаю краски. Его зовут Наполеон Кампо. Он дает в кредит... иногда. А теперь пошли.

По своей натуре Стефен не склонен был к внезапным переменам и неожиданным решениям, однако в доводах Глина была всепобеждающая сила, а в том, как он изложил их, — несокрушимая убежденность. Вот почему Стефен прошел в контору гостиницы и, попросив счет, расплатился. Затем он сложил вещи и велел снести их вниз, смягчая впечатление от своего неожиданного отъезда щедрой раздачей чаевых.

Глин стоял в коридоре, олицетворяя собой, по мнению персонала гостиницы, исчадие ада, и весьма холодно наблюдал за этим ритуалом. Наконец, не выдержав, он сумрачно заметил:

— Я посоветовал бы тебе, Десмонд, не транжирить зря деньги. Они тебе еще понадобятся, прежде чем ты выбьешься в люди. Пошли.

— Подожди, Глин. Пусть они найдут нам извозчика.

— К черту извозчиков. Ты что, слишком слаб и не можешь идти?

Схватив чемодан, который был далеко не легким, Ричард вскинул его на плечо и направился к выходу. Стефен вышел вслед за ним в сверкающий полумрак улицы.

Путь до обиталища Пейра был неблизким, но Глин, который находил какое-то дикое удовольствие в максимальном напряжении всех своих сил, шел быстрым шагом, ни разу не остановившись и не опустив на землю чемодан. Наконец в маленьком темном переулке на Левом берегу, завернув за угол, образуемый от слияния улицы Д'Асса и Монпарнасского бульвара, Глин вошел в покосившийся подъезд рядом с кондитерской, которая хоть и была еле освещена свисавшей с потолка лампой, отличалась удивительной чистотой, и одним духом, перепрыгивая через три ступеньки, взбежал по каменной лестнице. На втором этаже он остановился, постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, повернул ручку; Стефен вошел следом за ним.

Они очутились в трехкомнатной квартире; в столовой, служившей одновременно гостиной и обставленной с мещанской аккуратностью, у стола, накрытого клеенкой, сидел маленький

сутулый человек лет пятидесяти с плоским морщинистым лицом и лохматой бородой и, не обращая внимания на пение облезлого дрозда, порхавшего в клетке у окошка, слегка наигрывал что-то на окарине, — несмотря на жар, исходивший от раскаленной печки, он был в старом черном пальто с поднятым воротником и в черном котелке. При виде Глина глаза его, ясные и по-молодому задорные, приветливо засветились. Он положил инструмент и, встав со стула, по-дружески и вместе с тем чинно поцеловал Ричарда в обе щеки.

— Пейра, — без всяких предисловий сказал Глин, высвободившись из его объятий, — я привел тебе постояльца. Это мой друг, Стефен Десмонд.

Жером Пейра перевел взгляд с Глина на Стефена и задумчиво осмотрел его — в этом пристальном взгляде было что-то наивное и в то же время благожелательное.

— Если он твой друг, *mon vieux*¹, он станет и моим другом. Извините, мсье Десмонд, что я принимаю вас в таком виде. Ричард знает, как я боюсь сквозняков.

— Надеюсь, мы вам не помешали, — смущенно заметил Стефен.

— Что вы! По вечерам я имею обыкновение заниматься самосозерцанием. Порой я нахожу свою душу изумительной, а порой отталкивающей. Сегодня, — и он печально улыбнулся, — я рад всему, что может отвлечь меня от моих мыслей.

— Десмонд — живописец, Пейра. Он будет работать со мной... и с тобой.

— Прекрасно. — Пейра воспринял это известие как нечто само собой разумеющееся. — Рад вас видеть у себя в доме... Во всяком случае, пока что это мой дом, хотя, вообще-то, он принадлежит мсье Биску, кондитеру. Но это не важно. Мы ведем здесь жизнь отшельников, вдали от женской красоты и блеска мимолетной славы, ради создания шедевров, которые получат признание через тысячу лет после нашей смерти.

— Какая сладостная перспектива! — с иронической снисходительностью воскликнул Глин.

¹ Старина (*фр.*).

— Только эта перспектива и поддерживает в нас желание жить.

— А как же святая Тереза?

— О, само собой разумеется. Пример этой благородной души крайне вдохновляющ. — Пейра повернулся к Стефену. — Вы бывали в Испании?

— Нет.

— В таком случае мы когда-нибудь вместе совершим туда паломничество. В Авила-де-лос-Кабальерос... Монастырь стоит в Кастилии за гранитными стенами, словно корона в окружении диких скал, а вдали синеют горы Гредос... летом его жжет палящее солнце, зимой — леденит стужа.

— Вы там были? — вежливо осведомился Стефен.

— Не раз. Но только в мечтах.

Глин громко расхохотался.

— Предупреждаю тебя, Десмонд: этот сумасшедший, который никогда не заглядывал в церковь и говорит омерзительные вещи про папу, испытывает какое-то дурацкое благоговение перед святой Терезой.

Пейра осуждающе покачал головой.

— Друг мой, не поминай всуе имя нежной и самоотверженной женщины из древней Кастилии, которая возродила к жизни традиции древнего ордена, поправленные этими сплетницами и лентяйками — кармелитками. Она с умом взялась за дело, действуя где обаянием, а где скромностью, где молитвой, а где непреложностью доводов, сочетая долготерпение святой с твердостью морского капитана. К тому же она была поэтессой...

— Я ухожу, — сказал Глин, ухмыльнувшись, и направился к двери. — Предоставляю вам знакомиться друг с другом. Я жду тебя завтра у себя в мастерской, Десмонд, в семь утра. Доброй ночи.

Он вышел. После некоторого молчания Пейра подошел к Стефену и протянул руку.

— Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь как дома, — просто сказал он.

ГЛАВА IX

И вот для Стефена — под влиянием Глина и Пейра — началась новая жизнь, наполненная неустанным трудом, совершенно противоположная его недавним представлениям о жизни художника. Жером Пейра, известный всему кварталу Плезанс как «папаша Пейра», происходил из самых низов: родители его, ныне умершие, о которых он говорил всегда с гордостью, были всего лишь простыми крестьянами, обрабатывавшими несколько жалких гектаров земли близ Нанта. Сам Пейра тридцать лет провел на государственной службе; это был образцовый мелкий чиновник в бумажных нарукавниках и пиджаке из альпака, который целыми днями корпел над пыльными папками во Дворце правосудия. За всю жизнь он только раз выезжал за пределы Франции — и то в качестве третьестепенного лица в юридической комиссии, направленной в Индию. Там он проводил все свободное время под высокими пальмами и раскидистыми деревьями Калькуттского зоосада в наивном и восторженном созерцании животных за решеткой. Через несколько месяцев после его возвращения на родину среди чиновников министерства произошло сокращение, и Пейра вышел на пенсию, столь ничтожную, что ему едва хватало на хлеб. Затем, совершенно неожиданно — ибо прежде он никогда не проявлял ни малейшего интереса к искусству, — в нем проснулся художник, и он начал усиленно писать. Да не только писать, но и со спокойной совестью считать себя гениальным. Никогда в жизни не взяв ни одного урока живописи, он писал портреты друзей, писал улицы, уродливые здания, свадебные кортежи, заводы в banlieue¹, букеты цветов, зажатые в чьей-то руке; он писал композиции на фоне джунглей: обнаженная женщина с высокой грудью и могучими бедрами верхом на рычащем тигре среди сложного переплетения пальм, лиан, орхидей всех цветов, целого вымышленного леса, буйного и диковинного, населенного змеями, прыгающими обезьянами, сцепившимися друг с другом, словно в смертельной схватке, — работа над подобными темами

¹ Предместье (фр.).

бросала его то в жар, то в холод, и, чтобы не потерять сознание, он, несмотря на боязнь простуды, распахивал настежь окно.

Соседи пожимали плечами и улыбались, глядя на эти произведения, выставлявшиеся для продажи по цене пятнадцать франков за штуку в витрине его приятельницы мадам Юфнагель, почтенной вдовы, которая держала магазин дамских шляп на той же улице, через несколько домов, и к которой он питал вполне благопристойное чувство уважения. Если не считать Наполеона Кампо, торговца красками, который забирал картины в уплату за материалы, выданные Пейра, — судя по слухам, на чердаке у Кампо скопилось немало всякого хлама, вышедшего из-под кисти голодающих художников, — никто не покупал картин Жерома, они служили лишь поводом для добродушного, но неумного веселья его соседей по улице Капель. Однако Пейра упорно продолжал писать, и, хотя частенько нуждался, все же ему удавалось кое-что подзаработать и таким образом округлить свою скудную пенсию. Помимо окарины, на которой он играл для собственного удовольствия, а также французского рожка, он имел некоторое представление о скрипке и кларнете. Это дало ему основание написать несколько объявлений, которые он, надев лучшее платье, и решил самолично распространить среди жителей своего квартала.

Внимание!

*ЖЕРОМ ПЕЙРА, художник и музыкант,
дает детям уроки музыки на гармонике,
а также уроки сольфеджио.*

*По субботам — с двух до пяти.
Быстрые успехи гарантированы.*

*Родители могут присутствовать на занятиях.
Стоимость обучения в месяц — пять франков с ученика.*

Прием учащихся ограничен.

Летом он извлекал пользу из своего умения играть на французском рожке и каждый четверг после полудня выступал в оркестре, пленявшем слух нянек и их питомцев в саду Тюильри. А когда нужда уж очень прижимала его, он всегда мог при-

бегнуть к помощи своего друга детства Альфонса Биска, ныне плезанского кондитера, дородного мужчины среднего возраста, совершенно лысого, который из чисто сентиментальных побуждений — скорее в память о далеких школьных днях, проведенных в Нанте, чем в награду за те картины, что время от времени навязывал ему Пейра в уплату за его благодеяния, — всегда выручал художника в трудную минуту, дав банку паштета или кусок мясного пирога.

В своих привычках, да и во всем строе жизни Пейра — что не преминул вскоре обнаружить Стефен — был столь же необычен, столь же удивительно оригинален, как и его картины. Этот простак отличался деятельным, любознательным умом и, набравшись всяческих познаний из мудреных томов, купленных по дешевке на набережных у букинистов, частенько проявлял свою эрудицию, пускаясь в наивные рассуждения об истории, средневековой теологии или личностях, столь мало сопоставимых, как Косьма Александрийский, который в 548 году объявил, что Земля круглая, и святая Тереза Авильская, которую он, будучи атеистом, преспокойно избрал себе в покровительницы.

Несмотря на все эти эксцентричности, он был, по его излюбленному выражению, *un brave homme et un bon camarade*¹. Хотя Стефен вставал рано, Пейра неизменно опережал его: ведь надо было взять молоко и свежий хлеб, которые сынишка Альфонса каждое утро оставлял у двери. По окончании их скромного завтрака Пейра надевал передник и мыл тарелки; затем, дав воды и зерен дрозду, которого он подобрал на улице с перегрызенным кошкой крылом и намеревался отпустить, когда крылышко заживет, он снаряжался на работу: взваливал на плечо мольберт и ящик с красками и, прихватив большой ржавый зонт для защиты от превратностей погоды, отправлялся пешком в какой-нибудь уединенный уголок на окраине города — в Иври, Шарантон или Пасси, где, не обращая внимания на грубое острословие прохожих и злые шутки изводивших его детей, забывал обо всем, погружаясь в таинственный экстаз творца, воспроизводящего на полотне некое божественное ви-

¹ Неплохой малый и хороший товарищ (*фр.*).

дение вроде железнодорожного депо, трамвая или дымоходной трубы.

А Стефен тем временем направлялся на улицу Бьевр, торопясь поскорее воспользоваться ясным северным светом, который после восхода солнца заливал сквозь прорези в свинцовой крыше мастерскую Глина. Ричард, никогда не жалевший себя, был поистине беспощаден и к Стефену, с которым обходился резко, а порой и грубо, как со школьником.

— Покажи мне, на что ты способен, — сурово говорил он. — Если через полгода я не буду доволен тобой, я верну тебя Господу Богу.

У Глина была натурщица, Анна Монтель, высокая статная брюнетка лет тридцати, похожая на сухопарую цыганку. Она и в самом деле была из румынских цыган, предки ее, по видимому, перекочевали туда из Венгрии, однако встретил ее Глин в отдаленном уголке Северного Уэльса. Кожа у нее была грубая, и, поскольку она ходила всегда простоволосая, в черной юбке и зеленой блузе, без перчаток и без пальто, руки и щеки у нее потрескались от порывистого ветра, дувшего этой осенью с реки. Но это обветренное плоское лицо с резко очерченными глазницами и широкими скулами дышало удивительной силой. Она бесшумно передвигалась по мастерской в своих мягких домашних туфлях, с одного взгляда угадывала все желания Глина и была самым молчаливым существом, какое когда-либо доводилось видеть Стефену. Она готова была позировать в любое время и сколько угодно, а по окончании сеанса, не говоря ни слова, выскальзывала на улицу и, вернувшись с Центрального рынка со множеством свертков, готовила на маленькой печурке гуляш или варила кофе в голубом с белыми прожилками эмалированном кофейнике с отбитым носиком, который впоследствии фигурировал на одной из самых известных картин Глина «Le café matinal»¹.

Хотя Глин никогда не пытался поучать Стефена, однако неустанно требовал от него оригинальности видения, добиваясь, чтобы он отказался от привычных представлений и изображал

¹ «Утренний кофе» (фр.).

вещи так, как он сам их видит, а не так, как на них принято смотреть или как их видят другие.

— Бери пример с Пейра! — восклицал Глин. — Каждая твоя картина должна быть твоей и ничьей больше.

— Ты так высоко ценишь Пейра?

— По-моему, он великий человек, — с глубокой убежденностью отвечал Глин. — У него есть непосредственность восприятия и оригинальность примитивиста. Сейчас над ним смеются как над старым чудачком. Но через двадцать лет люди будут драться из-за его картин.

Работали они много — и к тому же мерзли. В мастерской стоял страшный холод, и, по мере того как шли недели, становилось все холоднее, ибо Глин придерживался спартанской теории, что человек не может создать ничего путного в комфортабельных условиях. Стефен больше не думал, что живопись — это сладостное, пленительное искусство. Никогда в жизни у него не было более сурового режима. А Глин требовал все большего и большего самопожертвования.

Однажды, когда у Стефена отчаянно кружилась голова и ему казалось, что он больше не выдержит, Глин, глубоко вздохнув, отбросил палитру.

— Перерыв! — объявил он. — А то у меня сейчас череп расколется. Ты умеешь ездить на велосипеде?

— Конечно.

— Наверно, объезжал прихожан вокруг Оксфорда? Со скоростью четыре мили в час?

— Думаю, что смог бы показать и лучшее время.

— Прекрасно. — Глин широко улыбнулся. — Посмотрим, из какого теста ты сделан.

Они вышли из мастерской и направились через улицу в единственный в квартале велосипедный магазин, который держал Пьер Вертело, старый гонщик, ныне ни на что не годный из-за больного сердца, испорченного пристрастием к перно, но в свое время занявший третье место в велотуре вокруг Франции. Это было маленькое захудалое заведение, где до самого потолка громоздились велосипеды, а за магазином находилась ремонтная мастерская. Они вошли. Внутри никого не оказалось.

— Пьер! — крикнул Глин и постучал по прилавку.

Из заднего помещения вышла девушка лет девятнадцати, невысокая, крепкая, в черном свитере, черной плиссированной юбке и черных туфлях без каблука, надетых на босу ногу.

— Ах это ты, — сказал Глин.

— А то кто же еще? Царица Савская, что ли?

— Почему ты не в цирке?

— Он закрылся на зиму. — Она говорила отрывисто, без всякого кокетства, уперев руки в бока, широко расставив ноги.

— А где твой папаша?

— Дрыхнет.

— Гм... Стефен, это Эмми Вертело. — Она со скучающим видом перевела взгляд на второго посетителя, а Глин тем временем продолжал: — Нам нужно на денек две машины. Только хорошие.

— У нас все хорошие. Возьмите вон те две, что с краю.

Пока Глин спускал велосипеды, подвешенные на блоках, Стефен наблюдал за тем, как девушка сняла с крюка сначала один из них, потом другой и со знанием дела покрутила колеса. У нее было бледное хмурое лицо, низкий, слегка выпуклый лоб, густые брови и большой тонкогубый рот. Нос у нее был хорошей формы, но самый кончик его по-простонародному чуть задирался кверху. Если бы не девичья грудь, плотно обтянутая свитером, она походила бы на хорошо сложенного мальчишку. Неожиданно она обернулась и поймала на себе взгляд Стефена. Он почувствовал, что краснеет, а она с оскорбительной бесцеремонностью в упор посмотрела на него холодными, равнодушными глазами. Тем временем Глин подкатил оба велосипеда к двери.

— Не хочешь проехаться с нами, Эмми?

— Да разве я могу? А кто лавку сторожить будет? Мой старый пьянчужка, что ли?

— Ну тогда в другой раз покатаемся. Мы вернемся засветло.

Стефен вслед за Глином вышел на улицу. Они сели на машины и, пригнувшись к низко посаженному рулю, покатали — Глин впереди, Стефен сзади — через Сен-Жерменское предместье к Версальской заставе. Выехав из города, они помчались по гладкой прямой дороге к Виль-д'Аврэ. Глин, время от вре-

мени оглядываясь, неся с головокружительной быстротой. Мимо промелькнули Сент-Апполин, Поншартрен и Мэль, вот и Жюзье остался позади, а затем и Оржваль. Наконец, когда они сделали около тридцати километров по кругу, Глин внезапно остановился у кабачка в деревеньке Лувсьен. Тяжело дыша, он критическим взглядом окинул Стефена, потного, запыхавшегося, и улыбнулся.

— Недурно, мой мальчик. Ты не из тех, кто сдается, да? Это качество может тебе пригодиться в жизни. Зайдем и выпьем по кружечке пива.

В темном низком помещении им подали холодное пиво, которое явилось сушей отрадой для их пересохших глоток. Глин обсосал пену с бороды и вздохнул.

— Недурные места для живописи вокруг Лувсьена, — мечтательно заметил он. — Ренуар и Писсарро любили здесь бывать. Сислей тоже. Но в следующий раз мы поедем еще дальше. Возьмем с собой Эмми: вот кто может задать темп. Она здорово гоняет.

Воспоминание о встрече в велосипедном магазине все еще уязвляло Стефена. И он сухо сказал:

— Эта молодая особа показалась мне пренеприятной.

Глин звонко расхохотался.

— Умерьте свои чувства, святой отец. — И, помолчав, добавил: — По правде говоря, она обыкновенная потаскушка... твой приятель Честер мог бы просветить тебя на этот счет... Но — твердый орешек. Она фактически выросла среди гонщиков, колесивших по Франции. Да и сейчас окружает себя молодежью из этой среды. А полгода проводит в турне с труппой Пэроса.

— Пэроса?

— Ну да, Адольфа Пэроса. В свое время были братья Пэрос. Но один из них умер. А с Адольфом я встречался. Очень приятный малый. И цирк у него вполне приличный. Эмми делает там трюковой номер на велосипеде. Говорят, очень опасный. Она много зарабатывает и держится независимо. Нашего брата она ни во что не ставит: знает, что у нас нет ни гроша за душой. Но она невероятно тщеславна и хочет, чтобы я написал ее.

— И ты собираешься?

— Ни в коем случае. Меня не интересуют подонки. Но мне нравится дразнить ее. Она все-таки премилый чертенок. — Он допил пиво. — Поехали. Поработаем ногами!

Они медленно покатали обратно в вечерней прохладе. Глин был в преотличном настроении, нервы его успокоились, он то и дело напевал валлийские народные песни и был вполне готов к завтрашнему трудовому дню.

Возле велосипедного магазина он взглянул на часы и присвистнул.

— Я опаздываю. У меня назначена встреча с Анной. Будь другом, сдай за меня велосипед. — Он отдал машину Стефену и убежал.

Стефен не без труда вкатил оба велосипеда в магазин. Внутри было по-прежнему пусто. Он постучал по прилавку, затем, поскольку никто не появлялся, толкнул дверь, которая вела в заднее помещение, и в маленьком темном коридорчике налетел прямо на Эмми, направлявшуюся в магазин. Дверь позади Стефена захлопнулась, и они очутились в полутемном, узком, как стенной шкаф, проходе. Растерявшись, Стефен не сразу обрел дар речи, он почувствовал только, что сердце у него застучало, как молот. Эмми стояла рядом, так близко, что он ощущал исходившее от нее тепло, и у него перехватило дух от вдруг нахлынувшего непонятого волнения. А она без малейшего удивления или смущения наблюдала за ним, и вид у нее был такой, точно она понимает, в каком он смятении. Она холодно, иронически улыbnулась.

— *Que veux-tu?*¹

Двусмысленность вопроса обожгла его, как огнем. В застывшей тишине он услышал смятенное громкое биение своего сердца. И каким-то чужим, неестественным голосом ответил:

— Я хотел сказать вам... я привез велосипеда.

— Хорошо покатались? — Слегка прищурившись, она продолжала наблюдать за ним все понимающим взглядом, забавляясь его волнением, но не разделяя его.

— Да... благодарю вас.

¹ Чего ты хочешь? (фр.)

Снова молчание. Она продолжала стоять неподвижно. Наконец, сделав усилие, он заставил себя дотянуться до двери и распахнул ее.

— Надеюсь, — пробормотал он, запинаясь, точно школьник, — надеюсь, мы еще увидимся.

Пристыженный и усталый, он тщетно пытался выкинуть из головы мысль о ней.

Однако она все больше завладевала его помыслами с каждой новой встречей, а поводы для этого участились, поскольку с наступлением весны Глин стал настаивать на регулярных еженедельных прогулках. Эмми притягивала и в то же время отталкивала Стефена. Ему хотелось попросить ее позировать, но всякий раз не хватало на это духу. Все как-то не было подходящего случая. Она оставалась для него загадкой, смысл которой он искал и не мог найти, — где-то в глубине сознания это раздражало его и злило.

А время летело с убийственной быстротой. Дни стали длиннее, наступила пора вторичного цветения каштанов, и Стефен вдруг понял, что предоставленный ему год отсрочки подходит к концу. В письмах, приходивших из Стилуотера — от отца, от Дэви, от Клэр, — все чаще и чаще поднимался вопрос о его возвращении: они ждали его, больше того — все настойчивее требовали, чтобы он вернулся.

Настал июль; раскаленное небо низко нависло над городом, и стало нечем дышать. Глин, ненавидевший жару, потопел недельки две, затем вдруг решил уехать с Анной в Бретань, побродить там и написать крестный путь на Голгофу. Ламберты уже отбыли в Ла-Боль, а теперь двинулся за ними и Честер. Даже Пейра стал поговаривать о том, чтобы бежать из Парижа. Срок аренды квартиры истекал в августе, и он решил съездить в Овернь к своему дяде.

И Ричард, и Пейра уговаривали Стефена поехать с ними, но он не мог принять их приглашение: в последнем своем письме, выдержанном в суровых тонах, настоятель выражал надежду, что Стефен «не отступится от данного им слова» и не позволит себе забыть о нем ради «парижских увеселений и забав».

Прочитав это письмо, Стефен швырнул в угол кисти и вышел на улицу. Он мог бы пойти в Булонский лес, где всегда есть

ть под деревьями, но был слишком раздражен и подавлен и, следовательно, не в настроении для такой прогулки. Вместо этого, невзирая на одолевавшую его усталость и душевную опустошенность, он пошел бродить по городу, вышагивая мило за милей по унылым улицам. Бесконечные магазины и кафе — сначала большие, потом все меньше и меньше. И почти всюду — пустота. В одном из кафе, где не было ни единого посетителя, официант спал за столиком, уронив голову на скрепленные руки. Стефен проходил под железнодорожными мостами, мимо извивавшихся, как змеи, железнодорожных путей, пересекал каналы, наконец миновал заставу и остановился среди пыльных пустырей, окружающих Париж. Он был в испарине и все твердил про себя: «Боже мой, боже, что за жизнь... А отец еще думает, что дни мои состоят из сплошных удовольствий!»

По пути назад он зашел на плезианскую почту и послал телеграмму:

ДЕСМОНДУ СТИЛУОТЕРСКИЙ ПРИХОД САССЕКС ВЫЕЗЖАЮ
УТРЕННИМ ПАРОХОДОМ ЗАВТРА ДЕВЯТНАДЦАТОГО ИЮЛЯ
СТЕФЕН

ГЛАВА X

Ничто, думал Стефен, не способно сравниться с той радостью, какую испытываешь при посещении любимых, знакомых мест, которые успел в какой-то мере забыть и которые кажутся теперь еще прекраснее, чем прежде. Растянувшись на поросшем травой берегу Чиллинхемского озера под теплым после-полуденным солнышком, Стефен не столько удил сам, сколько наблюдал за тем, как Дэви немного неумело, но с упорством, обещающим принести свои плоды, забрасывает блесну в цветущие лилии, под прохладными листьями которых притаилась в прозрачной воде щука. Чистый воздух был пронизан солнцем; куда ни кинешь взгляд, всюду дикие цветы, деревья стоят в пышном нежно-зеленом уборе; среди вереска цветет розовый шиповник, и его тонкий аромат смешивается с пьянящим запахом лабазника. Над головой летают голуби, а издали, с фер-

мы Броутоновского поместья, доносится кудахтанье кур и пение петухов.

Стефен никак не мог привыкнуть к мысли, что он уже целых две недели дома. С того момента, когда на станции в Халборо его встретили Дэви и Каролина — весьма тактичный шаг со стороны его родителей, — все шло настолько гладко, что он просто не заметил, как пролетело время. Как-никак, хорошо быть дома! Если бы только они не относились к нему как к блудному сыну, которого простили и которого теперь надо любой ценой завоевать с помощью доброты. Завтрак ему приносили в постель, причем на подносе лежал еще не разрезанный номер «Таймс», который прежде обычно читал сначала отец, — так делалось до тех пор, пока Стефен не заявил, что предпочитает пить кофе внизу, вместе с Дэви. На завтрак и обед подавались его любимые блюда — Бизли вовсю усердствовала на кухне, а Моулд приносил в корзинках отборные фрукты. Все желания Стефена мгновенно исполнялись, ему то и дело предлагали разные дальние прогулки, — словом, родные объединенными усилиями дипломатично пытались обезоружить его.

О его занятиях живописью никто не говорил — интерес к ней умер, после того как в первый же вечер он по просьбе настоятеля показал свои картины. Сдвинув брови, улыбаясь и в то же время хмурясь, Стефен вспоминал, как добросовестно, но тщетно пытался отец одобрить его работу: он был явно озадачен увиденным, и его изумленный взор с особенным вниманием задержался на сценке, которая изображала женщину, вешающую белье на заднем дворе предместья в ветреный день.

— Дорогой мой мальчик... ты считаешь это... прекрасным?

— Да. Это моя любимая работа.

— Ничего не понимаю. Ну зачем, скажи на милость, нужна тебе эта веревка с бельем?

— Но здесь такая игра красок, отец... Унылый фон, и на нем — старая женщина в серо-черном платье...

Стефен попытался объяснить, что лежало в основе его идеи: краски не следует смешивать, их надо накладывать на полотно прямо шпателем. Однако это ничуть не помогло развеять изумление и недоверие настоятеля. Последовало долгое мол-

чание. Наконец, взглянув еще раз на картину, отец Стефена с неуверенным и в то же время испытующим видом повернулся к нему.

— Очевидно, специалист мог бы оценить это.

— Думаю, что да.

С тех пор порицание сменилось усиленной предупредительностью. Каролина, необычайно подобревшая, утюжила ему костюмы, пришивала пуговицы к рубашкам, а его мать внезапно решила покинуть свой уединенный причудливый мирок и, отыскав большой клубок шерсти, из которого собиралась вязать ему носки, когда он был еще в Оксфорде, заявила, что тут же примется за дело.

Жизнь они вели в общем довольно замкнутую; Стефен без облегчения узнал, что генерал Десмонд с супругой и Джофри отбыли в Шотландию на охоту, но сегодня, услышав, что Стефен и Дэви будут на Чиллинхемском озере, леди Броутон пригласила их на чай. И вот, взглянув на солнце, уже опускавшееся за гряды холмов, Стефен решил, что пора в путь. Он поднялся на ноги, прошел по берегу и остановился позади брата, который хоть и устало, но все так же упорно продолжал забрасывать удочку в безответные воды. Улов пока был весьма скудный — три окуня, таких маленьких, что ими едва ли можно было насытить приходскую кошку. Зная о страстной любви, какую питал Дэви к этому, а также любому другому виду спорта на свежем воздухе, — чувство, прямо противоположное его собственному безразличию и такое трогательное, принимая во внимание хрупкое сложение мальчика и его отнюдь не крепкое здоровье, — Стефену очень хотелось, чтобы какая-нибудь большая, стоящая рыба вроде форели попалась брату на крючок. Он легко мог представить себе, какую радость и гордость вызвала бы подобная добыча.

Но хотя он терпеливо ждал, время от времени каким-нибудь словом подбадривая брата, такой удачи не последовало. Стефен с грустью подумал, что Дэви никогда не везло. И пока младший брат сматывал леску, он обнял его за плечи и, расхваливая его сноровку, понося неблагоприятные условия — жару и яркое солнце, — наконец, превознося величину и достоинства трех маленьких рыбок, свернувшихся сухим комочком на

дне корзины, добился того, что Дэви снова обрел хорошее настроение.

— По-моему, у меня все-таки дело теперь куда лучше, — с надеждой заметил Дэви. — Я очень старался. И мне тоже кажется, что эти рыбки не так уж плохи. Как по-твоему, они вкусные?

— Превосходные.

— Правда... они немножко мелковаты.

— Чем мельче, тем слаще, — изрек Стефен.

Они пошли луговинами, решив избежать длинной дороги, огибающей Лисью заставу, и, поскольку было сухо, пройти по поросшей осокой низине в Броутоновский заповедник; всю дорогу Дэви со свойственной ему живостью весело болтал. За последнее время он очень вырос, так что казался старше своих четырнадцати лет, стал долговязым, как все подростки, и от чрезмерной нервозности двигался как бы рывками. Однако худощавое лицо его приобрело более спокойное выражение, а припадки, как Стефен узнал от Каролины, хотя были по-прежнему сильными, повторялись гораздо реже. Снисходительно прислушиваясь к болтовне Дэви, наблюдая игру света на его тонко очерченном лице, Стефен чувствовал, как в нем растет огромная любовь к брату. Эти две недели они почти не расставались.

Выйдя из лесу, они перелезли через железную ограду, окружавшую заповедник, где мирно паслось стадо, и вскоре вышли на аллею, которая, обогнув аккуратно разбитый сад за лужайкой, привела их к самому дому, массивному творению Викторианской эпохи из красного песчаника, перегруженному башнями и башенками, — это позволяло леди Броутон с гордостью утверждать, что у нее самый высокий дом в Сассексе.

Она сама и приняла братьев, полулежа в шезлонге у открытой двери на балкон в южной гостиной, и, извинившись перед ними за эту кажущуюся леность (доктор в последнее время стал удивительно строг в своих предписаниях), так радушно и тепло приветствовала их, что они сразу почувствовали себя как дома.

— Вот ты и вернулся, Стефен. — Задержав его руку в своей, она оглядела молодого человека с головы до ног. — Сколько прекрасного ты, должно быть, увидел и узнал. Жаль, что ты не

отпустил себе бородку. Однако Париж, мне кажется, пошел тебе на пользу. Можешь поцеловать мне руку, как настоящий француз?

— Я не учился этому искусству.

— Как жаль! — Она улыбнулась. — Правда, Дэви?

— Мне будет очень неприятно, леди Броутон, если из-за этого Стефену придется туда вернуться.

— Совершенно справедливо. Видишь, Стефен, как мы все рады, что ты снова дома. В доказательство я напою тебя чаем с сассекским тортом. Помнишь, как ты любил его, когда тебе было столько лет, сколько сейчас Дэви?

— Конечно помню. Я и сейчас его обожаю. И Дэви тоже.

Леди Броутон улыбнулась и продолжала любезно беседовать с ними о разных пустяках. Однако, слушая ее, Стефен почувствовал, что перед ним уже не та леди Броутон, какую он знал раньше. Ему всегда нравилась эта низенькая, румяная, отнюдь не утонченная женщина, от которой так и веяло энергией, добропорядочностью и глубоким здравым смыслом. Тем неприятнее было ему сейчас видеть ее такой вялой, страдающей одышкой, с багровыми пятнами румянца на и без того ярких щеках.

— Клэр скоро придет, — сообщила она. — Я уверена, что она хочет появиться перед тобой в широкополой шляпе и с корзиной роз — совсем как на картине Гейнсборо.

Не успела леди Броутон промолвить это, как вошла Клэр, но не из сада и без цветов; шляпы на ней тоже не было, и выглядела она в своем полотняном платье с квадратным вырезом, красновато-коричневом — под стать золотисто-рыжим волосам, — не как девушка, сошедшая с картины Гейнсборо, а скорее как модель Берн-Джонса. Хотя Стефен, конечно, об этом уже не помнил, но однажды он сказал ей, что этот теплый цвет — излюбленный тон прерафаэлитов — очень ей к лицу.

Держалась она с поразительным самообладанием. Никто бы в жизни не догадался, как сильно билось у нее сердце, как давно ждала она этой минуты.

— Клэр! — Стефен шагнул к ней.

— Как приятно видеть вас здесь! — Она улыбнулась. — И тебя тоже, Дэви. — Она от души надеялась, что легкий румянец, вдруг прихлынувший к ее щекам, пройдет незамеченным.

Вновь увидеть Стефена, почувствовать пожатие его руки оказалось испытанием более серьезным, чем она предполагала.

Тем временем подали чай — не какое-нибудь скромное угощение с сухим печеньем и тоненькими кусочками хлеба, намазанного маслом, а настоящее солидное питание для проголодавшихся школьников: передвижной столик красного дерева был уставлен тарелками с вареными яйцами, пышками, сэндвичами и тортом с земляникой и сбитыми сассекскими сливками.

— Мы решили, что вы, наверное, проголодаетесь после рыбной ловли, — заметила Клэр, глядя на Дэви.

— Мы и в самом деле проголодались, — радостно признался он. — Мы лишь слегка позавтракали. — Он взял из рук Клэр чашку и любезно, хотя и не без труда, отнес ее леди Броутон, а потом уже сел сам.

— Спасибо, Дэви. — Желая развеять легкую принужденность, возникшую между молодыми людьми, леди Броутон лукаво спросила: — А тебе не кажется, Клэр, что Стефен стал совсем парижанином?

— Пожалуй, он немножко похудел. — Какой идиотский ответ. Но он приехал, и это сознание было столь сладостным и волнующим, что глаза Клэр так и лучились.

— Не думаю, чтобы французская пища была уж очень питательна, — самым серьезным тоном заметил Дэви. — Меня, во всяком случае, едва ли могли бы прельстить всякие там улитки, лягушачьи ножки и прочее.

Все рассмеялись и сразу почувствовали себя непринужденно и весело. Дэви, словно желая доказать преимущество англосаксонского стола, съел два куска торта, затем принялся оживленно обсуждать с Клэр, как лучше ловить щуку, в результате чего оба пришли к заключению, что по такой погоде, как сегодня, «майская муха» была бы куда лучше блесны.

— По-моему, у нас есть несколько «майских мух» в бильярдной, — немного подумав, заметила Клэр. — Хочешь, я тебе дам?

— В самом деле? — пробормотал Дэви. — А они вам самой не нужны? То есть я хочу сказать... вы это серьезно?

— Конечно. Они никому не нужны. Пойдем посмотрим.

Извинившись, Дэви поспешно поднялся, открыл дверь, пропустил Клэр вперед и вышел вслед за нею.

После их ухода леди Броутон задумчиво посмотрела на Стефена, которого всегда искренне любила, больше того: которым восхищалась. Ее нимало не огорчало то, что он расстался с церковью: она считала, что у Стефена слишком чувствительная, застенчивая и страстная натура и он не создан быть сельским священником. Не очень смущало ее и то, что он в последнее время увлекся живописью. Она считала это преходящей фантазией, временным увлечением, несомненно объяснявшимся некоей наследственной странностью (она хорошо помнила, как девочкой приходила в ужас от эксцентрических акварелей достойного батюшки миссис Десмонд), а вовсе не испорченностью, ибо в основе своей Стефен — натура превосходная. Однако не столько собственное отношение к Стефену, сколько чувства Клэр, которые не оставались для нее тайной, побуждали леди Броутон завести с ним — в пределах, дозволяемых хорошим тоном, — разговор на волновавшую ее тему. В последние месяцы она с болью в душе стала замечать, что дочь ее ходит с безразличным, отсутствующим видом, и не без опасения наблюдала за тем, как Клэр иной раз пытается рассеяться и найти забвение в несвойственных ей развлечениях. А тут еще Джофри Десмонд что-то очень зачастил к ним — леди Броутон положительно его не выносила, хотя бы за его манеру говорить, растягивая слова. Она считала Джофри избалованным, себялюбивым, чванным и очень заурядным юнцом и, поскольку сама была замужем за человеком, чья самовлюбленная ограниченность отравляла ей жизнь на протяжении более двадцати лет, не желала такой участи для Клэр.

Должно быть, эти мысли и побудили ее спросить:

- Ты еще не видел своего двоюродного брата?
- Нет, все обитатели Симлы сейчас в Шотландии.
- Джофри часто упражнялся у нас здесь в стрельбе.
- Это он любит. А охотиться он ходил?
- Они с Клэр немало побродили по холмам. Они вообще часто бывают вместе. На днях он, по-моему, возил ее в Брукленд... на мотогонки.
- Я не знал, что Клэр любит такие зрелища.
- Я и не думаю, чтобы она любила... просто она не умеет отказывать. — Леди Броутон улыбнулась. Помолчав немного,

она слегка наклонилась к нему и продолжала доверительным, но нарочито небрежным тоном: — Она немножко беспокоит меня, Стефен. Такая замкнутая — вся в себе. Любит людей, а друзей заводить не умеет. Она будет счастлива лишь в том случае, если правильно выберет себе спутника жизни — словом, хорошего мужа. Не мне говорить тебе, что я не всегда буду подле нее. Очень скоро Клэр может остаться одна. И хотя она любит наш дом, управлять им нелегко, и это может оказаться ей не по плечу.

Леди Броутон не сказала ничего определенного, ничего, что хоть в какой-то степени могло поставить Стефена в неловкое положение, однако было совершенно ясно, зачем она завела этот разговор. И прежде чем он успел что-либо ответить, она продолжала, положив свою слегка опухшую, со вздувшимися венами руку на его плечо:

— Мне кажется, ты мудро поступил, съездив проветриться в Париж. И твой превосходный отец поступил не менее мудро, позволив тебе уехать. В мое время молодые люди всегда совершали подобные турне. Это рассматривалось не только как духовная потребность, а как средство выбить из человека юношескую дурь. Молодые люди возвращались остепенившимися, женились и жили добрыми помещиками. На этот путь следует ступить и тебе, Стефен.

— А что, если... — Слегка покраснев, он избегал смотреть на свою собеседницу. — А что, если я должен снова ехать за границу?

— Зачем?

— Чтобы продолжать учиться... и работать.

— В какой же области?

— Как художник.

Леди Броутон покачала головой и снисходительно потрепала его по руке.

— Дорогой мой мальчик, когда я была молода и имела склонность к романтике, мне казалось, что я могу писать стихи, да я их и писала, к стыду своему. Однако все это перебродило во мне. Перебродит и у тебя.

Считая разговор оконченным, она откинулась на спинку шезлонга. Прежде чем Стефен успел ей что-либо возразить,

в комнату вошел Дэви в сопровождении Клэр, неся металлическую коробку с японским рисунком.

— Посмотри, Стефен, что дала мне Клэр. Какие замечательные наживки, а также сколько катушек и лесок. А коробочка, которая не боится воды!

— Не забудь, — улыбнулась Клэр, — теперь ты обязан ловить нам уйму рыбы.

— Еще бы, с таким-то снаряжением... Эх, если бы занятия не начинались так скоро.

— А разве зима — не лучшее время для ловли щуки?

— Да, конечно. Я теперь только и буду ждать рождественских каникул.

— Смотри приходи к нам чай пить, когда будешь приезжать на Чиллинхемское озеро.

Стефен поднялся, чтобы откланяться. Он был тронут отношением Клэр к Дэви, ее спокойной предупредительностью, проявлявшейся, несмотря на сдержанность, в каждом слове и жесте. Последние отблески заходящего солнца золотили длинную комнату с колоннами, такую обжитую и приятную, поражавшую не столько изысканностью обстановки, сколько уютом, где все так и дышало стариной. Сквозь окна виднелись две прелестные лужайки под сенью огромного кедра, уже начинавшие тонуть в вечернем сумраке, за ними — буковые леса, красные пятнышки крыш чуть повыше, а дальше, до самого горизонта, — зеленое море холмов Даунс.

По дороге домой Дэви заметил, что брат его как-то необычно молчалив. Посмотрев на него, Дэви сказал:

— Красиво у них в поместье. Тебе не хотелось бы бывать там чаще?

Но Стефен ничего не ответил.

ГЛАВА XI

Был четверг. Семья настоятеля сидела за столом: завтрак подходил к концу. Все чувствовали себя довольно принужденно, держались натянуто; Дэви, уже облачившийся в форму, вечером уезжал к себе в школу. Однако, посмотрев на окружа-

ющих, Стефен заметил, что они находятся в состоянии такого нервного напряжения, какое едва ли можно объяснить указанным обстоятельством, — в воздухе чувствовался тайный сговор, все чего-то ждали. За последние две недели под прикрытием родственной любви на его волю то и дело исподволь оказывалось давление, и сейчас он как-то особенно остро ощущал это.

Настоятель, который за истекшие пять минут уже трижды смотрел на часы, снова вынул их, допил кофе и, ни на кого не глядя, заметил:

— Я случайно узнал, что мистер Мансей Питерс находится в наших краях. К сожалению, он не мог прийти ко второму завтраку, но я просил его заехать к нам днем.

— Как интересно, отец, — пробормотала Каролина, не поднимая глаз от тарелки.

— Ты имеешь в виду, — осведомилась миссис Десмонд тонким человеком, задающего заранее выученный вопрос, — того самого Мансея Питерса?

— Да. Ты знаешь мистера Питерса, Стефен? — Не прислушиваясь к разговору, Стефен вырезал для Дэви фигурку из апельсиновой корки, однако, почувствовав, что отец обращается к нему, поднял на него глаза. — Это известный художник, член Королевской академии.

Последовало молчание. Потрясенный, с застывшим лицом, Стефен ждал, когда раздастся щелчок и капкан, поставленный Бертрамом, захлопнется.

— Мы подумали, что ему интересно будет взглянуть на твои картины.

Снова наступило молчание, которое поспешила нарушить Каролина, заметив с наигранной веселостью:

— Не правда ли, как удачно, Стефен? Ты сможешь выслушать его советы.

— Мне кажется, — сказала миссис Десмонд, — если память мне не изменяет, в зале водных процедур Чэлтенхема есть пейзаж работы Питерса. Он висит как раз над железистым источником. Малвернские холмы и на них — овцы. Очень жизненно.

— Он один из наших самых видных художников, — подтвердил Бертрам.

— У него ведь, кажется, есть и книга, отец? — вставила Каролина. — «От Рафаэля до Рейнольдса» или что-то в этом духе.

— Он написал не одну книгу по искусству. Наиболее известная из них — «Искусство для искусства».

— Надо будет взять в библиотеке почитать, — пробормотала Каролина.

— Ты не будешь возражать, если мы покажем ему твои картины? — с неожиданной твердостью спросил настоятель, поворачиваясь к сыну. — Раз уж есть такая возможность, разумно спросить его мнение.

Стефен побелел как полотно. С минуту он молчал.

— Показывайте ему все, что хотите. Его мнение ничего не стоит.

— Что?! Да ведь Мансей Питерс — человек с именем, член Королевской академии. Он уже пятнадцать лет ежегодно выставляет свои картины.

— Ну и что же? Ничего более мертвого, более пошлого и глупого, чем его картины, я представить себе не могу.

Стефен заставил себя остановиться и умолк: ведь они могут подумать, что он завидует или боится. Повернувшись, чтобы встать из-за стола, он услышал шум колес и увидел в окно, как у входа остановилась станционная бричка. Коротенький человечек, казавшийся еще короче из-за широкополой шляпы и черного развевающегося плаща, стремительно вышел из кеба, огляделся и позвонил в колокольчик. Бертрам встал и вместе с женой и Каролиной направился в холл. Стефен продолжал сидеть у стола — теперь он понял, что все было подготовлено заранее. Уже по одежде Питерса было ясно, что он вовсе не гостит поблизости, а специально приехал сюда, и, должно быть, небезвозмездно — он прибыл из Лондона, словно хирург, которого вытребовали к опасному больному и от диагноза которого зависит жизнь или смерть пациента.

Дружеское прикосновение к плечу отвлекло Стефена от этих мыслей. Это был Дэви.

— Не пора ли и нам пойти туда? Не волнуйся, Стефен. Я уверен, что ты выйдешь победителем.

В гостиной, первоначально имевшей квадратную форму, а теперь обезображенной викторианским окном-фонарем, вы-

ходившим на запад, на диване сидел Мансей Питерс, пухлый, гладкий, бодро-официальный — объект почтительного внимания просвещенных слушателей.

Когда Стефен вошел, он повернулся и любезно протянул ему руку.

— Это, значит, и есть молодой джентльмен? Рад с вами познакомиться, сэр.

Стефен обменялся с ним рукопожатием, убеждая себя, не смотря на противоречивые чувства, бушевавшие в его груди, что он не должен питать злобы к этому неожиданному гостю, по всей вероятности честному и почтенному человеку, следующему велениям своей совести. Однако, зная работы Питерса, которые всегда получали широкое освещение в печати и часто воспроизводились в лучших еженедельниках, — эти пейзажи, писанные грубым мазком, и битумные интерьеры, приторно-сентиментальные и дегтярно-черные по колориту, — «смесь дерьма со жженой сиеной», как называл их насмешник Глин, — Стефен не мог подавить инстинктивной антипатии, которую лишь усиливали напыщенные манеры толстяка и его самоуверенность, граничащая с нахальством и исполненная почти тошнотворного самодовольства. Он отказался от завтрака, ибо «насытил утробу», как он любил выражаться, в пульмановском вагоне-ресторане, который всегда имелся при дневном экспрессе, но после уговоров согласился выпить кофе. И вот, покачивая на колене чашку, скрестив ноги в забрызганных грязью башмаках, он принялся расспрашивать Стефена с любезной снисходительностью почтенного академика, беседующего со смущенным неопитом.

— Так, значит, вы были в Париже?

— Да, около года.

— И надеюсь, много работали в этом веселом городе? — Это было сказано не без лукавого взгляда в сторону остальных; затем, поскольку Стефен молчал, Мансей Питерс спросил: — Кто же был вашим учителем?

— Вначале Дюпре.

— Вот оно что! Какого же он мнения о вас?

— Право, не знаю. Я очень скоро ушел от него.

— Тэ-тэ-тэ, вот это было ошибкой. — И Питерс удивленно спросил: — Вы что же, хотите сказать, что бóльшую часть времени работали без всякого руководства? Таким путем многого не достигнешь.

— Во всяком случае, я узнал, сколько нужно воли, дисциплинированности и прилежания для того, чтобы стать настоящим художником.

— Хм! Все это прекрасно. Но как насчет познаний? — Ледяной тон Стефена начал выводить Питерса из себя. — Ведь есть же непреложные истины. Я неоднократно подчеркивал это в моей книге. Вы, видимо, учились по ней.

— Признаться, нет. Я учился в Лувре.

— О, копировали! — не без раздражения воскликнул Питерс. — Это никуда не годится. Художник должен быть прежде всего самобытен.

— Однако все великие художники испытывали на себе влияние друг друга, — решительно возразил Стефен. — Рафаэль вдохновлялся Перуджино, Эль Греко — произведениями Тинторетто, Мане — полотнами Франса Хальса. Все постимпрессионисты так или иначе помогали друг другу. Словом, перечень этот можно продлить до бесконечности. Да ведь и в вашей собственной работе, извините, есть следы влияния Лейтона и Пойнтера.

Упоминание об этих двух художниках, гремевших в Викторианскую эпоху, а теперь забытых, вызвало на лице Мансея Питерса несколько растерянное выражение, словно он не знал, считать это похвалой или оскорблением.

Миссис Десмонд с несвойственным ей тактом нарушила молчание:

— Разрешите налить вам еще кофе?

— Нет, благодарю вас. Нет. — Он вернул ей пустую чашку. — Видите ли, у меня очень мало времени, я даже задержал экипаж, и он ждет меня у дверей. Может быть, перейдем к делу?

— Извольте. — Бертрам, с опаской наблюдавший за этой стычкой двух темпераментов, подал знак Дэви, который тотчас вскочил и вышел из комнаты. Он почти сразу вернулся, неся в руках картину Стефена — вид на Сену в Пасси, — которую

он поставил на стул с высокой спинкой, пододвинутый поближе к свету, как раз напротив дивана.

Приложив палец к губам, Мансей Питерс потребовал тишины и надел пенсне. Он изучал картину внимательно и долго, нагнувшись вперед, наклоняя голову то вправо, то влево, затем драматическим жестом велел Дэви убрать ее; тот поставил картину к окну и принес следующую. Для Стефена, стоявшего позади с каменным лицом и мучительно бьющимся сердцем, это испытание при его болезненной уязвимости было сущей пыткой. Он окинул взглядом свою семью: отца, сидевшего очень прямо, сложив вместе кончики пальцев, закинув ногу на ногу и от нервного напряжения покачивая ступней; Каролину, приютившуюся на низеньком стульчике подле дивана и с сосредоточенным видом, нахмурившись, то поднимавшую глаза на Питерса, то опускавшую взор долу; мать, покойно расположившуюся в кресле и мечтавшую о чем-то, не имевшем никакого отношения к происходящему; Дэвида в чистом крахмальном воротничке и темно-серой школьной форме, с гладко зачесанными назад волосами, — глаза его блестели от возбуждения, он не понимал, конечно, всего значения этой сцены, однако был глубоко уверен в конечном триумфе брата.

Но вот испытание окончено, последняя картина просмотрена.

— Ну, что скажете? — вырвалось у Бертрама.

Мансей Питерс ответил не сразу: он встал и еще раз обозрел полотна, прислоненные к полукруглому подоконнику большого окна-фонаря, словно желая исключить всякую возможность счесть его суждение поспешным или недостаточно продуманным. Одно полотно — женщина, вешающая белье, — казалось, особенно занимало его; он все снова и снова почему-то украдкой кидал взгляд на картину, словно пораженный смелостью контрастов и живостью красок. Наконец он сбросил пенсне, державшееся на муаровой ленточке, и встал в позу на ковре у камина.

— Так что же вы хотите от меня услышать?

Бертрам судорожно глотнул воздух.

— Есть ли у моего сына данные стать художником... ну, скажем... первого ранга?

— Никаких.

Воцарилась мертвая тишина. Каролина инстинктивно бросила сочувственный взгляд на брата. Настоятель потупился. А Стефен с еле уловимой улыбкой продолжал смотреть в упор на Мансея Питерса.

— Конечно, — заговорил тот, — я мог бы быть более вежливым. Но, насколько я понимаю, вы хотите знать правду. А я в этих полотнах, которые написаны, пожалуй, не без известного, правда грубого, блеска, но зато и без всякого учета наших великих традиций в живописи, традиций благопристойности и строгости, вижу только повод... — он передернул плечами, — повод для сочувствия и огорчения.

— В таком случае, — медленно произнес Бертрам, словно желая получить окончательное подтверждение своим мыслям, — если бы... если бы они, скажем... были представлены на конкурс в Академию, вы полагаете, они были бы отвергнуты?

— Мой дорогой сэр, будучи членом выставочной комиссии, я не только полагаю. Я убежден. Поверьте, мне тяжело разрушать ваши надежды. Если ваш сын будет заниматься этим между прочим... от нечего делать... пусть занимается. Но профессионально... ах, мой дорогой сэр, живопись для нас, которые живут ею, — это жестокое искусство. Оно не потерпит неудач.

Бертрам исподтишка сочувственно посмотрел на сына: он, видимо, ждал, что тот станет возражать, по крайней мере скажет что-то в защиту своей работы. Но Стефен все с той же еле уловимой улыбкой, все с тем же гордым безразличием продолжал молчать.

— А теперь, если позволите... — сказал Питерс, кланяясь.

Настоятель поднялся.

— Мы очень благодарны вам... несмотря на то что ваш разговор был столь неблагоприятным.

Мансей Питерс снова поклонился, и, когда он с несколько удрученным, но любезным видом покидал комнату, Бертрам, невнятно пробормотав извинения, сунул ему в руку конверт, который тот принял, даже не взглянув, — все это было проделано так ловко, что никто ничего не заметил, кроме Стефена. Вскоре послышался шум отъезжающего экипажа. Профессор отбыл.

Видимо, желая вывести не столько себя, сколько своих домашних из затруднительного положения, Стефен вышел на улицу. Перед домом, с непокрытой головой, прохаживался взад и вперед настоятель. Он тотчас взял сына под руку, сочувственно сжал ему локоть и, пройдясь несколько раз по мощенной плитами подъездной аллее, заметил:

— Мне надо сходить в церковь. Ты не проводишь меня?

Они пошли вместе, и Бертрам заговорил угрюмо, нимало не пытаясь оправдаться перед сыном:

— Это было мучительным испытанием для тебя, Стефен, и не менее мучительным для всех нас. Но мне необходимо было знать правду. Надеюсь, ты не осудишь меня за это.

— Конечно нет. — Спокойствие его тона поразило Бертрама, но он тотчас понял, что оно объясняется нежеланием сына разговаривать на эту тему.

— Ты мужественно принял приговор, Стефен, — как настоящий Десмонд. Я опасался, что ты можешь рассердиться на меня за то, что я без всякого предупреждения устроил этот экзамен. Но ведь если бы я сказал тебе заранее, ты бы мог и отказаться...

— Да, вероятно, я бы отказался.

— Надеюсь, ты понимаешь, что никто не влиял на Мансея Питерса и что он высказал свое собственное мнение?

— Я в этом убежден. Наше маленькое препирательство вначале, конечно, взъерошило ему перышки. Но в одном я не сомневаюсь: для него мои картины хуже отравы.

— Ах, бедный мой мальчик, — сочувственно пробормотал настоятель.

Тут они вошли в церковь, и Бертрам, остановившись в алтаре, у двери в ризницу, привычным жестом положил руку на гробницу с изваянием крестоносца и повернулся к сыну.

— Теперь, во всяком случае, все ясно... и ничто не мешает тебе вернуться в лоно церкви. Я не намерен подгонять тебя. Есть, конечно, одна трудность — это, если угодно, отправление службы. Тем не менее, — он посмотрел вокруг, — твое настоящее место здесь, Стефен.

Стефен откликнулся не сразу.

— Боюсь, что ты не понимаешь. Я не собираюсь бросать живопись.

— То есть как это не собираешься?

— А так. Я твердо решил посвятить свою жизнь искусству.

— Но ты ведь только что слышал мнение... совершенно уничтожающее... мнение знатока.

— Этого идиота и ничтожества... снедаемого завистью! То, что он разнес в пух и прах мою работу, было величайшей похвалой, какую он только мог меня наградить.

— Да ты с ума сошел! — Гнев и испуг залили яркой краской лицо Бертрама. — Он один из лучших художников Англии, его даже прочат в президенты Королевской академии.

— Ты не понимаешь, отец. — Несмотря на внутреннее напряжение, читавшееся на лице Стефена, он почти улыбался. — Питерс не умеет писать обыденную жизнь. Его картины — набившая оскомину сентиментальная пошлятина, в них нет ничего оригинального. Он преуспел только благодаря своей убийственной посредственности. Если хочешь знать, даже этот старый дурак Дюпре с его «*reinture l'échée*»¹ был более терпим. Неужели тебя не тошнило от его ужасающих штампов, его напыщенности, его пухленьких ручек? Посмотри, как у него развит стадный инстинкт. А подлинный художник всегда идет своим особым путем.

Лицо Бертрама во время этой речи, показавшейся ему пустой мальчишеской болтовней, постепенно становилось все жестче. Он заставил себя подавить боль, вспыхнувшую в груди, и огромное желание обнять сына.

— Для любого нормального человека это звучало вполне убедительно. Ты должен принять его приговор.

— Нет.

— Я настаиваю.

— Я имею право сам распорядиться своей судьбой.

— Нет, не имеешь, если ты решил погубить себя.

И тот и другой говорили, не повышая голоса. Настоятель был очень бледен, но он все время в упор смотрел на сына. Под

¹ «Зализанной живописью» (фр.).

его взволнованностью таилась твердость, которой раньше Стефен у него не замечал.

— Говоря по справедливости, разве ты не обязан возместить мне чем-то за все, что я для тебя сделал? Ты, конечно, презираешь такую грязь, как деньги. Однако я потратил на твое обучение — лучшее, какое только может пожелать сын любого отца, — изрядную сумму, которую мне нелегко было изыскать. Сейчас у нас куда меньше денег, чем было раньше, и мне стоит большого труда поддерживать в Стиллуотере тот уровень жизни, к которому мы привыкли. Я все время надеялся, что у меня не будет надобности делать тот шаг, на который я вынужден сейчас пойти. Тем не менее ради твоего же благополучия я хочу, чтобы ты как следует все взвесил. С этого часа ты не получаешь от меня ни гроша. А без денег ты, боюсь, едва ли сможешь заниматься своей живописью.

В маленькой церкви воцарилась звенящая тишина. Стефен опустил глаза и долго смотрел на каменное изваяние своего предка, который в полутьме, казалось, цинично улыбался ему. Вид меча, огромных латных рукавиц привел ему на память фразу из книжки, которую он читал в детстве: «Железная рука в бархатной перчатке». Он вздохнул.

— Хорошо, отец, будем считать вопрос решенным.

Бертрам взял из ризницы требник — его рука так дрожала, что он едва не уронил книгу и вынужден был прижать ее к груди. В полном молчании отец и сын покинули церковь.

Весь остаток дня Стефен был образцом любезности и немало порадовал домашних своей общительностью и живостью. В шесть часов он заявил, что поедет провожать Дэви на станцию, посадил его там в поезд и весело и дружелюбно пожелал счастливого пути. Но как только он отвернулся от вагона, лицо его приняло совсем другое выражение; подойдя к извозчицкой стоянке, он взял свой чемодан, который заблаговременно спрятал среди пожитков Дэви и потом оставил на хранение у извозчика. Взглянув на расписание, висевшее у кассы, он увидел, что поезд в Дувр отправляется через час. Он купил билет и стал ждать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА I

Дувр под дождем был похож на замызганный черный ход, и казалось, что через него тайком ускользают из Англии. Лишь только почтовый пароходик, курсирующий через Ла-Манш, покинул закопченную гавань, и тотчас берег с его грязными, слякотными улицами, желтыми домиками, облепившими склоны холма, и мертвенно-серыми глинистыми утесами растаял, скрылся за серой пеленой дождя.

Внизу тесный трюм четвертого класса был битком набит пассажирами, и Стефен, выбравшись из этой жары, толчеи и атмосферы шумной общительности, возвратился на залитую дождем, заваленную канатами палубу. На носу не было ни души, и он остановился тут, стараясь укрыться от непогоды за лебедкой, покрытой брезентовым чехлом. Горечь и печаль переполняли его душу, и он стоял в оцепенении, тупо глядя на расплывающиеся в тумане очертания берега.

Наконец, согнувшись, он присел на лебедку и, не обращая внимания на качку и словно не замечая ветра и соленых брызг, залетавших в его ненадежное укрытие, вытащил из кармана альбом для эскизов. Он сделал это непроизвольно — движение было как вырвавшийся из груди стон. И все же, лишь только его карандаш коснулся топорщившегося от ветра листка бумаги, в то же мгновение все было забыто, и в альбоме с лихорадочной быстротой стали возникать мимолетные видения: огромные, зловещие валы, исполненные таинственной жизни, в чьей тревожной и дикой пляске, в исхлестанных ветром гребнях угадывались причудливые очертания человеческих лиц, запрокинутых в нестерпимой муке голов, странно изогнутых тел животных и людей со вздыбленными волосами и напряжинив-

шимися мускулами, погибающих, сметенных, уносимых в неизвестность беспощадной стихией.

↓ Это было похоже на приступ безумия, на головокружение, и, когда он прошел, Стефен почувствовал себя разбитым, вконец измученным. Его пробирала дрожь. Пароходик уже замедлял ход и, осторожно продвигаясь между маяками Кале, не спеша приближался к молу. Стефена затрясло как в лихорадке, он вдруг заметил, что насквозь промок и по лицу у него струйками стекает вода. С виноватым видом он воровато спрятал альбом в карман. Канаты уже были наброшены на причал, трап спущен, пассажиры быстро прошли таможенный досмотр. Но на линии, как видно, что-то случилось, так как парижский поезд еще не прибыл.

Стефена все еще знобило, и, чтобы согреться, он зашагал по платформе взад и вперед. Здесь, на суше, дождь, казалось, был не столь беспощаден, но ветер, свистевший вдоль изогнутого дугой железнодорожного полотна, дул словно бы еще резче, еще колючей и пробирал до костей. Большинство пассажиров в ожидании поезда убивали время, закусывая на ходу в вокзальном ресторане. Но Стефен, обшарив еще раз свои карманы, воздержался от подобного расточительства. Будущее было покрыто мраком неизвестности, а в настоящую минуту он являлся обладателем лишь пяти фунтов и девяти шиллингов. Вот и все, что осталось от тех десяти фунтов, с которыми он приехал в Стилутер.

Наконец подошел поезд, и после некоторой суматохи, пронзительных свистков, шипения пара и мелодичных сигналов рожка паровоз переставили в хвост состава, и он, пытаясь, потащился в обратный путь. Стефен, забившись в угол купе, по которому так и гулял сквозняк, получал весьма сомнительное удовольствие от этого путешествия. Временами его снова начинало знобить, он понимал, что схватил простуду, и клял себя на чем свет стоит.

Когда поезд прибыл в Париж на Северный вокзал, Стефен, с минуту поколебавшись, решил — была не была, вышел, сел в метро и поехал на улицу Капель. Ему взгрустнулось: воспоминания о том, как весело и беспечно вступил он когда-то впервые в этот город, нахлынули на него, и он отдался им во власть.

Он жаждал простой, непритязательной и надежной дружбы Пейра — в нынешнем состоянии его духа она была ему просто необходима. Но новый жилец, появившись в дверях, выслушал его недоверчиво и тупо и заявил, что ему не оставлено никаких поручений, никаких писем... Вероятно, мсье Пейра пробудет в Оверни, в Пюи-де-Дом, до конца года, а больше ему ничего не известно.

Тогда Стефен направился в мастерскую Глина, но она оказалась на замке. Дальнейшее разочарование постигло его у дома Ламбертов, окна которого были наглухо забиты. В отчаянии Стефен отправился на квартиру к Честеру. Хотя Стефен никогда не вел точного учета деньгам, которые давал Гарри взаймы, но он знал все же, что тот, раз от разу занимая у него деньги, задолжал ему в общей сложности никак не меньше тридцати фунтов, а в нынешних обстоятельствах такая сумма казалась Стефену куда более значительной, чем прежде. Но квартира Честера тоже была закрыта, и на двери даже висел замок. Однако, когда Стефен спускался с лестницы, привратница узнала его, и ему посчастливилось получить от нее адрес Честера, который тот сообщил в открытке два дня назад: Нормандия, Нетье, гостиница «Золотой лев».

Воспрянув духом, Стефен зашел в ближайшее почтовое отделение и отправил Честеру телеграмму. Сообщая о положении, в которое он попал, Стефен просил Честера немедленно выслать долг или хотя бы часть его на имя Альфонса Биска на улицу Кастель. После того как молодая женщина в саржевом халате, восседавшая за решеткой, произвела на бумажке какие-то сложные вычисления, что заняло по меньшей мере несколько минут, Стефен заплатил сколько положено и направился в соседнюю кондитерскую Дюваля, где заказал чашку горячего шоколада с бриошью.

Подкрепившись слегка и увидев, что дождь льет все пуще и пуще и в канавах уже бурлит грязный поток, Стефен решил как можно скорее устроиться где-нибудь на ночлег. На комфортабельный он не рассчитывал и потому, не раздумывая долго, направился в ближайшую дешевую гостиницу-пансион «Запад», мимо которой ему не раз случалось проходить, когда он посещал мастерскую Глина.

Отведенный ему номер, в который он попал, поднявшись по не застланной ковром лестнице, оказался узким закоулком за перегородкой, но здесь, по крайней мере, было сухо и на кровати, кроме грязноватого белья, лежало еще изрядное количество одеял с синими клеймами — грубых солдатских одеял, какие обычно выдают новобранцам в лагерях, после чего государственные поставщики сбывают их куда-нибудь на сторону. Вытерпев еще несколько мучительных приступов жестокого озноба, Стефен наконец согрелся и тотчас заснул как убитый. Наутро он чувствовал себя уже лучше, хотя его и начал одолевать кашель, что, кстати сказать, ничуть его не удивило. Он опять позавтракал у Дюваля — выпил чашку кофе с пирожком — и в одиннадцать часов направился в лавочку мсье Биска.

Здесь его ожидал приятный сюрприз. Кондитер оказал ему самый сердечный прием. Его круглое лунообразное лицо засияло приветливыми морщинками, и, побранив Стефена за то, что тот не заглянул к нему еще накануне, мсье Биск с ужимками фокусника извлек откуда-то ответную телеграмму Честера. Такая телеграмма вполне могла поднять дух адресата, хотя по ней и нельзя было получить денег.

ВОСТОРГЕ ТВОЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ СПЕШИ СЮДА ОТЕЛЬ ПОГОДА
ВЕЛИКОЛЕПНЫ ЖИВОПИСНЫЕ ОКРЕСТНОСТИ ГОРЯЧИЙ
ПРИВЕТ ГАРРИ

У Стефена отлегло от сердца, когда он прочел это дружеское послание и представил себе, как с кистью и палитрой в руках он будет стоять перед мольбертом под ласковым нормандским солнцем.

У Биска отыскалось железнодорожное расписание — правда, древнее и весьма потрепанное, — и с его помощью удалось установить, что гренвильский скорый (единственный, по-видимому, поезд прямого сообщения) уже отошел в десять часов утра, а так как почтенный кондитер был весьма настойчив в своем радушии, Стефен решил отложить отъезд на день. После обеда он направился к Наполеону Кампо, чтобы взять оставленные у него на сохранение кое-какие вещи и мольберт, а также запастись свежими тюбиками красок, холстом и лаком. За эти приобретения он выложил Кампо пятьдесят франков,

пообещав перевести остальные деньги тотчас по прибытии в Нетье.

Наутро небо прояснилось, занимался погожий день, и Стефен, забрав свои пожитки, отправился на Монпарнасский вокзал. Скорый поезд, отходивший от второй платформы, не был переполнен, и Стефен без труда отыскал свободное купе. Лишь когда поезд тронулся, Стефен почувствовал, что ему все еще нездоровится: голова была тяжелая и в правом боку временами резко покалывало. Но по мере того, как поезд, стремясь вырваться из города на простор, прокладывая себе путь меж тесно обступавших его с двух сторон высоких темных домов и ныряя в туннели, усталость и апатия Стефена понемногу стали проходить. Он не отрываясь смотрел в окно, следя за мимолетным, мгновенно ускользающим из глаз пейзажем. Потянулось желтое жнивье, канавы, обсаженные тополями — извечными стражами крестьянских полей — и полные дождевой воды; на горизонте все время маячил церковный шпиль — тонкий и необыкновенно изящный; пара добрых лошадок тянула плуг; над пашней кружили вороны; показались ветхие строения какой-то фермы с охристо-желтыми черепичными кровлями, на фасадах ослепительно ярко, словно эмалированные, заблестели вывески: Бирр, Синзано, Дюбоннэ.

В полдень Стефен съел яблоко и плитку шоколада. Ландшафт за окном неприметно менялся. Борясь с дремотой, Стефен не без удовольствия отметил про себя появление маленьких фруктовых садиков, обнесенных живой изгородью; живописных извилистых тропок; медленную процессию гусей, важно шлепающих по грязи к илистому пруду в сопровождении босоногой девчонки с ореховым прутиком в руках; аккуратно подстриженные ивы вдоль дороги; пожилую седовласую женщину, пасущую свою единственную корову на лужайке у железнодорожного полотна, не переставая при этом усердно перебирать вязальными спицами. Даже напитки стали иными. «Attendez! — кричали вывески. — Buvez le cidre moissoné!»¹

Часа в три пополудни поезд, преодолев длинный подъем, добрался до перевала и подлетел к маленькому вокзальчику

¹ Остановитесь! Выпейте свежего сидра! (фр.)

города Нетье. Стефен поспешно подхватил свои пожитки и прыгнул с высокой подножки. Окинув взглядом платформу, он убедился, что Честер не приехал его встретить. Рассудив, что приятель не мог знать наверняка, когда именно и с каким поездом он прибудет, Стефен зашагал по направлению к городу, который рассыпался по склону холма примерно в километре от вокзала и был виден весь как на ладони. По мере приближения к городу настроение Стефена поднималось. Миновав обнесенную рвом древнюю стену с бойницами, он углубился в кривые, мощенные булыжником улочки, столь узкие подчас, что островерхие кровли домов, сложенных из песчаника, казалось, смыкались у него над головой. Но вот на рыночной площади, напротив выгоревшего от солнца терракотового фасада старого постоялого двора, он увидел золоченую вывеску гостиницы.

Гостиница «Золотой лев» оказалась солидной, комфортабельной, она производила весьма внушительное впечатление. Стефен сразу это почувствовал, когда, окинув взглядом вестибюль, направился к конторке администратора, расположенной в небольшой нише под пролетом дубовой лестницы.

— Что вам угодно, мсье?

— Меня зовут Десмонд. Не будете ли вы добры сообщить мсье Честеру, что я приехал?

Последовало довольно продолжительное молчание.

— Вы хотите видеть мсье Честера?

— Да. Он меня ждет.

Администратор гостиницы, узкоплечий, гладко прилизанный молодой человек, еще с минуту молча разглядывал Стефена, затем произнес:

— Будьте любезны обождать, сэр.

Администратор исчез за портьерой в глубине ниши и через несколько минут появился снова в сопровождении какого-то субъекта с бычьей шеей, облаченного в форменный черный костюм в полоску.

— Вы хотите видеть мсье Гарри Честера? — Эта вежливая фраза прозвучала как-то странно угрожающе.

— Ну да. Это мой друг. Разве он не у вас остановился?

Ледяное молчание.

— Он *был* у нас, мсье. До вчерашнего вечера. Вчера мы подали ему счет и с этой минуты не видели больше уважаемого мсье Честера.

Стефен ошеломленно уставился на хозяина гостиницы. Ведь он же приехал сюда только потому, что Гарри его пригласил! И потратил при этом все деньги до последнего франка на железнодорожный билет! И тут, словно молния, сверкнула мысль: Честер, снова оказавшись без гроша в кармане, вызвал его сюда потому, что надеялся перехватить у него еще немного денег.

— Если мсье Десмонд и в самом деле мсье Десмонд, — эти слова были произнесены с уничтожающим сарказмом, — то ваш приятель оставил для вас письмо. — Конверт — уже распечатанный — был брошен на край конторки таким жестом, словно он содержал в себе нечто омерзительное.

Дружище!

Кто знает, передадут ли они тебе это письмо. Если передадут, сообщают, что я, к моему великому сожалению, вынужден был исчезнуть в неизвестном направлении. Я полагал, что мы вместе найдем какой-нибудь выход из положения — как говорится, ум хорошо, а два лучше, — но бухгалтерия гостиницы забежала вперед и спустила мне все карты. Думаю пошататься немного по югу, загляну в Ниццу, попытаю счастья за игорным столом. Так или иначе, мы еще, разумеется, свидимся. Прими и прочее... Ничего, брат, не напишешь, обстоятельства сильнее нас.

Твой Гарри

P. S. Во всем городе ни одной стоящей женщины, но непременно отведай местного сидра. Превосходная штука!

Стефен нервно смял это наспех нацарапанное карандашом послание. Он всегда знал, что на Честера нельзя полагаться, но только сейчас открылась ему до конца вся глубина этого оголтелого эгоизма, скрытого под маской веселого, беспечно, обаятельно-непринужденного дружелюбия.

Хозяин гостиницы и администратор с нескрываемым презрением рассматривали его из-за барьера, за которым помеща-

лась конторка. После чего ему было нанесено заключительное оскорбление:

— Мсье, конечно, понимает, что у нас сейчас не найдется для него свободного номера. И вероятно, не будет настаивать.

— Можете не беспокоиться, — сказал Стефен, повернулся и вышел на улицу.

ГЛАВА II

Без единого франка в кармане он стоял посреди рыночной площади незнакомого городка и с чувством все возрастающей тревоги старался отдать себе отчет в своем положении. Впервые в жизни у него не было ни гроша за душой. Обычно деньги на его содержание поступали неукоснительно, подобно смене дня и ночи, и он принимал это как нечто само собой разумеющееся, обусловленное тем местом, какое он занимал в обществе, и даже самым фактом своего появления на свет. Горькая усмешка искривила его губы, когда он подумал о том, какое могущественное средство принуждения пустил в ход отец. Однако природное упрямство и на этот раз сослужило ему службу. Прежде всего, решил он, нужно найти какое-нибудь, хоть временное, пристанище.

Осуществить это оказалось куда легче, чем он предполагал.

Городок был испокон веков облюбован туристами, и еще задолго до наступления ночи Стефен водворился в крошечной комнатенке под самой крышей в глубине какого-то двора на Соборной улице. Так как у него были с собой вещи, хозяйка — пожилая женщина, довольно приятная с виду — не потребовала денег вперед. Комната сдавалась всего за двенадцать франков в неделю, и Стефен решил — будь что будет! А завтра он во что бы то ни стало достанет денег и расплатится с хозяйкой. Он сам понимал, что здесь, в этом городке, ему никак не удастся заработать на хлеб своей кистью. Однако быть того не могло, чтобы он, с его университетским образованием и дипломом бакалавра в кармане, не сумел обеспечить себе скромный заработок, который помог бы ему на первых порах встать на ноги. Черт побери, а что, если удастся даже отложить немного, чтобы

оплатить счет Честера в гостинице! Стрела, пущенная в него на прощание хозяином, попала в цель, и рана все еще ныла. А к зиме он вернется в Париж с небольшой, но достаточной суммой в кармане и разыщет Пейра. Эх, если б только он не чувствовал себя так мерзко! Этот кашель, который он подхватил, переправляясь через Ла-Манш, совсем его замучил. Но страстное желание доказать самому себе, что его не так-то легко сломить, преодолело все, и Стефен направился к центру города.

Отсюда он начал свое предварительное знакомство с городом и прошелся по главной магистрали — улице Республики. Большинство магазинов, даже самых маленьких, имели солидный, процветающий вид, характерный для городов, расположенных в богатой сельскохозяйственной местности. В витрине скобяной лавки стояли лопаты, косы, вилы, цинковые ведра, краснозубая борона и множество других подобного рода предметов. Окна кондитерской выглядели очень нарядно; в них красовались соблазнительные пирожные и миндаль в сахаре, уложенный в виде букетиков, напоминающих флер-д'оранж, а в витрине молочной на углу на фарфоровом подносе между двух кувшинов, до краев наполненных молоком, желтой громадой высилась колоссальная гора топленого нормандского масла.

Рядом с писчебумажным магазином Стефен увидел за стеклом небольшой витрины написанные чернилами карточки объявлений. Неторопливо, внимательно он прочел их все, одно за другим, и отвернулся. Он не умел чинить плетеную мебель, не умел настраивать рояли и не собирался арендовать полдачи на высоком скалистом морском берегу в окрестностях Гренвиля. Он побрел дальше по улице и увидел редакцию местного еженедельника «Курьер де Нетье». Последний номер газеты был вывешен в вестибюле для всеобщего ознакомления. Но с толщих его столбцов, посвященных купле и продаже скота и удобрений, уходу за коровами и кобылами, фазам луны и часам прилива у моста Сен-Мишель, не блеснуло ему ни искры надежды.

Что же делать дальше? Очевидно, нужно было с кем-то посоветоваться. Не раздумывая долго, Стефен вошел в мэрию и вежливо и скромно осведомился у одного из служащих, кото-

рый показался ему наиболее симпатичным, можно ли получить у них в городе какую-нибудь работу. Вопрос несколько ошеломил молодого чиновника, но он держался доброжелательно и, как видно, был неглуп. Он сосредоточенно раздумывал с минутой, затем медленно покачал головой.

— Это очень сложно... В таком небольшом местечке, как наше, население... — чиновник улыбнулся, развел руками, поправил свои крахмальные манжеты, — население не слишком-то приветливо относится к иностранцам.

После этого Стефен еще часа два безуспешно рыскал по городу, пока не прошел его из конца в конец. Когда стало смеркаться, он, усталый и отчаявшийся, вернулся в свою каморку. Обшарив карманы, он проверил их содержимое: всего-навсего пятнадцать су. При виде этих жалких монеток, лежавших у него на ладони, в нем снова заговорила гордость. Нет, он не может, не позволит себе сдать.

На следующий день в поисках какой-нибудь, хоть самой тяжелой физической работы Стефен обошел пешком окрестные фермы. Вероятно, он отшагал километров двадцать, не меньше. И все напрасно. На фермах не было недостатка в рабочих руках. А кое-где, приняв его за бродягу, хозяева даже спускали собак. Какой-то сердобольный крестьянин, копнивший вилами сено во дворе, заколебался было, тронутый, как видно, страстной мольбой, прозвучавшей в голосе Стефена, но нормандское скопидомство все же взяло верх. Крестьянин отрицательно покачал головой: нет, дескать.

— Больно уж ты слабоват с виду, *mon petit*¹, щуплый какой-то... совсем заморыш. Но погоди... — И, повернувшись к кухонной двери, он крикнул: — Жанна, принеси-ка этому парню поест.

Послышался стук деревянных сабо, и на пороге появилась миловидная женщина с красными, голыми по локоть руками. Окинув взглядом Стефена, она вынесла ему кусок пирога и кувшин сидра. Пока он насыщался, присев на низенькую доильную скамеечку, стоявшую возле крыльца, фермер и его жена наблюдали за ним и обменивались вполголоса замечаниями

¹ Мой мальчик (*фр.*).

по его адресу, а мальчишка в черном передничке тарашил на него глаза, укрывшись за материнской юбкой. Стефен сидел, оцепенев от стыда. «О господи, — мысленно простонал он. — Я совсем как персонаж с гравюры Котмена... Неужто я уже дошел до нищенства!» Но пирог, политый крепким мясным соусом, был очень хорош, а легкий кисловатый сидр немножко подбодрил Стефена, и, собравшись с силами, он пустился в обратный путь — в Нетье.

В сумерках он добрал до Соборной улицы. Весь день он держался, не позволяя себе падать духом, но теперь его охватило отчаяние. Эта крохотная, узкая, чужая комната, запах гнилого дерева, плесени и камфары, скрипучие половицы, напоминавшие о себе при каждом шаге, чувство безграничного одиночества, обида на Честера за обман, полная беспросветность впереди и страх, что у хозяйки уже зародились на его счет сомнения, — все это разом обрушилось на Стефена и придавило его. Он ничком повалился на кровать и, повернувшись к выбеленной известкой стене, разрыдался, как ребенок.

Приступ отчаяния скоро прошел, но тут на беду возобновился кашель. Всю ночь он мучил Стефена, не давал ему уснуть. Боясь потревожить чей-нибудь покой, Стефен изо всех сил старался удерживаться от кашля, и от этого приступы стали возобновляться все чаще и чаще. Наконец, уже на рассвете, он забылся тяжелым сном, натянув на голову одеяло.

Он проснулся поздно, было уже около одиннадцати часов. Первая блаженная минута полного отдыха и покоя сменилась возвращением к безысходной действительности. Стефен встал, оделся и, не побрившись, пошел в город. Лихорадочная тревога сжигала его мозг, а ноги были как ватные. Он бесцельно, отупело брел по улице, сам не зная куда. Внезапно, когда он, остановившись на краю тротуара, собирался во второй раз пересечь рыночную площадь, за спиной у него раздались торопливые шаги и чья-то рука тронула его за локоть. Вздрыгнув от неожиданности, он обернулся. Перед ним стоял чиновник из мэрии.

— Извините, мсье... — Молодой человек совсем запыхался. — Я все смотрел в окно, пока обедал, все поджидал, не появись ли вы снова. Я, видите ли, после вашего посещения

навел кое-какие справки для вас и узнал, что мадам Крюшо — они с мужем держат здесь бакалейную торговлю, — молодой человек махнул рукой куда-то в сторону, — ищет преподавателя английского языка для своих девочек. У нее две маленькие дочки. Быть может, вы подойдете ей. Во всяком случае, попытать счастья стоит.

— Благодарю вас, — пробормотал ошеломленный Стефен. — Очень, очень вам признателен.

Молодой человек улынулся.

— Желаю удачи. — Он сказал это по-английски; старательно выговаривая слова, затем, как видно очень довольный достигнутым результатом, пожал Стефену руку и приподнял шляпу. Он постоял еще немного, глядя Стефену вслед, пока тот торопливо пересекал площадь.

Бакалейная лавка Крюшо стояла на самом видном месте рыночной площади. Двойные зеркальные витрины и отливающая глянцем вывеска, гласившая: «Реннские товары», придавали ей весьма преуспевающий вид, свидетельствуя о процветании этого предприятия, торговавшего весьма разнообразными и соблазнительными продуктами питания. Поток покупателей не иссякал в его широких дверях, осененных окороками, сетками с лимонами и связками бананов, подвешенными к притолоке на крюках. Корзины с отборными овощами стояли у входа, несколько затрудняя доступ внутрь. Вдоль стен на полках в щедром изобилии высились груды разнообразных продуктов, добытых на суше и на море: свиное сало и оливковое масло, сыр, сосиски, гусиная печень, потроха и голые, сардины и анчоусы, засахаренные фрукты, кофе и пряности, старый выдержанный коньяк, а также прочие вина и всевозможные горячительные напитки... Пирамиды бутылок и банок ослепительно сверкали, пол был посыпан свежими опилками.

Войдя в лавку, Стефен невольно приостановился; он был смущен и растерян: шум, толчея, громогласно отдаваемые распоряжения и суматоха, которую поднимали двое приказчиков в белых халатах — крепкая, коренастая молодая нормандка и хромой, забитого вида юноша, — привели его в замешательство.

Однако появление Стефена недолго оставалось незамеченным — он услышал за собой резкий женский голос и почувствовал, что вопрос обращен к нему:

— Что вам угодно, мсье?

За небольшой конторкой стояла статная женщина лет тридцати восьми, с соломенно-желтыми волосами, гладким розовым лицом, розовыми ушами, отягощенными массивными золотыми подвесками, и весьма округлыми формами, плотно обтянутыми хорошо пригнанным платьем. Ее пышный бюст и наглый взор, казалось, царили над суматохой и властно управляли ею. Лиловое платье было сшито по последней провинциальной моде — с квадратной кружевной вставкой у ворота. Туалет дополняли многочисленные кольца, браслеты и большая брошь — камень.

— Прошу прощения, — негромко пробормотал Стефен, протискиваясь к конторке. — Моя фамилия Десмонд. Мне стало известно, что вы ищете гувернера — преподавателя английского языка для ваших детей.

Узнав, что перед нею не покупатель, мадам Крюшо погасила свою механическую улыбку. Прищурившись, она разглядывала Стефена. Это был холодный, оценивающий взгляд — не могло быть сомнения в том, что на базаре мадам Крюшо могла с точностью до миллиграмма определить вес хрюкающей живности, откормленной на убой, и безошибочно оценить все ее качества. Но слово «гувернер», по счастливой случайности сорвавшееся у Стефена ненароком с языка, польстило тщеславию мадам, которое являлось доминирующей чертой в характере этой особы и было, в сущности, основной причиной, побудившей ее обучать своих дочек английскому языку. К тому же стоявший перед нею молодой человек производил довольно благоприятное впечатление, был воспитан и, по-видимому, достаточно застенчив и робок — словом, не вызывал опасений.

— Мсье может рассказать мне что-нибудь о себе?

Стефен рассказал — вполне честно и откровенно.

— Значит, мсье учился в Оксфорде? — Эмалево-голубые глаза мадам заблестели, но этот блеск был немедленно притушен в интересах сделки. Мадам пожала плечами, выражая сомнение. — Конечно, мы должны верить мсье на слово.

— Заверяю вас...

— О-ля-ля! Я готова верить вам, мсье. Но, принимая во внимание нежный возраст моих малюток, я, как вы сами понимаете, должна требовать от наставника самого высокого образца воспитания и морали.

— Разумеется, мадам.

— В таком случае... — Оборвав беседу, она резко крикнула что-то приказчикам. Распоряжения следовали одно за другим, словно ураганный огонь артиллерийской батареи: — Нет же, нет, Мари, не эти яйца, дуреха, их уже отобрала мадам Уляр... Жозеф, сколько раз тебе говорить, что надо пересыпать сахар из распоротого мешка! Какое жалованье хотите вы получать, мсье?

Стефен лихорадочно прикидывал, сколько ему нужно, чтобы не умереть с голоду.

— Ну, скажем, если я буду заниматься с вашими дочерьми ежедневно... тридцать франков в неделю.

Мадам Крюшо в ужасе воздела к небу пухлые, униженные перстнями руки. Затем вкрадчиво улыбнулась, сверкнув золотым зубом, — словно выпустив в Стефена позолоченную пулю.

— Мсье шутит?

— Но посудите сами... — Покупатели то и дело толкали Стефена, задевали его локтями, он чувствовал, как краска заливает его лицо. — Я говорю вполне серьезно.

— Мы, мсье, люди честные — мсье Крюшо и я, — но, к сожалению, далеко (о, далеко) не богачи. — Самое большее, что муж уполномочил меня предложить вам, это двадцать франков.

— Но, мадам... Я должен как-то жить.

Мадам Крюшо грустно покивала золотистым шиньоном.

— Мы тоже, мсье.

Стефен закусил губу, вне себя от бешенства и обиды. Гордость его была уязвлена. За одну свою каморку он должен платить двенадцать франков в неделю. Как же, черт побери, может он просуществовать на остальные восемь франков? Нет, сколь ни отчаянно его положение, он не позволит так издеваться над собой. Он приподнял шляпу, намереваясь откланяться. Но мадам Крюшо, которая вовсе не желала упустить его и, пока он колебался, искоса сверлила его взглядом, словно хотела про сверлить насквозь, остановила его мягким движением руки.

— Быть может... — Мадам наклонилась вперед, в голосе ее звучала почти материнская забота: — Быть может, если мы предложим мсье завтрак, это несколько поможет делу? Хороший, сытный завтрак.

Захваченный врасплох, Стефен растерялся. Чувство невыносимого унижения заставило его опустить глаза. Он пробормотал:

— Хорошо, я согласен.

— Отлично. Значит, по рукам. Завтра можете приступать к занятиям. Приходите к одиннадцати утра. Учтите, что я буду предъявлять к вам самые высокие требования. И надеюсь, что в дальнейшем мсье не будет забывать бриться.

Стефен молча наклонил голову. Он не в состоянии был произнести ни слова. И все же, невзирая на все унижения, на всю постыдность этой сделки, он чувствовал облегчение. Ежедневный завтрак и двадцать франков в неделю — значит, он пока что спасен!

Выходя из лавки, он слышал, как где-то в недрах ее мадам торжественно и громогласно возвещала:

— Мария-Луиза! Викторина! Ваша добрая мамочка только что наняла вам английского учителя.

ГЛАВА III

И вот в душной, отупляющей атмосфере маленького провинциального городка для Стефена началась новая, странная жизнь. Большой соборный колокол будил его по утрам тремя гулкими ударами, которые нарушали торжественный покой пустой, мощенной булыжником площади, возвещая начало семичасовой мессы и пугая голубей. Одевшись, Стефен с грохотом сбежал по лестнице. Теперь, по крайней мере, ему не надо было покидать дом украдкой, встреча с хозяйкой уже не страшила его. Пересекая площадь и направляясь к кафе «Для рабочих», расположенному в нескольких шагах от высокой стены монастырского сада, он неизменно встречал на своем пути одних и тех же благочестивых особ женского пола в черных одеяниях и нескольких монахинь, попарно выплывавших (или,

как казалось Стефену, вылетающих на широко распластанных крыльях своих чепцов) из соборных дверей. Кафе, над входной дверью которого уныло свисала увядшая ветка самшита, не принадлежало к числу наиболее почтенных заведений города. Это была просто небольшая кухонька, помещавшаяся в приземистом каменном здании. Здесь стоял грубо сколоченный стол и несколько деревянных скамей без спинок, и здесь за пять су Стефен получал стандартный завтрак: чашку черного кофе с изрядным количеством гущи и порцию белого вина в толстенном стакане, сочетание, обладавшее совершенно поразительной способностью восстанавливать силы. Порой к завтраку прилагалась вчерашняя вечерняя газета «Интеллижанс де Ренн», которую он пробегал глазами за полчаса. Или же он мог поболтать с Жюли, невозмутимой темноглазой девушкой, стоявшей за стойкой незамысловатого бара и с достоинством обслуживавшей посетителей, а также, по-видимому, оказывавшей еще кое-какие услуги некоторым из них — заезжему коммивояжеру, проводнику спального вагона, а быть может, и возчику, доставлявшему в кафе уголь.

Ровно в одиннадцать часов, минута в минуту, Стефен появлялся в квартире Крюшо, расположенной за лавкой, в том же доме, и имевшей отдельный боковой вход. Затем в увитой плющом беседке в углу небольшого, примыкавшего к дому садика или — если шел дождь — в тесной, заставленной мебелью гостиной, которую мадам именovala «салонem», Стефен делился своими познаниями в английском языке с девочками Крюшо: одиннадцатилетней Викториной и Марией-Луизой, которой только что исполнилось девять лет.

Это были довольно славные девочки, избалованные слегка, но не лишённые очарования, присущего их нежному возрасту. Порой они бывали даже очень милы, особенно младшая — прелестное создание с каштановыми кудрями и румяными, как яблоко, щечками. Ладить с ними было нетрудно, и Стефен вскоре привязался к ним. Но все же кое-какие характерные черточки они унаследовали от родителей: девочки отлично знали цену всему, бойко считали, как завзятые кассирши, и без запинки повторяли прописные истины о достоинствах бережливости. Каждая являлась обладательницей небольшой металли-

ческой копилки в форме Эйфелевой башни, ключ от которой вместе с образком в виде медальона свисал на ленточке с шеи. Случалось, девочки простодушно повторяли то, что им пришлось слышать дома от взрослых.

— Мсье Стефен! — Он добился, чтобы они называли его по имени. — Мама вчера говорила папе, что вы, должно быть, ужасно бедны.

— Видишь ли, Викторина, должен признаться, что твоя мама не ошиблась.

— Но папа сказал: «Ладно, по крайней мере, он не пьяница».

— Это хорошо... Твой папа поступил как настоящий друг.

— О да, мсье Стефен. Он еще сказал, что хотя вы сделали, конечно, какую-то пакость дома, а потом убежали, но все-таки непохоже, чтобы это было что-нибудь серьезное, какое-то настоящее преступление.

Стефен рассмеялся — несколько принужденно.

— Ну, хватит болтать... Пора приниматься за чтение.

Живые, смысленные, они быстро делали успехи, и он уже начал читать с ними «Алису в Стране чудес». Книжка так увлекла их, что они легко усваивали даже наиболее трудные обороты.

Мсье Крюшо не часто появлялся на уроках. Обычно он ограничивался тем, что, приотворив дверь, с хозяйским видом заглядывал в комнату. Это был мужчина среднего роста, с суевливыми манерами, пышными черными, закрученными кверху усами и бегающими, шоколадного цвета глазками с желтоватыми белками. Он носил гетры и всегда и всюду — на улице и в помещении, за исключением одной лишь священной обители, именуемой «салон», — появлялся в блестящей твердой соломенной шляпе-канотье. Местом его постоянного пребывания была, разумеется, лавка, но два дня в неделю он производил закупки на рынке в Ренне — соседнем городе, откуда он сам, так же как и его супруга, был родом. Альбер Крюшо, по всей видимости, сохранял верность своей супруге, будучи накрепко спаян с ней двумя прелестными живыми свидетельствами ее благосклонности, а превыше всего — обоудной и неукротимой страстью к наживе, однако бывали минуты, когда вид мсье Крюшо говорил яснее слов, что внушительные формы

его супруги, ее резкий, пронзительный смех и повелительный голос могут довести до белого каления любого мужчину средней комплекции. Не то чтобы он открыто проявлял свою антипатию, о нет! Только обтянутые гетрами ноги его начинали беспокойно шаркать по полу да шоколадные глазки вспыхивали тревожным и злобным огоньком.

Короче говоря, невзирая на ее улыбку, любезную манеру и благосклонный блеск золотого зуба, появление мадам Крюшо нагоняло на всех страх. А она появлялась в гостиной ежедневно, дабы «самолично» присутствовать на уроке, и сидела, выпрямившись, с видом надзирательницы, переводя малоосмысленный, но испытующий взор со Стефена на девочек, что смущало их и заставляло делать ошибки.

— Вы понимаете, мсье... Я хочу, чтобы девочки умели не только читать, но и болтать по-английски... И декламировать стихи... словом, все, как положено в лучшем обществе.

Подчиняясь ее неоднократным требованиям, Стефен заставил девочек выучить наизусть первую строфу стихотворения «Жаворонку». И вот в день, назначенный для проверки достигнутых девочками успехов, мадам появилась в «салоне» в сопровождении трех своих приятельниц — жен крупных городских лавочников, представлявших *haute bourgeoisie*¹ города Нетье. Дамы с выжидательным видом расселись на золоченых, фабричной работы креслах «салона».

Первой должна была подвергнуться испытанию Мария-Луиза. Ее поставили на середину поддельного обюссоновского ковра.

— «Ты здесь, веселый гений», — начала она и запнулась, потом поглядела по сторонам и неожиданно фыркнула.

— Начни снова, Мария-Луиза, — ласково сказал Стефен.

— «Ты здесь, веселый гений...» — Девочка снова запнулась, быстро-быстро захлопала ресницами и принялась накручивать на палец конец кушака, исподлобья робко поглядывая на мать.

— Продолжай, — произнесла мадам Крюшо каким-то не своим голосом.

¹ Крупную буржуазию (фр.).

Мария-Луиза с мольбой взглянула на учителя. На лбу у Стефена выступила испарина. Заискивающим голосом, от которого ему самому стало тошно, он сказал:

— Ну-ну, читай дальше, деточка. «Ты здесь, веселый герой...»

На мгновение воцарилась тишина. Мадам Крюшо, казалось, окаменела. Затем она неожиданно наклонилась вперед и, не говоря худого слова, отвесила дочери оплеуху. Мария-Луиза разрыдалась. Все оцепенели от ужаса, устремив возмущенный взгляд на Стефена. Затем всхлипывающее дитя было бурно прижато к материнской груди, а в рот ему засунут шоколадный батончик. Тут из лавки донесся громкий голос служанки:

— Мадам! Идите скорее... Печенку с бойни привезли!

Мадам Крюшо поспешила в лавку, суматоха улеглась, но Стефен стоял как пригвожденный, с холодным отчаянием взвешивая про себя, есть ли у него шансы не быть уволенным. Однако, когда мать возвратилась в комнату, Мария-Луиза подбежала к учителю, ухватила его за руку и сразу же, без запинки, единым духом выпалила все стихотворение от начала до конца. Викторина не пожелала отставать от сестры и тотчас по собственному почину отлично продекламировала стихи.

Выражение лиц почтенных дам изменилось как по волшебству. Раздались любезные восклицания. Стефен был награжден благосклонными кивками и улыбками. Мадам Крюшо сияла, преисполненная материнской гордости. Проводив дам, она возвратилась к Стефену в непривычно разнеженном состоянии духа. Вместо неизменного тонкого ломтика ветчины она подала ему на завтрак тарелку горячего мясного рагу с гарниром из моркови и лука по-бордоски. Затем, присев напротив него к столу — завтрак ему подавали в буфетной, — мадам сказала:

— В конце концов все сошло хорошо.

— Да. — Стефен ел, не поднимая глаз. — Она просто испугалась вначале — страх дебютантки.

С минуту мадам Крюшо молча наблюдала, как он ест.

— Вы произвели очень положительное впечатление на моих приятельниц, — неожиданно сказала она. — Мадам Уляр... Она жена нашего главного фармацевта и пользуется у всех большим уважением, хотя, конечно, не может позволить себе

такую роскошь: пригласить гувернера к детям... Так вот, она нашла, что вы *très sympathique*...¹ и что вы настоящий джентльмен с виду.

— Я очень признателен ей за доброе мнение.

— Вы находите ее привлекательной?

— Помилуй бог, нет! — сказал Стефен рассеянно. — Я ее даже не разглядел.

Мадам Крюшо пригладила свои соломенно-желтые локоны, одернула корсет и кокетливо провела руками по крутым бедрам.

— Еще немножко рагу?

С этого дня завтрак, подававшийся Стефену в полдень, претерпел разительные изменения к лучшему, да и по количеству стал куда объемистей. Впрочем, это был не единственный способ, с помощью которого хозяйка дома выражала свое расположение к преподавателю английского языка, можно даже сказать — свою благосклонность. Такая перемена была большой удачей для Стефена: постоянное недоедание подтачивало его здоровье, его мучил упорный, изводящий кашель, теперь же он вскоре почувствовал себя крепче — силы прибывали, живее бежала по жилам кровь. К тому же стояли на редкость ясные дни, и как-то раз погожим утром его внезапно — впервые с тех пор, как он обосновался в Нетье, — потянуло взяться за кисть.

Он не мог противиться этому желанию и, отправляясь к бакалейщице, захватил с собой лист ватмана и горсть цветных мелков. Когда урок подходил к концу, он усадил девочек в беседке за книгу и, дав волю своей так долго подавляемой страсти, быстрыми, уверенными штрихами набросал пастелью две склоненные друг к другу головки. Он рисовал лихорадочно, радостно, вдохновенно, и меньше чем через полчаса набросок был готов. Никогда еще его рука не создавала ничего столь трепетно-живого, столь непосредственного и динамичного по композиции. И даже сам он, всегда так строго судивший о своих работах, был потрясен и взволнован этим очаровательным порождением своей фантазии, неожиданно, как по волшебству, возникшим на картоне.

¹ Очень милы (*фр.*).

Когда, склонив голову набок, он покрывал фон желтоватой пастелью, позади него послышался какой-то шорох. Мадам Крюшо, стоя за его спиной, рассматривала набросок.

— Это вы нарисовали, мсье?

Такое тупое, беспредельное изумление было написано на ее лице, что Стефен не удержался от улыбки.

— Нравится вам?

Вероятно, она не могла вполне оценить его рисунок. Но перед ней был очаровательный портрет двух ее дочек, сделанный скупыми, смелыми штрихами в гармоничном сочетании нежных и чистых тонов. Мадам ничего не понимала в искусстве, однако ее острый безошибочный коммерческий нюх мгновенно подсказал ей, что перед нею нечто редкостное, прекрасное и очень ценное — словом, первоклассная вещь, и она мгновенно и алчно ее возжаждала. Мало того, в ту же минуту мадам Крюшо с возросшей силой ощутила влечение к этому странному молодому англичанину — влечение, впервые пробудившееся в ее душе в тот день, когда, после чтения стихов, пелена равнодушия внезапно спала с ее глаз и она, внимая болтовне своих приятельниц, неожиданно увидела, что этот гувернер и в самом деле чрезвычайно привлекательный молодой человек, что он строен, отлично сложен, что у него живое, выразительное лицо, прекрасные темные глаза и «интересная» бледность. Девочки все еще сидели неподвижно, углубившись в книжку. Мадам Крюшо обошла скамейку и опустилась на сиденье рядом с учителем.

— Я и не подозревала, — голос ее звучал приглушенно, доверительно, — что мсье настоящий художник.

— Но ведь я говорил вам, когда вы меня нанимали, что занимаюсь живописью.

При упоминании об их первом знакомстве, когда она так безжалостно воспользовалась его затруднительным положением, густой румянец залил ее холеное лицо и по массивному округлому подбородку сполз на мускулистую, колонноподобную шею.

— О, — произнесла мадам, опуская глаза, — я не придавала особого значения тому, что говорилось тогда. Я ведь еще не имела удовольствия знать мсье так, как знаю его сейчас...

после приятного и довольно продолжительного общения... Теперь мсье обучает моих детей и бывает запросто у меня в доме и при этом всегда так сдержан и учтив, как и подобает хорошо воспитанному, достойному молодому человеку. Мсье Стефен... — Она впервые назвала его по имени и в ту же секунду ощутила приятное стеснение в своей могучей груди. — Если бы даже вы не сказали мне ни слова, уже по одному этому рисунку я бы, конечно, поняла, что вы необыкновенно талантливый художник.

Такая глубокая лесть смутила его, но он сказал любезно:

— Может быть, вы хотите оставить этот набросок себе?

Вопрос заставил ее слегка призадуматься — ведь ей предлагали сделать приобретение, — но колебание длилось всего секунду. Она ответила серьезно, по-деловому:

— Да, мсье Стефен, хочу и сегодня же вечером переговорю об этом с мужем. Возможно, конечно, он скажет, что вы, дескать, рисовали во время урока, за который вам платят жалованье, и что в этом случае...

— Дорогая мадам Крюшо, — поспешно перебил ее Стефен, — вы меня не поняли. Я просто хотел, чтобы вы оставили себе этот набросок на память.

Глаза ее заблестели, но на этот раз не от алчности, а под наплывом тонких и более сложных чувств. Она подавила вздох и с нежностью посмотрела на Стефена.

— Я принимаю ваш подарок, мсье Стефен. Поверьте, вам не придется об этом жалеть.

Она впервые сидела так близко к нему, и у нее положительно закружилась голова... Никогда в жизни не испытывала она ничего подобного от близости мсье Крюшо. Но девочки уже начинали проявлять нетерпение, требуя внимания, и мадам Крюшо испугалась, что она может себя выдать. Бросив Стефену быстрый, но многозначительный взгляд в тщетной попытке выразить то, что заставляло так бешено колотиться ее сердце, мадам поднялась, прошептала: «Au revoir»¹ — и удалилась в лавку.

¹ До свидания (фр.).

ГЛАВА IV

Неделю за неделей Стефен жил в состоянии апатии. Дни протекали как в тумане, и вот теперь он обнаружил вдруг, что снова может писать. Он опять возродился к жизни и ощущал прилив новых сил и необычную остроту видения. Этот маленький городок с его бесцветными обитателями, казавшийся ему прежде бесплодной пустыней, преобразался у него на глазах и становился живым источником вдохновения. Стефен написал ратушу, потом плац перед казармами, затем вид на город из окошка своей мансарды — живописное и странное нагромождение крыш, наконец, еще одну прелестную композицию в черно-серых тонах — процессию монахинь, бредущих с раскрытыми зонтиками под дождем после вечернего богослужения. Холсты, приобретенные у Наполеона Кампо, оживали один за другим, потом складывались в углу комнаты.

Стали приходиться письма от Пейра и Глина, и это тоже ободрило Стефена. Жером предполагал остаться в Пюи-де-Дом на всю зиму, а Глин собирался приехать осенью на недельку-другую в Лондон. Каждый настойчиво уговаривал Стефена присоединиться к нему, но он, конечно, не мог принять их предложение. Стефен начал писать и был счастлив. В этом состоянии возрождения души ежедневные занятия с девочками Крюшо, естественно, превратились в обременительную необходимость, и порой ему было нелегко, отложив в сторону кисти, мчаться в бакалейную лавку в ту самую минуту, когда освещение казалось особенно удачным. И хотя, выражаясь языком его нанимателей, деньги ему платили недаром и уроки оправдывали себя, мысли Стефена витали далеко, и по окончании занятий он уже думал только о том, как бы поскорее добраться до дома.

Быть может, именно потому, что Стефен был слишком погружен в себя, он как-то не заметил перемены, которая произошла в обращении с ним мадам Крюшо, или если заметил, то не придавал ей значения, хотя перемена эта все более и более бросалась в глаза. Как изменился к лучшему его стол, не заметить, конечно, было невозможно, но Стефен воспринял это как вы-

ражение благодарности со стороны хозяйки за преподнесенный ей набросок. Да и другие знаки внимания, которыми она его одаряла, Стефен приписал тому же. У мадам Крюшо теперь уже вошло в обычай присутствовать при завтраке учителя и настойчиво его потчевать. Впрочем, ее забота о нем этим не ограничилась.

— Мсье Стефен, — задумчиво и участливо произнесла как-то мадам, — меня беспокоит, хорошо ли вы устроены. Едва ли мадам Клуэ достаточно о вас заботится.

— Что вы, вполне достаточно, — отвечал он. — Она очень славная женщина.

— Однако она отвела вам такую убогую каморку.

— Вы разве видели мою комнату? — удивленно спросил он.

— Случайно... — Мадам покраснела. — Я часто прохожу мимо... Когда иду в церковь. Вашей хозяйке не мешало бы проявить вкус, кое-что там добавить... устроить поуютнее, чтобы вам было удобней и приятней.

— Да нет, что вы. — Стефен улыбнулся. — Мне нравится так, как есть... чтоб было пусто и побольше воздуха.

— Но это не годится, — настаивала она. — Я замечаю, что у вас не проходит кашель.

— Пустяки... Я кашляю только по утрам.

— Дорогой мой мсье Стефен, пожалуйста, не ставьте мне все время палки в колеса! — Она взглянула на него с нежным укором. — Если уж я не могу позаботиться о вашем жилище, так не мешайте мне, по крайней мере, заботиться о вашем здоровье.

И на следующий же день, к немалому смущению Стефена, он увидел на столе возле своего прибора пузырьки с грудным эликсиром из аптеки мсье Уляра, и мадам, собственноручно отмерив полную столовую ложку этого снадобья, торжественно потребовала, чтобы он выпил лекарство. Викторина и Мария-Луиза пришли в неопиcуемый восторг оттого, что учителя заставляют глотать микстуру. Кончилось тем, что и Стефен расхохотался.

Когда девочки убежали в сад играть, мадам Крюшо, бросив томный взгляд на учителя, испустила глубокий вздох.

— Ну конечно... Я понимаю... В нашем городе, верно, отыскалась какая-нибудь бесстыдница, которой удалось завладеть вашим сердцем.

— Что такое? — удивленно воскликнул Стефен. — Здесь, в Нетье?

— А почему бы и нет? Разве вы не бываете каждый день в кафе? А эта Жюли Гросетт... да и все они там особенной скромностью не отличаются. Мне ли этого не знать... — И в самом деле, мадам Крюшо была в курсе всех сплетен, всех грязных скандалов и интриг своего маленького городка. Однако у Стефена был такой изумленный вид, что она сразу прикусила язык и принужденно рассмеялась. — Не смотрите на меня так, друг мой! Я ведь только хочу вам добра. И в конце концов, хоть я и порядочная женщина, но это не мешает мне быть женщиной светской... Итак, значит, у вас никого нет?

— Никого, — коротко отвечал Стефен.

Ревнивый блеск потух в ее глазах. Теперь они светились кокетством.

— Ну а как вам нравится мое платье?

Став в позу, мадам Крюшо слегка изогнула стан, дабы эффектнее преподнести свое новое платье ядовито-зеленого цвета, обшитое по подолу желтой тесьмой, что, по мнению мадам, должно было ее молодить. Волосы, только что побывавшие в руках парикмахера и уложенные волнами, блестели, словно металлические. Мадам Крюшо обожала наряды, являлась постоянной покупательницей «Галери де Ренн» и в последнее время неустанно демонстрировала Стефену наиболее изысканные свои туалеты, которых он, увы, попросту не замечал. Именно это его равнодушие и разжигало еще больше ее желание. Мадам видела, что она не существует для него как женщина, что, быть может, женщины вообще не существуют для него. Он, казалось, был так же невинен, как тот молодой кюре, который одно время служил у них в приходе. Она обожала молодого кюре издали и мечтала о нем по ночам, лежа в постели со своим бакалейщиком, который, утолив плотский голод и похлопав ее по неотзывчивым ягодицам, весьма немзыкально храпел рядом. Но то влечение было мимолетной мечтой, невесомой, как прикосновение крыла бабочки, по сравнению с этим неукроти-

мым желанием, которое кипело у нее в крови, жгло ее так, что ей хотелось схватить Стефена в объятия и задушить поцелуями.

Она была слепа и не видела отчаянного комизма своего положения. Не странно ли, что она, именно она, душой и телом погрязшая в мелочных заботах своего коммерческого предприятия, крикливая, деспотичная и скупая, привыкшая нагло обвешивать на сахаре, обмеривать на сидре и вымогать последнее су у прижимистых крестьян, — не странно ли, что именно она, стоя на пороге пятого десятка, влюбилась по уши в этого юнца, почти подростка, который годился ей в сыновья, и растаяла, размякла, словно девчонка! Дети, приятельницы, приумножение капитала — все потеряло для нее интерес. Муж стал ей невыразимо противен. Его ужимки, буржуазная манерность, его привычка чавкать и исподтишка выпускать газы после очередной кружки пива вызывали в ее душе бурю ненависти и отвращения.

— Je te dé fends de passer le gaz en bas!¹ — вне себя от ярости кричала она ему. В то же время она стала тщательнее ухаживать за собой. Чаще принимала ванну, чаще меняла белье, начала употреблять более крепкие духи и сосать душистые лепешечки. Ей казалось, что жизнь потеряет для нее всякий смысл, если она не заполучит Стефена.

И вот неожиданно — словно Бог внял ее мольбам — мадам осенила блестящая мысль. Как она не подумала об этом раньше! В то же утро она перехватила Стефена в коридоре.

— Друг мой, у меня отличная новость для вас! — радостно воскликнула она. — Вернее сказать, поручение. Мсье Крюшо непременно хочет, чтобы вы написали мой портрет.

От неожиданности Стефен не сразу нашелся что сказать.

— Да-да, — закивала она. — Крюшо просто загорелся этой идеей. Вчера вечером он ни о чем другом говорить не мог. Портрет во весь рост... маслом.

— Но, мадам... — Стефен нахмурился, стараясь подыскать благовидный предлог для отказа. — Я... я не пишу портретов... я работаю в другом жанре...

Она ободряюще улыбнулась ему.

¹ Я запрещаю тебе портить воздух! (фр.)

— Не тревожьтесь, mon petit. Я позабочусь, чтоб ваш труд был оплачен. Значит, договорились. В четверг начнем.

Прежде чем он успел что-либо возразить, она покровительственно похлопала его по руке и поспешно удалилась, кинув ему на прощание лукавый взгляд через плечо.

По четвергам в городе прекращали торговлю раньше обычного, и в эти дни после полудня, когда лавка была уже закрыта, в доме Крюшо становилось необычайно тихо. Однако в этот четверг в доме с закрытыми ставнями царила такая мертвая тишина, что это поразило Стефена, едва он переступил порог, и показалось ему слишком необычным. Мадам Крюшо встретила его у дверей.

— Сегодня урока не будет, — торжественно объявила она. — Я отправила девочек за город с Мари.

И мадам Крюшо пояснила, что раз в месяц служанка навещает своих родителей, живущих в Сен-Вале, и порой, снисходя к ее просьбам, ей разрешают взять с собой девочек.

— Ну а муж, разумеется, уехал на рынок в Ренн за товаром, — мимоходом обронила мадам Крюшо. — Нам никто не будет мешать.

И снова глубокая тишина, в которую был погружен дом, неприятно поразила Стефена: даже из погреба, где Жозеф, помощник хозяина, задерживался обычно часа на два после закрытия магазина, сверяя выручку с оставшимися в наличии товарами, не доносилось ни звука. Дом был совершенно пуст. Когда же они прошли в столовую, Стефен прирос к месту, увидев на столе два прибора из праздничного сервиза мадам Крюшо, жесткие крахмальные салфетки и букет пунцовых роз в вазе.

— Вы не возражаете, если для начала мы с вами позавтракаем? Так будет удобнее.

Продолжая без умолку болтать делано непринужденным тоном, мадам Крюшо достала из буфета жареного цыпленка под грибным соусом, салат, страсбургский паштет, компот из персиков и бутылку шампанского. И лишь после того, как тарелка Стефена была наполнена до краев, мадам Крюшо позволила себе взглянуть на него. Она уже не в силах была сдерживать влюбленную улыбку, расплывавшуюся по ее пухлому лицу.

— Я хотела, чтобы наш первый сеанс протекал в приятной, уютной обстановке. Мы так славно позавтракаем tête-à-tête¹, не правда ли? Вы должны как следует подкрепиться перед работой. — При этих словах она бросила на него кокетливый взгляд. — Позвольте налить вам шампанского — это наша лучшая марка. Пять франков бутылка.

Стефену стало не по себе. Он был смущен и озадачен. Но постоянное недоедание приучило его не быть щепетильным там, где дело касалось еды. Он принялся уничтожать предложенное угощение, понимая, что в его положении не приходится отказываться, и вместе с тем с возрастающей неловкостью замечая то и дело устремляемые на него томные взгляды. При этом он не мог не заметить также, что бюст мадам Крюшо, колыхаясь при каждом вздохе столь бурно, что ее массивный подбородок едва не исчезал между пышных грудей, придвигается к нему все ближе и ближе. Вопреки обыкновению, она на этот раз не прикасалась к еде и жеманно положила себе на тарелку только крылышко цыпленка, однако уже вторично наполнила шампанским свой бокал. Ее круглые глазки поблескивали, как хорошо отполированный мрамор. Она едва удерживалась, чтобы не коснуться руки Стефена, ее неодолимо влекло к нему. Неужто он все еще не догадывается, какие изысканно тонкие наслаждения сулит ему ее благосклонность? Но его простодушие лишь усиливало ее тягу к нему.

— Друг мой, — воскликнула мадам Крюшо, — можете ли вы вообразить себе, чем была моя жизнь здесь, в Нетье, эти последние пятнадцать лет?

— К сожалению, все эти годы я не был с вами знаком, — принужденно, хотя и учтиво, улыбнулся Стефен.

— Да, — задумчиво протянула она. И, внезапно понизив голос, добавила: — И все же это вы открыли мне всю пустоту моего существования.

— Это было бы большой неблагодарностью с моей стороны, мадам... если бы это было так.

— Это так. — Он ничего не ответил, и она энергично потрянула головой. — Да, это вы, мой друг, открыли мне глаза на но-

¹ Наедине (фр.).

вые горизонты, о которых прежде я не смела и мечтать. О, только не поймите меня превратно! Мсье Крюшо хоть и не слишком нежен и деликатен, но вполне достойный человек. И конечно, я порядочная женщина. Но бывают минуты, когда сердце сжимается от одиночества и чувствуешь потребность довериться кому-то. Ах, мой друг, когда говорит сердце, — тут мадам Крюшо глубоко вздохнула, — должны ли мы ему противиться? Что дурного в том, чтобы послушаться веления сердца... соблюдая, конечно, осторожность?

Стефен сидел скованный и молчаливый. На мгновение ошеломляющая догадка промелькнула у него в мозгу, но он тотчас отогнал прочь эту дикую мысль. Однако он чувствовал, что нужно немедленно приниматься за работу, раз уж это неизбежно, и по возможности сократить сеанс. Он отодвинул от себя тарелку.

— А теперь, мадам, если вы не возражаете, мы можем начать. Мне думается, лучше сделать сперва предварительный набросок. Где вы хотели бы расположиться? В гостиной?

Она пристально поглядела на него и судорожно сглотнула.

— Нет-нет, наверху освещение лучше, — пролепетала она и, встав из-за стола, направилась к двери. — Я сейчас приготовлюсь. Допивайте ваше вино, а потом подымайтесь наверх.

Стефену еще ни разу не приходилось бывать в верхних комнатах. Помедлив минут пять, он направился наверх. Лестница, застланная тонкой ковровой дорожкой, была тускло освещена, ступеньки скрипели у него под ногами. Пахло сырами, которые вылеживались, должно быть, в стенном шкафу. Дверь, выходящая на площадку лестницы, была приотворена. Стефен решил, что это дверь в гостиную, и уже хотел было постучать, но услышал голос мадам Крюшо:

— Войдите, *mon ami*¹.

Он отворил дверь.

Мадам Крюшо, стоя возле двуспальной кровати, выжидающе глядела на него, как бы ища одобрения. Она уже успела сменить платье на пеньюар и стояла в вызывающей позе, упревая руку в бедро и придерживая одну полу пеньюара так, чтобы

¹ Мой друг (*фр.*).

видны были шелковые полосатые панталоны с пышной кружевной оборкой, ниспадавшей на массивные колени, и нарядная розовая сорочка, на которой еще остались влажные пятна от духов и складки от только что снятого тугого корсета.

Холодный пот выступил у Стефена на лбу. Каждая мелочь в этой безвкусной, пышной и неряшливой комнате до боли отчетливо врезалась ему в память: пестрый ковер и тяжелые драпри, замызганный комод, ночной горшок под кроватью и даже пижама мсье Крюшо, сунутая впопыхах под подушку. Стефен побелел. Неправильно истолковав остановившийся взгляд его широко раскрытых глаз, мадам Крюшо стыдливо наклонила голову, притворно вздрогнула и с неуклюжим кокетством шагнула к нему. Это было уж слишком. Стефен попятился. Непреодолимое отвращение отразилось на его лице. Он был страшно зол на себя за то, что попал в такое идиотское положение, — в этом фарсе было что-то глубоко унижительное. Он молча повернулся и опрометью выбежал из комнаты.

В тот же вечер, сидя у себя в мансарде, Стефен услышал, как резко хлопнула парадная дверь и на лестнице раздались тяжелые шаги. Мсье Крюшо, не постучавшись, влетел в комнату. Бакалейщик даже не успел сменить дорожный костюм и находился в состоянии наигранного бешенства.

— Как вы осмелились... жалкий нищий... строить куры моей жене, едва я ступил за порог! Имейте в виду, я могу сейчас же обратиться в полицию! Я всегда подозревал, что вы подлый змееныш. Но чтобы ужалить руку, которая вас кормила!.. Женщину с таким чистым сердцем!.. Мать двоих детей!.. Нет, какова наглость, каково бесстыдство! Мы вас рассчитали, разумеется. Чтоб я не видел больше вашей гнусной физиономии в моем магазине! Но сначала вы должны возместить мне... возместить нанесенный вами ущерб... хотя бы картиной...

Стефен знал, что мсье Крюшо недолюбливает его, но эта сцена была разыграна по наущению мадам — сейчас муж был орудием разъяренной жены. И, не слушая Крюшо, который продолжал изрыгать угрозы, Стефен с презрительной и горькой усмешкой вырвал лист из блокнота, лежавшего на столе, и молча протянул его бакалейщику. Это был набросок, который

он только что сделал по памяти: мадам Крюшо, толстая, полураздетая, бесстыдно улыбаясь, стояла возле своей двуспальной кровати.

Мсье Крюшо умолк от неожиданности и уставился на убийственный рисунок; лицо его позеленело. Он уже хотел было разорвать набросок, но врожденная сметка укротила порыв. Он тщательно свернул бумагу в трубочку и аккуратно положил на дно шляпы. Затем, воровато отведя глаза, повернулся и вышел из комнаты.

ГЛАВА V

Наутро Стефен упаковал рюкзак, связал холсты и, водрузив на спину свою кладь, ушел из Нетье пешком. Он решил отправиться в Фужер, до которого было километров тридцать, и к вечеру, изнемогая от усталости и жары после такого изрядного перехода под палящим солнцем, достиг города, раскинувшегося по склонам небольшого холма и рассеченного надвое шоссе, ведущим в Париж. Здесь он отыскал дешевый ресторанчик, куда, как ему казалось, должны заглядывать проезжие шоферы. Официант, к содействию которого он решил прибегнуть, выразил уверенность, что попутная машина несомненно подвернется, и в самом деле, часов около девяти грузовик с прицепом остановился перед гостиницей, и двое мужчин в комбинезонах вылезли из машины и вошли в ресторан. Через несколько минут официант поманил Стефена, последовал обмен приветствиями и рукопожатиями, несколько слов было брошено как бы вскользь и подхвачено на лету, и вопрос был улажен. Вещи Стефена сунули под сиденье, и машина тронулась.

Ночь была теплая, безветренная. Они проезжали погруженные в сон деревни, опустевшие, словно вымершие, города, где лишь изредка мерцали в окнах огоньки, проехали Вир, Аржантан, Дрё. Теплый воздух свистел в ушах, колеса громыхали по булыжным мостовым. Луна меланхолично опускалась за призрачно-серые вершины тополей. Наконец в туманной дымке забрезжил робкий рассвет, и, перебравшись через Сену у Нейи, они въехали в Париж через заставу Майо и остановились

у Центрального рынка. Здесь Стефен, поблагодарив своих новых приятелей, распростился с ними.

Город еще не проснулся, он казался серым и обветшалым, но Стефен, шагая по Новому мосту, с наслаждением вдыхал влажный воздух. Он снова был в Париже, он чувствовал себя окрепшим после жизни в Нетье, а главное — был исполнен твердой решимости явить миру свой талант.

Когда двери ломбарда на улице Мадригаль открылись, Стефен уже стоял у входа. Он заложил свои часы с цепочкой — подарок отца ко дню рождения, когда ему исполнился двадцать один год, — и получил за них сто восемьдесят франков. Затем, после довольно продолжительных поисков и отчаянного торга с хозяйкой, он нашел себе пристанище в переулке неподалеку от площади Сен-Северин, в районе, издавна служившем последним прибежищем всем представителям богемы. Это был очень бедный квартал и совсем нищенская мансарда, почти без всякой обстановки и ужасающе грязная, но она находилась под самой крышей, была хорошо освещена и стоила недорого — всего десять франков в неделю. Стефен сразу принялся за работу: попросил швабру и ведро и начал скрести пол. Он вымыл даже стены, так что они стали выглядеть почти сносно, хотя следы от давленных клопов кое-где все же остались.

Был уже третий час, но Стефен, не помышляя о еде, выбрал четыре холста и торопливо зашагал по набережной в лавку Наполеона Кампо. Торговец красками сидел, как всегда, на ящике за конторкой, свесив короткие ноги, скрестив руки на груди. На нем была синяя суконная куртка и желтая вязаная шапочка, из-под которой торчали большие, неправильной формы уши. Багровые щеки его заросли щетиной. Он дружески кивнул Стефену, словно они виделись только вчера.

— А, мсье аббат! Чем могу служить?

— Прежде всего скажите, сколько я вам должен?

— Отлично. Вы честный человек. — Взяв у Стефена пятьдесят франков, торговец кинул их в потертый кожаный кошелек.

— А теперь, мсье Кампо, я хочу попросить у вас очень большой холст — два метра на восемьдесят сантиметров.

— Ого! Вы задумали большое полотно? Расплатитесь наличными, конечно?

— Не деньгами, мсье Кампо. Вот этим.

— В своем ли вы уме, мсье аббат? Помилуй бог, да у меня весь подвал завален холстами. Я набрал их по своему мягкосердечию, а теперь этот хлам совестно даже выбрасывать на помойку.

— У вас не только хлам, Кампо. К вам приносили свои работы и Писсарро, и Буден, и Дега.

— Ну, вы-то ведь не Дега, мой милый аббат!

— Как знать, может, в один прекрасный день и я стану кем-то.

— Mon Dieu!¹ Все та же песня, все те же бредни! Значит, вы собираетесь выставить этот большой холст в Салоне, где вокруг него будут собираться толпы народа? Слава и деньги придут к вам на будущей неделе? Бред!

— Тогда возьмите сейчас двадцать франков, а в залог за остальное — эти картины.

Острые голубые глазки Наполеона Кампо зорко впились в бледное, серьезное лицо юноши. Так много, много лиц прошло перед торговцем красками за эти тридцать лет, что они уже стерлись в его памяти. Кампо, человека от природы флегматичного, расшевелить было не так-то легко, а с возрастом он еще больше зачерствел. Но случалось, хотя и редко, что какие-то нотки в голосе, какие-то черточки в лице попавшего в нужду художника, какой-то внутренний скрытый огонь, которому трудно противостоять, — вроде как у этого маленького чудака-англичанина — оказывали вдруг свое действие на Кампо. Он призадумался, затем соскочил с ящика и, ворча, принялся шарить по полкам. Когда на прилавке перед Стефеном появилось то, что он просил, кусок хорошего плотного холста, на секунду наступило молчание.

— Двадцать франков, вы сказали?

— Да, мсье Кампо. — Стефен отсчитал монеты.

Наполеон Кампо взял понюшку табаку, задумчиво вытер мясистый нос обшлагом синей куртки.

— А теперь вы, конечно, начнете помаленьку подышать с голуду?

¹ Боже мой! (*фр.*)

— Ну нет, не совсем так. Во всяком случае, холст у меня есть, а на остальное мне наплевать.

Снова наступило молчание. Неожиданно Кампо отпихнул монеты к краю прилавка, у которого стоял Стефен.

— Положите их в вашу церковную кружку, мсье аббат, и дайте сюда вашу жалкую мазню.

Измученный Стефен протянул ему холсты. Даже не взглянув на них, торговец сунул картины под прилавок.

— Но неужели... Неужели вы не хотите поглядеть на них? Это же... Это же лучшее из всего, что я когда-либо написал.

— Я не разбираюсь в картинах, только в людях, — ворчливо буркнул Кампо. — Мое почтение, мсье. Желаю удачи.

В три часа Стефен вернулся с холстом к себе в мансарду и тут же отправился в велосипедную мастерскую на улице Бьевр. Пока все складывалось удачно, но по мере приближения к частному предприятию мсье Вертело уверенность стала покидать Стефена. Он волновался, неясные предчувствия заставляли учащенно биться его сердце. В последние месяцы он часто думал об Эмми. Воспоминание о нескольких коротких мгновениях, проведенных с нею в узком темном коридоре, упорно, настойчиво возвращалось и тревожило его.

Он нашел ее во дворе за мастерской. Она стояла, наклонившись над красным гоночным велосипедом, сверкавшим никелем и позолотой. У Стефена захолонуло сердце, когда он ее увидел. Услышав его шаги, она подняла голову, без всякого удивления ответила на его приветствие и снова принялась смазывать втулки. У Стефена опять нелепо заколотилось сердце, но по прежним встречам с нею он уже слишком хорошо знал ее характер и воздержался от всяких проявлений обуревавших его чувств.

— Славная машина, — сказал он, помолчав.

— Это мой велосипед. Скоро я его испробую. — Она выпрямилась, откинула прядь волос со лба. — Так ты вернулся в Париж?

— Сегодня утром.

— Хочешь взять напрокат велосипед?

Стефен отрицательно покачал головой.

— У меня сейчас более важные дела.

Снова наступило молчание. Стефен всегда слегка возбуждал ее любопытство, и сейчас он без труда достиг цели — ее любопытство взяло верх.

— Что это ты задумал?

Стефен собрался с духом.

— Слышала ты о Люксембургской премии, Эмми? Это соревнование, в котором могут принять участие все художники, еще ни разу не выставившиеся в Салоне. Я думаю попытаться счастья. — И, видя, что она равнодушно отвернулась, он поспешно добавил: — Поэтому я и пришел сюда. Я хочу, чтобы ты позировала мне.

— Вот как? — Она удивленно уставилась на него. Выражение ее лица изменилось. — Ты хочешь написать мой портрет?

— Ну да. — Он старался говорить небрежно. — Тебя еще никогда не писали?

— Нет. Хотя давно бы следовало, принимая во внимание мою известность.

— Ну вот, теперь ты имеешь эту возможность. Для тебя это будет совсем неплохо. Все лучшие полотна выставят в «Оранжеви». Тебя, конечно, сразу узнают.

Он видел, что разбередил ее тщеславие. Но она еще колебалась и мерила Стефена взглядом, словно оценивая его способности.

— А ты умеешь писать? Я хочу сказать, можешь ли ты написать так, чтоб было похоже?

— Положись на меня. Я уж постараюсь.

— Да, я думаю, что ты постараешься — в своих же интересах. — Внезапно она вспомнила что-то. — Но ведь в следующем месяце я уезжаю в турне.

— Времени хватит, если ты в течение трех недель будешь приходить ко мне каждый день. А детали отработать я могу и без тебя, когда ты уедешь.

Снова он видел, что она мысленно прикидывает, стоит ли игра свеч.

— Ладно, — сказала она наконец своим обычным, резким, грубоватым тоном. — Не все ли мне равно, в конце-то концов. Меня от этого не убудет, я полагаю.

Стефен с трудом подавил возглас радости и облегчения. Дело было не только в том, что он давно, с первого дня знакомства, мечтал написать ее, но она к тому же как нельзя лучше подходила к той теме, которая сейчас целиком завладела его воображением. Он поспешно дал девушке свой новый адрес, попросил ее прийти к десяти часам утра — в черном свитере и плиссированной юбке — и поскорее распростился с нею, боясь, как бы она не передумала.

Шагая по бульварам, он был приятно взволнован достигнутыми за день успехами и только тут вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего вечера, когда шофер попутной машины поделился с ним бутербродом. Голод поразил его внезапно, как удар грома. Он нырнул в первую попавшуюся лавчонку и купил небольшую булку и кусок колбасы. Но стоять на месте он не мог. В сгущающихся сумерках он побрел мимо Ботанического сада, покусывая хрустящую булочку и сочную колбасу в оболочке нежного белого сала. Как вкусно! Он чувствовал себя свободным, счастливым и необычайно взволнованным.

ГЛАВА VI

На следующий день он все приготовил для сеанса, поставил холст на мольберт и стал ждать Эмми, сгорая от нетерпения. Она опоздала на двадцать минут.

— Наконец-то! — воскликнул он. — Я думал, что ты уже не придешь.

Она ничего не ответила. Остановившись на пороге, она окинула взглядом жалкую конуру — голые дощатые половицы, колченогий плетеный стул и провисшую складную кровать. Потом перевела холодный, безжалостный взгляд на Стефена.

— Ты что — вконец обнищал?

— Почти что.

— Зато нахальства у тебя хоть отбавляй. Заманить меня в такую дыру! Здесь негде даже повесить жакет.

Стефен покраснел и принужденно улыбнулся.

— Конечно, это далеко не палатка, но и не такая уж плохая комната для художника. Только дай мне написать тебя, и ты об этом не пожалеешь.

Она скорчила презрительную гримасу, опустив уголки губ, но все же, пожав плечами, вошла в комнату, позволила Стефену снять с нее жакет и подвести ее к окну.

Освещение было прекрасное, и, почувствовав внезапно прилив сил, Стефен начал набрасывать композицию, которая теперь всецело завладела им. Так как по условиям конкурса сюжет должен быть классическим, Стефен взял за основу аллегорию на античную тему, хотя и в современной интерпретации: картина должна была называться «Цирцея и влюбленные». Возможно ли, что нелепая история с мадам Крюшо, отложившись где-то в подсознании, послужила той искрой, которая воспламенила мозг Стефена, озарив его этим странным видением! Причудливые символические образы реяли перед его мысленным взором, держа в плену все его чувства. Сладострастие вступало в борьбу с добродетелью, и похоть принимала форму крадущихся, подстерегающих свою добычу зверей... Все это пока еще было похоже на сон, на мираж, однако в таинственных глубинах сознания он ощущал силы, способные воплотить это видение в жизнь.

Он мог бы писать целый день, но выражение лица Эмми заставило его насторожиться, и он побоялся задерживать ее слишком долго. В полдень он сказал ей, что, пожалуй, на сегодня хватит. Она тотчас подошла к холсту, на котором он углем сделал уже довольно отчетливый набросок с нее во весь рост. Хмурое выражение сбежало с ее лица, угрюмый взгляд просветлел, когда она увидела себя в центре полотна в такой естественной, привычной для нее позе: ноги слегка расставлены, руки упираются в бедра... Она не промолвила ни слова, молча позволила Стефену подать ей жакет и лишь на пороге обернулась и кивнула ему:

— Завтра в это же время.

Весь день, пока не стемнело, он работал над фоном. И затем день за днем продолжал трудиться почти без отдыха, не всегда в одинаково приподнятом настроении, но всегда упорно и целеустремленно, временами испытывая упадок духа, време-

нами — мгновения опьяняющего восторга. И вместе с тем, изо дня в день встречаясь с Эмми, он не мог не замечать, как растет его чувство к ней. С каждым днем ему доставало ее все больше и больше, и, когда по окончании сеанса она уходила домой, он тосковал по ней. Здесь, в Париже, без Пейра, без Глина он был очень одинок. Но только ли чувство одиночества заставляло его постоянно искать общества Эмми? Досадуя на свою слабость, Стефен напоминал себе, какую антипатию пробудила она в нем при первой встрече и как не раз потом ее нечуткость и грубость возмущали его. Когда Эмми бывала в дурном настроении, он пытался развлечь ее беседой, но она отвечала ему односложно, а если он предлагал ей отдохнуть, она тут же, не обращая на него ни малейшего внимания, закуривала сигарету и, растянувшись на животе на его кровати, принималась перелистывать мятые страницы какого-нибудь спортивного журнала. Стефен понимал, что сам он ничуть не интересен ей и только тщеславие приводит ее ежедневно в его каморку. Десятки раз на дню она подходила к мольберту, чтобы проверить, как идет работа, и ни разу не обмолвилась добрым словом о его искусстве, но зато нахваливала себя:

— А я выгляжу совсем недурно, правда?

Когда он рассказал ей легенду о дочери Гелиоса и морской нимфы, Персы, описанную в «Одиссее», ее воображение разыгралось. Мысль о том, что она как бы обладает силой, способной превращать человеческие существа в диких зверей, заставила ее улыбнуться.

— Поделом им! Чтобы неповадно было лезть!

Ее вульгарность покорила Стефена. Однако даже это не могло его отрезвить. Почему так упорно, так неудержимо влекло его к ней? Он старался проанализировать свое чувство. Что он, в сущности, знает о ней? Да почти ничего. Разве только то, что она банальна, груба, чрезвычайно упряма и примитивна, совершенно лишена воображения и абсолютно бессердечна. Сущее ничтожество. Она не имела ни малейшего представления об искусстве, нисколько не интересовалась его работой, и ей становилось нестерпимо скучно, как только он начинал говорить с ней о живописи. Но она была божественно сложена — разве он не воспроизводил на холсте каждый тончайший изгиб

ее сильных стройных ног, ее плоского живота и крепких маленьких грудей? — и вместе с тем миниатюрна. И хотя пышные тела рубенсовских женщин могли восхищать его на полотне, в жизни его влекло к более изысканным пропорциям. А в ней была та отточенность форм, то изящество, которые всегда приводили ему на память гойевскую «Маху». Тем не менее ее никак нельзя было назвать красивой. Она походила на хорошенького мальчишку, но губы у нее были слишком тонкие, ноздри слишком сильно вырезанные, а выражение лица, когда она не следила за собой, почти угрюмое. Он ясно видел все ее недостатки, но, как ни странно, это нисколько не уменьшало его влечения к ней. Чувство росло, невзирая на все старания Стефена подавить его.

Он беспрестанно, каждую минуту, стремился быть возле нее, и, как только она уходила, им овладевало беспокойство и он чувствовал себя несчастным. Так остро и болезненно отзывалась на нем малейшая перемена в ее настроении, что его охватывало презрение к самому себе. В те редкие минуты, когда она была мила с ним, душа его ликовала. Порой, когда Эмми была расположена поболтать, она принималась расспрашивать Стефена о той единственной стороне его жизни, которая, по-видимому, только и могла интересовать ее.

— Это правда, что у твоих родителей *grande propriété*¹ в этом самом... в Сас...сексе? Много акров отличной земли?

— Не так уж много. — Стефен улыбнулся. — Это тебе Глин наболтал? Он преувеличивает.

— И ты должен был стать священником, но тебя выгнали из семинарии?

— Ты же знаешь, что я оставил ее по собственной воле.

— Для того, чтобы жить в этакон конуре? — В голосе ее звучало недоверие.

— Мне очень нравится эта комната... когда ты здесь.

Она пожала плечами, но не так презрительно, как обычно. Лесть легко находила доступ к ее сердцу. Такого рода дружелюбие, хотя ничего и не обещало ему, было все же куда приятнее убийственного равнодушия, с каким она обычно встречала все

¹ Большие угодья (фр.).

его попытки понравиться ей. И пока она, лениво потягиваясь, как кошка, позировала ему, он принялся рассказывать ей, ни на секунду не отрываясь от работы, различные истории из жизни Стилутотера, которые, как ему казалось, могли позабавить ее и развлечь. Когда запас воспоминаний иссяк, он умолк. С минуту она раздумывала, а затем неожиданно заявила:

— Конечно, я сама всю жизнь жила с артистами... среди артистов, — поправилась она. — Я и сама артистка. Я понимаю, что человек иной раз может всем пожертвовать ради искусства... Но только это делают те, кому и жертвовать-то, правду сказать, нечем. А ты — другое дело. Отказаться от *bonne progrité*¹, которые ты мог бы унаследовать... — Она умолкла и пожала плечами. — Это просто глупо.

— Не так уж глупо, — улыбнулся он. — Ведь иначе я не встретился бы с тобой. — Его снова с такой силой вдруг потянуло к ней, что он замолчал, не смея поднять на нее глаза. — Разве ты не видишь, Эмми?.. Ты мне стала бесконечно дорога.

Она жестко рассмеялась и предостерегающе подняла палец.

— Это вы бросьте, мсье аббат, такого уговора не было.

Стефен снова взялся за кисть, чувствуя, что потерпел поражение. И весь вечер унизительное воспоминание о том, как она дала ему отпор, терзало его. Он знал, что мог бы завоевать ее благосклонность, если бы пригласил ее пойти куда-нибудь вечером, — она обожала различные второсортные развлечения. Но у него не было ни гроша. Он жил примерно на полфранка в день, обходясь до шести часов вечера одной булочкой или яблоком, после чего в полном одиночестве съедал какое-нибудь блюдо в самом дешевом кафе.

Как-то раз, когда их сеансы уже подходили к концу, Эмми пришла позднее обычного и притом в необыкновенно приподнятом настроении. На ней был короткий красный, обшитый галуном жакет фасона «зуав» и новое желтое жабо. Стефен заметил, что она вымыла голову и причесалась.

— Ты изумительно хороша сегодня, — сказал Стефен. — А я уже перестал тебя ждать.

¹ Хороших угодий (*фр.*).

— У меня было деловое свидание с Пэросом. Пришлось ехать черт знает как далеко... на бульвар Жюля Ферри. Но зато я получила такой контракт, какой мне нужен.

— Это хорошо. — Стефен улыбнулся, хотя при мысли о ее скором отъезде сердце у него упало. — Когда же ты уезжаешь?

— Четырнадцатого октября. Отложили еще на две недели.

— Мне будет очень не хватать тебя, Эмми. — Он наклонился к ней. — Больше, чем ты думаешь.

Она снова рассмеялась, и ему бросилось в глаза, что зубы у нее очень ровные, острые и довольно редко посаженные. Оживленно, даже несколько аффектировано, она принялась рассказывать о том, как ей удалось взять верх над Пэросом и заставить его подписать контракт на тех условиях, которые ее устраивали.

— Говорят, у него доброе сердце, — сказала она в заключение, — а по-моему, он просто *gobeur* — слюнтяй.

Зная, что ей обычно бывает скучно слушать его, Стефен всячески старался, чтобы она подольше говорила о себе. Потом, когда стало смеркаться, он положил кисть и сказал:

— Можно, я провожу тебя? Такой чудесный вечер...

— Ну что ж, — как всегда, пожала она плечами. — Если тебе так хочется...

Она надела жакет, они спустились с лестницы и вышли на бульвар Гавранш. Свет уличных фонарей сиял и дробился в теплом неподвижном воздухе, притихший город был прекрасен и исполнен таинственности. По тротуару, рука в руке, медленно прогуливались пары. Вечер, казалось, был создан для влюбленных. Боковой улочкой, спускавшейся к реке, они прошли мимо кафе, где в саду, освещенном китайскими фонариками, свисавшими с ветвей платана, танцевали под звуки аккордеона. Со стороны это выглядело весело и нарядно, и Стефен заметил, что Эмми вопросительно на него поглядывает.

— Ты не любишь танцевать?

Краска медленно залила его щеки. Мучительно страдая от сознания своей неполноценности, он покачал головой и проворчал смущенно:

— Боюсь, что я не очень-то гожусь для этого.

Так оно и было. Эмми снова пожала плечами.

— А на что ты вообще-то годишься, хотела бы я знать? — сказала она.

Они вышли на темную, мощенную булыжником набережную. Под низкими пролетами моста Сена бесшумно катила свои маслянистые зеленоватые воды. Словно раздосадованная его молчаливостью, Эмми, идя на полшага впереди, начала тихонько насвистывать мелодию, которую исполнял аккордеонист в кафе.

— Послушай, Эмми. — Стефен потянул ее за руку в какой-то подъезд. Скосив глаза, она поглядела на него через плечо.

— Ну, что ты еще задумал, аббатик?

— Разве ты не видишь... как ты нужна мне!

Он обнял ее и крепко прижал к себе. С минуту она стояла неподвижно, бесчувственная, как камень, и равнодушно позволяла ему обнимать себя, затем резким нетерпеливым движением отпихнула его.

— Ты ровным счетом ничего в этом не смыслишь! — В голосе ее звучала издевка.

Оскорбленный, униженный, испытывая дрожь в похолодевших руках и коленях и понимая всю справедливость ее слов, он молча поплелся за ней. Они направились к улице Бьевр. У двери велосипедной мастерской Эмми как ни в чем не бывало взглянула на Стефена.

— Приходить мне завтра?

— Нет, — сказал Стефен с горечью. — Это не обязательно.

И он зашагал прочь, полный ненависти к ней и презрения к самому себе.

— Не забудь, — крикнула она ему вдогонку, — я хочу посмотреть картину, когда ты ее закончишь.

Он ненавидел ее за эту черствость, за полное отсутствие самой элементарной деликатности. Ей даже не было жаль его. Он твердил себе, что не желает ее больше видеть.

Проведя бессонную ночь, наутро он лихорадочно принялся за работу. Пока только центральная фигура получила отчетливое воплощение на холсте — всю остальную композицию нужно было еще разработать. Погода испортилась, с утра уныло накрапывал дождь, света было мало, убогую мансарду продува-

ло ветром насквозь, но никакие трудности не казались Стефену сейчас непреодолимыми.

В своем стремлении создать реалистическое полотно он теперь каждый день после полудня отправлялся в Зоологический сад и делал там зарисовки. Затем, возвратясь в мастерскую, он переносил свои наброски на полотно, и в каждом жалком, рабски приниженном создании, рождавшемся из-под его кисти, была крупница его собственной горечи и унижения. К концу недели у него иссякли деньги. Он обшарил все карманы в поисках какой-нибудь завалявшейся монеты, чтобы, как всегда, купить себе булку, но не нашел ни единого су. Однако и это его не остановило, и он продолжал писать весь день, словно одержимый, охваченный яростью ко всему, что мешало его работе.

На другое утро он почувствовал слабость. Голова у него кружилась, но он все же заставил себя снова взяться за кисть. Однако после полудня искра здравого смысла пробилась сквозь туман, обволакивавший его мозг. Он понял, что без еды долго не протянет, а главное, что ему никогда не удастся закончить свою «Цирцею», если он не раздобудет средств к существованию. С минуту он раздумывал, присев на край кровати, затем встал, подошел к углу, где стояли холсты, написанные им в Нетье, и выбрал три наиболее ярких и сочных пейзажа. Это были хорошие картины, они нравились ему, вселяли в него веру в себя и свой успех. В Париже, в этом храме мирового искусства, городе художников, такие прекрасные картины, несомненно, найдут покупателя. Он завернул холсты в оберточную бумагу, сунул их под мышку, перешел на другую сторону Сены и зашагал по Елисейским Полям, направляясь к предместью Сент-Оноре. Время полумер миновало — настало время решительных действий. Он предложит свои работы самому известному антиквару Франции.

На углу проспекта Мариньи — улицы элегантных особняков и фешенебельных модных ателье — Стефен остановился перед величественным и строгим зданием с колоннами из белого камня. Собравшись с духом, он решительно направился к позолоченному portalу в венецианском стиле и ступил на мраморные плиты вестибюля, стены которого были обшиты панелями розового дерева, а окна и двери завешаны красными бар-

хатными портьерами. Из-за инкрустированного столика эпохи Людовика XVI навстречу ему поднялся молодой человек во фраке. За его спиной, между неплотно задвинутыми портьерами, виднелся большой зал, украшенный огромными букетами лилий в фарфоровых вазах и увешанный эффектно освещенными картинами, перед которыми прохаживались, заглядывая в каталоги и негромко переговариваясь, хорошо одетые дамы и господа.

— У вас приглашение на вернисаж, мсье?

Стефен перевел взгляд на прилизанного молодого человека, разглядывавшего его с настороженной враждебностью, прикрытой профессионально-учливой улыбкой.

— Нет. Я не знал, что у вас здесь выставка. Мне нужно видеть мсье Тесье.

— По какому делу?

— По личному.

Все с той же невыносимо слащавой улыбкой молодой человек произнес:

— Боюсь, что мсье Тесье сейчас нет здесь. Но все же будьте любезны присесть, я справлюсь.

Стефен сел, а молодой человек грациозно выскользнул из-за столика и исчез. И почти в ту же секунду отворилась боковая дверь и в вестибюль вошли трое: дама, одетая с большим шиком, вся в черном, вплоть до кокетливой маленькой шляпки с пером (на затянутых в лайку руках, с которых ниспадал каскад браслетов, она держала крошечного пуделя в бантах, подстриженного самым фантастическим образом); за дамой следовал пожилой мужчина, безукоризненно одетый, во всем коричневом, от шляпы до ботинок, со скучающей миной на исполненном чувства собственного достоинства лице; третьим был Тесье. Стефен узнал его с первого взгляда: темноволосый, гладко выбритый, вкрадчивый, с выпяченной нижней губой и карими глазами, полускрытыми тяжелыми веками. Торговец картинами что-то говорил — негромко, но воодушевленно, сопровождая свои слова сдержанными жестами.

— Уверяю вас, это настоящая жемчужина. Лучшая вещь за последние несколько лет.

— Она мне нравится, — проронила дама.

— Но цена! — довольно угрюмо возразил мужчина.

— Я уже говорил вам, сэр, что такая картина за сто тысяч франков — это находка. Но если вы не желаете, чтобы я оставил ее за вами, дайте мне знать, вот и все. Говоря по чести, у меня есть другой покупатель.

Последовало молчание, прикосновение затянутой в перчатку руки к рукаву пиджака, несколько произнесенных вполголоса слов, после чего прозвучало уже отчетливо:

— Считайте вашу картину проданной.

Мсье Тесье ответствовал на это всего лишь легким наклоном головы без всякого подобострастия, но с должным уважением к только что проявленному хорошему вкусу. Затем он проводил покупателей до дверей, и, когда, заложив руки за спину, склонив голову, он в задумчивости направился обратно, Стефен встал.

— Мсье Тесье, простите за беспокойство. Не можете ли вы уделить мне пять минут?

Торговец картинами резко вскинул голову, потревоженный среди своих раздумий, а вернее всего — подсчетов, и в его полузакрытых глазах промелькнули испуг и досада, словно при виде чего-то неприятного и надоевшего. Казалось, он одним взглядом охватил стоявшую перед ним жалкую фигуру — от промокших грязных ботинок до наспех завернутых в бумагу холстов под мышкой.

— Нет, — проговорил он, — не сейчас. Вы видите: я занят.

— Но, мсье Тесье, — с решимостью отчаяния дрожащим голосом настаивал Стефен. — Я прошу вас только взглянуть на мои работы. Неужели художник не может попросить вас даже о таком одолжении?

— А, так вы художник? — Тесье втянул в рот выпяченную губу. — Поздравляю вас. Известно ли вам, что каждую неделю меня донимают, отслеживают, осаждают различные доморощенные гении, и все они уверены, что я упаду в обморок от восторга, как только взгляну на их отвратительную мазню. Однако ни у кого еще не хватило нахальства потревожить меня здесь, в разгар моей осенней выставки, когда я занят по горло.

— Я очень сожалею, что потревожил вас. Но это дело не терпит отлагательства.

— Не терпит отлагательства? Для вас или для меня?

— Для нас обоих. — Стефен судорожно глотнул воздух. Он был так взволнован, что говорил как помешанный. — Вы только что продали Милле за довольно крупную сумму. Я случайно услышал, простите. Дайте мне возможность показать вам свои работы, и вы увидите, что они не хуже тех, барбизонских.

Тесье снова взглянул на Стефена, отметил про себя его истощенный вид, ввалившиеся глаза.

— Прошу вас, — сказал он устало, кладя конец затянувшейся беседе. — В другой раз, пожалуйста.

Он отступил в сторону, шагнул за порог и скрылся в салоне. Стефен, начавший было с лихорадочной поспешностью развертывать свои холсты, застыл на месте и с минуту стоял совершенно неподвижно, белый как мел. Затем лицо его приняло какое-то странное выражение, и он направился к двери. Когда он вышел на улицу, плохо завязанная бечевка развязалась, холсты выскользнули у него из рук и скатились с мокрого тротуара в канаву.

Стефен подобрал их и тщательно вытер, с нежностью, которая могла бы показаться смешной. Когда он наклонился, чтобы подобрать холсты, голова у него закружилась, все поплыло перед глазами. Но он упрямо, как одержимый, продолжал твердить себе, что не сдастся. В Париже есть другие торговцы, не такие наглые, как этот отвратительный Тесье. С ними, конечно, легче будет договориться. Он медленно пересек мостовую и направился на улицу Бюэти.

Два часа спустя, промокший до нитки, он вернулся к себе на площадь Сен-Северин все с теми же тремя холстами под мышкой. Он был так измучен, что у него едва хватило сил взобраться по лестнице. На первой площадке он присел на ступеньку, чтобы передохнуть. В эту минуту дверь одним пролетом выше распахнулась и на лестницу вышел мужчина лет тридцати, худой, темноволосый, с желтоватым, словно восковым, лицом и глубоко посаженными, семитского типа глазами. Он был в рубашке без воротничка, в черном потрепанном пальто и в сабо. Спускаясь с лестницы, он едва не наткнулся на Стефена и поглядел на него с кривой усмешкой.

— Не повезло? — спросил он.

— Нет.

— А у кого вы были?

— Почти у всех... Начиная с Тесье.

— А у Соломона?

— Не помню уж.

— Он лучше других. Но сейчас никто из них не покупает.

— Я получил предложение. Подделать Брейгеля за двести франков.

— И вы взялись?

— Нет.

— Да! В жизни бывают свои мелкие неприятности. — Потом, помолчав, добавил: — Как вас зовут?

— Десмонд.

— А меня Амедео Модильяни. Заходите, выпьем.

Он поднялся обратно по лестнице и распахнул дверь своей каморки. Комната была почти такая же, как у Стефена, разве что еще более убогая. В углу, рядом с неубранной постелью, стояло несколько порожних грязных бутылок из-под вина, а посреди комнаты — мольберт с большой, почти законченной картиной маслом, на которой была изображена лежащая нагая женщина.

— Нравится? — Достав бутылку перно из буфета и наливая вино в стакан, Модильяни кивком указал на холст.

— Да, — сказал Стефен, помолчав. В тонких причудливых линиях было своеобразное очарование, что-то монументальное и удивительно чистое.

— Я рад. — Модильяни протянул ему стакан. — Но полицейский комиссар, конечно, набросится на меня. Он уже заявил, что мои обнаженные скандализуют общество.

Вино восстановило силы Стефена. В голове у него прояснилось, он вспомнил:

— Это вы выставляли в Салоне независимых «Виолончелиста»?

Его собеседник утвердительно кивнул.

— Это была моя лучшая работа. Но она уже продана, а теперь они ничего не хотят покупать. Так что, если бы в отеле «Монарх» не оценили моих талантов судомоя, я уже давно за-

кончил бы свое земное существование, к великой радости моих критиков.

— Судомоя? — не понял Стефен.

— Ну да, мойщика посуды. Хотите испытать себя на этом поприще? Я сейчас иду туда. Увлекательное занятие. — Мрачная усмешка промелькнула на его бесстрастном оливково-смуглом лице. — Там всегда с удовольствием принимают новичков.

Стефен ответил не сразу. Затем, внезапно решившись, встал.

— Я на все согласен, — сказал он.

Они вышли из дома и направились в сторону площади Звезды. «Великий монарх» — один из самых известных парижских отелей — занимал целый квартал сразу же за Большими бульварами. Колоссальное здание это было выстроено в стиле Третьей империи и походило на дворец. Все здесь было внушительно, величественно, солидно, хотя, быть может, чуть старомодно, все дышало роскошью, богатством: мраморные лестницы, устланные красным бархатным ковром, просторные гостиные, сверкающие хрусталем люстр и канделябров, толпы затянутых в ливрею слуг, стоящих, казалось, в ожидании за каждой разукрашенной бронзой, отполированной до блеска дверью и готовых в любую минуту распахнуть ее перед каким-нибудь посланником, иностранным сановником или туземным царьком — завсегдатаями отеля. Однако, поравнявшись с центральным порталом, Модильяни преспокойно завернул за угол и направился вместе со Стефеном по темному проходу к задней части здания, где они спустились по грязной, заваленной отбросами и уставленной железными мусорными ящиками лестнице в подвальное помещение.

Больше всего это было похоже на огромный погреб. Потолок скрывала сеть водопроводных труб, с которых каплями стекала вода, облупленные стены были покрыты плесенью, стертые каменные плиты пола залиты помоями, кое-где эти вонючие лужи были по щиколотку глубиной. В этом помещении, тускло освещенном слабыми электрическими лампочками, стоял несмолкаемый шум, и сквозь пелену густого пара доносился неясный рокот голосов. Выстроившись в ряд вдоль деревянных лоханей, здесь трудились люди, собравшиеся, казалось, из всех парижских трущоб, — с лихорадочной поспеш-

ностью они мыли тарелки, которые целыми стопками то и дело подносили им поварята из расположенных рядом кухонь. «Ну вот, — подумал Стефен, охватив взглядом это малопривлекательное зрелище, — теперь мне ясно, что такое „судомой“».

Между тем Амедео подошел к контролеру, и тот, метнув в сторону Стефена равнодушный взгляд, протянул ему жестяной жетончик с номером и проставил мелом время рядом с тем же номером на грифельной доске, прибитой к стене над его закутком, по соседству с объявлением, грозившим штрафом всякому, кто вздумает выносить остатки пищи.

И вот Стефен, следуя примеру своего спутника, сбросил пиджак, занял место возле лохани и принялся перемывать высившуюся перед ним гору грязных тарелок. Стоять, согнувшись над низкой лоханью, оказалось не таким уж легким делом, тем более что работать приходилось без передышки. От нестерпимой вони, исходившей от соляной воды и отбросов, тошнота подступала к горлу. Время от времени сток засорялся, и его нужно было очищать рукой от размякших в воде объедков. И как же странно звучали в эти минуты долетавшие издали обрывки легкой салонной музыки. Наверху, укрытый среди пальм, в зимнем саду играл оркестр.

Около одиннадцати часов напряжение стало ослабевать. Наступившая перед двенадцатью полная передышка свидетельствовала о том, что дамы и господа, ужинавшие наверху, насытились. Амедео, который за все это время не произнес ни единого слова, накинул пиджак, закурил сигарету и кивком помянул Стефена к двери, где контролер, поглядев на грифельную доску с пометками, выдал каждому из них по два с половиной франка.

На улице было темно. Все так же молча Амедео свернул в ночное бистро. Здесь он залпом проглотил несколько рюмок перно, а Стефен упледел большую миску хорошей густой похлебки с овощами и мелко нарезанными кусочками баранины. Это было похоже на настоящую еду, и она тем больше пришлась ему по вкусу, что он не ел горячего уже много дней.

— А вы разве не хотите подкрепиться? — спросил он своего спутника.

— Я подкрепляюсь этим — вот моя и еда и питье. — Амедео с холодным презрением поглядел на прозрачную зеленоватую жидкость в рюмке, зажатой в его пожелтевших от никотина пальцах. — С некоторых пор это заменяет мне хлеб насущный.

Здесь, в этом полупустом, слабо освещенном кафе, где одинокий официант дремал возле стойки, прикрыв голову салфеткой, а бильярдный стол уже затянули на ночь какой-то дерюгой, Амедео Модильяни скупно и лаконично рассказал Стефену о себе.

Он родился в Италии в семье еврейского банкира, обучался живописи — с перерывами из-за болезни — во Флоренции и в Венеции в Академии художеств. Последние семь лет увлекался примитивистами и негритянским искусством, работал в Париже — порой вместе со своим другом Пикассо, временами — с Гри. Его картины почти не находили сбыта.

— И вот теперь, — закончил он с беспечной, хотя и невеселой усмешкой, — вы видите перед собой человека, надломленного нищетой, неумеренным потреблением спиртных напитков и пристрастием к пагубным наркотикам. Я совершенно одинок, если не считать одной молоденькой девчонки, которая имела несчастье привязаться ко мне, и совершенно безвестен. — Он допил свою рюмку и поднялся. — И только мысль о том, что еще ни разу в жизни я не предавал своего искусства, несколько утешает меня.

На площадке лестницы он распрощался со Стефеном, пожелав ему доброй ночи.

Эта случайная, почти мимолетная встреча неожиданно сыграла немалую роль в судьбе Стефена. Теперь пять часов ежевечерней каторжной работы в вонючих подвалах «Великого монарха» давали ему возможность не умереть с голоду и — что было для него всего важнее — продолжать не покладая рук трудиться над «Цирцеей».

Наконец недели через три холодным ветреным вечером картина была закончена. Она стояла перед ним, эта современная дочь Гелиоса, в такой знакомой наглой и небрежной позе, бесстрастная и влекущая, с матово-бледным лицом и загадочными глазами, — стояла не на ступеньках дворца, а на грязной улице

парижской окраины; те же, кто домогался ее любви, укрощенные, униженные, поверженные во прах и превращенные в зверей, взирали на нее снизу вверх с раболепной покорностью, словно все еще надеясь вымолить ласку.

Напряженная работа лишила Стефена последних сил. Он чувствовал себя опустошенным и уже был не в состоянии решить, хороша ли картина, хорош ли его замысел, получивший столь своеобразное воплощение, продиктованное ему чем-то, что было вне его и чему он не мог противиться. Одно было ему ясно: картина закончена, он уже ничего не может в ней изменить, и с какой-то лихорадочной поспешностью он завернул ее все в ту же оберточную бумагу, которой уже пользовался однажды, и понес в Институт графики на площадь Редона. Там старик-служитель спросил его фамилию, тщательно записал все требуемые сведения в книгу, а затем, увидев, что полотно не вставлено в раму, выразил сомнение в том, что его можно принять.

— Видите ли, мсье, у нас выработаны точные правила приема картин.

— Я этого не знал.

— Но это само собой разумеется. Взгляните, мсье, все прочие картины в рамах, как положено.

Стефен обвел глазами длинный зал, заставленный десятками картин, и почувствовал вдруг, что ему, в сущности, все это уже безразлично. Нет так нет, не все ли равно.

— Я не могу приобрести раму. Возьмите так или не берите вовсе.

Наступило молчание, служитель воздел руки к небу:

— Это против всех правил, мсье. Но оставьте, если хотите.

Возвратившись в свою мансарду, Стефен долго сидел, подперев голову руками, без мыслей, без чувств, как бывало с ним всегда, когда труд его был завершен. Что же дальше?.. Что ему теперь делать? По-прежнему мыть посуду в «Великом монархе»? При одной мысли об этом ему делалось тошно, а вместе с тем он уже стоял на грани полной нищеты. В понедельник истекал срок платы за комнату. Кроме одежды, которая была на нем, обычных принадлежностей художника и пятнадцати

су, у него не было ничего за душой. Все, что он имел когда-то, ушло в ломбард. Стефен встал и открыл буфет. Там лежала половина твердой как камень булки и кусочек сыра. Амедео уже третьи сутки пропадал где-то — верно, опять загулял и отыщется где-нибудь на другом конце города в бесчувственном состоянии. Из соседней комнаты сквозь смежную дверь доносились крики — там началась супружеская перебранка. На улице галдели ребятишки, игравшие на грязном тротуаре. Несмотря на распахнутое настежь окно, в комнате было душно — от большого, утомленного города, лежавшего за стенами дома, не веяло прохладой. Из треснувших досок, как всегда по вечерам, начинали выползать тараканы.

Все это было нестерпимо само по себе и, однако, ничто по сравнению с чувством одиночества и пустоты, раздиравшим сердце Стефена. Опьянение работой кончилось, и его снова потянуло к Эмми, еще сильнее, чем прежде. У него не было, как у Одиссея, магической травы, чтобы защититься от ее чар. Он уже корил себя за то, что не позвал ее поглядеть картину. А завтра Эмми уже не будет здесь, завтра она уедет на юг с трупной Пэроса... Теперь он не увидит ее по меньшей мере полгода, если вообще увидит когда-нибудь. Ему вспомнилась безнадежная страсть, которую питала к нему мадам Крюшо, и он содрогнулся при мысли о том, как зло подшутила над ним судьба, заставив его теперь играть ту же постыдную роль.

Ему нечем было заняться, чтобы убить время, не было даже ни единой книги, а выйти на улицу не хватало сил — так смертельно он устал. Когда смерклось, он прилег на кровать, но уснуть не мог.

Наступил прозрачный, чистый рассвет. Был четверг. Стефен встал, оделся. Снова перед его глазами замелькали спицы колес: фургоны цирка Пэроса покинут вечером Париж и покатят по дорогам к залитому солнцем Лазурному Берегу... И сердце его сжала тоска. Внезапно какая-то мысль осенила его. На секунду он замер, остановившись посреди комнаты. Может ли он это сделать? Во всяком случае, попытаться может. Он схватил шляпу, выбежал из комнаты и нетвердым шагом устремился по направлению к бульвару Жюль Ферри.

ГЛАВА VII

На окраине Танжера под ослепительно-синим, что не часто бывает в последние дни октября, небом цирк Пэроса раскинул к вечеру свой парусиновый городок в обрамлении пестрых, красочных фургонов. Некоторые из балаганов уже были открыты, вертелась карусель, играла жиденькая музыка, и зазывалы изошрялись вовсю перед еще немногочисленными зевками.

Стефен в широкой синей блузе, берете и небрежно повязанном черном галстуке — костюме, задуманном как квинтэссенция шика парижской богемы, дабы поразить воображение сельского жителя, — стоял на своем обычном месте, у крайнего балагана, и глубоко вдыхал чистый воздух, пахнувший апельсиновой кожурой, свежими опилками, дубовой корой, дымом и лошадиным потом. Возле балагана был установлен мольберт с пестрым плакатом, оповещавшим о том, что Стефен — не кто иной, как «Grand Maître des Académies de Londres et Paris»¹, и «с ручательством за сходство портретов с оригиналами» пишет их — как в профиль, так и в анфас «самым первосортным углем» — всего за пять франков, а в красках высшего качества — за семь с половиной, «выполнением будете довольны, имеются прекрасные отзывы от высочайших коронованных особ европейского континента».

Где-то ржал жеребец, негромко рычала старая львица, откуда-то доносились пронзительные звуки кларнета. Стефен чувствовал себя на редкость здоровым, кашель его, казалось, совсем прошел. Он ни разу не пожалел о том, что три недели назад, повинувшись внезапному побуждению, отправился к Пэросу. Словом, он был почти счастлив.

— Подходите, подходите! Ну же, мсье, уговорите мадемуазель — такое хорошенькое личико нельзя не запечатлеть. Не смущайтесь. Увековечьте себя для потомков.

Крестьянская парочка, разодетая по-праздничному, остановилась, держась за руки, перед Стефеном. Собравшись с духом,

¹ Великий магистр Лондонской и Парижской академий (фр.).

молодая женщина шагнула вперед. Она не была красавицей, но Стефен, быстрыми штрихами набрасывая ее головку на большом листе бумаги, стоявшем на мольберте, сделал ее миловидной, сохранив притом портретное сходство. Затем он очень точно воспроизвел тонкое кружево накладки, ручную вышивку на манжетах и, наученный опытом, не забыл и большую брошь-камею, как видно фамильную реликвию, приколотую на груди.

Тем временем вокруг них уже собралась небольшая толпа зевак, выразившая вслух свое одобрение портрету, когда он был закончен, и через несколько минут Стефену пришлось снова приняться за работу. Такой труд был для него чисто механическим, он изготовлял портреты, не задумываясь ни на секунду. Впрочем, порой он развлекался, позволяя себе несколько иронически воспроизводить некоторые из своих моделей, подчеркивая какую-нибудь характерную черточку — бычий взгляд, или торчащие уши, или нос башмаком, — а если клиент начинал горячиться, что случалось чаще всего субботними вечерами, тогда Стефен не без ехидства набрасывал какую-нибудь остроумную карикатуру, которая почти всегда вызывала у зрителей смех.

В шесть часов толпа, как обычно, поредела. Начиналось представление в главном балагане, и Стефен снял с мольберта плакат, сбросил блузу и галстук и, пробравшись сквозь лабиринт палаток и канатов, проник за невысокую загородку позади одного из фургонов. Здесь, перед жаровней с горячими углями, сидел на корточках маленький сморщенный человечек в засаленных плисовых бриджах и потертых крагах и готовил еду. Он был кривоног, коротко стрижен, острые черты его худого морщинистого лица смягчал плоский нос со сломанной переносицей. У него были круглые, как бусинки, немигающие глаза, в которых играли отблески тлеющих в жаровне углей.

— Что у нас сегодня на ужин, Джо-Джо?

— То, что всегда. — Джо-Джо поднял голову. — Впрочем, с добавлением свиной анжерской колбасы, которую я раздобыл на улице Туссен. Этот город славится двумя вещами. Свиная колбаса — одна из них.

— А другая?

— Разумеется, куэнтро, *mon brave*¹. Местное вино.

Колбаса, шипевшая на сковородке, выглядела сочной и аппетитной. Джо-Джо, который в молодости работал жокеем, потом был букмекером, потом конюхом, потом подручным букмекера и, наконец, в Лоншане окончательно потерял работу, был великим мастером раздобывать пропитание. У него имелись знакомства во всех уголках Франции. Никто не умел так торговаться на рынке, как он, или стянуть отбившегося от насадки цыпленка с придорожной фермы.

— Я люблю, когда мы делаем такие остановки на два вечерних представления, — сказал Стефен, ставя на жаровню жестяной кофейник. — Завтра до трех мы свободны. Я думаю пойти взглянуть на реку.

— Луара — добрая речонка, — сказал Джо-Джо с видом человека, которому все известно. — Хорошее песчаное дно и прорва отличной рыбы... Я бы поставил на ночь удочки, если б была возможность. Вообще этот край хорош: Боли, Тур и особенно Невер. Вино, правда, слабовато, но жратва — первый сорт, а уж девочки... У здешних девчонок есть на что посмотреть — и спереди и сзади... — Он присвистнул и отвернулся.

В эту минуту из фургона появился странного вида человек в клетчатых штанах и свитере защитного цвета. Он был высок и тощ, так тощ, что походил на скелет, а лицо и руки его — то есть все, что не было скрыто одеждой, — покрывала медно-красная, шелушащаяся сыпь, напоминавшая рыбью чешую. Это был Жан-Батист, деливший этот фургон — один из самых захудалых — со Стефеном и Джо-Джо. Жан-Батист был кроткий, молчаливый, грустный человек, страдавший очень редким видом хронического псориаза — недуга неизлечимого, но безболезненного и позволявшего ему зарабатывать скромные средства к существованию, выставляя себя напоказ всем желающим в аттракционе: «Человек-аллигатор — плод союза свирепого самца из отряда ящеровых и чемпионки по плаванию с реки Амазонки».

— Ну как, Крокодил, много собрал сегодня? — спросил Стефен.

¹ Дружок (*фр.*).

— Не особенно, — мрачно отозвался Жан-Батист. — Ни одного охотника до интимностей.

У Крокодила была своя профессиональная техника, причем наибольший доход он извлекал следующим путем: не спеша, постепенно он обнажал свое тело, начиная от верхних конечностей, и доходил до пупка, после чего останавливался, окидывал взглядом аудиторию и восклицал мелодраматическим тоном, пуская в ход последнюю зловещую приманку:

— Желаящим увидеть более интимные подробности я буду доступен для обозрения в маленькой палатке в конце прохода. Детям и подросткам вход воспрещен. Дополнительная плата за обозрение упомянутых выше интимных подробностей — всего пять франков.

Когда ужин был готов, они втроем уселись вокруг пылающей жаровни. За большой жестяной банкой супа, над которой поднимался ароматный пар, последовали хрустящие сочные куски колбасы с острой приправой из местных трав. Подливку ели со сковородки, окуная в нее ломти свежего хлеба, отрезанные карманным складным ножом. Только вступив в труппу Пэроса, узнал Стефен, как вкусна еда на свежем воздухе. Потом пили кофе — горячий, крепкий, с большим количеством гущи, сваренный в той же жестянке, что и суп. Наконец Джо-Джо свернул сигарету и с видом фокусника извлек из заднего кармана брюк бутылку крепкого местного ликера.

— Причастимся, мсье аббат?

Кличка последовала за Стефеном из Парижа, но она его не задевала. Бутылка пошла по рукам: они пили прозрачную, обжигающую глотку жидкость прямо из горлышка. Джо-Джо причмокнул, смакуя ликер:

— Первый сорт — можете не сомневаться. Из лучших валенсийских апельсинов.

— Одно время мне запрещали есть фрукты. Затем запретили есть все остальное. — Крокодил любил предаваться воспоминаниям и рассказывать о своей болезни. — Я перебивал у девятнадцати докторов. Каждый оказывался еще большим дураком, чем предыдущие.

— Тогда выпей вторую порцию моего лекарства.

— А от моей болезни не существует лекарств.

— Стыдно тебе жаловаться, Крок. У тебя же очень интересная, богатая впечатлениями жизнь. Ты путешествуешь — что может быть лучше? К тому же ты знаменитость.

— Что верно, то верно, люди приезжают за пятьдесят километров, чтоб взглянуть на меня.

— А какой ты имеешь успех у женщин!

— Тоже верно. Я произвожу на них неотразимое впечатление.

При этом признании, сделанном самым серьезным тоном, Джо-Джо громко расхохотался. Затем потушил сигарету, встал и вышел поглядеть на лошадей.

Сегодня была очередь Стефена мыть посуду. Когда он управился с этим делом, уже смерклось и над ярмаркой зажглись огоньки электрических ламп, похожие на огненных мух. Электрическую энергию давал небольшой моторчик. Стефен огляделся вокруг. Все чувства его были напряжены. Он еще не видел сегодня Эмми. Но он знал, что она не любит, когда ее беспокоят перед представлением, а народ уже начинал стекаться к главному балагану. Стефен убрал мольберт и прочие принадлежности своего ремесла в деревянный сундучок, стоявший в палатке под его кроватью, надел свой обычный костюм и направился к боковому входу в балаган. По условиям контракта на него была возложена обязанность вместе с некоторыми другими членами труппы провожать наиболее важных посетителей на места, продавать программы, мороженое, лимонад и тот особый сорт монтелимарской нуги, который изготавливался в Пасси специально для цирка Пэроса.

На взгляд Стефена, сбор был полный. Цирк пользовался заслуженной известностью во всех провинциях, и если была хорошая погода и удавалось выбрать удачное место для стоянки, над кассой обычно висел аншлаг. И сегодня вокруг посыпанной опилками арены все пространство, ряд за рядом, было заполнено нетерпеливыми зрителями. Но вот на высоком помосте, задрапированном в красное с золотом, духовой оркестр заиграл парадный марш, и главный распорядитель, сам Пэрос собственной персоной, появился на арене в белых плисовых брюках, красной куртке и цилиндре, а за ним легким цирковым галопом выбежали белые лошадки с развевающимися гривами,

и представление началось. Хотя теперь Стефен знал уже всю программу наизусть, тем не менее, пристроившись с альбомом на колене в боковом проходе у одной из подпорок балагана, он с глубочайшим вниманием следил за всем происходящим на арене. Это зрелище снова и снова захватывало его, увлекало своим ритмом, слаженной работой мускулов, игрою огней и красок. Все как бы сливалось воедино в огромном мерцающем калейдоскопе, но Стефен успевал отмечать малейшие детали, даже реакцию отдельных зрителей, нередко очень забавную, а порой и просто нелепую.

Этот новый мир, который он здесь для себя открыл, был чрезвычайно увлекателен: прекрасные, тонконогие, горделивые кони; тяжеловесные, величественные слоны; гибкие желтоглазые львы, кувыркающиеся клоуны; проворные жонглеры и покачивающиеся под своими бумажными зонтиками на туго натянутой проволоке канатоходцы. В эти минуты Стефену припоминалась знаменитая «Лола из Валенсии» Мане, и он испытывал необычайный подъем духа. Ему казалось, что и он сумеет найти здесь столь же богатый источник вдохновения. Конечно, он не будет пренебрегать и рисунком, но краски, краски — вот что главное. Он уже видел на своей палитре эти чистые тона — ультрамарин, охра и киноварь, видел, как он заставит их говорить доступным людям языком и не утрачивать при этом своей первозданной свежести и чистоты. Он создаст новый мир — мир, открывшийся ему одному. Согнувшись в три погибели в своем углу, он лихорадочно делал наброски. Портреты, которые он рисовал днем, служили для него всего лишь способом добывать себе хлеб насущный, а здесь была его настоящая, подлинная работа, и в сундучке у него уже лежали десятки таких набросков, которые впоследствии должны были найти свое место в одной огромной композиции.

После антракта начались главные номера программы: группа Дорандо — акробаты на трапеции, шпагоглотатель Шико, знаменитые клоуны Макс и Монс. Затем в центре арены был проворно воздвигнут деревянный помост, загремели фанфары — знакомый звук, всякий раз заставлявший сердце Стефена бешено колотиться, — и внизу на велосипеде он увидел Эмми в белой шелковой блузе, коротких белых штанах и высоких

белых сапожках. Въехав на помост, она тотчас начала проделывать на своей сверкающей никелем машине ряд головокружительных трюков, от которых у зрителей захватывало дух: то вертелась волчком на одном месте, то ехала спиной, принимая при этом самые замысловатые позы, и закончила стойкой вниз головой, после чего на ходу принялась разбирать машину и уже на одном колесе выполнила весьма сложный трюк.

Быть может, все эти фокусы были и не столь головоломны, как могло показаться со стороны, но культ велосипеда (эта национальная страсть ежегодно достигает своего апогея в дни, посвященные велосипедному пробегу вокруг Франции) делает цирковые номера такого рода чрезвычайно популярными у зрителей. Цирк загремел рукоплесканиями, затем мгновенно воцарилась тишина, как только Эмми подошла к загадочному сооружению на краю арены. Это была металлическая конструкция — нечто вроде довольно узкой стальной ленты, выкрашенной в красный, белый и синий цвета и спускавшейся почти отвесно из-под купола. Конец ленты загибался и торчал вверх.

Оркестр все убыстрял ритм, нагнетая напряжение. Эмми начала медленно взбираться по веревочной лестнице к крошечной площадке под куполом. Теперь ее фигура была уже смутно различима сквозь плавающие в воздухе завитки дыма. Освободив другой, более тяжелый велосипед от державших его клемм, она крутанула педали, повела плечом, натерла ладони мелом, подкатила машину к краю площадки и вскочила в седло. Какую-то долю секунды, тянувшуюся необычайно долго, она словно висела в воздухе, в туманной дымке. Затем оркестр, который, постепенно затихая, перешел уже на зловеший, едва слышный рокот, внезапно ожил. Загремело бешеное стаккато барабанов — оно нарастало с каждой секундой, звучало все громче и громче. В это мгновение Стефен всегда испытывал непреодолимое желание зажмуриться. Джо-Джо сказал ему как-то, что для опытного и хладнокровного исполнителя этот номер не представляет большой опасности, однако центральная белая полоса, по которой должны были пройти колеса велосипеда, не достигала в ширину и шести дюймов, а после дождя или когда воздух был влажен, металлическая поверхность трамплина, сколько бы ни вытирали ее перед исполнением номера, могла

оказаться предательски скользкой. Но на эти размышления времени не было — с последним оглушительным ударом барабана Эмми ринулась вниз. Она, казалось, камнем упала вниз, взлетела на загибе вверх, пролетела по воздуху тридцать футов, опустилась на деревянный помост и на той же бешеной скорости унеслась с арены.

Пока зрители неистово аплодировали, Стефен потихоньку, так как не имел на это права, выскользнул из балагана и направился к палатке, где переодевались артисты. Ему пришлось ждать минут пятнадцать. Наконец Эмми вышла, и он тотчас почувствовал, что она не в духе.

— Ну как? — спросила она.

— Твой номер прошел хорошо... очень хорошо, — заверил он ее.

— Трамплин был мокрый, весь в росе, а эти лодыри, эти *grands*¹ не потрудились вытереть его как следует. Ведь это же самоубийство — скатываться по мокрому металлу, не понимают они, что ли? Я чуть было не отказалась. — Уже бывали случаи, когда Эмми отказывалась по этой самой причине исполнять номер. В ее контракте с Пэросом это было даже оговорено. Внезапно она сказала совсем другим тоном: — Но сегодня я сама хотела сделать номер.

— Почему?

Она, казалось, не слышала его. Затем ответила, почти машинально:

— Из-за этих парней. Военных.

— Из-за солдат?

— Нет, глупенький, из-за офицеров, разумеется. Здесь в городе офицерское военное училище. Ты что, не видел, сколько их было сегодня на центральной трибуне?

— Боюсь, что не видел.

— Шикарные парни. В мундирах. Мне нравится военная форма. А уж как они старались, чтобы я обратила на них внимание! Но я, конечно, и виду не подала. Впрочем, — угрюмая морщинка меж бровей разгладилась слегка, — я добавила кое-какие штучки специально для этих мальчиков.

¹ Мошенники (*фр.*).

Стефен закусил губу, стараясь подавить мучительное чувство ревности, возбуждать которую Эмми была такой мастерицей. После нестерпимой духоты и жары балагана на воздухе было свежо и легко дышалось.

— Пойдем погуляем по городскому валу... Там очень славно.

— Нет. Не хочется.

— Но сегодня такая чудесная ночь. Смотри — луна выходит.

— А я ухожу.

— Я не видел тебя сегодня целый день.

Лицо ее оставалось бесстрастным.

— Ну вот, теперь ты меня видел.

— На одну минуту только. Давай пройдемся.

— Сколько раз тебе говорить, что я всегда устаю после номера. Это же требует страшного напряжения. Тебе хорошо продавать программы и нугу там, внизу.

Он понял, что настаивать бесполезно, и стоически перенес разочарование, стараясь не подавать виду. Они подошли к фургону, в котором Эмми разместилась вместе с мадам Арманд, костюмершей. Целый день Эмми заполняла все мысли Стефена — он так жаждал побыть с нею, услышать от нее хотя бы одно ласковое слово, перехватить хотя бы один взгляд. Она стояла на ступеньках, вся залитая лунным светом, стройная, крепкая, соблазнительная, и ему хотелось грубо схватить ее в объятия и, силой сломив ее сопротивление, покрыть поцелуями бледное равнодушное лицо и полуоткрытый рот. Вместо этого он сказал только:

— Не забудь — мы условились на завтра. Я зайду за тобой в десять.

Она взбежала по ступенькам и скрылась в фургоне, а он все стоял и смотрел ей вслед.

Когда он шел обратно, представление уже окончилось и из большого балагана повалил народ. Все смеялись, оживленно переговаривались, жестикулировали. Все возвращались к своим уютным, привычным домашним очагам, и все, казалось, были счастливы, довольны жизнью и собой. Радостно-приподнятое настроение Стефена сменилось необъяснимым чувством

беспокойства, тревоги. Он не мог заставить себя вернуться в свой фургон, где его ждали насмешки Джо-Джо и храп Жан-Батиста. И он направился к городскому валу один.

ГЛАВА VIII

В это пасмурное, безветренное утро Эмми удивила и порадовала его своей пунктуальностью. Она была почти готова, когда он зашел за ней, и через несколько минут они уже катили на велосипедах по направлению к Луаре. Анжер с его романскими крепостными стенами, тонким шпилем собора Святого Маврикия и высокими аркадами здания префектуры таял в мерцающей дымке. Как всегда, Эмми помчалась вперед с бешеной скоростью, низко пригнувшись к рулю. Ноги у нее работали словно шатуны. Ей явно хотелось одного — оставить Стефена далеко позади. Он купил свой велосипед по дешевке с первого жалованья. Это была устаревшая модель, однако свежий воздух и здоровая деревенская пища восстановили силы Стефена, он заметно окреп за последнее время и, хотя на подъемах ему приходилось туго, все же выдерживал темп и не отставал от Эмми.

Но вот они свернули влево, проехали рощицу, и долина Луары открылась их взору во всем своем великолепии: широкая величественная река, вся залитая мирным солнечным светом, лениво катила свои воды мимо золотистых песчаных отмелей, маленьких изумрудно-зеленых островков и высоких, крутых, поросших ивняком откосов, где у причала дремали на воде плоскодонные баркасы. Выехали на извилистую тропинку, и колеса велосипедов стали увязать в песке. Эмми убавила скорость. За плотной стеной буковых зарослей мелькнули серые замшелые стены и остроконечные башни старинного замка.

Красота пейзажа ударила Стефену в голову, как вино. Хмелея от восторга, он взглянул на свою спутницу, хотел было что-то крикнуть, но благоразумно воздержался.

Около полудня они добрались до речного ресторанчика, где над входом в стеклянном ящике плавала среди густых водо-

рослей большая рыба. Стефен предложил было позавтракать на свежем воздухе, но кабачок неотразимо притягивал к себе Эмми: она всему на свете предпочитала такого рода места, где всегда можно встретить какую-нибудь веселящуюся компанию, где царит непринужденная атмосфера, сыплются острые жаргонные словечки, звучит аккордеон. Кабачок оказался довольно уютным и не лишенным своеобразного очарования, но был на этот раз совершенно пуст, что немало порадовало Стефена: манера Эмми привлекать к себе внимание и вызывать чересчур откровенное восхищение была для него истинной пыткой. Они прошли по чисто выметенному каменному полу, уселись за деревянный некрашенный стол у окна, заросшего снаружи самшитом, и после небольшого совещания с хозяйкой заказали местное рыбное блюдо, которое она настойчиво рекомендовала отведать. Оно было подано им довольно скоро на огромном деревянном подносе: жаркое из мелкой луарской рыбешки, похожей на снетки и так основательно подсушенной, что она рассыпалась на части при первом же прикосновении вилки. К рыбе был подан жареный картофель и графин местного пива, которое нравилось Эмми.

- Славный завтрак, — сказал Стефен, оглядывая стол.
- Неплохой.
- Жаль, что ты не позволила мне заказать бутылочку вина.
- Я люблю это пиво. Оно напоминает мне о Париже.
- Даже в такой чудесный день?
- В любой день мне не надо ничего, кроме Парижа.
- А здесь... Здесь ведь тоже не так уж плохо?
- Могло бы быть и хуже.

Эмми никогда не отличалась преувеличенной восторженностью, но сегодня она была в превосходном расположении духа. Неожиданно она рассмеялась.

— Нипочем не догадаешься, что я получила сегодня утром. Цветы. Розы. Да еще с *billet-doux*¹. От одного из офицеров.

— Вот как! — Лучезарное настроение Стефена слегка потускнело.

¹ Любовной записочкой (*фр.*).

— Сейчас покажу. На роскошной бумаге и с монограммой. — Она снова рассмеялась, сунула руку в карман и вытаснула смятый розовый листок. — Погляди.

Ему совсем не хотелось читать эту записку, но он побоялся обидеть Эмми и быстро пробежал глазами строчки, отметив про себя скрытую двусмысленность учтивых фраз, содержащих приглашение выпить аперитив на «Террасе» и поужинать после этого в «Стакане воды». Он молча возвратил Эмми записку.

— Мне кажется, это от капитана. Я видела его вчера в группе военных. Высокий, красивый, с усиками.

— Ну и что же? Думаешь принять приглашение? — как можно равнодушнее спросил Стефен, стараясь не проявлять своих чувств.

— Невозможно — вечером представление, а потом мы сразу уезжаем в Тур!

— А как же капитан? — настаивал Стефен. — И усики?

Его холодный сарказм задел ее за живое. Она редко краснела, но сейчас легкий румянец проступил на ее бледных, почти до синевы, щеках.

— Да ты что воображаешь? Кто я, по-твоему, такая? Что для меня, в диковинку, что ли, эти провинциальные городки с их гарнизоном? Нет, покорно благодарю, меня на это не поймешь.

Стефен молчал. Как ни боролся он с собой, как ни презирал себя, но ничего не мог поделать: ревность, против которой он был бессилен, захлестывала его, мучила рассудок. Одна мысль о том, что Эмми может отправиться куда-то вдвоем с этим неизвестным офицером, причиняла ему невыразимые муки. Но ведь она же заявила коротко и ясно, что не примет этого приглашения! Сказав себе, что надо быть благоразумным, он вымученно улыбнулся.

— Давай лучше погуляем у реки. — Всякий раз, когда они ссорились, первый шаг к примирению делал Стефен.

Он расплатился по счету, и они спустились к реке. Солнце, небывало горячее для этого времени года, пробилось сквозь тучи, и все вокруг засветилось и потеплело. Стефен очень лю-

бил солнце. Вода и солнце... Это были боги, которым он поклонялся. Эмми закурила сигарету и прилегла, раскинув руки, закрыв глаза, в тени ветвистой ивы, и Стефен уселся на открытом месте, на пригреве, и принялся набрасывать ее портрет. Он уже сделал с нее десятки набросков, и в каждом из них нашла отражение не только вся сила его влечения к ней, но и вся сложность, запутанность и противоречивость этого чувства — все его муки, его страсть, а порой и ненависть.

Стефен не был слеп, он видел ее эгоизм, бездушие и тщеславие, все ее пороки, которые побудили бы его отшатнуться с презрением от любого другого человека. Он понимал, что она едва выносит его, да и то, быть может, лишь потому, что ее практический ум не упускает из виду *grande propriété*, которую «маленький аббат» может получить в наследство, а главным образом потому, что он не в силах был скрыть свою страсть, и она льстила Эмми, давала ей ощущение силы и власти над ним, а это было ей всего дороже. Эмми доставляла ему куда больше мук, нежели радости! И все же он ничего не мог с собой поделать. Он желал ее, она была необходима ему, как воздух, и чувство это, оставаясь безответным, росло день ото дня.

Подняв глаза от альбома, Стефен заметил вдруг, что Эмми уснула. Он невольно вздохнул — с раздражением и досадой. Отложив в сторону альбом и карандаш, он прошелся по берегу, затем, повинуясь внезапному побуждению, сбросил одежду и кинулся в реку. Он уже успел выяснить во время их прежних прогулок, что Эмми не любит купаться — она, как кошка, боялась холодной воды, — у него же обжигающий холод ледяных струй вызывал прилив сил и восторга.

Когда он вернулся к Эмми, она стояла, стяхивая сухие травинки, приставшие к ее коротким курчавым волосам.

— Как это мило — провалился куда-то, не сказав ни слова.

— Мне показалось, что ты уснула.

— Который час?

— Еще рано. — Он подошел к ней вплотную и обнял ее. —

У нас еще много времени впереди.

— Ах, отстань! — Она откинулась назад, упираясь ладонями ему в грудь. — Ты совсем мокрый.

— Послушай, Эмми...

— Нет-нет. Еще не хватало, чтобы мы опоздали. Ты же не хочешь потерять работу? Это ведь очень удобный и приятный заработок для тебя, верно?

— Да, конечно, — скрепя сердце согласился он.

Эмми уже направилась обратно к кабачку, и он последовал за ней.

Ее неожиданная забота о его благополучии озадачила Стефена. А ее оживленная болтовня на обратном пути в Анжер несколько не помогла рассеять это недоумение. Высоким резким сопрано она напевала куплеты из модной шансонетки:

Веселый вечер в саду Альгамбры.
Здесь все во власти
Пьянящей страсти,
Красавиц здесь не перечсть...

И как всегда, когда Эмми бывала в хорошем настроении, прохожие застывали, разинув от изумления рот при виде различных забавных трюков, которые она проделывала на велосипеде, проносясь по улицам раскинувшихся по берегу Луары селений.

Около трех часов пополудни они вернулись домой. Вокруг было тихо и безлюдно. Стефен переоделся, установил мольберт. До самого вечера он работал не отрываясь, рассеянно и угрюмо. Складка, залегшая между бровей, становилась все глубже. Как ни старался он прогнать от себя мысль о том, что Эмми так спешила вернуться домой лишь затем, чтобы отправиться на свидание, подозрение это все больше укреплялось в его сознании. Стало смеркаться, а Стефен не находил себе покоя. За ужином он едва обменялся двумя словами с Джо-Джо и Крокидом.

Наконец он решительно поднялся и зашагал на другой конец стоянки, к фургону Эмми. Мадам Арманд сидела на нижней ступеньке и, поставив лоханку с водой между жирными коленями, стирала чулки. Когда-то мадам Арманд была акробаткой, но сорвалась с трапеции, сломала бедро и с тех пор ходила прихрамывая. Теперь ей уже перевалило за пятьдесят, она отяжелела, расплылась, у нее стали отекают ноги и появился

двойной подбородок, а основным ее занятием сделались сплетни. Джо-Джо, который всегда отплевывался, если при нем произносили ее имя, клялся, что зимой, когда цирк не работал, она держала дом терпимости в Гаврском порту.

— Добрый вечер. — Стефен старался говорить непринужденно. — Эмми у себя?

Мадам Арманд помолчала, скосив на него заплывшие глазки.

— Послушайте, мсье аббат, вы же прекрасно знаете, что она никого к себе не пускает перед представлением.

— Мне на одну минутку.

Мадам Арманд покачала головой, повязанной грязным носовым платком.

— Я не стану ее беспокоить.

— Значит... — Стефен колебался, ему хотелось верить ей, — она отдыхает?

Мадам воздела к небу руки:

— А что, что же еще! *Nom de Dieu!*¹ Может, вы думаете, что я лгу?

Было это возмущение искренним или притворным? Стефену нестерпимо хотелось проникнуть в фургон, но грузная фигура мадам и лоханка с водой преграждали ему путь. Нет, он не будет делать из себя посмешище. Стефен с усилием пробормотал несколько учтивых, ничего не значащих фраз, повернулся и скрылся во мраке.

Стали прибывать зрители, и вскоре представление началось. Из большого балагана доносились взрывы хохота, аплодисменты. Эмми опоздала с выходом. Произошло ли это случайно? Стефен не знал. Он старался успокоиться, взять себя в руки. Когда она наконец выбежала на арену, ему показалось, что она проделывает свои номера более оживленно и эффектно, более смело даже, чем всегда. А быть может, все это лишь плод его разгоряченной фантазии? Но когда она покидала арену, крики «браво! браво!» долго неслись ей вслед с центральной трибуны.

Представление окончилось, из балагана повалил народ, и в этой суматохе Стефену так и не удалось повидать Эмми. Со-

¹ Черт возьми! (фр.)

всем упав духом, он уныло присоединился к Джо-Джо и Крокодилу и стал помогать им разбирать балаганы и снимать палатки. Мысли его были далеко, он работал небрежно и поранил себе руку железным крюком. Но и на это ему было наплевать. Поднялся свежий ветер, стало прохладно. Мотор сняли, электрические огни потухли. Среди шума, криков, в красных отблесках факелов люди работали как одержимые: вытаскивали столбы, снимали подпорки, скручивали канаты, скатывали огромные, хлопающие на ветру полотнища неподатливой парусины. Как обычно, когда цирк снимался со стоянки, животные проявляли беспокойство, и разноголосый протестующий вой несся из всех передвижных клеток. А над всем этим шумом и неразберихой стоял рев мотора и гроыхание тягача. Стефену казалось, что перед его глазами словно оживают рисунки Доре, изображающие преисподнюю, а сам он ввергнут в адский пламень и обречен на вечные муки.

ГЛАВА IX

Из Анжера цирк Пэроса направился в Тур, оттуда — в Блуа, затем — в Бурж и Невер. Погода стояла солнечная, сборы были отличные, и котелок старика Пэроса все время был игриво сдвинут на затылок. После трехдневных представлений в Дижоне цирк двинулся дальше на юг, к побережью, останавливаясь на ночевку и давая по одному вечернему представлению в старинных, обнесенных каменными стенами маленьких городках, разбросанных в долине реки Уш, среди сбегających по склонам виноградников.

На первых порах труппа относилась к Стефену с холодком, но еженедельная выручка, которую приносили его портреты, была недурна, а так как определенный, твердо установленный процент с этой суммы поступал в копилку, из которой каждому предстояло получить свою долю по прибытии в Ниццу, труппа признала, что Стефен «себя оправдывает». А потом довольно скоро он уже был на дружеской ноге почти со всеми членами труппы, чему немало способствовали его обходительные манеры и мягкий характер.

Циркачи были славный, простой народ. Фернан, укротитель львов, бесстрашно входивший в их круглую клетку в светлосинем с серебром гусарском мундире с разодранным в клочья — для пушшего драматического эффекта — рукавом, был необычайно застенчивый человек, жестоко страдавший от нервной диспепсии, по причине которой преданная жена держала его на суровой молочной диете. Сами львы были безвреднее коров. Большинство из них достигло уже крайней дряхлости, все самцы были кастрированы. Если они и рычали, то лишь потому, что приближалось время кормежки и они хотели напомнить о своем существовании, а стоявшие вокруг клетки служители с раскаленными докрасна железными прутьями занимались, в сущности, самым настоящим очковтирательством.

— За двадцать лет у нас не было ни одного несчастного случая, — самодовольно говорил Пэрос и тут же посылал следующее сообщение в местную газету какого-нибудь близлежащего городка, который они собирались посетить:

НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ.

Ужасный случай в цирке Пэроса.

Взбесившаяся львица наносит серьезные увечья Фернану.

Два главных клоуна цирка — карлики Макс и Монс — пользовались всемирной известностью. Гвоздем их программы был скетч под названием «Похищение», в котором Макс, обряженный в старомодный дамский туалет, исполнял роль перезрелой невесты. Сценка эта шла с участием допотопного автомобиля «пэнкард», который никак не желал заводиться и в конце концов разваливался на части, неизменно вызывая громовой хохот зрителей. Макс с его проказливой ухмылкой умел заставить весь цирк покатываться от хохота. Однако за пределами арены он был подвержен приступам такой черной меланхолии, что рядом с ним Гамлет показался бы весельчаком. Как-то раз он поведал Стефену печальную повесть своей многолетней безнадежной страсти к скрипачке из оркестра.

Постоянно наблюдая подобного рода несообразности, Стефен был не так уж удивлен, узнав, что японский фокусник — весьма набожный христианин и сектант, что Нина д'Амора, скакавшая на неоседланной лошади, питает непреодолимое от-

вращение к этим животным, в результате чего у нее развились нервные спазмы и хроническая астма, тогда как акробат Филипп, каждый вечер проделывающий головокружительные трюки на трапедии под самым куполом, почти весь свой досуг посвящает вязанию носков.

Живя под одной крышей с Джо-Джо и Крокодиллом, Стефен, естественно, ближе всего сошелся с ними. Жан-Батист по прозвищу Крокодил, человек с виду вялый и апатичный, был неглуп и сердечен. Стефену удалось сделать несколько удачных зарисовок, когда тот стоял во весь рост на помосте перед глазевшей на него толпой. Жан-Батист получил когда-то хорошее образование в руанском лицее, потом был служащим весьма солидной фирмы «Насьональ», и перед ним открывались неплохие перспективы. Но тут его настигла беда: неизлечимый недуг поразил его и мало-помалу превратил из нормального человеческого существа в нечто смешное и уродливое. Судьба зло подшутила над ним. Недуг разрушил его брак, лишил заработка, и вот, кочуя из одной больницы в другую без всякой надежды на излечение, Жан-Батист попал наконец в качестве дополнительного аттракциона в один из маленьких балаганчиков бродячего цирка Пэроса.

Но особенной симпатией проникся Стефен к Джо-Джо. Бывший жокей был заядлый плут, крал все, что плохо лежит, обманывал каждого встречного и поперечного и при всяком удобном случае напивался до беспамятуства, после чего всю ночь мог провалиться под открытым небом на голой земле, «отлеживался». И при всем том было в нем что-то глубоко человеческое, дававшее ему право с гордостью утверждать, что ни разу в жизни он не оставил товарища в беде. Нередко, проводив вечером Эмми и возвратясь в свой фургон, Стефен ловил на себе пристальный взгляд Джо-Джо, выражавший не столько сочувствие — на что Джо-Джо был мало способен, — сколько понимание, впрочем, не без оттенка иронии и цинизма.

- Гулял со своей зазновой?
- Да, прошлись немного.
- Хорошо провел время?

Стефен молчал.

Бывали случаи, когда экс-жокею хотелось, по-видимому, продолжить разговор, но он ограничивался тем, что пожимал плечами и, повернувшись к Жан-Батисту, заводил с ним нарочито грубый, малопрстойный разговор.

— Какого ты мнения о женщинах, Крок?

— Презираю, но снисхожу.

— Ты рассуждаешь, как женатый человек.

— Да... Я был женат. Моя жена работает теперь стрелочницей на северной железной дороге в Круазэ. Есть у меня одна заветная мечта: все думаю, может, когда-нибудь парижский экспресс, идущий со скоростью девяносто километров в час, долбанет ее в самое чувствительное место.

— А вот я хоть и не был женат, но баб люблю. Спать с ними люблю. Во всем прочем они хуже триппера.

— Так ведь, когда с ними спишь, тут-то его и подцепишь!

— Я с такими не сплю. Отродясь не имел дела со шлюхами. Только с добрыми, честными хозяйшками, которые ходят на рынок и жаждут некоторого разнообразия.

— Вот-вот! Разнообразия! Это ты верно сказал. Именно этим я и обязан моим теперешним успехом у женщин.

— Успехом? Да ты же чешуйчатый!

— Вот именно! Я одержал немало побед над моими любознательными зрительницами. Если женщине опостылело супружеское ложе, она на все пойдет ради новизны. Я читал, что убийца, которого должны гильотинировать, — самая приманка для многих баб.

— *Sacrébleu!*¹ Ну, хоть ты и охотник до таких дел, все же, надеюсь, не дашь отрубить себе ради этого башку?

— Нет. Меня бабы и так любят. Глядя на меня, они представляют себе крокодила с хвостом и думают, что я наделен сверхъестественной мужской силой.

— Но ведь потом их ждет горькое разочарование!

— Только раз в жизни я действительно не оправдал надежд. Одна толстая старая дева, совершенно одинокая, несколько месяцев таскалась за мной из города в город — все надеялась,

¹ Черт побери! (фр.)

что если мы разочка два поспим вместе, на свет может появиться аллигатор. Но к сожалению, ребенок получился вполне нормальным.

Стены фургона задрожали от взрыва грубого смеха, но Стефен не смеялся. Он понимал, что разговор этот ведется специально для него и не со злым умыслом, а чтобы исцелить его от тяжелого недуга. Но недуг этот зашел уже так далеко, что казался ему самому неизлечимым, а капризы Эмми и прихотливость ее настроений еще усугубляли его страдания. Временами она принимала его ухаживания благосклонно. Они льстили ей, и, сидя на ступеньке своего фургона и болтая босыми ногами на солнце, она иной раз беззлобно посмеивалась над Стефеном, гордясь своей властью над ним. И хотя Эмми никогда не была щедра на ласку, все же во время их вечерних прогулок случалось, что, прежде чем исчезнуть во мраке, она снисходительно дарила Стефену поцелуй. Тщетно твердил себе Стефен, что она слишком ветрена и пуста и ему никогда не удастся пробудить в ней ответного чувства. Его неудержимо влекло к ней, как мотылька к цветку, но она оставалась для него недоступной.

Как-то дождливым вечером, покинув гостеприимные берега Соны, цирк Пэроса вступил в суровый край, именуемый Пюи-де-Дом, и остановился в маленьком, беспорядочно разбросанном городке Мулен-ле-Драж. Первоначально они хотели добраться до Сент-Этьенна, но в пути сломался главный тягач, тащивший за собой целый поезд соединенных попарно фургонов. Управиться с ремонтом меньше чем за сутки не представлялось возможным, и пришлось сделать привал. Пэрос был очень раздосадован тем, что цирк не успеет прибыть в назначенное место к назначенному дню, и, чтобы немного возместить потери, решил дать представление и показать хотя бы часть программы в Мулен-ле-Драж.

Но неудачи преследовали их весь день. Афиши расклеить заранее не успели. Городок при ближайшем рассмотрении оказался нищим и жалким, с единственным промышленным предприятием — полуразрушенным от времени кирпичным заводом. А дождь все лил и лил. И к началу представления в протекающем балагане собралось не больше сотни зрителей.

Верные добрым традициям цирка Пэроса, большинство артистов исполнили свои номера с обычным мастерством, после чего все собрались у большого очага в артистической. Но Эмми в этот вечер особенно не повезло. Во время исполнения первой части аттракциона она дважды теряла равновесие на мокром настиле и падала навзничь вместе с велосипедом. Первое падение вызвало взрыв смеха среди неотесанных зрителей, второе — уже бурю насмешек, сопровождавшихся свистом и улюлюканьем. Эмми не закончила программу и, надменно вскинув голову, укатила с арены.

Когда Стефен встретил ее у выхода из балагана, она была бледна как смерть от перенесенного унижения. Он понимал, что сейчас с ней лучше не разговаривать, и молча зашагал рядом, направляясь к фургонам, которые остановились метрах в пятистах от заставы. К довершению всех бед, не успели они выбраться из города, как хлынул настоящий ливень, и им пришлось искать убежища в амбаре, стоявшем с приотворенной дверью среди жнивья.

Когда глаза немного привыкли к темноте, Стефен огляделся и увидел, что на полу амбара навалены кучи соломы. Наконец он решился нарушить молчание.

— Ну, по крайней мере, здесь сухо. — И добавил: — Я рад, что ты не прыгала с трамплина сегодня. Такая публика, как здесь, этого не заслуживает.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Да... — Стефен смутился. — Мне показалось, что это грубый, толстокожий народ.

— Я этого не заметила. Меня публика всегда любит.

— Тогда почему же ты не довела номер до конца?

— Потому что с трамплина лилась вода. Ты что, не понимаешь, что в такой дождь это самоубийство? — Ее глаза гневно сверкнули в темноте. — Да кто ты такой, чтобы меня допрашивать? Ты что, не знаешь, какому риску подвергаюсь я каждый вечер, в то время как ты сидишь себе преспокойно на заднице и царапаешь карандашиком по бумажке, потому что ты храбр, как вошь? Прыгаю я с трамплина или не прыгаю — это мое личное дело. У меня нет ни малейшего желания свернуть себе шею ради какого-то недоношенного аббатика.

Теперь и он побледнел и с минуту молча смотрел на нее, затем, вне себя от бешенства, внезапно схватил ее за плечи.

- Не смей так говорить со мной!
- Пусти!
- Сначала извинись!
- Fiches-toi le camp!¹

Между ними завязалась борьба. Озверев от охватившей его ярости, сразу вспомнив все обиды и издевательства, на которые она никогда не скупилась, Стефен готов был подчинить ее себе силой и, обхватив руками, словно борец, попытался повалить на землю. Но она сопротивлялась, как дикая кошка, вертелась и извивалась, когда он прижимал ее к соломе, и яростно отпихивала его локтями. Она оказалась сильнее, чем он думал, у нее были крепкие мускулы и кошачья увертливость. Он почувствовал, что ему не хватает дыхания, когда она, навалившись на него всем телом, старалась сбить его с ног. Напрягая все силы, он пытался устоять. С минуту ни один не мог взять верх, и они стояли, раскачиваясь из стороны в сторону. Затем Эмми неожиданно сделала ему подножку и рывком опрокинула на землю.

— Вот тебе! — задыхаясь, проговорила она. — Будешь знать теперь.

Стефен медленно поднялся на ноги. В круглом окне под крышей показалась луна среди быстро бегущих облаков, в амбаре стало светлее. С трудом переводя дыхание, Стефен заставил себя поглядеть на Эмми и с изумлением и замешательством обнаружил, что она полулежит, прислонившись спиной к куче соломы, не оправляя платья, задравшегося во время борьбы выше колен, и, сощуриив глаза, наблюдает за ним с каким-то странным, насмешливым и вызывающим видом. Матовые щеки ее слегка порозовели, бледные губы кривила хитрая усмешка. Поймав на себе его взгляд, она медленно закинула руки за голову, и в этом жесте не было кокетства — только ожидание. Она нетерпеливо пошевелилась.

- Ну, глупый... Чего же ты медлишь?

¹ Пошел к черту! (фр.)

Ошибиться было невозможно: Стефен услышал призыв, которого так долго, так безуспешно ждал!

Но он прозвучал столь бесстыдно, с таким равнодушием, был настолько лишен какого-либо намека на чувство, что Стефен окаменел. Он стоял не шевелясь и смотрел на Эмми почти с отвращением. Затем, ни слова не говоря, повернулся и выбежал из амбара. Эмми не могла поверить своим глазам. Выражение ее лица изменилось. Ошеломленная, взбешенная, она вскочила на ноги.

— Слюнтяй! — крикнула она ему вдогонку. — *Espèce de crétin!*¹

Он отошел от амбара шагов на пятьдесят, не больше, и желание снова обожгло его, еще мучительнее, еще беспощаднее, чем прежде. Ему уже было все равно, он желал ее, он должен был обладать ею во что бы то ни стало. Он вернулся в амбар.

— Эмми!.. — Униженно, раболепно потянулся он к ней, слабея от страсти.

Но она была уже холодна как лед и тверда как камень.

— Поди к черту, — огрызнулась она. — Придется тебе теперь подождать.

Ее взгляд сказал ему, что мольбы бесполезны, и он снова выбежал из амбара. Кусая губы, полузакрыв глаза, он шагал, не разбирая дороги. Он пережил уже немало унижений за последние недели, вечно мучимый неутоленным желанием, вечно стремясь к одному — умиловить Эмми, снискать ее расположение. Но сейчас он был слишком глубоко уязвлен. Ему казалось, что он достиг предела унижения. Он не может, не станет больше этого терпеть.

В голове у него был еще полный сумбур, когда он добрался до стоянки цирка. Тягач должны были исправить лишь к утру, и сборы в дорогу еще не начинались. Большой балаган, совершенно пустой, стоял среди безлюдной глинистой равнины. Что-то потянуло Стефена внутрь. Сквозь отверстие в куполе светила луна, и мокрая поверхность металлического трамплина, оставленного на ночь на арене, ярко блестела в голубоватом призрачном свете. Какое-то неясное побуждение росло, крепло

¹ Кретин! (фр.)

в истерзанной душе Стефена — стремление оправдаться перед самим собой, что-то доказать себе, подняться в собственных глазах. Он поглядел наверх — все оборудование было на месте. По телу его пробежала дрожь. Он направился к веревочной лестнице. Ноги его вязли в сырых опилках, оставляя глубокий след. Ухватившись за веревочную ступеньку, он начал медленно взбираться вверх, сильно раскачивая лестницу, так как у него не было сноровки.

Взобравшись наверх, он остановился на краю площадки. Она была совсем крошечная и так высоко над ареной — куда выше, чем казалось снизу, — что у него закружилась голова. Он зажмурил глаза и ухватился за металлическую перекладину. На какую-то секунду этот приступ головокружения совершенно парализовал его. Здесь, наверху, ветер дул, казалось, еще яростнее: он раскачивал металлическую конструкцию, надувал мокрую парусину, хлопал незакрепленным полотнищем, и от этого чувство неуверенности и страха росло. Но Стефен усилием воли привел в движение свои оцепеневшие мускулы. Стараясь не глядеть вниз, он одной рукой высвободил велосипед из зажимов и выровнял колеса, все еще крепко держась другой рукой за штангу. Затем осторожно взобрался в седло и заставил себя поглядеть вниз.

Отсюда арена выглядела неправдоподобно маленькой, она желтела где-то далеко-далеко внизу, а металлическая конструкция, на краю которой он стоял, казалась невесомой, не более устойчивой и надежной, чем шелковая трехцветная лента. Снова по телу Стефена пробежала дрожь. Он еще держался за штангу, он еще мог отступить. Страх сковал его тело. Он старался совладать с собой, победить страх. Будь что будет, но он должен это сделать.

Он затаил дыхание, потверже уселся в седле и наклонился вперед. Внезапно ему послышался приглушенный крик, почувствовалось, что он видит какую-то темную, казавшуюся сверху сплюсненной фигуру, размахивающую руками. Если это было предостережение, то оно пришло слишком поздно. Впившись взглядом в центральную белую полосу трамплина, Стефен, призвав на помощь все свое мужество, заставил себя отпустить штангу. Какую-то долю секунды он отвесно падал вниз, затем

взмыл вверх, пролетел, словно выброшенный из катапульты, по воздуху, почти в то же мгновение ощутил сильный толчок, и его на бешеной скорости вынесло из балагана и швырнуло в придорожную канаву, полную жидкой грязью.

С минуту он лежал недвижно, изумляясь тому, что все еще жив, как вдруг услышал, что кто-то бежит к нему.

— Nom de Dieu!.. Ты что, хотел покончить с собой? — Джо-Джо, казалось, впервые был выведен из состояния апатии.

— Нет, — сказал Стефен и, пошатываясь, поднялся на ноги. — Но меня, кажется, сейчас стошнит.

— Сумасшедший идиот! Как это тебя угораздило?

— Мне захотелось поразмяться.

— Ты просто спятил! Когда я увидел тебя наверху, я думал, что все пропало.

— А что бы от этого изменилось?

Джо-Джо пристально на него поглядел.

— Брось ты это, черт побери. Пойдем выпьем.

— Ладно, — сказал Стефен и добавил: — И пожалуйста, не рассказывай никому.

Они направились через площадь к кафе. После бокала крепкого кальвадоса у Стефена перестали дрожать руки. Он пил молча, лишь изредка перебрасываясь словом с Джо-Джо. Так они просидели в кафе до закрытия. От выпитой водки голова у Стефена отяжелела, чувства притупились. Но он уже понимал, что не достиг решительно ничего, что он не в силах отказать от Эмми. И по-прежнему тупо ныло сердце.

ГЛАВА X

Через две недели они прибыли в Ниццу. Этот город, в который они вступили со стороны затемненных мимозами террас Ле Бометт, оказался куда обширней, чем представлялось Стефену. Английский променад, залитое солнцем взморье, банально нарядные цветочные клумбы и кричащая роскошь отелей — все имело неприятно претенциозный вид. Но цирк расположился в другом конце города, на площади Карабасель, среди лабиринта узких улочек, где тут и там прямо под открытым не-

бом раскинулись небольшие рынки и повсюду стояли лотки с овощами, фруктами и несметным множеством цветов. Это был живописный, пестрый и шумный мир, полный интимного очарования парижских предместий, но согретый теплым солнцем юга.

— А здесь неплохо, верно? — Джо-Джо расправил узкие плечи, обтянутые рваной фуфайкой. — Приятно снова очутиться в этих краях.

— Тебе здесь нравится?

— Еще бы! И тебе понравится. Смотри. — Он сделал широкий жест. — Художник может увидеть много занятного на площади Карабасель.

В другое время Стефен с большим интересом обследовал бы эти кварталы. Но в нынешнем состоянии душевного напряжения и беспокойства ему было трудно работать. Все же он заставил себя выйти с альбомом на улицу и сделал несколько набросков местных жителей: старуха в белом чепце, торгующая артишоками, крестьянин с корзиной живых цыплят, рабочие, ремонтирующие дорогу... Но он делал все это без увлечения и в полдень, когда стало припекать, вернулся в свой фургон, чтобы отдохнуть перед представлением.

Вечером, склонившись над мольбертом и заканчивая последний за этот день портрет, он заметил, что какой-то человек, стоя в стороне и небрежно опершись на трость, наблюдает за его работой. Что-то в позе этого человека пробудило смутные воспоминания в душе Стефена. Он оглянулся...

— Честер!

— Как поживаешь, старина? — Гарри стянул с руки замшевую перчатку, пожал Стефену руку, рассмеялся — подкупаяюще и мило, как всегда. — Я слышал, что ты уехал с цирком Пэроса. Но где, скажи на милость, раздобыл ты это чудовищное одеяние?

— Я ношу его по условию контракта.

— Понятно! В качестве приманки для дикарей. Но в этом наряде, вероятно, нельзя не чувствовать себя немножко ослом?

— Я уже привык к нему. Подожди меня, я сейчас освобожусь.

Пока Стефен торопливо заканчивал портрет, Честер вынул портсигар, закурил сигарету. На нем был полотняный костюм,

белые с коричневым туфли, на голове — соломенная панамы. Рубашка была из натурального шелка, брюки отлично отутюжены, щегольской галстук-бабочка дополнял туалет. У Честера был вид беспечного, праздного гуляки. Лицо его покрывал густой загар.

— Я никак не могу поверить, что ты здесь, — сказал Стефен. — Хоть ты и говорил, что собираешься в Ниццу. Ты хорошо выглядишь.

— Благодарю. Да, я чувствую себя недурно.

Гарри добродушно улыбнулся, и Стефен невольно улыбнулся тоже, снова ощущая притягательную силу этого беспечного дружелюбия, которое Честер умел расточать так легко.

— Тебе, верно, повезло в рулетку.

— Да, представь себе, здорово повезло. — Честер усмехнулся. — Я дошел до ручки и поставил последние пятьдесят франков на двойное зеро. Почему? Да просто потому, что в случае проигрыша у меня был бы тот же самый ноль в квадрате. Выпало двойное зеро. Я ничего не снял со ставки. Почему? А бог его знает. Снова выходит двойное зеро. Да, черт побери, поглядел бы ты, какая это была куча больших красивых красных фишек! Я начал было их сгребать и почувствовал, что не в силах этого сделать. Что-то шептало мне в уши: попытай счастья в третий раз. Я снова поставил все. Когда колесо завертелось, я думал, что умру. И снова выпало двойное зеро. Ну, на этот раз я быстро сгреб все фишки и, не теряя времени, — к кассе. А на другой день убрался подальше от греха — в маленькую гостиницу в Вильфранш. С тех пор живу, как король. — Он взял Стефена под руку. — А теперь расскажи о себе. Как работа?

— Не очень-то клеится.

— Можно поглядеть?

Стефен повел Гарри к своему фургону, вынес несколько полотен и поставил их одно за другим, прислонив к колесу. Гарри осмотрел их все с видом знатока.

— Ну, знаешь, старина, — сказал он, когда осмотр был закончен, — наверно, в них что-то есть, но до меня это как-то не доходит. Что-то у тебя неладно с перспективой. И не кажется ли тебе, что мазок слишком груб?

— Я и хотел, чтобы он был груб... Чтобы вернее передать жизнь как она есть.

— Но эти лошади не очень-то передают всю жизнь как она есть.

Гарри тросточкой указал на композицию темперой, где были изображены испуганные грозой, бешено скачущие кони.

— Я не стремился изображать здесь то, что само собой очевидно.

— Очевидно, нет. Все же... я люблю видеть лошадь такой, какой я привык ее видеть.

— А если к тому же на спине у нее сидит всадник, тогда ты уж совсем можешь быть спокоен, — криво усмехнулся Стефен и собрал полотна, чувствуя, что Гарри не имеет ни малейшего представления о том, к чему он, Стефен, стремится. — А ты еще занимаешься живописью?

— Да, разумеется. В свободное время. Я сейчас пишу первоклассную штуку — вид на променад. Мы с Ламбертом частенько ездим на натуру. Ты знаешь, они с Элизой ведь здесь. Он познакомился в посольстве с богатой американской вдовушкой и сейчас пишет ее портрет во весь рост.

Раздались шаги, и из-за фургона вышла Эмми. Она направилась было к Стефену, но, заметив Честера, внезапно остановилась. Какое-то странное выражение промелькнуло на ее лице.

— Что ты тут делаешь?

— Я всегда появляюсь там, где меня меньше всего ждут.

— Как фальшивая монета?

— На этот раз — как вполне полноценный тысячефранковый билет, — как ни в чем не бывало отвечал Честер, очаровательно улыбаясь. — Неужто ты не скучала в разлуке со мной?

— Просто не понимаю, как я ее пережила!

— Ну, не будь так жестока к старику Гарри. Ты знаешь, какие у меня слабые нервы. — Он поглядел на часы. — Ого, я уже должен бежать. В шесть часов свидание в отеле «Негреско». Но я хочу, чтобы вы оба приехали завтра утром ко мне на улицу Сирени, дом одиннадцать-б, — как раз напротив бульвара Генерала Леклерка. Позавтракаем вместе. Ламберты тоже придут.

Вы свободны? Отлично. Это всего два-три километра по берегу. Трамвай проходит мимо моего подъезда.

Он улыбнулся, помахал тросточкой показавшемуся вдали фиакру, вскочил в него, откинулся на плетеном соломенном сиденье и был таков.

Эмми проводила его негодующим взглядом.

— Что он о себе воображает, видали! Оказал нам великую честь, предложил воспользоваться трамваем, а сам укатил в экипаже!

— Не будем ему завидовать. Ему тоже приходилось туго в свое время.

— Я не верю, что он сорвал банк. Верно, на содержании у какой-нибудь старухи.

— Вовсе нет. Очень может быть, что он и выиграл в рулетку, — таким, как Гарри, всегда везет. К тому же он волочится только за молоденькими и хорошенькими девушками.

— И притом слишком часто. — Она усмехнулась, обнажив мелкие, острые зубы. — Ничтожество, *sale type!*¹ Он мне всегда был противен.

— Ты, значит, не пойдешь к нему завтра?

— Конечно пойду, не будь таким идиотом. Мы ему покажем, как задаваться, он еще пожалеет об этом.

Стефен в недоумении уставился на нее. Она терпеть не может Честера, это ясно. Зачем же в таком случае она принимает его приглашение? Может быть, ей хочется повидать Ламбертов? Он никогда не мог разгадать, что у нее на уме.

Когда они встретились на другой день, на ней было желтое муслиновое платье с вышивкой, очень узкое и короткое. Стриженные курчавые волосы были перехвачены желтой лентой. Она приветствовала Стефена своей обычной жесткой усмешкой.

— Можем мы взять фиакр?

— Без сомнения. Никаких трамваев.

Эмми выбрала самый нарядный из всех экипажей. Уселась, удобно откинувшись на сиденье.

— Хорошо я выгляжу?

¹ Гнусный тип (*фр.*).

— Замечательно.

— Мне все равно необходимо было купить себе новое платье. Я купила это сегодня утром в «Галери мондиаль».

— Прелестное платье, — сказал Стефен. — И очень тебе к лицу.

— Я хочу показать этим господам, что им нечего задирать передо мной нос. Особенно Честеру. Он бог знает что о себе воображает.

— Да нет, Гарри не так плох. Немножко избалован, но это не его вина. Недурен собой — вот в чем дело.

— Так ты считаешь его интересным мужчиной?

— Я считаю, что найдется немало дурочек, готовых потеть голову от его голубых глаз и курчавых волос.

Она искоса испытующе взглянула на него.

— Во всяком случае, я не принадлежу к их числу.

— Да. — Стефен улыбнулся. — Я, по правде говоря, рад, что он тебе не нравится.

Они миновали проспект Распай — широкую улицу, обсаженную каролинскими баниониями, — проехали по бульвару Карно, потом вокруг залива по набережной и направились в сторону Болье. Небо было безоблачно, с гор веяло нежным и сладким ароматом цветов. Стефен чувствовал себя счастливым. Он сжал пальцы Эмми, и она несколько секунд не отнимала руки. За последние дни всевозможные знаки внимания, которые он **беспрерывно** ей оказывал, его бесчисленные маленькие подарки и **обретенное** им наконец умение владеть собой произвели, казалось, на нее некоторое впечатление.

— Ты славный, — промурлыкала она.

Этих ничего не значащих, случайно оброненных слов было достаточно, чтобы Стефен почувствовал себя на вершине блаженства. Быть может, она в конце концов и полюбит его!

Они уже въезжали в Вильфранш. Комнаты Честера в маленькой гостинице «Сиреневый отель» на улице Сирени, спускавшейся почти перпендикулярно к набережной, выходили окнами на общий балкон, окружавший небольшой внутренний дворик. Посреди двора журчал обсаженный кактусами фонтанчик, зеленые кадки с цветущими олеандрами украшали балкон.

Все выглядело опрятно, скромно, красиво и уютно — очаровательное pied-à-terre¹, которое Честер, с его умением устраиваться, вероятно, подыскал себе без малейшего труда.

Стефен и Эмми прибыли первыми, и Гарри подчеркнуто торжественно их приветствовал:

— Счастлив принимать вас в моем наследственном замке. Он не велик, но имеет свою историю.

— Очень темную и грязную, конечно, — съязвила Эмми.

Честер рассмеялся. Он был в белых фланелевых брюках и синей спортивной куртке с медными пуговицами. Надо лбом в густых, тщательно уложенных каштановых завитках светлела выгоревшая прядь.

— Если ты так думаешь, то я постараюсь, чтобы тебе в дальнейшем не пришлось испытать разочарования.

Он увел Эмми в спальню — снять шарф и перчатки, а Стефен, оставшись один в маленькой гостиной, огляделся по сторонам. Обстановка была банальная, только на стенах висели две акварели, и Стефен с первого взгляда узнал творения Ламберта. Он внимательно рассмотрел их, каждую по очереди: на одной был изображен душистый горошек в хрустальной вазе, на другой — небольшое семейство аистов, стоявшее в илистом, окутанном туманом пруду, и, всматриваясь в эти рисунки, Стефен дивился, как эта дешевка могла ему когда-то нравиться. Выполненные изящной, почти женственной кистью, акварели были вялы, безжизненны, лишены всякого своеобразия и абсолютно бессодержательны. Их могла бы написать обладающая некоторыми способностями преподавательница рисования в каком-нибудь женском пансионе. Глядя на них, Стефен понял, какой путь прошел он сам с тех пор, как впервые увидел Париж. Да, этот путь был нелегок, зато он помог Стефену осознать, что такое подлинное искусство.

— Хороши, верно? — Честер и Эмми вернулись. — Ламберт одолжил мне их на время, это очень мило с его стороны. Между прочим, на обороте указана цена. Может статься, кто-нибудь из моих гостей захочет их приобрести.

¹ Пристанище (фр.).

— А ты еще не показал нам своих работ.

— Да видишь ли, — с некоторым замешательством отвечал Честер, — дело в том, что у меня здесь почти ничего нет. Я все отправил в Париж. Давайте выпьем.

Он достал бутылку «Дюбонне», наполнил три рюмочки, затем протянул каждому по очереди тарелку со свежими креветками.

— Не соблазнит ли это вас, мадемуазель? *Bouquet de la baie*¹.

— Ты сам их ловил?

— Конечно. Встал ни свет ни заря.

Она, поправляя волосы, поглядела на него — на этот раз уже не так подчеркнуто недружелюбно.

— Какой ты лгун!

Гарри чистосердечно расхохотался.

— В этом я тоже большой мастер. Я ведь мастер на все руки.

Раздался звонок, и появились Ламберты. Они мало изменились — разве что Филип слегка раздобрел и стал еще более медлительно-томным. На нем был серый костюм с красной гвоздикой в петлице, на указательном пальце болталась перевязанная ленточкой картонная коробка с пирожными.

— Я прихватил с собой пирожные от Анри. Мы съедем их за кофе, Честер. Вы, верно, помните, Десмонд, каким я был всегда сластеной. — Ламберт небрежно растянулся на кушетке и, изящно раздув тонкие ноздри, понюхал цветок у себя в петлице.

Элиза, как и прежде любившая одеваться во все зеленое, заговорила с Эмми. Ее улыбка, казалось, стала еще более застывшей.

— Ну, теперь, друг мой, рассказывайте все по порядку.

Стефен начал было коротко рассказывать о себе, но очень скоро заметил, что Ламберт его не слушает, и умолк.

— Вот что я вам скажу, Десмонд, — небрежно, с усмешкой проронил Ламберт. — Для вашей же собственной пользы я бы посоветовал вам полегче относиться ко всему. Нельзя сражаться за искусство с топором в руках. Зачем лезть из кожи вон, надрываться и потеть, как лесоруб? Берите пример с меня и ста-

¹ Дары моря (фр.).

райтесь прежде всего добиться изящества и мастерства. Я никогда не работаю сверх сил, однако у меня нет недостатка в покупателях. О да, меня покупают. Конечно, я не отрицаю, у меня есть талант, и это несколько облегчает задачу.

Стефен молчал. Возможности Ламберта были ему совершенно ясны. Но тут Честер объявил, что завтрак готов, и это спасло Стефена от необходимости что-то отвечать.

Завтрак, который прибыл из ресторана гостиницы, расположенного в нижнем этаже, был превосходен. Молодой официант отлично прислуживал за столом и, должно быть, совершал чудеса проворства, бегая по лестнице, ибо все было с пылу с жару. За омаром, приготовленным на местный манер, последовало жаркое из цыпленка и суфле из сыра. Гарри с видом знатока сам откупорил бутылку «Вдовы Клико». Но чем веселее, непринужденнее становилась вся компания, тем острее чувствовал Стефен свою полную непричастность к ней. Было время, когда это общество пришлось ему по душе, но теперь, сколько он ни старался подладиться под общее настроение, у него решительно ничего не выходило. Что такое случилось с ним, почему он сидит как воды в рот набрав, с убийственным сознанием, что ему нечего здесь делать? Эмми, немножко хватив лишнего, принялась изображать Макса и Монса, и Честер хохотал во все горло, еще более заразительно, чем всегда. Ламберт, которым Стефен так восхищался когда-то, представлялся ему теперь в точности таким, каким охарактеризовал его Глин, — манерным и весьма посредственным дилетантом. Образованный, хорошо воспитанный, надежно защищенный от всяких превратностей жизни своим небольшим, но твердым доходом, он в погоне за удовольствиями порхал, как мотылек, не желая ничем себя утруждать или огорчать. Умело ухаживая за женщинами, он находил себе клиенток, которые заказывали ему портреты или платили хорошую цену за его разрисованные веера и акварели. Мертвая улыбка Элизы и ее слегка заострившийся профиль вскрывали истинную цену этой жизни. Она начинала увядать, вокруг зеленоватых глаз с пушистыми светлыми ресницами собирались морщинки. Ее умение подыгрывать и льстить мужу слегка поизносилось, однако безоглядная преданность ему делала ее все более и более снисходитель-

ным и удобным партнером в этой шарлатанской игре в искусство, при каждом упоминании о которой Стефен невольно раздраженно ерзал на стуле.

После кофе и пирожных, которых Ламберт съел пять штук, сославшись мимоходом на некоего стивенсоновского героя, обожавшего слойки с кремом, все вышли посидеть на балконе. Прочно завладев разговором, Ламберт описывал в иронических тонах физические и духовные недостатки пожилой дамы, над портретом которой он трудился.

— Словом, — заключил он небрежно, — чего же еще ждать от вдовы чикагского мясника.

— Надеюсь, ее чек не был фальшивым? — сухо заметил Стефен.

— Нет... разумеется, — отвечал Ламберт. Он был явно уязвлен.

Как ни старался Стефен побороть скуку, время тянулось невыносимо медленно. Наконец часов около трех, воспользовавшись паузой в разговоре, он поглядел на Эмми.

— Боюсь, что нам пора.

— Глупости, — запротестовал Честер. — У нас еще весь вечер впереди. Вы не можете так рано нас покинуть.

— Я опоздаю на работу.

— Ну а тебе почему бы не остаться, Эмми? — пленительно улыбнулся Гарри. — Я тебя потом провожу.

Наступило короткое молчание. Стефен видел, что Эмми колеблется. Все же она решительно тряхнула головой.

— Нет. Я уйду тоже.

Они распрощались. Швейцар нашел им фиакр. Когда они завернули за угол и гостиница скрылась из глаз, Стефен наклонился к Эмми.

— Это было очень мило с твоей стороны — уйти вместе со мной. Я очень тебе за это благодарен.

— Больно-то они мне нужны, я не продешевлю себя.

Не такого ответа он от нее ждал, и все же снисходительность, которую она проявляла к нему в последние дни, придавала ему смелости. Он придвинулся к ней ближе, нашел под фартуком фиакра ее руку.

— Отвяжись, — сказала она капризно, отпихивая его. — Неужели ты не понимаешь, что со мной?

Он растерянно, с недоумением глядел на нее, и она откровенно и грубо объяснила ему физиологическую причину своего состояния, которая, должно быть, и побудила ее — если только это было правдой — поспешить с отъездом.

ГЛАВА XI

После суতোлки и волнений кочевой жизни большинство артистов цирка Пэроса были рады обосноваться в своих зимних квартирах на Лазурном Берегу. Здесь они оседали надолго; у многих имелись родственники в Ницце, Тулузе или Марселе, которых можно было навестить, пользуясь тем, что досуга у всех стало больше. Цирк хотя и продолжал работать, но программа сократилась до пяти выступлений в неделю, и после большого воскресного представления все артисты в понедельник и вторник были свободны.

Жизнь товарищей Стефена уже потекла по новому, но привычному для них руслу. Макс стал снова давать уроки игры на скрипке, и каждый вечер можно было наблюдать, как он с черным грушевидным футляром под мышкой проворно семенит куда-то на своих коротеньких ножках. Крокодил почти все время пропадал в Национальной библиотеке, склонившись над толстыми фолиантами, а по возвращении пытался растолковать Стефену и Джо-Джо какое-нибудь новое откровение, почерпнутое у Шопенгауэра. Фернан, похудевший и задумчивый, отправлялся каждое утро под руку с женой к гомеопату. Он страдал гастритом, и ему были прописаны ежедневные промывания желудка. Джо-Джо, наиболее практичный из всех, подыскал себе побочную работенку в конюшне «Негреско», где и проводил почти все вечера, делая вид, что моет экипажи, а заодно сплетничая с грумами и шоферами, собирая сведения о местных скаковых лошадях и с кривой усмешкой в глазах большого, похожего на капкан рта отпуская саркастические замечания по адресу посетителей отеля.

А Стефен начал делать эскизы для большой картины, где он собирался использовать предварительные наброски, сделанные во время представлений. Картина должна была называться «Цирк». Задача была не из легких: Стефен задумал сложную композицию с множеством фигур и широкой гаммой гармоничных и контрастных тонов. У него не было ни мастерской, ни достаточно большого холста, и он решил последовать примеру старых мастеров и для начала сделать все в уменьшенном масштабе и без деталей. В процессе работы замысел захватил его целиком. Он уже чувствовал, что материал, собранный им в результате терпеливейших наблюдений и зарисовок на протяжении многих недель, должен принести хорошие плоды.

После завтрака в «Сиреновом отеле» стрелка барометра, указывавшая на перемены в настроениях Эмми, начала медленно, но неуклонно приближаться к «ясно». Ни Честер, ни Ламберты больше не появлялись — это знакомство, по-видимому, сошло на нет. У Стефена в душе давно гнездились подозрения, что Честер и Эмми были когда-то увлечены друг другом. Быть может, оно возникло из какого-нибудь случайно оброненного Глином замечания, и теперь он испытывал радость, видя, как мало огорчена Эмми тем, что эти отношения оборвались. У Эмми, как и у других циркачей, нашлись свои дела в Ницце. Сестра мадам Арманд, проживавшая на окраине, сразу за предместьем Сен-Рош, держала небольшую шляпную мастерскую, изготавливавшую преимущественно соломенные карнавальные шляпки. Эмми, как большинство француженок, была чрезвычайно способна ко всякого рода рукоделию, и теперь она каждый вечер степенно садилась в трамвай и отправлялась «немножко подработать себе на булавки» в мастерскую «Соломенная шляпка». Поэтому Стефен виделся с ней еще реже, чем прежде. Однако он чувствовал себя спокойнее. Эти неожиданно обнаружившиеся новые стороны ее натуры — скромность и трудолюбие — пришлись ему очень по душе. Однако такая работа, вероятно, была однообразна и утомительна, и Стефен решил, что должен как-то скрасить ее монотонность. В «Кларьон-де-Нис» он прочел, что ангажированная на сезон оперная труппа дает в следующий понедельник в помещении городского казино «Богему». Стефен решил, что это романтическое изображение жизни сту-

дента в Париже должно понравиться Эмми, и при следующей встрече предложил ей:

— Давай пойдем в понедельник в театр.

— В театр? — Она как будто слегка растерялась. — Разве ты не собираешься работать над своей картиной?

— Вечером — конечно нет.

— Ну что ж... если тебе так хочется...

— Отлично. Я возьму сегодня билеты.

Он отправился пешком в казино и взял два билета в бельэтаж, затем, зная, как Эмми любит «кутнуть», заказал на вечер столик в ресторане. Готовясь к этому вечеру, он снова ощутил то мучительное волнение, которое всегда охватывало его при мысли о том, что он останется с Эмми наедине.

Настал понедельник. Изготовив очередную серию портретов, Стефен тщательно вымылся в жестяном тазу за фургоном, надел чистую рубашку, которую выстирал себе накануне, и костюм. Он был уже вполне готов, когда услышал за спиной шаги Эмми. Он обернулся и замер, увидя, что лицо ее выражает сожаление.

— Что случилось?

— Я не могу пойти с тобой сегодня.

— Не можешь?

— Нет. Сестра мадам Арманд заболела гриппом. Я должна побыть с ней.

— Мадам Арманд может сделать это сама.

— Нет-нет, там у них очень срочный заказ. Мадам с этим не справится.

— Но мне кажется...

— Нет, право же, я никак не могу.

Наступило довольно продолжительное молчание.

— Ну что ж... Нет так нет. — Он был глубоко разочарован, но старался не подавать виду.

— Ты пригласи кого-нибудь еще. Жалко, если пропадут билеты.

— Черт с ними! Какое это имеет значение?

— Мне, право, жаль. — Она сочувственно похлопала его по руке. — Может, как-нибудь в другой раз.

Ее озабоченный, огорченный вид смягчил боль разочарования. И все же, когда Стефен, поглядев ей вслед, медленно обернулся и выплеснул мыльную воду из таза, у него было такое расстроенное лицо, что Джо-Джо, наблюдавший всю эту сцену, полулежа на ступеньке и опираясь на локоть, поднялся и подошел к нему.

— Как дела? — спросил он, не переставая ковырять соломинкой в зубах.

— Все в порядке.

— Ты что-то разоделся.

— Да, я надел костюм, если ты это имеешь в виду.

— Куда же ты собрался?

— В театр. Пойдем со мной. Дают «Богему».

— Это что — водевиль?

— Нет, опера.

— Опера — это не для меня. Пойдем лучше в «Провансаль», выпьем.

Они пересекли площадь и направились к ближайшему кафе, находившемуся под особым покровительством труппы Пэроса. Это был славный, хоть и дешевенький рестораник с длинными столами и скамейками, стоявшими не только в помещении, но и прямо под открытым небом. Внутри было темновато, играла радиолка, посетители сидели, скинув пиджаки. Джо-Джо кивнул каким-то рабочим, которые по пути домой зашли пропустить по стаканчику.

— Ты какую отраву предпочитаешь, аббат?

— Все равно... Ну, хоть вермут...

— Вермут! *Quelle blague!*¹ Будешь пить коньяк. — Джо-Джо крикнул, чтобы подали перно и коньяк.

Напитки разносила рослая молодая особа с голыми красными руками, у нее были круглые крепкие груди, которые перекатывались под блузкой, словно два кокосовых ореха.

— Чем плоха красotka? — Джо-Джо привычным жестом процедил перно через кусочек сахара, затем с наслаждением глотнул мутную беловатую жидкость. — Ее зовут Сузи. И это не какая-нибудь потаскушка. Хозяйская дочка. Почему бы те-

¹ Какая ерунда! (фр.)

бе не попытать счастья? Такие здоровенные девки любят невысоких мужчин.

— Поди ты к черту.

Джо-Джо усмехнулся.

— Вот это лучше. Вся твоя беда в том, что ты вечно держишь себя в узде.

— Что ты хочешь этим сказать?

— *Sacrébleu!* Мог бы немножко дать себе волю. Ты же не тряпка, я в этом убедился тогда ночью... когда ты прыгнул с трамплина. Тебе нужно завить горе веревочкой. Плунуть на все и загулять. Напиться, загулять так, чтоб чертям тошно стало.

— Я пробовал. У меня это как-то не получается.

Оба помолчали.

— В «Негреско» каждый вечер чай и танцы — очень шикарно. Может, тебе стоит заглянуть туда.

В словах Джо-Джо прозвучал какой-то намек, но Стефен лишь отрицательно покачал головой.

Джо-Джо развел руками. Затем сказал:

— А что случилось с красавицей-велосипедисткой?

— Она должна навестить сестру мадам Арманд.

— У Арманд есть сестра? Неужто еще одна такая сука рыщет по нашей многострадальной земле?

— У нее шляпная мастерская в Люнеле, за Сен-Рошем. И она больна.

— Вот оно что! — Джо-Джо кивнул. — Подвиг милосердия. Мадемуазель Найтингейл¹ номер два.

Он умолк и с минуту глядел на Стефена, иронически скривив губы. Чувствовалось, что он хочет сказать еще что-то, раскрыл было рот, но ограничился тем, что слегка пожал плечами, поманил официантку, жестом приказал ей принести еще вина и заговорил о предстоящих на завтра скачках.

В семь часов они вышли из кафе. Джо-Джо отправился задавать корм своим арабским скакунам, и Стефен остался один. После трех порций коньяку он немного успокоился и повесе-

¹ Известная английская филантропка и сестра милосердия.

лел, но идти одному в театр ему все же не хотелось. Вечер был восхитительно хорош — жалко губить его в душном казино. Внезапно его осенила отличная мысль. Люнель — это не так уж далеко. Проезд до Сен-Роша в трамвае стоит всего двадцать сантимов. Почему бы ему не отправиться туда? Он разыщет мастерскую мадам Арманд и проводит Эмми домой. Ну, может, придется подождать, пока она закончит работу. А если повезет, они еще успеют поужинать вместе.

Надежда окрылила его, и он зашагал быстрее через бульвар Риссо к площади Пигаль, где без труда отыскал остановку трамвая, который шел в северное предместье. Трамвай тащился медленно, и поездка заняла больше времени, чем предполагал Стефен, но все же не было еще восьми часов и солнце еще не село, когда Стефен добрался до цели. Люнель оказался поразительно крохотным и диким местечком. На плоской равнине, среди огородов, пролегла единственная и даже не замощенная улица с невысокими, белеными известкой домиками — это и было все предместье. Стефен дважды прошел из конца в конец по этой улице, однако не обнаружил никаких признаков мастерской «Соломенная шляпка». В местечке было всего несколько магазинов, и ни один из них ни в малейшей степени не походил на шляпную мастерскую. Совершенно озадаченный, сбитый с толку, Стефен постоял с минуту на резком порывистом ветру, крутившем на дороге пыль, затем повернул обратно и направился на почту, которая, будучи расположена в одном помещении с бакалейной лавкой, все еще была открыта. Здесь он навел справки и установил, что в Люнеле, насколько известно, нет ни одной модистки, не говоря уже о шляпной мастерской.

Возвращаясь в Ниццу в полупустом вагоне трамвая, Стефен криво усмехался про себя. От тряски у него звенело в ушах. Может быть, это какая-нибудь идиотская ошибка, может быть, Эмми назвала какой-то совсем другой поселок, а он просто ослышался? Нет! Он был убежден, что она говорила про Люнель, да и не один, а много раз. Может быть, она второпях придумала эту отговорку, чтобы отделаться сегодня от него? Тоже нет: ведь она вот уже две недели как отправлялась каждый вечер к сестре мадам Арманд. Лицо Стефена мрачнело все боль-

ше. Уже совсем смерклось, когда он добрался до Карабасель. На площади, где расположились цирковые фургоны, было тихо и совершенно безлюдно. Стефену хотелось пойти к фургону Эмми и узнать, возвратилась ли она домой, но гордость и усталость одержали верх. Он и без того вел себя нелепо и глупо, не хватало еще устраивать сцены по ночам. Он поднялся к себе в фургон, лег на койку и закрыл глаза. Он выведет ее на чистую воду завтра утром.

ГЛАВА XII

Наутро он поднялся рано, но Эмми нигде не было видно. Только около одиннадцати часов она появилась в дверях фургона, в синем в белую полоску бумажном халатике, в ночных туфлях на босу ногу, и присела на верхнюю ступеньку с чашкой кофе в руках. Стефен подошел к ней.

— Доброе утро. Ну, как твоя больная?

— О, все в порядке.

— Был доктор?

— Разумеется.

— Ничего серьезного, надеюсь?

Она отхлебнула глоток кофе.

— Я ведь, кажется, уже говорила тебе, что у нее грипп.

— Но это довольно заразная штука, — участливо заметил он. — Ты должна быть очень осторожна.

— Обо мне не беспокойся.

— Нет, в самом деле... Там такой пронизывающий ветер — в этом Люнеле. А трамвая приходится ждать часами.

Отхлебывая кофе, она подняла на него глаза и, помолчав, сказала:

— Откуда ты знаешь, что в Люнеле?

— Я был там вчера вечером.

В ее глазах промелькнуло подозрение, но она тут же расхохоталась.

— Так я тебе и поверила. Ты был в театре.

— Ничего подобного, я был в Люнеле.

— Зачем?

— Хотел купить тебе шляпку. Но к сожалению, не обнаружил там никакой шляпной мастерской.

— На что это ты намекаешь?

— Да и сестрицы мадам Арманд я там тоже не обнаружил, если на то пошло.

— А какого дьявола ты суешь свой нос в чужие дела? Тебя что — приставили следить за мной? Шпион несчастный!

— Ну, я хоть не лгу.

— А кто это, по-твоему, лжет? Я тебе правду сказала. Могу даже отвезти тебя туда, если захочу. Почему я знаю, где это тебя вчера носило? Там есть мастерская. Только, — торжествующе добавила она, — сестра мадам — вдова и ее фамилия вовсе не Арманд. А теперь, может, ты уберешься отсюда и дашь мне спокойно позавтракать?

Сердце Стефена бешено колотилось, он смотрел на нее, раздираемый гневом и отчаянием. Он чувствовал, что она лжет: в случае необходимости она умела быть увертливой, как угорь. Ее яростное возмущение уже само по себе было подозрительным. И все же, как знать, она могла говорить и правду. Стефен всей душой желал поверить ей. Как всегда, он готов был считать виноватым себя. «А что, если я совсем не прав, совсем не понимаю ее?» — думал он, и сердце у него замирало. Ему мучительно захотелось примириться с нею, и это парализовало его волю.

— Я так ждал этого вечера, который мы должны были провести вместе... — пробормотал он.

— Это еще не оправдание.

— Ну все равно, давай забудем об этом.

— Сначала ты должен попросить у меня прощения за то, что обозвал меня лгуньей. Или, может, ты не хочешь?

Стефен колебался, опустив глаза, нервно покусывая губу. Его гордость восставала против этого нового унижения, но тяга к Эмми делала его малодушным.

— Хорошо... если тебе так хочется. Я не собирался обидеть тебя... прости. — Слова не шли у него с языка, он презирал себя.

Остаток дня он провел в растерянности, не зная, на что решиться, и изнывая от желания быть возле нее. Он заметил, что

она никуда не отлучалась в этот день, и это доставило ему некоторое утешение. Вечером после представления она тотчас ушла к себе. И все же Стефен чувствовал, что так продолжаться не может, он этого не вынесет. Будь что будет, но он должен знать, где правда и где ложь.

На другой день после завтрака она направилась к площади Пигаль, и он последовал за ней. Прежде, слушая разговоры о подозрительных мужьях или ревнивых любовниках, которые, усомнившись в верности жены или возлюбленной, начинают за ней шпионить, он испытывал к этим людям только презрение. Теперь же он ничего не мог поделать с собой. Однако, будучи неопытен в такого рода делах и изо всех сил стараясь не попасться Эмми на глаза, он потерял ее из виду на трамвайной остановке у площади Пигаль. Впрочем, ему показалось, что он видел, как она садилась в трамвай, курсирующий между площадью и променадом, и он вскочил в тот, что отходил следом. Через пятнадцать минут он был уже на набережной. Он торопливо огляделся по сторонам, дважды прошелся по эспланаде из конца в конец, заглянул в казино и обошел все залы, но Эмми нигде не было видно. Он стоял в нерешительности, и внезапно ему припомнилось, как ухмыльнулся Джо-Джо, рассказывая о вечернем чае с танцами в «Негреско». Трудно было предположить, что Эмми окажется сейчас именно там, но тем не менее Стефен перешел через улицу, вошел в сад музея Массены и поверх золоченых шпилей чугунной решетки увидел крытую веранду отеля, выходящую на противоположную сторону улицы Риволи. Сбоку от веранды на невысоком помосте, защищенном сверху тентом, стояли чайные столики. Скрытый среди пальм оркестр играл тустеп. На помосте танцевало несколько пар. Эмми среди них не было. Но вот из-за увитой зеленью решетки на помост ступила еще одна пара. Девушка улыбалась. Привычным жестом она протянула руки к партнеру, и тот, шагнув к ней, обхватил ее за талию. Они начали танцевать — это были Честер и Эмми.

Стефен стоял не шевелясь и смотрел, как они танцуют, невольно отмечая про себя непринужденную грацию их движений. Лицо его было странно безжизненно. Когда оркестр умолк,

они остались на помосте. Оркестр заиграл на бис, и они снова начали танцевать — на этот раз одни. Так безукоризненно слаженно и ритмично они танцевали, что им была предоставлена возможность монополизировать танцевальную площадку, и, когда, закончив танец, они сели за столик, наградой им послужил сдержанно-учтивый шепоток одобрения.

Стефен заставил себя оторваться от решетки, не спеша вышел из сада и опустился на скамью, откуда был хорошо виден подъезд отеля. Боль в сердце стала почти непереносимой. Его невольно передернуло при мысли о том, что Эмми так его обманывала. Как, верно, смеялась она, когда вместе с Честером изобрела эту вымышленную модистку, как, должно быть, потешались они над его идиотской доверчивостью — ведь он так простодушно верил, что Эмми усердно работает иглой, в то время как на самом деле она бегала к своему возлюбленному на свидания. Мадам Арманд, без сомнения, тоже участвовала в этом фарсе и уж конечно не преминула поделиться секретом кое с кем из труппы. Джо-Джо, например, знал, разумеется, все. Он постеснялся открыть Стефену глаза, но каким же дураком, должно быть, считал его!

Однако все это было ничто в сравнении с той горечью и тоской, которые раздирали Стефену душу. Сжигавшая его ревность и страсть были мучительней гнева и бешенства. Невзирая на унижение и боль, он по-прежнему желал Эмми, невзирая на клокотавшую в нем ненависть, он не мог без нее жить. И вот сейчас, сидя на скамье, сжав голову в ладонях, он старался осмыслить поведение Эмми и найти ей оправдание. В конце концов, может быть, она просто пошла потанцевать с Гарри, а это, конечно, не преступление. Мало ли на свете парочек, которые всегда ходят на танцы вместе, но не испытывают при этом никаких чувств друг к другу — их связывает взаимное увлечение танцами, и ничего больше.

Оркестр продолжал играть, с небольшими паузами, до шести часов, после чего площадка опустела. Стефен видел, как ушли музыканты, забрав свои инструменты. Наступил большой перерыв в танцах. Гарри и Эмми, вероятно, отправились в бар. Стефен живо представил их себе рядом на высоких табу-

ретах. Гарри в непринужденной позе небрежно шутит с буфетчиком.

Они не появлялись так долго, что Стефен стал опасаться, не вышли ли они с другого хода. Но когда уже начало темнеть и цепочки разноцветных огней вспыхнули на фасаде отеля, Эмми и Гарри появились наконец в подъезде и, спустившись по широким ступенькам, пошли по набережной. Оживленно болтая, они прошли так близко от Стефена, что он мог бы их окликнуть. Но он стиснул зубы и, когда веселая парочка отдалась от него шагов на пятьдесят, встал и почти машинально последовал за ними.

Они шли недолго. Миновав казино, они вскоре свернули с набережной на боковую улицу, поднялись вверх к Старому городу и зашли в маленький ресторанчик «Лютеция». «Интимный ужин вдвоем», — с горечью подумал Стефен, и у него вдруг возникло странное, щемящее душу желание войти в ресторан и сесть за их столик. Но у него не хватило на это решимости. Он поднял воротник пиджака и встал в темном подъезде дома напротив.

Посетители, как видно, нечасто заглядывали в этот ресторан — это был один из тех укромных уголков, где можно поужинать в приятном одиночестве. В дверях показался официант, остановился, поглядывая по сторонам, словно поджидая посетителей, и скрылся. Через дорогу медленно кралась кошка. Над крышами в глубине улицы темнели неясные очертания гор с мерцающими кое-где огоньками, похожими на звезды.

Стефену пришлось ждать долго: лишь в половине десятого Гарри и Эмми появились снова. Но Стефен чувствовал, что не может жить, не узнав правды, и только это сознание помогло ему выдержать столь утомительную и позорную слежку. Впрочем, решительный момент приближался. Стефена охватила дрожь, когда он увидел, как они остановились в ярко освещенном подъезде. Ну конечно, Честер сейчас попрощается с Эмми или, быть может, пойдет проводить ее до площади Пигаль.

Они разговаривали с официантом — тем самым, что уже появлялся раз. Теперь он вышел на крыльцо вместе с ними. Гарри

что-то сказал, и все трое рассмеялись. Затем к подъезду с шумом подкатил фиакр, должно быть вызванный со стоянки на площади внизу; официант получил на чай, Эмми и Честер сели в экипаж. Как только он тронулся, Стефен бросился на стоянку, вскочил в первый попавшийся фиакр и велел следовать за удалявшимся экипажем.

Они пересекли опустевший цветочный рынок, прокатили по лабиринту узких улочек, свернули к побережью, и сердце Стефена упало: он понял, что они направляются к Вильфранш. Через несколько минут они уже были там. На улице Сирени Стефен остановил фиакр и расплатился. Впереди, в конце тихой безлюдной улицы, другой фиакр подъехал к дому и тоже остановился у ворот. Гарри и Эмми вышли из экипажа и скрылись во дворе. Оба фиакра уехали, и Стефен остался один на пустынной улице. Машинально он взглянул на часы — светящиеся стрелки показывали половину одиннадцатого. Стефен медленно подошел ближе к отелю и посмотрел вверх, на окна комнаты Честера, выходящие на балкон. В одной из комнат горел свет. Стефен припомнил, что это окна спальни. На желтых шторах двигались тени двух фигур. Прошло еще несколько минут, и внезапно свет погас.

Стефен не знал, как долго простоял он там, тупо глядя на темные окна. Наконец он повернулся и побрел прочь.

ГЛАВА XIII

Стефен возвратился на площадь Карабасель около полуночи. Несмотря на нестерпимую головную боль, в мозгу отчетливо стучала одна упорная мысль: он должен отсюда уехать. Неторопливо, методично он собрал свои пожитки и уложил в рюкзак, стараясь не разбудить Джо-Джо и Крокодила. Свернув холсты, он привязал их к рюкзаку, бросил прощальный взгляд на своих товарищей и вскочил на велосипед. Он ехал очень быстро, пересекая равнину и держа путь к северу, на Сент-Огюстен, где, по его расчетам, он должен был выехать на главное шоссе и со временем добраться до Оверни. Он жаждал снова

увидеть Пейра — ему бы следовало сделать это месяца полтора-два назад. Но больше всего гнало его вперед стремление убежать, спастись, изгладить из памяти последние страшные дни и недели.

На рассвете он соскочил с велосипеда, прилег у дороги на поросшей вереском полянке и закрыл глаза. Уснуть он не мог, но немного отдохнул и, когда поднялось солнце, снова пустился в путь. Вскоре, поглядев на придорожный столб, он обнаружил, что находится не на главном шоссе, а на его ответвлении, пролежавшем вдоль скалистых откосов Вара и зигзагообразно поднимавшемся к перевалу на Туэ и Кольмар. Тем не менее он решил не возвращаться. День и ночь и еще один день он все ехал и ехал вперед, минуя маленькие, разбросанные по холмам деревушки и отдаленные фермы, ехал, выбиваясь из сил, в едином стремлении — забыть. В Антрево он свернул не в ту сторону и попал на еще более крутую и уединенную дорогу, которая вилась вверх по склону горы сквозь густой сосновый лес. Дорога была неровная, трудная, ехать становилось все тяжелее, в ушах стоял немолчный тревожный рев горного потока, шумно катившего свои воды по каменистому ложу. Но необъяснимый страх мешал Стефену повернуть обратно и гнал все вперед и вперед, заставляя питаться чем бог пошлет и спать на голой земле, привалившись к стогу сена, или под заброшенным навесом для скота, положив под голову свернутый плащ. Странная болезненная боязнь людей побуждала его избегать ночлега даже в самых жалких харчевнях.

Погода испортилась, в горах стало сыро и туманно. В воскресенье утром он добрался до Анно — маленького земледельческого поселка, расположенного на высоком плоскогорье. Холодный влажный ветер дул с Альп. О том, что было воскресенье, Стефен догадался по колокольному звону и черным праздничным костюмам обывателей, чинно прогуливавшихся по улице и поглядывавших на него с нескрываемым подозрением. Совершенно больной, измученный до предела нечеловеческим напряжением этих дней, Стефен все же не мог побороть страх, который охватывал его при одной мысли о встрече с людьми, и он не остановился и здесь, как первоначально предполагал,

хотя чашка горячего кофе казалась ему в эту минуту желанней всего на свете. Снова, пригнувшись к рулю, он налег на педали и устремился дальше. За городом его настиг дождь, и он принужден был остановиться. Слезая с велосипеда, он едва не упал. Пристроившись у живой изгороди, служившей весьма ненадежной защитой от дождя, он съел остатки вчерашней еды, купленной по дороге. Он чувствовал себя бездомным, незащищенным, бесконечно одиноким, ему не было места на земле, и он казался самому себе нереальным, как привидение.

Дождь все не утихал, и Стефен поехал дальше. Он двигался теперь медленнее, стал задыхаться и на крутых подъемах вынужден был слезать с велосипеда. Временами у него шла носом кровь, но он объяснял себе это тем, что поднялся высоко в горы. Все же, почувствовав, как горячая струя прихлынула уже к горлу, он несколько встревожился.

Около полудня ему показалось, что с ним творится что-то странное, и голос рассудка зазвучал в его скованном оцепенением мозгу. Так ему никогда не добраться до Оверни, этому безумию надо положить конец. Он должен выбраться к железной дороге или к какому-нибудь населенному пункту. Стефен достал свою карту-пятисотметровку и, прикрывая ее от дождя мокрым плащом, убедился, что, держа курс на запад через Баррем, можно достичь железнодорожной станции в Дине, до которой было не более тридцати пяти километров. Динь, вероятно, не бог весть что, но он расположен на равнине. Там, по крайней мере, можно хотя бы выбраться из этих ужасных гор.

Он свернул на боковую дорогу. Эта дорога была еще хуже, двигаться по ней было еще труднее, колеса велосипеда подскакивали и скользили на острой щебенке. Стефен совсем выбился из сил, при каждом крутом подъеме у него снова начинала идти носом кровь. Низкие тучи затянули все небо, дождь усилился, и наконец хлынул ливень. Промокнув до костей и видя, что надвигается ночь, Стефен ощутил тревогу. Ему удалось кое-как зажечь свой карбидный фонарик, и он опять развернул карту.

Вглядевшись в нее, он застонал. Ну и дурак же! Безмозглый идиот! Ведя пальцем по карте, он сразу увидел, где сбил-

ся с пути. В Сент-Андрэ надо было свернуть налево, а не направо! А теперь... Он проверил обозначение условных знаков на карте: «Route accidentée, forte montée, isolée»¹. Ну конечно, он находится на дороге, которая ведет прямо в горы, к Аллосу, и оканчивается тупиком!

Нервы не выдержали, и его охватил панический страх. Он вцепился в карту. Должно же здесь быть какое-нибудь селение поблизости! И с чувством облегчения прочел: «Сен-Жером». По-видимому, это была просто деревушка, но отмеченная, на его счастье, кружочком с красным лотарингским крестом. Значит, в деревушке имеется гостиница и при ней — туристская база для велосипедистов, и уж конечно, он найдет себе там ночлег. Если бы он не был так измучен, туда можно было бы добраться за час.

Он снова налег на педали, низко пригнувшись к рулю, борясь с ветром, дувшим в лицо. Снова появился, все усиливаясь, соленый вкус во рту. Он прижал носовой платок к губам, и платок сразу стал мокрым. Ноги одеревенели и отказывались повиноваться, голова разламывалась от боли, но в ту секунду, когда он почувствовал, что не в силах двигаться дальше, прямо перед ним в ложбине замерцала горстка огней.

Вот огни уже ближе. Проступили неясные очертания высокого строения, окруженного домиками поменьше. Едва держась на ногах, Стефен бросил велосипед на дороге и, спотыкаясь, пошел по тропинке, ведущей к ближайшему домику, похожему с виду на жилище какого-нибудь рабочего. На его стук никто не отозвался, и эти секунды показались ему вечностью. Затем дверь распахнулась. На пороге стоял ребенок. Широко раскрыв глаза, он уставился на Стефена, потом повернулся и убежал. Стефен вступил в прихожую и услышал за дверью голоса. Он задыхался и изнемогал от жажды, хотя одежда на нем промокла до нитки. «Они должны приютить меня, — подумал он, — я, верно, заболел... Да, я болен, очень болен...»

Какой-то мужчина в синей рабочей блузе вышел в прихожую, за ним — женщина с лампой в руке и — прячась за ма-

¹ «Дорога опасная, крутой подъем, тупик» (фр.).

терью — ребенок. Стефен увидел перед собой их испуганные лица словно сквозь пелену тумана. Женщина подняла лампу, осветив лицо Стефена, и негромко вскрикнула.

— Простите бога ради... — Он с нечеловеческим трудом выговаривал слова, будто вытягивал их откуда-то, как из глубины колодца. — Я заблудился. Нельзя ли мне переночевать у вас?

— Но, мсье...

— Прошу вас... Разрешите мне сесть... Пить...

Он не мог больше произнести ни слова. Хозяин дома подошел ближе, взволнованно замахал руками.

— Не здесь, — сказал он. — Пойдемте.

— Позвольте мне остаться... — Слова звучали невнятно, Стефен едва ворочал языком. — Я не могу двинуться.

— Нет-нет... Это недалеко... Здесь нельзя.

Хозяин обхватил его за плечи и повел к двери. Думая, что его хотят выбросить на улицу, и не имея сил ни сопротивляться, ни хотя бы протестовать, Стефен, сраженный отчаянием, почувствовал, как слезы обожгли его воспаленные глаза. И только добравшись до калитки, он понял, что хозяин не бросил его, а помогает ему держаться на ногах, и с помощью этого человека он, как в тумане, побрел по улице. А хозяин старался его приободрить и все повторял вполголоса:

— Ничего... тут недалеко... Вот мы уже почти пришли.

Наконец они подошли к зданию, обсаженному высокими раскидистыми деревьями. Хозяин позвонил, и в окованной железом двери отворилось зарешеченное окошечко. После кратких переговоров их впустили в небольшую, беленную известкой привратническую с каменным полом и выскобленными деревянными скамьями по стенам.

Едва не теряя сознание, Стефен огляделся вокруг. Все расплывалось у него перед глазами. Все смещалось, сливалось, затем расчленилось снова, все дрожало и переливалось, как рябь на воде. Даже впустивший их привратник в длинном одеянии с капюшоном, делавшим его похожим на женщину, самым фантастическим образом таял на глазах. Появился еще какой-то мужчина, а быть может, это была женщина. Затем внезап-

но все исчезло. Хозяин, повернувшись в сторону вошедшего, неосмотрительно отпустил руку, и Стефен упал ничком. Наквозь промокшие холсты все еще болтались у него за спиной.

ГЛАВА XIV

Косые лучи солнца, проникнув в единственное, пробитое в толще массивной стены оконце, осветили изголовье дощатой койки и разбудили Стефена. Он лежал неподвижно, взгляд его машинально перебегал с предмета на предмет. Их было немного в этой узкой келейке, ставшей такой знакомой и привычной за истекшие три недели: стул с соломенным сиденьем, провансальский шкаф, деревянный налой, черное распятие на белой стене. Затем он поднял руку так, чтобы на нее падал свет, и внимательно, задумчиво стал ее разглядывать. Пальцы все еще казались восковыми, хотя, пожалуй, уже не такими прозрачными, как накануне. Каждое утро он их рассматривал таким образом.

Услышав, как за окном поскрипывает песок под чьей-то быстрой и легкой стопой, Стефен не изменил положения, только повернул голову. Его взгляд был устремлен на дверь, и дверь отворилась: появился монах с завтраком на подносе.

— Как вам спалось?

— Очень хорошо.

— Наше пение не потревожило вас?

— Нет, я уже привык.

— Это хорошо. — Поставив поднос на стол, преподобный Арто достал термометр откуда-то из складок своего белого одеяния, встряхнул его и, улыбнувшись, сунул Стефену в рот. — Теперь уже в этом нет необходимости, но так как сегодня вам предстоит подняться с постели, мы не хотели бы рисковать.

Преподобному Арто было лет пятьдесят. Он был невысок, широкоплеч. Приятное круглое бритое лицо, умные карие глаза, скрытые за стеклами очков, на макушке — тонзура, босые ноги обуты в сандалии. Через некоторое время он вынул тер-

мометр, поглядел на него, кивнул с довольным видом и пододвинул стул с подносом к койке.

— Не забудьте выпить лекарство.

Выпив из стеклянной мензурки темную, блестящую, как расплавленный металл, жидкость, Стефен приступил к завтраку, который состоял из чашки кофе с молоком, свежего сливочного масла в глиняном горшочке, нескольких ломтиков хлеба и фруктов. Кофе был горячий, с запахом цикория. Макая кусочки хлеба в кофе, Стефен в замешательстве поглядел на стоявшего (ничто на свете не могло заставить его сесть) возле кровати монаха.

— Может быть, вы позавтракаете со мной? Здесь с избытком хватит на двоих.

— Ни в коем случае. Мы едим в полдень.

— Но... Тут такие вкусные вещи.

Монах весело улыбнулся.

— Я понимаю... Наша пища действительно скудна. Но мы к ней привыкли. И притом никто из нас не перенес такой тяжелой болезни.

Стефен взял еще ломтик хлеба.

— Вот об этом-то я и хотел вас спросить. Что же все-таки было со мной? Вы мне так и не сказали.

— У вас было воспаление легких... Вы промокли, простудились. Да и переутомились к тому же. У вас пошла горлом кровь. Кровохарканье было довольно сильное.

— А мне казалось, что кровь идет у меня из носа.

— Нет. Это было легочное кровохарканье. — Монах помолчал и поглядел на Стефена поверх очков. — Раньше вам случалось болеть легкими?

Стефен подумал с минуту, потом покачал головой.

— Я простудился как-то раз, несколько месяцев назад. У меня был бронхит, по-видимому. Но ведь это не могло сказаться теперь?

Монах опустил глаза.

— Не берусь судить. Я не доктор.

— Но вы помогли мне выкарабкаться тем не менее.

— С помощью Божией.

— И весьма искусного врачевания. Не могу поверить, чтобы у вас не было специального образования.

— ...Я изучал медицину в Лионе под руководством профессора Ролана и был на последнем курсе, когда почувствовал — совершенно так же, по-видимому, как вы почувствовали тягу к живописи, — почувствовал, что мое призвание — служить Богу. И ушел в монастырь.

— Это было большой удачей для меня.

Преподобный Арто наклонил голову и, видя, что Стефен кончил завтракать, взял поднос. В дверях он приостановился.

— Не вставайте пока. Его преподобие, наш настоятель, посетит вас сегодня утром.

Когда он ушел, Стефен откинулся на подушки, заложив руки за голову. Он все еще был очень слаб. Однако кашель у него почти прошел, так же как и колющая боль в боку. Как приятно чувствовать теплый луч солнца на щеке — значит, началось выздоровление. Стефена не тревожило состояние его здоровья. Это ежедневное измерение температуры по утрам и по вечерам, на котором так настаивал добросердечный монах, производилось, вероятно, просто для порядка. По правде говоря, Стефену приходило даже на ум, что его болезнь и это загадочное кровохарканье пошли ему на благо. Ведь лечат же лихорадку кровопусканием. Во всяком случае, болезнь исцелила его от того, что так мучило его и терзало.

Когда Стефен думал о прошлом, ему казалось невероятным, что он мог месяц за месяцем пребывать в состоянии такого полного подчинения чужой воле. Как мог он так пресмыкаться перед Эмми, вымаливая ее благосклонность, и приходиться в такое отчаяние от одного ее неласкового слова! Он содрогался при воспоминании об этих днях и радовался, что снова стал самим собой. И тут же дал торжественную клятву: никогда не позволит он себе снова впасть в такое рабство. Но и этого показалось ему мало, и он поклялся, что отныне ни одна женщина никогда не будет занимать сколько-нибудь значительного места в его жизни. Ничто, кроме работы, не существует больше для него, и только ей будет он принадлежать, самым суровым, самым беспощадным образом отринув от себя все остальное.

Посещение состоялось в одиннадцать часов. Отец-настоятель — высокий, властного вида монах в белой сутане — величественно опустился на стул и внимательно, испытующе оглядел Стефена.

— Итак, вы наконец можете подняться сегодня с постели, сын мой. Я рад.

— Очень вам благодарен, — отвечал Стефен. — Мне здорово повезло, что я увидел ваш значок с крестиком на своей карте.

— Да, крест — это церковный знак. Но наш монастырь не помечен на карте. — Настоятель едва заметно улыбнулся. — Этим значком обозначена туристская гостиница для велосипедистов, расположенная в соседней долине. Вы сбились с пути, сын мой. Или, быть может, поскольку Провидению было угодно направить вас сюда, следует сказать, что вы нашли свой путь?

В словах настоятеля прозвучал, казалось, какой-то намек, и бледные щеки Стефена слегка порозовели. Не сболтнул ли он лишнего в беспамятстве в первые дни болезни?

— Так или иначе, — сказал он, — теперь мне уже пришло время вас покинуть. Я причинил вам уйму беспокойства, и вы, наверное, будете рады избавиться от меня.

— Совсем напротив. Мы будем очень довольны, если вы останетесь. Вы перенесли тяжелое потрясение, и, хотя опасность позади, преподобный Арто полагает, что вы сможете продолжить ваше путешествие не раньше чем через несколько недель.

— Но... Боюсь, что я не смогу оплатить...

— Разве мы просим у вас денег, сын мой? Да и кто станет ждать вознаграждения от бедного художника? Поживите с нами еще немного. Погрейтесь в саду на солнышке. Когда вы окрепнете, жизнь покажется вам совсем иной. И вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы снова вступить в мир.

Настоятель на секунду положил руку на плечо Стефена, затем поднялся и вышел из кельи.

Стефен с трудом подавил прихлынувшие к глазам слезы и встал с постели. Его одежда, выстиранная и аккуратно сложенная, лежала в шкафу вместе с остальными пожитками. Деньги,

около тридцати франков, были уложены невысоким ровным столбиком рядом с часами, которые продолжали идти и, как догадался Стефен, кем-то заводились каждое утро. Одевшись, он вышел из кельи и, пройдя по незнакомому ему, выложенному каменными плитами коридору, направился в сад.

Сад был невелик. Несколько тропинок вились вокруг клумб с цветущими розами и сходились у грота, в глубине которого стояла какая-то статуя. К сетке, огораживавшей площадку для игры в мяч, примыкала живая изгородь. За нею виднелись поля. Из разговоров с преподобным Арто Стефен узнал, что эта община, состоявшая из двадцати монахов, возникла совсем недавно и первоначально в ее распоряжении имелся один только маленький домик, полученный от кого-то в дар, но постепенно и исключительно трудами самих монахов ее угоды стали разрастаться. Рядом со старым домом монахи построили небольшую часовенку. Стефену видны были ее белые грубоватые стены на фоне подернутого легкими облачками неба.

Побродив по тропинкам, Стефен вынужден был присесть на одну из скамеек, расставленных по краю площадки для игры в мяч. На выгоне какой-то старик в коричневом одеянии послушника пас корову. В часовне началась служба, и легкий ветерок донес звуки негромкого хорового пения. Стефен внезапно почувствовал, как что-то сдавило ему горло. Он встал со скамейки и, пошатываясь, побрел в свою келью.

Он сразу увидел конверт, положенный на самом видном месте на узеньком подоконнике. Примерно неделю назад, терзаясь одиночеством, он приподнялся на локте и нацарапал несколько строк владельцу дома № 15 по улице Капель с просьбой направить ему сюда все письма, которые могли прийти за это время. По-видимому, его просьба была исполнена. Стефен разорвал конверт. Недлинное это послание было отправлено из Стилуотера два месяца назад.

Дорогой Стефен!

Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Если дойдет, то я хочу сообщить тебе, что леди Броутон скончалась в октябре. Это не было неожиданностью.

А за несколько недель до ее смерти было объявлено о помолвке Клэр и Джоффри. На днях должна состояться их свадьба. Больше нет ничего, о чем стоило бы писать, если не упоминать, конечно, что отец по-прежнему очень страдает оттого, что ты не с нами. Умоляю тебя: вернись и выполни свой сыновний долг.

Любящая тебя

Каролина

С письмом в руке Стефен присел на койку. В другое время эта весточка из дома, пожалуй, не произвела бы на него такого глубокого впечатления. Он знал о тяжелой болезни леди Брутон, а его чувство к Клэр никогда не выходило за рамки чисто братской привязанности. Но здесь, в этой отдаленной обители, в непривычной обстановке, ослабевший от болезни Стефен, получив эти два известия (одно о смерти, другое о предстоящем браке Клэр, да еще с кем — с Джоффри, подумать только!), почувствовал себя еще более одиноким, почувствовал себя изгнанником, отторгнутым от всего, что было ему когда-то дорого и могло бы и сейчас принадлежать ему по праву. Короткое, сухое письмо Каролины, полное невысказанной горечи и упреков, которые читались между строк, заставило Стефена еще острее ощутить свою обособленность, осознать, что он не такой, как все, и не может быть в ладу с отчим домом, со своими близкими, с обществом.

Проходили недели, и силы Стефена восстанавливались. Его не тянуло за ограду монастыря — скалы, горные сосны не пробуждали в нем интереса. Он свел дружбу с ребяташками Пьера — рабочего, который доставил его в монастырь, — и частенько катал их на своем велосипеде. Он помогал престарелому брату Людовику в саду и играл в мяч со служками в часы их отдыха. Это были очень молодые, веселые ребята; почти все они принадлежали к солидным буржуазным семействам Гаронды и окрестных городов. Отчасти, быть может, потому, что Стефен был гость, да еще иностранец, они наперебой оказывали ему всевозможные знаки внимания не без тайной мысли обратить его в свою веру, что хотя и не достигало цели, но вместе с тем трогало и забавляло Стефена. Они всей душой были преданы своему делу и в часы, свободные от молитвы, охотно выполня-

ли любую физическую работу — трудились не покладая рук на благо любимой общины.

Однажды во время игры в мяч кто-то из них полушутя-полусерьезно сказал Стефену:

— Мсье Десмонд... ведь вы художник, почему бы вам не написать что-нибудь для нашей церкви?

Стефен внимательно поглядел на говорившего.

— Пожалуй, вы правы, — задумчиво произнес он.

Такая мысль не приходила ему в голову. Теперь он сразу увидел в этом отличный способ выразить монастырю свою благодарность — не только на словах, но и на деле — за доброе отношение, которое он здесь встретил. К тому же вынужденное безделье уже начинало тяготить его.

В тот же вечер он заговорил об этом со своим другом преподающим Арто. Предложение Стефена пришлось тому по душе, и он обещал поговорить с настоятелем. Сначала настоятель выразил сомнение. Правда, внутренняя отделка часовни еще не была закончена, но сооружение это, в которое было вложено столько труда, стало чрезвычайно дорого его сердцу. Правильно ли он поступит, отдав свое детище в руки неизвестного художника, чьи полотна хотя и обладают какой-то странной притягательной силой, но, по-видимому, не вполне укладываются в общепризнанные канонизированные рамки? Наконец вера, которой он руководствовался во всех своих поступках, продиктовала ему решение. Он послал за Стефеном.

— Скажите, сын мой, что вы предполагаете написать?

— Мне хотелось бы написать фреску над алтарем на задней стене апсиды.

— На религиозную тему?

— Разумеется. Я думал о Преображении. Так, чтобы часовня была как бы освещена изнутри.

— Вы уверены, что вам удастся создать нечто такое, что мы могли бы одобрить?

— Я постараюсь. Но у меня нет красок и нет достаточно больших кистей. Вам придется приобрести это. И довериться мне. Но если вы согласны, я обещаю сделать все, что в моих силах.

На следующее утро двое монахов отправились в Гаронду и возвратились под вечер с многочисленными пакетами в оберточной бумаге. Тем временем служки воздвигали легкие деревянные леса позади алтаря. На следующее утро, как только рассвело, Стефен взялся за кисть с тем волнением, какое он всегда испытывал, принимаясь за новую работу.

Но сейчас состояние его было не совсем обычным. Он был еще слаб, перенесенная болезнь давала о себе знать, его мозг, казалось, дремал, погруженный в безмятежный, ленивый покой. Он еще не обрел душевного равновесия, и слезы легко подступали у него к глазам. Атмосфера храма, заунывное пение монахов, чувство отрешенности от мира — все это задевало в его душе какие-то неведомые дотоле струны. И хотя у него не было никаких моделей, краски ложились на полотно с легкостью, удивлявшей его самого, ибо обычно всякий раз, как он приступал к воплощению нового творческого замысла, именно первые часы работы требовали от него предельного напряжения сил. Он сразу очертил в центре полотна фигуру Христа в белом одеянии, окруженную лучезарным облаком, и тут же стал набрасывать силуэты Моисея и Илии.

Работа с такой же легкостью продолжала подвигаться и дальше, и временами у Стефена появлялось странное ощущение, как бы недоверие к самому себе: что, если он не претворяет в жизнь свой собственный творческий замысел, а бессознательно подражает старым мастерам, воспроизводя их композиции на религиозные сюжеты? Он писал темперой, и его краски, обычно столь глубокие, порой яркие, казались непривычно жидкими и приглушенными, рисунок приобретал подозрительно условную, традиционную форму. Однако горячее одобрение общины, которое все росло и росло, рассеяло его сомнения.

Сначала за его работой наблюдали с опасением, почти с тревогой. Но вскоре тревога сменилась открытым восхищением. Часто, оборачиваясь, чтобы помыть кисти, он ловил устремленный на его творение упоенно-восторженный взгляд какого-нибудь послушника, пришедшего в часовню якобы для того, чтобы преклонить колена, в действительности же просто вдав-

шего в соблазн, именуемый любопытством. Разве все это не должно было укрепить веру Стефена в себя? И наконец, разве он не задался целью угодить монахам?

Фреска, занимавшая все пространство стены над алтарем, была закончена к концу третьей недели, и, когда убрали леса, община собралась в часовне и на этот раз уже громко выразила свое одобрение.

— Сын мой, — сказал настоятель Стефену. — Теперь я вижу, что вас направило к нам само Провидение. В память вашего пребывания вы оставили нам дар, который переживет всех нас. Теперь уже мы в неоплатном перед вами долгу. — Помолчав, он продолжил: — Завтра мы отслужим большую мессу, дабы освятить вашу работу. И хотя вы не принадлежите к нашей церкви, я все же надеюсь, что вы порадуете нас своим присутствием на богослужении.

Наутро на алтаре зажгли все свечи, и он засиял, украшенный цветами. Настоятель в белом облачении служил мессу вместе с преподобным Арто. Монахи пели. Стефен сидел на хорах, и его фреска, освещенная мерцающим пламенем свечей, окутанная таинственным дымом камильниц, казалась ему прекрасной. Никогда еще ни одно его творение не имело такого успеха.

После мессы состоялась торжественная трапеза. Было подано местное вино, которое неожиданно оказалось столь хмельным, что Стефен решил прогуляться в деревню, чтобы хоть немного прояснилось в голове.

Вернулся он, когда уже вечерело, и в дверях увидел преподобного Арто, который как-то странно поглядел на него.

— У вас гость. Он приехал за вами. Говорит, что должен увести вас в Париж.

Стефен направился к себе в келью. На его постели, в пальто и в шляпе, полулежал, опираясь на локоть, Пейра яростно попыхивал трубкой. Когда Стефен вошел, он стремительно вскочил и расцеловал его в обе щеки.

— Что такое с тобой было? Где ты скрывался? Я тысячу раз пытался разыскать тебя, и все напрасно. И сейчас совершенно случайно получил твой адрес на улице Кагель. Зачем ты замуровал себя здесь?

— Я тут пишу. — Стефен улыбался, он все еще не мог опомниться от неожиданности: перед ним Пейра!

— В этом-то весь и ужас, — сказал Пейра, свирепо нахмурившись и напуская на себя суровость. — Пока я тебя тут ждал, они потащили меня в свою церковь. Какую ужасную дрянь ты там намалевал, cher ami!¹ Какое жалкое подражание дель Сартто! Какое чудовищное переписывание Луини! Им, конечно, нравится эта гадость, и теперь они столетиями будут преклонять перед ней колена, но тем не менее это непростительная мазня и позор для тебя, особенно теперь...

— Почему особенно теперь? — порядком смущенный, спросил Стефен.

— Потому что в прошлом месяце в газетах появилось сообщение, которое заставило меня исколесить всю Францию в поисках тебя.

— Да что такое? О чем вы толкуете?

— Если верить этому сообщению, — невозмутимо продолжал Пейра, смакуя каждое слово, словно пробуя его на вкус, — тебе должны повесить медаль на грудь и положить полторы тысячи франков в карман, что, я надеюсь, даст нам возможность отправиться в Испанию.

Внезапно он шагнул к Стефену и еще раз крепко его обнял.

— Плюнь ты на свою болезнь и на этих чудовищных Моисеев и апостолов. Твоей «Цирцее» присуждена Люксембургская премия!

¹ Милый друг (фр.).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ГЛАВА I

В начале июня 1914 года серым, пасмурным вечером Стеффен шел по улице Сент-Оноре, направляясь к Вандомской площади. Ему редко приходилось бывать в этой части города, особенно в часы, когда на улицахлюдно, и сейчас среди нарядной, праздничной толпы он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был на аукционе Сула на улице Эбэ, и в душных, переполненных народом залах у него разболелась голова. Он решил пройтись пешком до своего более чем скромного жилища.

Аукцион раздосадовал и огорчил его. Пейра, желая принять участие в расходах, связанных с предстоящим путешествием в Испанию, решил испробовать это средство, к которому время от времени прибегали все художники их квартала, и послал десять своих полотен на ежемесячную распродажу.

Сегодня гвоздем аукциона было большое полотно Бугро, изображавшее молодую особу в ниспадающем с плеч прозрачном одеянии. Черные волосы ее были аккуратно разделены пробором посередине, а кожа напоминала розовую замазку. У нее были глаза ручной газели, и она держала в руках кувшин, замствовавшийся у Грёза. Струя воды лилась из кувшина в чрезвычайно декоративный, осененный розами водоем. При появлении на помосте этой картины по залу пробежал шепот, затем гул восторга; после непродолжительных надбавок молоток упал, и картина была продана за десять тысяч франков. За ней последовало несколько предметов старинной мебели, затем — кое-какая кухонная утварь. Картины Пейра стояли в списке последними. Первая из них вызвала легкий смешок, появление второй еще больше позабавило аудиторию, а к тому времени,

когда было выставлено последнее полотно, вся публика уже откровенно смеялась, подстрекаемая вдобавок остротами, сыпавшимися с балкона. Ни одно из этих поэтических и самобытных полотен не было оценено больше чем в шестьдесят франков. Никто не набавлял на них цену, и все десять были куплены одним лицом за четыреста восемьдесят франков. Кто купил их? Просто какой-нибудь *farceur*¹ с целью поразить воображение своих приятелей и позабавить их? Любопытство заставило Стефена задержаться после распродажи и обратиться с вопросом к служителю. И тут его ждало самое неприятное: все десять купленных за гроши холстов забрал агент известного торговца картинами Тесье.

— А Бугро — тоже он купил? — угрюмо спросил Стефен.

— *Mon Dieu*, нет, разумеется, нет, мсье!

— А почему он купил эти?

Служитель пожал плечами.

— Мсье, конечно, знает, как все изменчиво и полно неожиданностей. То, что куплено сегодня за пятьдесят франков, через десять лет может быть продано за пятьдесят тысяч... если покупатель — Тесье.

Стефен вышел с аукциона, бормоча ругательства. Впрочем, настроение у него скоро поднялось. Его друга ограбили, конечно, и будут грабить и впредь, но, как бы то ни было, у Пейра теперь есть почти пятьсот франков, а вместе с полутора тысячами, которые получил он сам в виде премии, это составляет такую сумму, что они уже могут поехать в Мадрид и провести несколько месяцев в Испании, если не будут позволять себе ничего лишнего. Весна в Париже выдалась пасмурная, холодная. Дул резкий ветер, поднимая на перекрестках пыль, и листья каштанов слегка пожухли. При мысли о том, что скоро он уедет на юг, к солнцу, у Стефена потеплело на сердце.

Он проходил мимо гостиницы «Клифтон», напротив которой находилась кафе-молочная, где он обычно завтракал в первые дни своего пребывания в Париже. Стефен невольно улыбнулся, подумав о том, как изменился он с той поры, когда,

¹ Шутник (*фр.*).

застенчивый, робкий, впервые вступил в этот душный, но казавшийся таким таинственно-манящим зал. Он все еще думал об этом, как вдруг застыл, изменившись в лице. Прямо на него в сопровождении двух мужчин — сильно загорелого молодого человека в штатском, но с военной выправкой и пожилого офицера в кепи и в мундире с множеством орденских ленточек — шел его дядя Хьюберт. У Стефена еще оставалась возможность избежать встречи, сделав вид, будто его заинтересовало что-то в витрине магазина. Но он не отвернулся и пошел дальше с напряженным, словно окаменевшим лицом, ни минуты не сомневаясь в том, что генерал Десмонд не пожелает его узнать.

Однако он ошибся. Хьюберт узнал его. Что-то едва уловимое промелькнуло в его серых глазах. Он приостановился, потом сделал еще два шага, сказал несколько слов своим спутникам и повернул обратно.

— Стефен! — Голос его звучал спокойно, но он не протянул руки. — Какая удача. Я уже собирался разыскивать тебя на улице Кастель.

— Вот как?

— Мне нужно поговорить с тобой. Может быть, ты зайдешь ко мне в отель? Я не могу задерживаться сейчас — я не один.

Краем глаза Стефен видел двух спутников генерала, корректно делавших вид, что они не замечают его присутствия.

— Где вы остановились?

— В гостинице «Клифтон», как всегда. — Генерал бросил взгляд на противоположную сторону улицы. — Вот что, приходи завтра утром, позавтракаем. К девяти часам.

Стефен задумался, но всего лишь на секунду.

— Хорошо.

— Договорились. Времени у меня в обрез, так что не опаздывай.

Хьюберт кивнул, повернулся и зашагал рядом со своими спутниками.

Стефен тоже повернулся, хотя и не с такой военной четкостью, и продолжил свой путь в направлении Левого берега. Эта неожиданная встреча расстроила его, пробудив мучительные и горькие воспоминания о том, что он старался забыть. Между

ним и генералом Десмондом никогда не существовало особенной близости — они были слишком разными натурами, — но все же Хьюберт всегда относился к нему снисходительно и дружелюбно. Холодность и безразличие, проявленные им сейчас, говорили, по-видимому, о том, что свидание будет не из приятных. Но Стефен твердо решил не избегать этой встречи — в нем заговорила гордость. Кроме того, у него за последнее время уже выработалось юмористически-ироническое отношение к некоторым вещам, что значительно укрепило его волю, и, наконец, самое главное — появилась твердая решимость не дать себя запугать. На следующее утро ровно в девять часов он вошел в респектабельный и мрачный вестибюль гостиницы «Клифтон», отделанный в коричневых тонах.

Генерал Десмонд уже сидел в ресторане за столиком — одинешенек во всем зале. Вознаградив Стефена за проявленную им пунктуальность не столь ледяным, как накануне, приветствием, генерал Десмонд заметил:

— Я заказал яичницу с ветчиной, бекон тебе и себе, чай, гренки и мармелад. Этот отель имеет одно неоспоримое достоинство — здесь можно получить приличный английский завтрак.

Официант принес удостоившийся похвалы завтрак. Хьюберт намазал маслом гренок и с хрустом откусил кусочек.

— Я полагаю, — произнес он, жуя гренки, — тебя интересуют домашние новости?

— Если вы не прочь сообщить их мне. Как поживает отец?

— В общем недурно. Да и все остальные как будто тоже. Твоя мать опять уехала куда-то. Дэви подрос — стал уже совсем большой мальчик.

Стефен слушал, стараясь сохранять на лице выражение учтвого интереса. А генерал Десмонд продолжал свои сообщения:

— У нас тоже все в добром здравии. Джофри и Клэр неплохо устроились. — Он бросил на Стефена быстрый взгляд исподлобья. — Клэр ждет летом ребенка.

— Вы, конечно, хотите мальчика? — все так же учтиво осведомился Стефен.

— Ну, по мне, все едино... Но Джофри, я полагаю, хочет сына, чтобы он пошел по стопам отца в Сандхерст.

Наступило молчание. Стефен так и не спросил о том, что ему хотелось бы узнать. В этой атмосфере ледяной вежливости он не мог расспрашивать про отца, про Дэви, боясь выдать свои чувства. Хотя бы в целях самозащиты он вынужден был держаться столь же натянуто и равнодушно.

Наконец генерал покончил с завтраком, приложил салфетку к своим коротко подстриженным усам, свернул ее с той неторопливой методичностью, которая отличала все его действия, и взглянул на Стефена.

— Как твои успехи в этом... в рисовании?

— Да все так же. Бывают удачи, а бывают и провалы.

— Н-да. Ты не появлялся дома уже около двух лет.

— Жизнь коротка, искусство вечно, — принужденно улыбнулся Стефен.

— Воистину! И как видно, твои усилия... не увенчались еще успехом?

— Как видно, нет. — Тон Стефена был все так же ироничен.

— И нет ничего, что могло бы принести тебе бессмертие?

— Пока что нет... Но как знать?

Хьюберт презрительно махнул рукой.

— Зачем ты этим занимаешься? Зачем продолжаешь вести такой образ жизни?

— Мне трудно объяснить вам это... Хотя смею думать, что тому, кто пожелал бы выслушать меня сочувственно, я сумел бы все объяснить.

— Чего ты, собственно говоря, добиваешься — какой-то дурацкой известности, что ли? Или это просто распущенность?

— Что, с вашей точки зрения, хуже, то и выбирайте.

Нарочитая небрежная ироничность, с какой говорил Стефен, заставила генерала Десмонда поджать сухие, резко очерченные губы. Для этого человека, считавшего себя образцовым солдатом, ставившего превыше всего на свете такие качества, как порядочность, дисциплина и умение держать себя в узде, и кичившегося этим, для человека, чья холодная отвага и физическая выносливость стали поговоркой в его полку, поведе-

ние Стефена было подобно красному плащу, который маячит перед глазами разъяренного быка. Генерал Десмонд решил «бросить эти околичности» и подойти прямо к делу.

— Ты должен вернуться домой, — сказал он и сделал паузу. — Если не ради твоей семьи... то ради отечества.

Чрезвычайно удивленный, Стефен молча воззрился на дядюшку.

— Ты, вероятно, еще не отдаешь себе в этом отчета, — продолжал Хьюберт, — но скоро будет война. Скоро Германия нападет на Англию. Это вопрос недель, самое большее — месяцев. Предстоит отчаянная схватка. Чтобы одержать победу, нам понадобится каждый мужчина, каждый подлинный сын своей страны.

Снова наступило молчание. Стефен понял наконец, что у дядюшки на уме, и почувствовал, как в нем растет возмущение. Сколько уже раз предрекал генерал близкую войну, но ни одно из его предсказаний не сбылось! Он годами разглагольствовал о том, что Германия ведет себя подозрительно, что кайзеру Вильгельму и его генеральному штабу нельзя доверять, и мрачно вещал о неподготовленности Англии к будущей войне. Конечно, сама профессия заставляла генерала быть настороже, но тем не менее в семейном кругу считалось, что у дядюшки Хьюберта угроза войны, якобы нависшей над Англией, стала своего рода манией. И из-за таких вот бредовых фантазий дядя Хьюберт хочет, чтобы он бросил свое дело! Эта мысль показалась Стефену чудовищно нелепой.

— Боюсь, что огорчу вас. Я не собираюсь возвращаться домой.

Генерал помолчал.

— Так-так. — Голос его стал ледяным. — Вижу, что ты намерен и впредь влачить здесь свои дни в праздности и распутстве.

— Вы, по-видимому, не совсем ясно представляете себе характер моих занятий. Вас, вероятно, удивит, если я скажу, что работаю по двенадцать часов в сутки. И представьте, берусь утверждать, что искусство, которым я занимаюсь, требует куда больше труда, чем все ваши церемониальные марши и парады.

— Искусство! — скривил Хьюберт губы. — Какой вздор и самомнение!

— Нелепо, не правда ли, заниматься чем-то чистым и прекрасным, вместо того чтобы, подобно вам, посвятить себя делу массового истребления людей. И все же, что бы вы о нас ни думали, мы значим больше, чем вы. Я осмелюсь предположить, что люди вечно будут помнить великих мастеров и чтить их творения, тогда как ваши кровавые деяния навсегда изгладятся из их памяти.

Генерал закусил губу. Он был сильно разгневан, в его бесцветных глазах вспыхнули искорки.

— Я не желаю спорить с тобой. Повторяю: как бы ты себя ни вел до сих пор, но ты — англичанин и все еще носишь фамилию Десмонд. И я не допущу, чтобы наша фамилия подверглась глумлению. В такое время, как сейчас, ты не можешь заниматься пачкотней и увиливать от ответственности. Ты должен возвратиться домой. Я настаиваю.

— А я отказываюсь. — Стефен поднялся. — И, как это ни грустно, вы ничего не можете со мной поделать.

Все с той же застывшей иронической полуулыбкой, которая больше всего бесила генерала Десмонда, Стефен повернулся на каблуках и вышел из ресторана. Проходя через вестибюль, он, повинувшись внезапному побуждению, подошел к конторке гостиницы и заплатил по счету за свой завтрак. Затем, уже не улыбаясь больше и чувствуя, как внутри у него все дрожит от нанесенной ему обиды, вышел на улицу.

ГЛАВА II

Экспресс Париж — Биарриц готовился к отправлению, почти все пассажиры уже заняли свои места, а Стефен все еще ждал Пейра, стоя у вагона в самой гуще прощальной сутолоки, среди шума, гама, пара и дыма, и с возрастающим беспокойством оглядывал платформу, по которой в призрачном желтоватом свете, лившемся сквозь стеклянную крышу вокзала, спешили последние запоздалые пассажиры и носильщики с кри-

ками катили свои тележки. Жером находился в Лувсьене и обещал прибыть на вокзал без опоздания. Все было подготовлено к отъезду. И вот уже закрывают двери вагона! Стефен потерял всякую надежду на появление Пейра и с досадой бранил себя за глупость: как можно полагаться на такого сумасшедшего, взбалмошного человека! Ясно, что Пейра не придет. Но когда затрубил рожок, Стефен вдруг увидел знакомую фигуру в потрепанном пальто, с мольбертом и каким-то допотопным саквояжем в руках, невозмутимо шагающую по платформе.

В последнюю секунду они как-то ухитрились вскочить в набиравший скорость поезд, после чего Пейра любовно разместил свои пожитки в сетке для вещей. Затем они не без труда отыскали себе два места рядом, и Пейра как ни в чем не бывало повернулся к Стефену с лучезарнейшей улыбкой в ярко-голубых глазах, осветившей все его морщинистое, небритое лицо.

— Извини, пожалуйста, я немножко запоздал. В метро рядом со мной сел молодой кюре и, узнав, что я еду в Мадрид, заговорил об ордене кармелитов, которые всегда ходят босиком. Разгорелся жаркий спор, и я проехал... до самого «Одеона».

Его кроткий голос и веселое дружелюбие мгновенно заставили Стефена смягчиться. Против этой простодушной бесцеремонности, как всегда, невозможно было устоять — таков уж был Пейра.

— Но ведь вы могли опоздать на поезд!

Лицо Пейра мгновенно стало серьезным.

— Друг мой, — сказал он, — не укоряй меня за то, что я увлекся столь занимательной беседой. Я намерен глубже вникнуть в этот вопрос, для чего мне придется посетить монастыри этого ордена в Андалузии. Я не раз думал о том, что следует основать орден босоногого братства, посвятившего себя искусству и созерцанию. Быть может, теперь мне и представляется такой случай. — И, немного подумав, добавил: — Нищета спасет мир.

Стефен удивленно поднял брови.

— Нас нищета не спасет. Я получил ваши деньги после аукциона, и, так как вас, конечно, обвели вокруг пальца, их оказа-

лось не очень-то много. В общем у нас на двоих всего тысяча девятьсот франков.

— Раздели их поровну. Я не возражаю, — безмятежно посоветовал Пейра. — Или, если хочешь, отдай все мне. Я буду казначеем. — И, кивнув на ветхозаветный саквояж, добавил: — У меня там байоннский окорок не меньше пятнадцати килограммов весом. Мне дала его мадам Юфнагель. Так что с голоду мы не помрем.

Поезд понемногу увеличивал скорость, пробираясь через пригород. Пассажиры уже занялись каждый своим делом. Стефен, никогда не отличавшийся особым умением обращаться с деньгами и памятуя к тому же, как превосходно вел Пейра их хозяйство на улице Капель, протянул ему пачку банкнот. Жером равнодушно взял ее и запихнул в раздутый бумажник, обвязанный бечевкой, в котором он хранил свои самые драгоценные бумаги: старые, полуистлевшие вырезки из провинциальных газет, грязные, замызганные пригласительные билеты на какие-то давно минувшие *soirées musicales*¹ и письма, в которых превозносился его талант и которые он при всяком удобном и неудобном случае готов был читать своим случайным знакомым в кафе и других общественных местах, а порой и просто на улице. Затем, оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться в том, что он ничего не обронил, Пейра достал запечатанный сургучом конверт, уже порядком засаленный, и с таинственным видом повертел его в руках, поглядывая на Стефена и, как видно, желая разжечь его любопытство. Когда это ему не удалось, он сказал:

— Угадай, что у меня здесь! Рекомендательное письмо к маркизе де Морелла. Эта старушка очень знатного рода, настоятельница женского монастыря в Авиле. Надеюсь, она меня примет. Одного из ее предков писал Гойя. Портрет висит в Прадо.

— Ну а я в таком случае нанесу визит предку. А заодно — и всем прочим, кого писал Гойя.

— Да, конечно, это должно представлять для тебя интерес, — согласился Пейра. — Но все же... маркиза...

¹ Музыкальные вечера (*фр.*).

Он спрятал письмо в бумажник, а бумажник снова обвязал бечевкой. Потом внимательно поглядел на Стефена.

— Ты чем-то расстроен, друг мой? Что тебя тревожит?

— Нет, ничего, — сказал Стефен. Затем, так как ссора с генералом Десмондом все еще угнетала его, неожиданно для себя добавил: — Меня хотели завербовать в солдаты.

Пейра, большой мастер на причудливые умозаключения, казалось, ничуть не был удивлен. С минуту он задумчиво посасывал свою потухшую трубку, затем изрек:

— Принудительная военная служба — чудовищное изобретение, одно из самых больших зол современности. Кому это нужно: напяливать на людей мундиры и посылать их убивать друг друга? Когда-то рыцари по доброй воле вступали в поединки, война была для них спортом, и ни на что другое они попросту не годились. Но никому и в голову не приходило заковать философа или поэта в латы и погнать его на поле боя. Даже крестьян обычно не трогали. А теперь мы все должны быть мастерами по уничтожению себе подобных.

Стефен, слушавший Пейра с улыбкой, рассмеялся. Пейра принял это как знак одобрения, но, ничем не проявив своего удовольствия, испустил глубокий вздох.

— Увы, бедное человечество, чего только не приходится тебе терпеть от сильных мира сего!

— Ну, во всяком случае, — сказал Стефен, которого несколько позабавило это высказывание, — нам пока что ничего не грозит. Более того, так как уже перевалило за полдень, мы сейчас будем обедать.

Жером признался, что голоден. Он хотел было достать из саквояжа окорок, который презентовала ему мадам Юфнагель, но Стефен, находившийся в приподнятом настроении, решил послать экономию ко всем чертям.

Они протиснулись через переполненные вагоны к ресторану и, глядя на проносившиеся за окном пышно разросшиеся живые изгороди, на желтеющие ивы, нависшие над серым, вздувшимся ручьем, и зеленые кроны деревьев, позавтракали сардинами, телячьей грудинкой и острым сыром бри. Потом взяли по рюмке «бенедиктина», и Пейра мирно запыхтел трубкой.

К вечеру за окном потянулись плоские однообразные равнины Ландов, безлюдные дюны и бесконечные сосны. Лишь изредка вдали мерцала синева — это было море. Ночь наступила внезапно, набросив свое темное покрывало на округлые холмы и тучные виноградники Гаронны. Когда поднялась луна и заблестела над погруженными во мрак равнинами, за которыми вздымались к небу горные кряжи, тревожная тоска закралась в душу Стефена, воскрешая прошлое. Но усилием воли он прогнал воспоминания и заставил себя думать о будущем, только о будущем, о восхитительном путешествии, которое ждало его впереди.

В вагоне было почти темно, тускло светился синий огонек ночника. Пассажиры в ожидании пересадки на Андай заснули в самых причудливых и неудобных позах. Пейра сидел очень прямо, натянув на голову пиджак, и тоже посапывал носом. Глядя на эту странную безголовую фигуру, Стефен почувствовал, как у него потеплело на сердце. Хорошо путешествовать с таким другом, с таким веселым и добрым, отзывчивым и великодушным человеком, который столь причудлив в своих увлечениях и счастлив, словно дитя, а если даже немного нелеп порою, то в иных случаях так мудр! Стефен закрыл глаза, слегка поживаясь от ночной прохлады. Ровное покачивание поезда убаюкивало его, и вскоре он тоже погрузился в сон.

ГЛАВА III

На другой день к вечеру они прибыли в Мадрид и без особого труда нашли две скромные комнаты на улице Оливии, неподалеку от Толедской заставы, в довольно нищенском квартале, рядом с фруктовым рынком. До центра города было довольно далеко, но желтый трамвайчик делал сообщение вполне удобным. Пейра взялся за переговоры с хозяйкой и провел их хотя и на очень скверном, но все же удобопонятном испанском языке и в чрезвычайно деловой манере, после чего уплатил за неделю вперед.

На следующее утро Стефен проснулся, отдохнувший и бодрый, и разбудил Жерома.

— Семь часов. Пора вставать. Надо пораньше попасть в Прадо.

Пейра, приподнявшись на локте, снисходительно поглядел на приятеля.

— В этой стране ничего нельзя сделать «пораньше». Прадо открывается не раньше половины десятого. — И, помолчав, задумчиво добавил: — Во всяком случае, я туда идти не собираюсь.

— Что такое? — Стефен от изумления на секунду потерял дар речи. — Зачем же мы тогда приехали в Мадрид?

— Чтобы дать тебе возможность побывать в Прадо. Отправляйся, друг мой, и постарайся извлечь для себя из этого пользу. А мне нет особого смысла ехать туда. То, что создано другими, никак на меня не действует.

— Даже если это творения великих мастеров?

— Я и сам, быть может, тоже мастер, — сказал Пейра просто. — К тому же я уезжаю в Авилу.

— К черту Авилу!

— Друг мой, не говори об этом в избранном Богом городе, где родилась святая Тереза, в столь неуважительном тоне.

Наступило молчание. Стефен вспомнил рекомендательное письмо маркизы и понял, что спорить бесполезно. Но это неожиданное отступничество все же сильно его раздосадовало.

— Как вы туда поедете?

— Поездом, одиннадцать двадцать с вокзала Делисиас, — отвечал Пейра, с наслаждением смакуя каждое слово.

Стук в дверь спас положение. Хозяйка — маленькая согбенная женщина, никогда не подымавшая на собеседника глаз, — принесла завтрак на раскрашенном деревянном подносе.

Кофе, густой, как патока, но разбавленный козьим молоком, имел довольно странный привкус. Овальные булочки, посыпанные сахарной пудрой, были из жирного, сладкого теста.

— На оливковом масле, — заметил Пейра. — Это основа основ испанской кухни. Мы привыкнем к нему... после непродолжительного несварения желудка. Олива, — задумчиво про-

должал он, — замечательное дерево... Весьма древнее. Впервые оно было завезено в Испанию еще во времена Плиния и порой достигает семисотлетнего возраста. Гомер в «Илиаде» говорит о масле, добываемом из его плодов, как о драгоценном предмете роскоши — необходимом в туалете героя — и превозносит его ценные качества. Римские гурманы чрезвычайно ценили неспелые плоды этого дерева, вымоченные в крепком рассоле. Финикийцы употребляли его твердую прочную древесину...

Но Стефен, который все никак не мог прийти в себя от огорчения, не слушал его. Он выпил свою чашку кофе и поднялся.

— Ну, я пошел.

— Между прочим, — коротко сказал Пейра, когда Стефен направился к двери, — я пробуду там несколько дней. Как у тебя с деньгами?

— Обойдусь пока... У меня около тридцати песет, — сухо ответил Стефен. — Я не собираюсь обедать в отеле «Риц».

— Ну, значит, до моего возвращения хватит. — Пейра удовлетворенно кивнул: — *Adiós, amigo!*¹

Утро было тихое, небо безоблачное. Солнце стояло еще невысоко, но день обещал быть знойным. На крылечке одного из домов сидела женщина с миской на коленях и деревянной ложкой давила помидоры — готовила томатное пюре. Воздух был пропитан удушливым запахом горелого масла, дешевого табака, гнилых фруктов, отбросов, помоев. Но когда Стефен свернул за угол, оживление и красочная пестрота рынка искупили нищету и убожество улицы. Женщины яростно торговались под полотняными навесами среди наваленных высокими грудами зеленых дынь, красного глянцевого перца, желтых мятых лимонов и кукурузы. На улице Салазара Стефен вскочил на подножку трамвая, который шел в сторону Алькалы, и с трудом протиснулся на переполненную и тряскую заднюю площадку. Трамвай медленно, с бесконечными судорожными остановками, превращавшими это путешествие в сущую пытку, пробирался по улицам среди маленьких дряхлых осликов с огромными плетеными корзинами на спине и громыхающих

¹ До свидания, друг! (*исп.*)

тележек на высоких колесах, нагруженных бутылками с вином или с маслом, углем или пробковой корой и запряженных изнуренными мулами, не желавшими двигаться иначе, как по самой середине улицы. Тем не менее в половине десятого Стефен добрался до проспекта Калио и спрыгнул с трамвая. Сердце его учащенно билось в такт торопливым шагам. Он вошел в Прадо, как только двери музея растворились.

Длинные залы были совершенно пусты, лишь два-три художника застилали бумагой паркетный пол перед своими мольбертами, намереваясь писать копии с картин. Из вестибюля, отданного фламандским художникам Раннего Возрождения, Стефен вступил в коридор, где висели полотна Хуана Вальдеса Леаля. Религиозный фанатизм и самодовольная банальность его композиций на мгновение ошеломили Стефена. Неприятное впечатление не рассеялось и от созерцания полотен Мурильо, утонченно-нежных, изумительно совершенных по выполнению, но чрезмерно сладостных и навязчиво сентиментальных. Но тут в глаза Стефену бросился небольшой и с первого взгляда ничем не примечательный натюрморт, поразивший его своею крайней простотой: три кувшина для воды, поставленные в ряд. Это было полотно Зурбарана, и Стефен почувствовал, как в груди его запылал ответный огонь. Волнение его еще усилилось, когда он прошел дальше — к Эль Греко и Веласкесу. И все же его влекло еще и еще дальше — в самую глубь музея. «Вот, наконец-то! — подумал он, замирая от восторга. — Вот он, мой учитель, вот он — Гойя!»

Стефен опустился на стул и, забыв обо всем на свете, погрузился в созерцание двух «Мах», в одной из которых он мгновенно признал полотно, вдохновившее Мане на его «Олимпию». Затем он долго стоял перед «Черными фресками» и «Восстанием второго мая» — великими картинами, созданными художником в последние годы жизни. Потом перешел к рисункам Гойи, и они окончательно покорили его своим неповторимым своеобразием.

Никогда еще не видел он ничего столь могучего, столь страшного и исполненного такой сокрушительной правды. В этих рисунках художник обнажил человеческую душу, сорвав по-

кровы со всех ее низменных и постыдных грехов. Обжора, пьяница, сластолюбец — все они представляли здесь в беспощадных и богохульственных карикатурах. И сильные мира сего — богатые и могущественные, властелины церкви и государства — попали под удары его бича, обнажившего их физическое и нравственное уродство. Здесь был целый мир, созданный этим простолудином из Арагона, мир фантастический и всеобъемлющий, не ограниченный ни временем, ни пространством, мир, исполненный глубочайшего страдания и горя, страшный и отталкивающий по своей жестокости, но овеванный жалостью и состраданием. Это был страстный протест человека, испуганного и потрясенного царящими вокруг него несправедливостью и злобой, протест, исполненный ненависти к угнетению, религиозным предрассудкам и лицемерию. «Какой отвагой должен был он обладать, — думал Стефен, — каким презрением к опасности! Старый, глухой, совершенно одинокий, затворившись в своем домике, называемом им „Quinta del Sordo“¹, он продолжал отстаивать идеи человеческой свободы, не побоявшись навлечь на себя гнев инквизиции и короля».

Погрузившись в эти думы, Стефен не заметил, как пролетело время до закрытия музея. Солнце еще не село, но уже низко склонилось к закату, и в воздухе стало прохладней. Стефен решил пройтись домой пешком. Он пересек площадь и по широкой и крутой лестнице Сан-Херонимо направился к Пуэртадель-Соль. Кафе были переполнены, людской поток заливал улицы, прохожие не спеша прогуливались взад и вперед по мостовой, экипажей почти не было видно. Наступило время paseo². Глухой, неумолчный гул голосов, прорезаемый порой пронзительными выкриками мальчишек-газетчиков или продавцов лотерейных билетов, был похож на гудение бесчисленных пчел. Все классы и все возрасты были здесь налицо: старики и старухи, ребятишки с няньками, богачи и бедняки — все смешалось воедино, грани стирались в этот священный час отдыха.

¹ «Дом глухого» (исп.).

² Гулянья (исп.).

Дойдя до Пуэрта-дель-Соль, Стефен внезапно почувствовал усталость и, заметив свободный стул на открытой террасе кафе, решил отдохнуть. Вокруг него мужчины пили пиво со льдом и поглощали полные тарелки креветок. Стефен некоторое время пребывал в нерешительности — как случается с людьми в незнакомом месте, — затем заказал кофе с бутербродом. Поглядывая на прохожих, он время от времени отмечал про себя своеобразные, характерные лица, сошедшие, казалось, с рисунков Гойи: вот чистильщик сапог — стремительный и озорной карлик с шишковатым лбом и уродливым носом пуговкой, а вот совсем другой тип — высокий, стройный темноволосый мужчина с серьезным и горделивым лицом. Женщины отличались короткой талией и склонностью к полноте; у них была золотистая кожа и глаза, сверкающие, как драгоценные камни. Они держались спокойно и с достоинством.

Эта жизнь, кипевшая вокруг, оказывала странное действие на Стефена. После подъема и волнений, пережитых днем, он чувствовал, как им все больше и больше овладевают уныние, неверие в себя. Так не раз случалось с ним и прежде — лицемерие красоты повергало его в пучину отчаяния. Среди этого уличного гама и сутолоки он чувствовал себя никому не нужным и бесконечно одиноким, вечно сторонним наблюдателем, не способным разделить общую шумную радость и веселье. За соседним столиком трое мужчин обсуждали предстоящий вечером концерт, на котором будут исполняться *canto flamenco*¹. Раз два Стефен поймал на себе их дружелюбный взгляд, и ему внезапно захотелось присоединиться к их беседе и даже испросить у них разрешения пойти вместе с ними на концерт. Но он не мог заставить себя это сделать. И с мгновенным острым чувством досады подумал о том, как быстро и легко кто-нибудь другой, менее застенчивый, хотя бы Гарри Честер, завел бы знакомства и приобщился к развлечениям этого города.

Но работа, как всегда, служила Стефену противовесом от любых огорчений, и следующие три дня он был погружен в изучение рисунков, хранящихся в Прадо. Тем не менее ему не хва-

¹ Андалузские песни (*исп.*).

тало Пейра, и он очень обрадовался, когда на четвертый день вечером, делая по памяти набросок одной детали из гойевских «Капричос», услышал на лестнице знакомые шаги. Жером вошел со своим неизменным саквояжем в руках, театральным жестом сбросил с плеч шерстяной плед и обнял Стефена.

— Хорошо вернуться домой и найти тебя на месте, дружище.

Стефен положил карандаш.

— Как вам понравилось в Авиле?

— Превзошло все мои ожидания. Можешь себе представить: с душой, переполненной сладостной печалью, я стоял на том самом месте, где родилась святая Тереза. Дом ее родителей находится в гетто. По правде говоря, мне пришла в голову совершенно новая и очень интересная мысль: не текла ли в жилах святой Терезы еврейская кровь? Торквемада, должно быть, сжег ее предков.

Щеки Пейра порозовели, вид у него был торжествующий, он казался опьяненным своей удачей, но сквозь все это проглядывало что-то, весьма похожее на замешательство.

— Вы остановились в монастыре?

— Разумеется. Это крошечный монастырь, ветхий, полуразрушенный, и там полным-полно крыс. А как питаются эти несчастные монахини — просто ужас! Все же, невзирая на необычайную пустоту в желудке, я был счастлив.

— Ну а какое впечатление произвела на вас маркиза?

— Благороднейшее создание — любезность и доброта сочетаются в ней с мужеством и практичностью. Она очень страдает от подагры, но, подобно святой Терезе, держится стойко, как солдат, и завоевывает все новые и новые души для Христа-воинства.

— Я вижу, что вас она, во всяком случае, завоевала.

— Не смейся, друг мой. Эта превосходная женщина лишена и тени кокетства. Ей уже без малого восемьдесят лет, она хрома, и половина лица у нее парализована.

Стефен помолчал. Поведение старика озадачивало его. А Пейра вдруг как-то сник, в нем явно проглядывала совершенно не свойственная ему робость.

— Вы уже поужинали где-нибудь?

— Меня снабдили в дорогу кое-какой провизией весьма неопишуемого свойства, и я съел ее в поезде. Конечно, аппетит у меня теперь испорчен на месяц. Да, приятно быть снова вместе с тобой, дружище. — В голосе Пейра звучала нежность и не совсем обычная для него товарищеская задушевность. Он положил Стефену руку на плечо, избегая, однако, смотреть ему в глаза. — Завтра мы снова двинемся в путь.

— Завтра?

— А почему бы и нет?

— Мы же предполагали пробыть еще недели две в Мадриде.

— Ну на что нам Мадрид! Ведь у нас билеты до Гранады. И притом... — Пейра снова заговорил театральным, неестественно приподнятым тоном: — У меня родился замечательный план. В Гранаде мы купим ослика и маленькую тележку и пустимся в путь-дорогу до Севильи.

— То есть как это? — ошалело спросил Стефен.

— Да так... — Пейра сделал неуверенно широкий жест. — Это самый обычный вид передвижения в этой стране. Мы будем веселыми пилигримами, трубадурами, если тебе так больше нравится. Будем идти и петь, просить подаяние, если придется, и жить плодами земли, которых здесь такое изобилие в это время года — грозди винограда на лозах, спелые дыни в полях, сочные гранаты и фиги на деревьях!

— Вы что, совсем рехнулись? — резко спросил Стефен, уже не сомневаясь больше, что Пейра совершил какой-то чрезвычайно неблагоприятный поступок. — Я отказываюсь принимать участие в таком сумасшедшем предприятии.

Наступило молчание. Пейра опустил глаза. Смирненным и покаянным тоном он пробормотал:

— Друг мой, не гневайся на меня. То, что я предлагаю, вызвано настоятельной необходимостью. Тронутый их бедственным положением и нуждами, далеко превосходящими наши с тобой, я отдал все наши деньги — во славу святой Терезы — доброй матери Морелле, настоятельнице монастыря, а себе оставил двести песет.

ГЛАВА IV

Шел дождь. Сквозь мокрые стекла зала ожидания на Гранадском вокзале Стефен смотрел, как ветви эвкалипта роняют дождевые капли, колыхаясь на холодном резком ветру, дувшем со Сьерры-Невады. Мокрое железнодорожное полотно убежало куда-то в пустынную даль. Саквояж Пейра и чемодан Стефена стояли в углу.

После двух пересадок Стефен и Пейра прибыли сюда в отвратительно грязном, пропахшем мочой вагоне в четыре часа утра. Стояла кромешная тьма, лил дождь. Когда рассвело, они отправились в Альгамбру пешком, но это обернулось полнейшей бессмыслицей. Под проливным дождем мраморные колонны и мавританские арки казались неуместными, как свадебный пирог на похоронах. Львиный двор был затоплен водой, панораму города скрывал туман. В полном молчании Стефен и Пейра возвратились под гостеприимный кров вокзала. Тогда, все еще пылая справедливым негодованием, Стефен заявил, что снимает с себя всякую ответственность за дальнейшее, и, оставшись глух к мольбам своего приятеля, предоставил тому отправиться на рынок в одиночестве.

С тех пор прошло уже больше часа — это новое промедление едва ли могло улучшить настроение Стефена. Он никак не мог примириться с мыслью, что средства, с таким трудом собранные для этого долгожданного путешествия, были столь беззаботно, одним мановением руки брошены на ветер. Он снова поглядел на вокзальные часы, отметив про себя при этом, что дождь, который уже несколько минут назад начал утихать, прекратился вообще. И тут в окно он увидел легкую повозку, запряженную маленьким осликом, которая весело подкатила к главному входу вокзала и остановилась. Стефен вышел на улицу. Экипаж выглядел значительно лучше, чем можно было ожидать, и Стефен, несмотря на всю свою досаду, был приятно удивлен.

— Где вы это раздобыли?

— На базаре у цыгана. Поверь мне, я совершил превосходную сделку. — Пейра был преисполнен гордости. — Как ви-

дишь, тележка легкая и еще совсем крепкая. Ослик хотя и не очень рослый, но весьма выносливый. Его хозяин плакал, расставаясь с ним.

В голосе Жерома так отчетливо звучала жажда примирения, что Стефен немного смягчился.

— Вы, конечно, могли бы купить что-нибудь и похуже.

— А погляди-ка сюда. — Пейра указал на гору свертков, наваленную на сиденье тележки. — Я купил все эти запасы на оставшиеся песеты. Хлеб, бананы, сыр, вино. Вместе с нашим окороком нам хватит на неделю, а то и больше.

На прояснившемся небе из-за края облака выглянуло солнце, мгновенно обогрев землю своим теплым сиянием, и все изменилось, как по волшебству. Сразу стало светло и весело, на стрехах беленных известкой домов засверкали дождевые капли, в ветвях эвкалипта засвиристела какая-то пичужка. И когда Стефен подумал о том, как они с Пейра, свободные и независимые, зашагают по путям-дорогам в новые неведомые края, предстоящее путешествие стало казаться ему веселым, увлекательным приключением и настроение у него поднялось.

— Ну, поехали.

Они свалили свои пожитки в тележку и тронулись в путь. Ослик усердно, без понуканий тащил повозку. Скоро они выбрались из города и очутились на широкой дороге, затененной смоковницами с ободранными стволами. По сторонам потянулись поля, засеянные кукурузой, подсолнухами, табаком. И повсюду цвели мимозы, бугенвиллеи и дикая герань. Потом стали попадаться апельсиновые рощицы. Ветви деревьев гнулись к земле, отягощенные плодами, еще зелеными, маленькими, похожими на восковые шарики. Стефен, сидя на узком облучке, с восторгом вдыхал напоенный ароматами воздух, любуясь пейзажем, игрой света и тени меж стволов деревьев, прозрачным блеском воды, журчавшей по оросительным каналам. Он украдкой поглядел на своего спутника.

— Хорошо, что мы избавились от этих душных вагонов. Наш путь лежит через Санта-Фе и Лоху, не так ли? А потом через перевал?

— Да, через Сьерра-Техеа. Я смотрел карту в мэрии.

День кончился, сгустились сумерки. Приятели свернули с большой дороги и, покинув очаровательную долину реки Хинель, начали подниматься к предгорьям Сьерры. Кругом не было ни малейших признаков человеческого жилья, но узкое ущелье, огражденное высокими соснами, обещало хороший привал. Они выпрягли ослика и, стреножив его, пустили на лужайку, поросшую жесткой травой, которую это изумительное животное тут же принялось мирно пощипывать. Сами же они, не давая себе труда разжечь костер, недурно поужинали вином и хлебом с сыром. Ночь была тихая, теплая, безлунная. Они прилегли на песке, сухом, нагретом за день солнцем, устланном сосновыми иглами, и Стефен почти мгновенно уснул.

Один за другим потянулись восхитительные дни, солнечные, но не слишком знойные. Вокруг были зеленые плодородные поля и сады, изредка попадались крошечные хутора, где на розовых черепичных кровлях домов сушились охристо-желтые початки кукурузы. На грядках спели дыни, золотистая солома летела из-под цепов молотильщиков. Стефен и Пейра ехали не спеша, то и дело останавливаясь, чтобы сделать зарисовки или, установив в тени жакаранды свои мольберты, написать пейзаж. Изменчивые очертания легких, прозрачных, как кружево, облаков, таявших в небе, были полны неизъясимой прелести, в низкорослом кустарнике неумолчно гудели пчелы, черепичная крыша деревенской церквушки пламенела вдали на фоне ультрамаринового неба. Воздух пьянил, как вино, такой в нем стоял аромат жасмина. По вечерам они готовили ужин из своих запасов, потом Пейра доставал окарину и наигрывал на ней под аккомпанемент цикад или, глядя на молочно-белую россыпь Млечного Пути в иссиня-черном, как в арабских сказках, небе, пускался в пространные, глубокомысленные монологи, к которым Стефен прислушивался лишь краем уха. То были ученые рассуждения на разнообразнейшие темы: от жизни святого Яго Компостельского до выращивания пробковых деревьев, от Фердинанда и Изабеллы до любовной лирики пресвитера Иты — после чего Пейра ложился

почивать, романтично-возвышенным тоном декламируя строфы испанских стихов:

На землю плащ я бросил свой
И погрузился в сон...

ГЛАВА V

К концу третьей недели их путешествия вокруг произошла заметная перемена. Горы внезапно придвинулись ближе, зеленые холмы остались позади, дорога разветвилась — впереди была крутая тропа, змеившаяся среди диких и пустынных скал. Кругом ни единого деревца, ни малейшего укрытия от зноя — голая, растрескавшаяся, выжженная солнцем земля, ущелья и скалы, подобные крепостным стенам и башням самого причудливого вида. Солнце слепило глаза, порой тропа почти отвесно поднималась вверх. Чтобы облегчить труд своему маленькому усердному ослику, Стефен и Пейра вылезали из тележки и шли пешком.

День за днем стояла испепеляющая жара. Даже ящерицы лежали совершенно неподвижно, словно хворостинки, в расщелинах раскаленных солнцем скал. Яркие и чистые краски природы — красная, желтая, фиолетовая и коричневая, — выгоревшие и потускневшие в горниле солнца, придавали пугающее величие этому первозданно-дикому, пустынному краю.

Приятели останавливались на ночлег, отыскав крошечный клочок кремнистой земли между скал. Сон их был тревожен, и поутру у Пейра так сводило руки и ноги, что он едва мог двигаться. Но другого пути не было, и выбора не было; нужно было идти вперед, и они всю неделю шли. Резкий, обжигающий ветер вздымал на дороге смерчи, засыпал глаза песком. Ослик начинал сдавать из-за отсутствия сносного пастбища. Их собственные запасы, даже пресловутый окорок, подошли к концу. Стефен немного воспрянул духом, когда на девятый день после полудня они вышли на высокое плоскогорье и заметили признаки человеческого жилья. Потом они увидели крестьяни-

на, ковырявшего мотыгой комковатую бурую землю. На дороге показалась одинокая фигура: женщина верхом на муле, с ветхим зонтиком, раскрытым над головой. Какой-то человек, собиравший оливки с карликового деревца, украдкой поглядывал на путешественников. Но вот впереди забелела деревушка, похожая издали на кучку рассыпанных на равнине выбеленных солнцем костей.

Тяготы пути сделали Пейра ворчливым, но, когда они приблизились к селению, он сразу приободрился, стал, как всегда, словоохотлив.

— Мы, без сомнения, найдем здесь *fonda*¹. Приятно будет снова обрести крышу над головой.

Они вступили на единственную улочку *aldea*², узенькую, мощенную камнем. У порога в тени жилищ сидели на низеньких скамеечках женщины в черных одеждах и, повернувшись спиной к улице, плели кружева. Обратившись к одной из них, Пейра спросил, где здесь постоялый двор. Он помещался в приземистом полуразрушенном домишке, стоявшем на самом краю селения и похожем на кучу камней, беспорядочно наваленных посреди грязного двора, где изнывали на привязи несколько осликов. За домом росли кусты клещевины, их розовые соцветия пожухли и потемнели от пыли. Внутри дома царил полумрак, в жаровне на земляном полу дымилась угли, за столом несколько мужчин пили вино из черного бурдюка. Пейра кликнул хозяина, и неуклюжий, грузный детина с маленькими глазками и длинным, заросшим щетиной подбородком нехотя приподнялся из-за стола с бурдюком.

— Друг мой, мы путешественники, чужеземцы, вернее сказать — путешествующие художники и, на беду, очутились сейчас в несколько стесненном положении. Не окажете ли вы нам любезность, предоставив стол и кров на одну ночь? А мы бы отблагодарили вас, написав ваш портрет или портрет вашей доброй супруги.

Хозяин неторопливо, внимательно оглядел Пейра.

¹ Постоялый двор, таверну (*исп.*).

² Деревни (*исп.*).

— Мы рады услужить сеньору чем можем. Мы никого не гоним от нашего порога. Но, во-первых, мне ни к чему портрет, а во-вторых, у меня нет супруги.

— Тогда, если желаете, мы можем написать вывеску для вашей гостиницы.

— Я совсем этого не желаю, сеньор. Такая превосходная гостиница, как моя, не нуждается в вывесках.

— Может быть, в таком случае вы любите музыку? Я могу поиграть для вас.

— Клянусь Святой Девой Марией Гваделупской, сеньор, единственная вещь на свете, которую я не переносу, — это музыка.

— Так во имя Святой Девы Марии скажите же наконец, чем мы можем вам услужить?

— Вы можете войти, сеньор, плотно покушать и сладко поспать. Но разумеется, вам придется заплатить.

— Но я уже сказал вам... мы бедные художники.

Хозяин почесал синеватый подбородок, покачал головой.

— Бедняк не носит хорошей одежды, не приезжает на добром ослике и с поклажей.

Пейра был сбит с толку, но не сдался:

— Это верно... но тем не менее денег у нас сейчас нет.

Хозяин перевел острый взгляд с одного лица на другое.

Природная крестьянская смекалка сочеталась в нем с чувством собственного достоинства.

— Тогда пусть это будет что-нибудь, что имеет хоть какую-то цену... Мне много не надо... Только, конечно, не картины, а что-нибудь недорогое из одежды или, например, — он глянул на свои рваные башмаки, — пара крепких сапог.

На лице Жерома отразилась целая гамма переживаний. Все же после некоторого молчания он кивком выразил согласие.

— Этот негодяй держит нас в руках, — пробормотал он Стефену на ухо. — Прав был Наполеон, говоря: «Никогда не доверяйте человеку с длинным подбородком». Тем не менее мы же не можем ничего не есть!

— Пусть лучше возьмет мой пиджак, — сказал Стефен.

— Нет, — упрямо возразил Пейра. — Я отдам ему мои башмаки. Только, конечно, эти, старые. У меня есть в запасе еще одни, получше.

Несмотря на всю плачевность их положения, Стефен не мог удержаться от улыбки и отвернулся: очень уж мало походил сейчас Жером на веселого трубадура! Стефен вышел во двор, распряг ослика и завел в стойло. Затем почистил его, принес ему добрую охапку сена и, присев на скамейку у входа, принялся стоически дожидаться ужина.

Ужин появился на столе в продымленной комнате только к десяти часам и оказался столь же убогим, как и само пристанище. Он состоял из гаспачо — холодной водянистой похлебки из огурцов и помидоров, приправленной прогорклым растительным маслом, — краюхи черного хлеба и тоненьких, сухих, пахнущих чесноком кусочков вяленой трески.

— Помилуй бог, хозяин, что это за блюдо?! — запротестовал Пейра.

— Это называется *bacallao*¹, сеньор. Редкая, замечательно вкусная морская рыба. Ловится очень далеко отсюда.

— Да оно и видно, что эта рыба прибыла издалека. А уж вино... — Жером отхлебнул глоток и поморщился.

— Вино — лучшее во всей округе. И даже, без похвалы могу сказать, пожалуй, лучшее во всей Андалузии. — И хозяин еще долго распинался, в самых восторженных выражениях расхваливая мутноватую жидкость, от которой щипало язык, как от крепкого уксуса.

Приходилось довольствоваться тем, что имелось. Приятели почувствовали облегчение, когда, покончив с ужином, растянулись наконец на соломе в пустом сарае рядом с конюшней.

А наутро они снова пустились в путь через иссушенную солнцем, унылую желтую равнину. Лишь изредка небольшая рощица серебристых олив оживляла пейзаж. Единственным признаком близости человеческого жилья были здесь кукурузные поля, где среди сухих стеблей бродили стада черных коз, понуро опустив голову и поднимая облака пыли. Где же тяже-

¹ Треска (*исп.*).

лые грозди винограда, сочный инжир и алые гранаты, которые сулил Пейра, утверждавший, что в пути можно будет пользоваться щедротами земли? Весь день они питались только сырыми кукурузными зернами да незрелыми оливками, заедая их ломтями хлеба, которым неожиданно снабдил их на прощание хозяин. Стефен воспринял создавшееся положение хотя и угрюмо, но не без юмора. Их спартанская еда не особенно его огорчала, а в этом странном призрачном пейзаже ему нет-нет да и открывалось что-то, волновавшее его воображение и заставлявшее хвататься за альбом. Но Пейра, жертва собственной филантропии, угрюмо шагавший рядом с осликом, совсем пал духом. Он бормотал что-то себе под нос, размахивая палкой, и — что бывало с ним и раньше временами — внезапно начинал вести себя крайне нелепо: капризничал, как ребенок, и становился совершенно несносен. Вечером они сделали привал у каменистого ложа высохшего ручья и поужинали кукурузной кашей, сваренной в консервной жестянке, которую Стефен подобрал у дороги. Наконец Пейра прервал свое удручающее молчание:

— Эти новые башмаки, созданные для парижских мостовых, страшно натирают мне ноги. На пятке уже вскочил огромный волдырь. — Он помолчал, затем заговорил снова: — Боюсь, я вовлек тебя в скверную историю. Я заблуждался относительно природы этого края, которая все так же скудна и бесплодна до самого Кадиса, если верить этому мерзавцу — хозяину постоялого двора. В этом краю мы лишены даже тех преимуществ, которыми пользуются нищие, ибо здесь нас все будут принимать за состоятельных людей. Помолчав еще, он добавил: — Есть только один выход — отказаться от долгого, хотя и прямого пути на Севилью. Когда мы доберемся до Леры, нужно будет спуститься в портовый город Малагу. Там-то уж, я полагаю, мы попадем в цивилизованное общество и сможем сделать небольшую передышку. А потом, если это так необходимо, можно будет возобновить наше путешествие.

Стефен с минуту обдумывал это предложение — наиболее трезвое из всех, сделанных Жеромом с тех пор, как они ступили на землю Испании. Досадно отказываться от задуманного,

но продолжать брести через эту пустыню без гроша в кармане было, по-видимому, невозможно. Стефен кивнул.

— Отсюда до побережья не больше ста сорока километров.

Пейра, стянув с ноги носок, озабоченно разглядывал пятку.

— Как скоро, по-твоему, можем мы туда добраться?

— Продвигаясь такими темпами, как сейчас, — примерно через неделю.

По ту сторону слабо тлеющего костра послышался горестный вздох.

— Друг мой, боюсь, что мне придется вступить в орден бо-соногих раньше, чем я предполагал. Очень сомневаюсь, чтобы завтра мне удалось натянуть на ноги эти ботинки.

ГЛАВА VI

Через три дня, когда они находились еще на полпути между Лерой и Малагой, дело начало принимать скверный оборот. В полдень они, как обычно, остановились отдохнуть и присели у дороги в тени пробковых деревьев. Солнце, проникая между ветвей низкорослого деревца, отбрасывало на песчаный откос подвижные, мерцающие блики. В тени перевернутой тележки ослик стоял не шевелясь, похожий на глиняное изваяние. Стефен в рваной, засаленной рубахе, грязный, небритый, почерневший от солнца, мог бы сойти за бродягу. Пейра стянул с ноги башмак и закатал штанину до колена. Обычно он, словно старая дева, ревниво оберегал свою особу от посторонних взглядов, но на этот раз, молча обследовав ногу, повернулся к Стефену:

— Нога меня замучила. Может, ты посмотришь?

Стефен мимоходом бросил взгляд на его ногу, затем, несколько встревоженный тем, что увидел, осмотрел ее более внимательно. Он знал, что натертая пятка беспокоит Пейра (не раз, стянув с ног тесные ботинки, Пейра ковылял за тележкой по пыльной дороге босиком), однако он никак не думал, что дело так скверно. Вся ступня у Пейра сильно распухла, на воспаленной пятке зияла гноящаяся ранка.

- Ну что? — Пейра пристально наблюдал за Стефеном.
- Больше вы пешком не пойдете. — Стефен говорил спокойно, но решительно. — Сейчас, во всяком случае.
- А что у меня с ногой, как ты думаешь?
- Похоже, вы загрязнили ранку. Попытаемся что-нибудь сделать.

Стефен достал из чемодана чистую рубашку и оторвал от нее несколько полос материи. Смочив тряпку водой, которую они теперь всегда возили с собой в бутылке из-под вина, он тщательно промыл ранку и наложил на ногу нетугую влажную повязку.

- Ну как?
- Холодит... Правда, как будто немного полегчало.

До сих пор Стефен предоставлял все решать Пейра, однако теперь он понял, что должен взять бразды правления в свои руки. Сначала он подумал было, не повернуть ли им назад, в Леру, но это был захудалый поселок, почти деревушка, и Стефен решил двигаться дальше. Малага — дело более надежное, и нужно попасть туда как можно скорее.

Он запряг ослика, помог Пейра забраться в тележку, устроил его на заднем сиденье, и они двинулись дальше. Шагая рядом с осликом, Стефен понукал его, заставляя идти быстрее, а на крутых подъемах заходил сзади и помогал, подталкивая тележку. Так они двигались без остановки целый день и к пяти часам добрались до поселка Касабы.

На центральной площади поселка Стефен подошел к какому-то юноше, наполнявшему ведро у колодца, и попросил его указать, где живет врач.

- У нас в Касабе нет médico¹.
- Ни одного врача?

Юноша отрицательно покачал головой.

— В случае нужды к нам приезжают из Леры или из Малаги. Впрочем, у нас есть очень хороший farmacéutico².

- А где его можно найти?
- Сейчас я провожу вас, сеньор.

¹ Врача (исп.).

² Аптекарь (исп.).

Молодой человек держался весьма предупредительно и учтиво. Он провел их по лабиринту узеньких улочек и остановился перед дверью, над которой на красно-сине-белом шесте красовалась вывеска: «Barbería»¹. Стефен помог Пейра вылезти из тележки, и они вошли в дом.

Высокий, необычайно худой человек в серой куртке из альпага не спеша стриг мальчика. У человека было бледное, замкнутое и печальное лицо, какие часто встречаются в Кастилии, и какой-то отрешенный, потусторонний взгляд, словно он готовился переступить порог небытия.

— У моего друга болит нога. Не могу ли я попросить вас взглянуть на нее?

— Присядьте, пожалуйста.

Парикмахер продолжал стричь мальчика — меланхолично, неторопливо, с достоинством. Минут через пять со стрижкой было покончено. Он стряхнул салфетку, сложил ее, убрал ножницы и обратил к путешественникам взгляд своих мечтательных глаз.

— Я к вашим услугам.

Пейра размотал повязку и поднял повыше ступню. Парикмахер обследовал ранку.

— Вы что — братья?

— Нет, я уже сказал вам: друзья.

— Вы не испанцы?

— Нет, — сказал Стефен. — Я Inglés².

— Ах, Inglés. Вам повезло, что вы оказались в Испании в это печальное время. А чем вы занимаетесь? И откуда вы прибыли сюда к нам?

— Мы художники... картины пишем... Мы едем из Гранады.

— Это нелегкий путь. Особенно с такой ногой. И куда же вы направляетесь?

— В Малагу.

— Красивый город. Я провел там медовый месяц с моей женой. Теперь она, увы, обрела покой на небесах. А сам я из Сарагосы. Вы не бывали в этом городе? Он лежит на реке Эбро.

¹ «Парикмахерская» (исп.).

² Англичанин (исп.).

Я родился возле Ла-Сео, река была видна из окон. Увы, увы! Верно, я никогда не увижу ее больше! Ну да это не так уж важно. — Он осторожно надавил большим пальцем на ступню. — Больно?

— Не особенно, — отвечал Пейра. В маленькой полутемной каморке лицо его казалось очень бледным, и Стефен понял, что он лжет.

— Ну так... Поглядим, что тут можно сделать.

Парикмахер отворил дверцу дощатого шкафа, стоявшего в углу, и разыскал на полке среди бесчисленного количества всевозможных склянок банку с какой-то желтой мазью. Костяной лопаточкой он осторожно намазал ранку мазью и сказал:

— Эту мазь я составил сам. Она проста, но успокаивает боль.

— Значит, она должна помочь?

— А вы как думали?

Ранку прикрыли ватой, ногу нетуго забинтовали марлевым бинтом, и, так же как после первой перевязки, Пейра облегченно и с надеждой вздохнул.

— Muchas gracias, señor!¹ Вы возродили меня к жизни.

Стефен встал, секунду поколебался, затем сказал чрезвычайно смущенно, но решительно:

— Видите ли, дело в том... Дело в том, что у нас нет ни гроша. Но как только мы попадем в Малагу, наши дела поправятся. Скажите, пожалуйста, сколько мы вам должны, и я вышлю вам эту сумму в течение недели.

Парикмахер перевел взгляд с Пейра на Стефена и царственным жестом поднял руку.

— Ни слова больше, приятель. За тот пустяк, что я сделал, вы уже отблагодарили меня добрым словом. Но я советую вам, как только приедете в Малагу, не медля ни минуты, показать ногу врачу. — Он пристально посмотрел на Стефена и добавил вполголоса, когда они уже направлялись к двери. — Нога мне не нравится. В подобных случаях всегда можно ждать неприятных последствий.

¹ Большое спасибо, сеньор (*исп.*).

Впервые дурное предчувствие омрачило душу Стефена — словно облачко набежало на солнце. Пейра же, наоборот, казалось, повеселел. Когда они покидали селение, он громко восхвалял своего благодетеля и — с особенным красноречием — его лекарское искусство, которое он сравнивал с официальной медициной, к вящему посрамлению последней. «Давно я утратил в нее всякую веру», — заявил Пейра. Он многословно распространялся о достоинствах различных мазей и притираний, о целебных свойствах растительного масла и вина при врачевании ран, о бальзамах, розмарине и поваренной соли, о редких настоях лекарственных трав, содержащих в себе мирру, бергамот и амбру и приносящих исцеление за одну ночь, особенно если они приготовлены алхимиками Востока... Можно не сомневаться, утверждал он, что в жилах этого доброго цирюльника из Касабы течет кровь древних мавров. После многочасового молчания эта словоохотливость производила весьма странное впечатление, и Стефен с возрастающей тревогой отметил про себя, что щеки Пейра слегка порозовели. И снова, еще отчетливее, чем прежде, он почувствовал, что надо спешить.

Дорога поначалу была не тяжелая, и они продвигались вперед довольно быстро. Когда же начало смеркаться, они стали поглядывать по сторонам в поисках ночлега, и Стефен увидел в отдалении на краю жнивья, где паслось несколько овец, большой сарай. Это была удача. Сарай, полный свежего сена, обещал не только удобный ночлег, но и пропитание для их ослика. Стефен перенес Пейра из тележки в сарай, затем, понуждаемый необходимостью, поймал — после многочисленных неудачных попыток — козу и подоил ее. В тележке отыскалось несколько зеленых початков кукурузы, которые они раздобыли где-то дня два назад, и через полчаса Стефен уже сварил кашу из кукурузы на молоке.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил он Жерома, когда тот поел.

— Друг мой, я глубоко тронут твоей заботой и вниманием.

— Пустое... а как нога?

— Побаливает, конечно. Однако я расцениваю это как положительный симптом. Если сегодня мне удастся хорошенько выспаться, к утру я буду совершенно здоров.

Но выспаться Пейра не удалось. Всю ночь он беспокойно ворочался, стонал, кричал и что-то негромко бормотал, а когда забрезжил серый рассвет, Стефен увидел, что ему явно стало хуже. Теперь уже Стефен встревожился не на шутку: он понял, что у него на руках тяжелобольной человек. Он не решался больше обследовать его ногу в таких условиях. Наложив в тележку сена, он помог Пейра доковылять до нее от сарая, постарался устроить его как можно удобнее и поспешил тронуться в путь.

Отдохнув и поев, ослик бодро шагал вперед. Стефен, как всегда, помогал ему взбираться на склоны холмов, и они довольно быстро продвигались вперед. Если только им удастся к ночи добраться до Малаги — о том, чтобы еще раз заночевать в дороге, Стефен боялся даже подумать, — он сразу отправится в консульство за помощью. В таком крупном порту, несомненно, должен быть французский или английский консул. И он все шагал и шагал, погоняя ослика, останавливаясь лишь на минуту, чтобы напоить Пейра, который страдал от жажды. Передавая Пейра бутылку, Стефен чувствовал, что тот горит как в огне. Дорога опять испортилась и крутой спиралью полезла вверх, к зубчатому хребту, добравшись до которого и преодолев крутой зигзагообразный спуск они снова оказались перед почти отвесным склоном горы, на который им предстояло взобраться. Однако для отдыха не оставалось времени. В полдень Стефен соорудил из одеяла и палок нечто вроде балдахина над тележкой. Пейра немного успокоился и притих. Он находился, по-видимому, в полубессознательном состоянии. Вся его напускная бравада слетела с него, он то и дело спрашивал, не видна ли Малага.

Теперь уже и Стефен беспрестанно поглядывал через плечо, словно надеясь на чудо, на то, что вдруг, откуда ни возьмись, появится какой-нибудь экипаж — ну пусть хоть ветхая, полуразвалившаяся колымага, что угодно, лишь бы это помогло им скорее добраться до цели. Но вокруг не было ни души.

Когда солнце склонилось к закату и от гранитных глыб, торчавших повсюду среди этого безлюдья, протянулись по пыльной земле длинные тени, чувство беспомощности, почти панического страха охватило Стефена. Эти пустынные холмы, эта

первозданная дичь и глушь уже сами по себе нагоняли тоску, парализовали волю, заставляли сердце болезненно сжиматься. Стефен совершенно выбился из сил, а его мужественный маленький ослик понуро брел, раздувая, как мехи, потемневшие от пота бока, и находился, казалось, при последнем издыхании. А до побережья все еще оставалось никак не меньше двадцати километров.

Они взобрались еще на один холм, и с вершины его Стефен увидел кучку домишек. Это было крошечное, чрезвычайно жалкое с виду горное селение — всего штук тридцать пещер, выдолбленных в узкой расщелине между скал. Несколько худосочных свиней с засохшей грязью на боках рылись в куче отбросов рядом с полуразрушенным колодцем. Грязь, запустение, убожество и нищета превосходили все, что можно себе вообразить. Ни одного человеческого существа не было видно поблизости.

Стефен остановился возле колодца и посмотрел вверх, на голые каменные стены пещерного селения. Все жилища были расположены высоко над дорогой, по откосам каньона. Мне нужна помощь, думал Стефен. Он оставил тележку у колодца и начал взбираться по крутому склону. Тропинки не было, каменистый, изрезанный трещинами и выбоинами склон горы осыпался под ногами. Стефен несколько раз терял равновесие, но ему все же как-то удалось удержаться и не упасть. Продвигаясь под конец уже на четвереньках, он почти добрался до крайнего жилища, когда нога у него сорвалась и он кубарем покатился вниз. Не успел он, весь в грязи, весь в ссадинах и кровоподтеках, подняться на ноги, как у входа в одну из пещер появился человек с ведерком в руке, вытряхнул из ведерка отбросы и крикнул Стефену, чтобы тот убирался восвояси.

«Они думают, что я пьян», — в отчаянии пробормотал про себя Стефен.

Он поднялся с земли, наполнил водой из колодца свою бутылку, напоил ослика и двинулся дальше. Прошло еще два часа. Какой путь проделали они за это время, Стефен не имел представления. Быстро приближалась ночь, она надвигалась с востока, раскинув свой черный плащ по небу. Стефен с ужа-

сом озирался вокруг, не зная, что предпринять. Вдруг вдали, у края каменистой дороги, он увидел маленький белый домик с пристройкой. Собравшись с духом, он решительно направился к нему.

Когда он подошел ближе, невысокая дверь дома отворилась и на порог вышла женщина. Склонив голову набок, она стояла и, казалось, прислушивалась к его шагам. На вид ей было лет шестьдесят. Крупные, тяжеловатые черты лица, очень смуглая кожа, полные, с синеватым отливом губы и плоский нос делали ее похожей на негритянку. Ее грузную фигуру облекало поношенное черное платье. Глаза у нее были выпуклые, темные, странно тусклые, и, подойдя ближе, Стефен вздрогнул, увидав в центре каждого зрачка желтоватое пятнышко трахомы. Но даже не столько это, сколько выражение терпеливой покорности, застывшее на этом невидящем лице, сразу убедило Стефена в том, что женщина — слепая.

— Сеньора! — Голос Стефена звучал хрипло. Горло у него пересохло, он едва ворочал языком. — Мы чужие в этой стране, направляемся в Малагу. Мой друг болен. Умоляю вас, не откажите нам в ночлеге.

Наступило молчание. Женщина стояла неподвижно, скрестив на груди руки, и Стефену бросились в глаза ее корявые, обломанные ногти. Казалось, она прислушивается к движению воздуха, пытается каким-то странным, одной ей известным способом определить, правду ли сказал незнакомый человек, более того — понять, что за люди эти ночные посетители. Прошла минута, другая. Затем, все так же молча, женщина повернулась, подошла к крытой травую пристройке и распахнула дверь.

— Можете расположиться здесь. — Жестом она указала внутрь пристройки. — А для вашего ослика найдется место за домом.

От этой неожиданной радости, от сознания, что после стольких мытарств и бедствий они наконец обрели кров, Стефен онемел. Он был так взволнован, что не смог произнести ни слова, даже не поблагодарил хозяйку за ее радушие. Комнатка была бедная, но чистенькая, с глинобитным полом. Под керосиновой лампой, подвешенной к потолку, стояли стол и деревянный табурет. В углу на деревянном топчане лежал матрац.

Стефен помог Пейра вылезти из тележки и добраться до низенького топчана. После этого Стефен раздел его, смыл дорожную пыль с лица, надел на него чистую рубашку. Марлевая повязка с ватой еще держалась на ноге, и он не стал ее снимать. Затем он отвел ослика в хлев, напоил его и отдал ему все сено, оставшееся в тележке. Выйдя из-за угла пристройки, он столкнулся с хозяйкой. В руках у нее была глиняная миска с густой бобовой похлебкой.

— Я принесла вам поужинать. Это не бог весть что, но может пойти вашему приятелю на пользу.

И снова Стефен в первую секунду оторопел. Затем сказал:

— У меня нет слов, чтобы отблагодарить вас за вашу доброту. Поверьте, мы бы не стали вас беспокоить, если бы не крайняя нужда.

— Если вам хуже, чем мне, значит и в самом деле худо.

— Вы живете здесь совсем одна?

— Одна. И, как видите, я слепая.

— Значит, вы... вы сами управляетесь со всем хозяйством?

— Да. Вот бобы выращиваю. Как-то живу.

Она умолкла. Стефен тоже не произносил ни слова, и она медленно повернулась и, тяжело ступая, шаркая широкими ступнями, пошла прочь.

Стефен отнес миску с похлебкой Пейра и, приподняв больного, стал уговаривать его немного поесть, но после двух-трех ложек вынужден был отступить. Жером стал капризничать и с досадой отпихивать от себя ложку. Осмотреть ногу он тоже не дал. Лампа горела тускло, и все же он жаловался, что свет режет ему глаза. Вскоре он впал в полуобморочное состояние и все твердил, чтобы его оставили в покое. «Что делать? — думал Стефен. — Мы совершили такой долгий путь, нельзя же теперь складывать оружие! Но утром он будет уже не в силах отправиться дальше, да и ослик еле держится на ногах». И тут же Стефен вспомнил про похлебку доброй женщины: она не должна пропасть даром. Усевшись за стол под мигающей лампой, он торопливо принялся глотать густую похлебку, не сводя настороженного взгляда с больного, который все время что-то бормотал в полусне. Это была славная похлебка, но Стефен не

мог ее оценить — он неотступно думал о том, как помочь Пейра. Затем, взяв пустую миску, направился к дому. Женщина вышла на его стук.

— Далеко ли отсюда до Малаги?

— Далеко. Километров десять, а то и больше.

— Может, туда ходит автобус или *carretón*?¹

— Ничего такого у нас в горах нет. Здесь ездят лишь на таких тележках, как у вас.

Стефен стряхнул сковывавшую его мозг усталость, усилием воли заставил себя думать. Десять километров... Он был уверен, что сможет покрыть это расстояние пешком за три часа. Если выйти на рассвете, к девяти утра можно попасть в консульство.

— Сеньора, завтра с утра, как можно раньше, я должен отправиться в Малагу. Я оставлю здесь моего приятеля, тележку и ослика. Не беспокойтесь ни о чем, после полудня я вернусь. Вы не против?

Слепая стояла к нему вполоборота и смотрела куда-то в сторону, и все же казалось, что каким-то непостижимым образом она заглядывает к нему в душу своими невидящими глазами.

— Нет, не против. Только не называйте меня сеньорой. Меня зовут Луиза... Луиза Мендес. И не бойтесь, что можете меня напугать. Я уже давно забыла, что такое страх.

Стефен вернулся в пристройку, бросил еще раз взгляд на Пейра, потушил лампу, вокруг которой в теплом воздухе вилась стайка крупных мотыльков, и прилег на глинобитный пол.

ГЛАВА VII

Утром, преодолев последний перевал и спускаясь по крутому горному склону к Малаге, Стефен почувствовал, как робкий луч надежды начинает пробиваться сквозь гнетущие мысли, омрачавшие его душу. Наконец-то он добрался до Малаги! Этот город, раскинувшийся по берегу полукруглой бухты, надежно

¹ Дилижанс (*исп.*).

защищенный длинным молотом, мерцающий золотом и белизной на темно-голубом фоне Средиземного моря, весь пронизанный утренним солнцем, зажигавшим искры на соборных шпилях, предстал перед Стефеном как желанный оазис после оставшейся позади бесплодной пустыни. Жером Пейра, когда Стефен покидал его на рассвете, был спокойнее и, казалось, меньше страдал, хотя все еще горел в лихорадке. Ну, теперь уже скоро ему будет оказана помощь.

Стефен быстро миновал пригород и по обсаженной пальмами аллее вышел на улицу Виктории. Приближаясь к центральной части города, он заметил, что повсюду царит необычайное оживление. Возле кафе толпился народ, все громко разговаривали, жестикулировали. На углу улицы Лариос перед зданием «Газета-де-ла-Калета» собралась большая толпа. Стефен подошел и спросил у человека, стоявшего с краю:

— Почему здесь такое скопление народа, приятель?

— Как почему? Ждем газеты.

— А что... здесь всегда так? Каждый день собирается столько народу?

— Нет, не каждый день. Ведь такие события происходят тоже не каждый день.

— Какие события, друг?

— То есть как это — какие? Война!

— Война? — Стефен не понял. Он думал, что слово «гуетга»¹, которое употребил этот человек, обозначает какую-нибудь местную стычку, быть может, забастовку.

— Значит, в городе происходят беспорядки?

— Нет, не здесь — благодарение Святой Деве Марии Гваделупской и прирожденному здравому смыслу испанцев! В другом месте. Большая, очень большая война. — Он умолк, заметив ошеломленный вид своего собеседника, затем с легким учтивым поклоном протянул Стефену свернутую трубочкой газету, которую держал в руке: — Это вчерашняя. Прочтите сами, сеньор.

Стефен развернул газету. Она была от седьмого августа, и в глаза ему тотчас бросились крупные, слегка стершиеся

¹ Война (исп.).

и уже посеревшие заголовки. Они оглушили его, словно удар дубинки по голове. Так долго был он в стороне от всего, что происходило в эти дни на земле, что сейчас, читая газету, словно очнулся от сна. Прошла минута, другая, он опустил газету и уставился невидящим взглядом прямо перед собой. Напряженно сдвинув брови, он припоминал все, что говорил ему Хьюберт в Париже.

— Вы Inglés?

— Да. — Стефен очнулся наконец, почувствовав вежливое любопытство, прозвучавшее в словах собеседника. — Не можете ли вы мне, где здесь консульство?

— Это недалеко. У второго перекрестка свернете налево и потом снова налево. Вы увидите флаг над входом.

Стефен поблагодарил и поспешил в указанном направлении.

Консульство помещалось в особняке, стоявшем в глубине маленького садика неподалеку от гавани. Двери особняка были распахнуты настежь, и, когда Стефен, поднявшись на невысокое крылечко, вошел в вестибюль, там уже толпился народ, так же как и на лестнице, ведущей во второй этаж. Из двух комнат первого этажа, расположенных по обе стороны вестибюля, доносился шум и голоса. Какой-то испанский чиновник с целой охапкой документов в руках то и дело проходил туда и обратно через вестибюль в сопровождении служащего консульства.

С чувством нарастающей тревоги Стефен занял место в конце очереди. Дело, которое привело его сюда, не терпело отлагательства, а стоявшие перед ним в очереди люди ждали — судя по долетавшим до его ушей замечаниям — уже давно. Здесь было много туристов, и среди них — несколько женщин. Все были охвачены стремлением возвратиться как можно скорее на родину, все были выбиты из колеи неожиданно обрушившимся на них бедствием, но при этом, казалось, скорее раздосадованы тем, что сорвалось их путешествие, нежели встревожены предчувствием надвигающейся мировой катастрофы. Они болтали без умолку и даже шутили, пока очередь медленно продвигалась вперед.

Необходимо было что-то срочно предпринять. Но пробиться сквозь теснившуюся на лестнице толпу не представлялось

возможным. И когда служащий консульства снова вышел из двери справа, Стефен шагнул вперед и торопливо произнес:

— Разрешите обратиться к вам по чрезвычайно важному делу.

— Не теперь.

— Я задержу вас не более пяти минут, поверьте.

— Ждите своей очереди.

— Но уверяю вас...

Чиновник досадливо причмокнул и нетерпеливо поглядел на Стефена. На вид чиновнику было лет тридцать, не больше, и у него сохранился свежий цвет лица, но голова уже начинала лысеть. На нем был белый полотняный китель. Приятное, открытое лицо его было сейчас хмуро, он выглядел крайне утомленным и задерганным. Он с неприязнью посмотрел на грязные, рваные башмаки Стефена, на его лоснящийся пиджак и заношенную рубашку, которая стиралась в последний раз в илистом ручье. Однако суровое выражение его лица внезапно смягчилось. Он смотрел на Стефена и словно пытался что-то припомнить. Затем сказал учтиво и несколько церемонно:

— Хорошо... Пройдемте ко мне.

Они вошли в небольшую комнату, почти пустую. Две теннисные ракетки в углу и несколько групповых фотографий на выкрашенных желтой клеевой краской стенах слегка оживляли это помещение, придавая ему менее казенный вид. Чиновник пододвинул Стефену стул и сел за полированный, заваленный бумагами письменный стол.

— Присядьте, пожалуйста. Меня зовут Джордж Холлис.

— А меня — Стефен Десмонд.

Чиновник задумался на минуту и вдруг улыбнулся.

— Ну вот теперь я вспомнил. Вы ведь окончили колледж Святой Троицы в девятьсот девятом?

— Да.

— Ну конечно... А я окончил через год. Я почему-то был уверен, что мы еще встретимся. Рад видеть вас.

Стефен пожал протянутую ему руку и сказал торопливо:

— Мне очень неприятно обременять вас просьбами в такой момент. Но дело в том...

Холлис не стал слушать его извинений:

— Я понимаю. Это вполне естественно. Мы все рвемся домой, хотим попасть туда как можно скорее, чтобы внести свою лепту. Ну, расскажите... Что вы делаете в Испании?

— Я занимаюсь живописью и предпринял это путешествие со своим приятелем, который...

— Ах вот как! И вы, видимо, путешествуете пешком? Слишком знойный край для таких экспедиций. Впрочем, когда мы придем на Рейн, там, пожалуй, будет еще жарче. Ну так. Посмотрим, что можно сделать для вас. — Он заглянул в какую-то бумагу на столе. — Как вы легко можете себе представить, мы положительно теряем голову, стараясь помочь нашим соотечественникам вернуться домой. Граница закрыта, так что возможность отправки вас поездом исключается. Билеты на пароход нарасхват. На пассажирских нет уже ни одного свободного дюйма. К тому же почти все береговые воды минированы. Но я позабочусь о вас. Скоро должен быть грузовой пароход. Нажмем на кое-какие пружины и, я уверен, раздобудем для вас местечко в каюте.

— Благодарю вас, благодарю... — поспешно прервал его Стефен, стремясь как можно скорее изложить свою просьбу. — Но пока что я хотел бы воспользоваться вашей любезностью и попросить о другом. Мой приятель болен, боюсь, очень серьезно. Я должен раздобыть для него врача... В сущности, его нужно немедленно поместить в больницу.

— Ах вот что... — Холлис на мгновение задумался. — Это несложно. Доктор Кабра все вам устроит. Он живет на улице Эстада и работает в больнице Святого Мигеля. Пожалуй, лучше всего дать вам к нему записку. — Он взял перо, набросал несколько слов на листке со штампом консульства, промокнул чернилами пресс-папье, вложил листок в конверт и протянул его Стефену. — Этого будет достаточно, Десмонд.

— Вы необыкновенно добры, и я очень, очень вам признателен, — сказал Стефен с чувством. — Когда я могу еще раз повидать вас?

— Заходите в любое время. Я что-нибудь для вас устрою в ближайшие дни. — Холлис улыбнулся и встал. — Мы можем пообедать вместе как-нибудь вечером, пока вы не уехали.

Пересекая соборную площадь, Стефен с удовлетворением отметил, что еще не было одиннадцати часов. Он без труда разыскал улицу Эстада и тут же увидел сводчатый портик с бронзовой дощечкой: «Доктор Хуан Кабра. Переливание крови».

Слуга отворил дверь, принял у него письмо и ушел, оставив его в прихожей. Вскоре появился и сам доктор. Это был молодой человек небольшого роста, подвижный и даже суетливый, с маленькими аккуратными ручками и ножками, круглым, гладким, шафранно-желтым лицом и маленькими черными, как ягоды терновника, глазками, излучавшими неиссякаемое добродушие и веселость. Он учтиво и с достоинством поклонился Стефену.

— Я всегда счастлив служить *Consulado Británico*¹. Что вам угодно, сеньор?

Стефан описал создавшееся положение, стараясь быть кратким. Доктор на минуту призадумался. Затем задал Стефену два-три вопроса и кивнул, давая понять, что решение принято.

— Немыслимо лечить вашего приятеля на расстоянии. К тому же условия, в которых он находится, слишком тяжелы для него. Надо поместить его в больницу.

— Но как это сделать?

Кабра усмехнулся скромно, но не без оттенка добродушно-го тщеславия, и его маленькие черные глазки на мгновение скрылись за гладкими желтоватыми подушками щек.

— Мы здесь, в Малаге, не отстаем от цивилизации. У нас на пункте первой помощи имеется санитарный автомобиль для нужд всех городских врачей. Мне самому частенько приходится садиться за руль. Сегодня у меня консультация в больнице в четыре часа, а до этого времени я свободен, и мы можем экспроприровать автомобиль и отправиться за вашим приятелем.

— Значит, вы можете поехать прямо сейчас, не откладывая?

— Дайте мне лишь закончить с завтраком. И предлагаю вам разделить его со мной. — Проводив Стефена в небольшую, обшитую деревянными панелями гостиную, где на столе уже стоял поднос с кофейником и булочками, доктор сказал: — Почти

¹ Британскому консульству (*исп.*).

всю ночь я принимал роды. Приятно, когда на свет появляется хороший здоровый мальчишка. Это такая радость для матери.

— Первый ребенок?

— Какое там! Десятый. И все живы и здоровы.

Принесли еще одну чашку, и хозяин любезно и радушно налил Стефену кофе, пододвинул блюдо с булочками. А затем и сам с аппетитом принялся завтракать, болтая без умолку. Он сетовал на войну, но, впрочем, предрекал ее скорый конец, описывал случай из своей практики, восхвалял красоты Малаги и ее превосходный климат — и все это весело и непринужденно, бросая по временам на своего гостя исполненный сочувственного любопытства взгляд. Неожиданно он сказал:

— Если бы вы не заговорили о вашем друге, я принял бы вас за самого пациента. Вы очень истощены.

— Я худ от природы.

— Вы кашляете.

— Это пустяки.

— Ну, пустяки так пустяки. В таком случае улыбнитесь, прошу вас, для разнообразия.

Стефен покраснел.

— Вы понимаете, я очень тревожусь за своего приятеля.

Кабра ответил не сразу. Он допил кофе, поднялся, затем неожиданно наклонился к Стефену и сжал его руку.

— Мы сделаем для него все, что в наших силах.

Они вышли из дома и минут через пять были на пункте первой помощи, где в глубине мощенного булыжником двора стоял санитарный автомобиль — кабриолет с парусиновым верхом, пристегнутым ремнями. Доктор бросил свою сумку на сиденье, завел мотор, и минуту спустя они уже катили через предместье, удаляясь из города с удивившей Стефена быстротой. Насколько доктор Кабра был словоохотлив вначале, настолько стал теперь молчалив. Вцепившись в руль обеими руками, низко пригнувшись к нему, доктор чем-то напоминал маленького бентамского петуха. Пренебрегая всякой осторожностью, но ни на секунду не переставая сигналить, он стремительно вел машину, с поразительным презрением к опасности срезал, не снижая скорости, углы и заставлял так накреняться высокий неук-

люжий автомобиль, что казалось, он вот-вот перевернется. Но зато, оставляя за собой клубы пыли, автомобиль быстро пожирал расстояние, которое Стефен прошел в это утро пешком. Через час они промчались мимо пещерного селения, свернули на узкую тропу, ведущую к холмам, и, подсакивая на буераках, покатали прямо через пустошь к домику Луизы Мендес. Когда они вошли в пристройку, Пейра лежал вытянувшись, с компрессом на лбу. Луиза сидела у стола и выжимала влажную тряпку над миской с водой. Стефен подошел к больному.

— Я привез вам врача, Жером. Как вы себя чувствуете?

— Мне было очень худо. — Пейра повернул потемневшее, осунувшееся лицо к Кабра и устремил на него исполненный подозрения взгляд лихорадочно блестящих глаз. Руки его судорожно перебирали одеяло. — Но сейчас кризис миновал, и я теперь быстро пойду на поправку благодаря заботам этой доброй женщины.

— Ел он что-нибудь? — спросил доктор, ставя на стол сумку и открывая ее.

— Нет, сеньор, только пил воду. Он очень много пьет.

— Вода, родниковая вода — это очистительная сила. Хотя теперь мы не причисляем ее к разряду элементов, как это делали античные философы, тем не менее вода очищает организм, обновляет кровь...

— И утоляет жажду, — прервал больного Кабра. — Вас мучит жажда?

— Да, как будто.

— Болит голова?

— Нет. Но, признаться, у меня ужасно звенит в ушах. Именно поэтому... — Пейра с усилием приподнялся на локте; он еле шевелил сухими, растрескавшимися губами, — я все думал о колоколах... об их бесконечном разнообразии... Даже если не считать гонгов, цимбал, бубенцов... Существуют, например, овечьи и коровьи колокольчики, колокольцы на снях или на упряжи, колокольчики в домах, колокольчики, звон которых созывал римлян в бани, колокола, звонившие к Сицилийской вечерне, когда восемь тысяч французов были убиты по приказу Джованни да Прочида, колокола, возвестившие резню Вар-

фоломеевской ночи, сигнальные колокола, свадебные колокола, погребальные колокола и, конечно, церковные. В сочинении «De Tintinnabulis»...¹

— Amigo². — Кабра успокаивающе положил руку на плечо Пейра. — Прошу вас: хватит о колоколах. Помолчите и дайте мне вас осмотреть.

Пейра закрыл глаза и в изнеможении откинулся на спину, предоставив доктору шупать ему пульс и измерять температуру.

— Нога все еще болит?

— Нет, — чуть слышно, но торжествуяюще прошептал Пейра, не открывая глаза. — Она не болит совершенно.

Стефен, пристально наблюдавший за лицом врача, отметил в нем какую-то едва уловимую перемену.

— Вы абсолютно ничего не ощущаете?

— Абсолютно ничего.

— Ну, в таком случае вы, вероятно, позволите мне взглянуть на нее?

Кабра откинул одеяло и склонился над койкой. Стефен, охваченный тревогой, стоял у окна и видел только, как движутся руки врача, снимающего повязку. Кабра не замешкался с осмотром ноги. Когда он выпрямился и заговорил, в голосе его звучала наигранная бодрость.

— Вот что, amigo, не пора ли нам перебраться на более удобную постель? У нас, в больнице Святого Мигеля, найдется для вас местечко. И я намерен сейчас же, не откладывая, перевезти вас туда.

Пейра протестующе пошевелил губами, но не издал ни звука. Стефен видел, что этот впечатлительный большой ребенок объят страхом. Он жалобно глядел на Стефена.

— Друг мой, когда я пожертвовал наши деньги во славу святой Терезы, я никак не думал, что она так мне за это оплатит.

Кабра за столом укладывал свои инструменты в сумку.

— Я поеду с вами, — сказал ему Стефен.

— Нет. — Кабра говорил весьма решительно. Он подошел к окну, где стоял Стефен. — Вы там будете совершенно беспо-

¹ «О колоколах» (лат.).

² Друг (исп.).

лезны. К тому же, если вы не позаботитесь сейчас о себе, так тоже заболаете. Оставайтесь здесь и отдохните.

— Когда же мне приехать? Завтра утром?

— Ну, скажем, послезавтра.

— Значит, у вас есть надежда? — спросил Стефен, понизив голос.

Кабра отвел глаза, взгляд его был невесел. Он стряхнул с рукава ниточку корпии.

— Вся нога от бедра в очень скверном состоянии. В ступне, по-видимому, уже начался гангреновый процесс. Нужно действовать немедленно, если мы хотим попытаться сохранить ему жизнь. И вы можете быть уверены, что мы сделаем все, что в наших силах.

На носилках Пейра лежал, все так же крепко зажмурив глаза, словно старался защититься этим от чего-то. Временами он нечленораздельно бормотал что-то лишенное смысла. Он уже явно был в полубреду. Однако в последнюю минуту он открыл глаза и поманил к себе Стефена:

— Принеси мне мою окарину.

Он прижимал ее к груди, когда Кабра медленно и осторожно тронул автомобиль с места. Стефен долго стоял, глядя им вслед. Слепая женщина, вся обратившаяся в слух, стояла рядом с ним.

ГЛАВА VIII

Наутро солнце поднялось в ослепительно чистом небе, и первые его лучи пробились сквозь отверстие в брезентовой стене хибарки, служившее окном. Они разбудили Стефена, который спал как убитый. С минуту он лежал неподвижно, затем, когда мысль заработала, встал и с чувством мучительной тревоги и тоски вышел из хибарки. Слепая была во дворе: она вынимала из черного зева печи плоскую кукурузную лепешку. Когда Стефен подошел ближе, она, не оборачиваясь, разломилась только что испеченную лепешку и протянула ему горячий влажный кусок, от которого шел пар. Пока Стефен, стоя, ел ле-

пешку, слепая молчала и не шевелилась. Ее мутные белесые глаза глядели куда-то вверх; казалось, она, лишённая зрения, всеми остальными органами чувств ощущает, видит его, постигает всю глубину его горя.

Неожиданно она спросила:

— Вы думаете о больном?

— Да.

— Вы давно его знаете?

— Не очень давно, но достаточно, чтобы называть его своим другом.

— Мне думается, он ученый человек, может говорить о разных вещах, но... глупый.

— Он говорил так много, потому что болен.

— Да-да, он болен. Конечно. Я видела таких больных, как он, раньше.

— Я очень тревожусь за него.

— Это пройдет. Все проходит — и любовь и ненависть. — Мрачная обреченность звучала в ее голосе. Затем, уже уходя, она прибавила: — Работа — лучшее лекарство от печали. Мне нужен валежник для печи. Я всегда приношу его с ближней просеки.

Стефен пошел в хлев. Ослик, которому Луиза не раз давала свежего сена, уже снова крепко стоял на всех четырех ногах. Он потерял мордой о плечо Стефена, радуясь его появлению. Стефен, видя, что ослик поправился, запряг его в тележку, снял с крюка заржавленный топорик и отправился на просеку по ту сторону ручья, куда указала ему слепая.

Когда-то здесь была ореховая рощица, но ее давно вырубил, остались только гнилые пни, торчавшие среди густой поросли вереска и орешника. Ослик тотчас начал ошипывать кустарник, а Стефен скинул рубашку и взялся за работу. Топорик был старый и тупой, и у Стефена не было сноровки, но он с отчаянной решимостью и упорством рубил и рубил неподатливые кусты, словно стараясь отогнать обступавшие его со всех сторон страшные видения.

Но это ему не удавалось. Пот лил с него ручьями, а он непрерывно думал о Пейра, ставшем жертвой собственных бе-

зумств, мысль о которых раздирала Стефену душу. Он болезненно морщился, вспоминая дикую филантропическую выходку Пейра, из-за которой они остались без денег, роковую расплату за ночлег башмаками, безрассудное упорство, с каким он желал во что бы то ни стало шагать босиком по иберийской пыли, думая облегчить этим боль в натертой пятке. Казалось, дух Рыцаря печального образа возродился в Пейра под действием воздуха и солнца Испании и заставил его отправиться навстречу самому плачевному из всех его плачевных приключений.

Когда же усилием воли Стефену удавалось отогнать эти тягостные воспоминания, его мысли неизменно обращались к войне. В эту самую минуту люди где-то убивали друг друга и падали убитыми. А теперь и он тоже должен принять участие в этой бойне, единственным результатом которой будут бесконечные страдания, чудовищный хаос ненависти и мести. Снова Стефену припомнились слова Хьюберта, и кровь бросилась ему в лицо. Надо возвращаться на родину, и как можно скорее, хотя бы для того, чтобы защитить свое доброе имя и доказать, что ты не трус.

Стефен работал весь день не покладая рук: одну за другой пригонял он из лесу тележки с хворостом и складывал его во дворе за хлебом, куда, судя по валявшимся на земле сучьям, надлежало убирать топливо. Когда он пригнал восемь тележек и появился из-за края оврага с девятой, Луиза, как всегда неподвижная и задумчивая, стояла на пороге, скрестив руки на груди, крепко прижав локти к бокам.

— Вы изрядно нагрузили вашего ослика напоследок.

— Откуда вы знаете?

— Слышу, как скрипят колеса тележки и как тяжело дышит ослик. — Лицо ее оставалось бесстрастным. — Ужин готов. Сегодня, если хотите, мы можем поесть вместе у меня за столом.

Стефен устроил осла на ночлег, помылся из ведра у колодца и вошел в дом. Так же как и пристройка, он состоял из одной-единственной комнаты и был обставлен почти столь же убого: стол да стулья, грубо сколоченные из ореховых досок. В углу стояла полная угля жаровня, на стене над ней висело несколько

старых медных сковородок. У другой стены помещалась металлическая кровать, наполовину скрытая ширмой, и над кроватью — цветная литография Девы Марии Баталлаской. Земляной пол кое-где был застлан очень ветхими соломенными циновками.

Слепая жестом предложила Стефену сесть за стол, отрезала ему ломоть кукурузного хлеба, сняла с жаровни горшок и наложила полную тарелку бобов, приправленных красным перцем. Потом опустила на стул напротив. Наступило молчание. Стефен спросил:

— А вы почему не едите?

Она повела плечами, оставив вопрос без ответа.

— Вам нравятся бобы? Давайте положу еще. К сожалению, у меня нет вина.

Бобы отдавали оливковым маслом и чесноком, но Стефен был голоден и, поев горячих сытных бобов, сразу почувствовал, как у него прибывают силы.

— Вы хорошо поработали сегодня, хотя для вас это дело непривычное. В эту зиму я не буду сидеть без топлива.

— Значит, здесь бывают холода?

Слепая кивнула.

— Ветром наносит снег с Сьерры. Случаются и очень большие заносы.

— Вам здесь, наверное, одиноко в зимнюю пору?

— Я привыкла. — Голос ее звучал бесстрастно. — Вот уже пять лет, как я живу одна. Со смерти мужа. Никому не хочется умирать. Но приходится.

— Вы жили здесь всю жизнь?

— Нет, друг мой. Я родилась в городе Хересе. Там я венчалась в церкви Святого Дионисия. Мой муж работал в торговом доме Гонсалеса. Он был бондарь, делал обручи для винных бочек.

— Это хорошее ремесло.

— Да, но неверное. Если бы бочка интересовала его только снаружи, все было бы хорошо. Но он стал заглядывать внутрь, и его уволили за пьянство. А потом, когда сушили дрок, у меня

заболели глаза от пыли. В Андалузии это дело обычное. Веки распухли, и я потеряла зрение. Сначала пробовала продавать лотерейные билеты. Это работа, которую дают слепым. Но вскоре заболела и так же, как мой муж, осталась без работы.

— Верно, вам пришлось туго тогда?

— Есть кое-что и похуже бедности... Унижение. В Хересе существует странный обычай. Его установили богачи. Бедняков одевают в синюю форму и посылают на улицу собирать милостыню в общий котел. Стоит получить хоть небольшую частицу денег, и ты уже считаешься нищим и на тебя смотрят как на человека пропащего.

— Это жестокий обычай.

— Вы правильно сказали, друг мой. Бывало, лежишь ночами без сна, голодная и мечтаешь о самом крохотном клочке земли, на котором можно было бы выращивать бобы. Как-то раз на последние две завалывшиеся песеты я просто уж с отчаяния купила десятую часть лотерейного билета. Всем сердцем, всеми помыслами, всем своим голодным нутром взмолилась я к святому Дионисию, чтобы он исполнил мою просьбу — чтобы мой билет выиграл.

— И он выиграл?

— Нет. Так и не выиграл. А месяц спустя погиб наш единственный сын, которому было тогда четырнадцать лет. Попал под поезд на переезде. Это было большое горе. Мы не ждали вознаграждения, но получили его. Богачи, которые из милости одевают бедняков, сочли нужным дать нам вознаграждение. И мы купили этот вот клочок земли и назвали нашу усадьбу «Усадьба Фелипе» — в честь сына.

— У вас здесь славный уголок, — сказал Стефен, желая сделать ей приятное.

— Был когда-то славный. Теперь все пошло прахом. Разве я могу одна управиться с хозяйством? Если была бы хоть какая-нибудь подмога. Но об этом нечего и мечтать.

Она умолкла. Стефен осушил свою чашку воды, слепая встала, зачерпнула ковшом воды из ведерка, стоявшего в углу, и снова наполнила чашку.

— А вы... Вы давно в Испании?

— Нет, недавно.

— И думаете остаться здесь?

— Нет. Как только мой приятель сможет ходить, нам придется уехать.

— А, ваш приятель... Видно, вы очень привязаны к нему.

Завтра вы поедете в Малагу?

— Да.

— И вечером вернетесь?

— Если вы позволите. У меня нет другого пристанища. Но я постараюсь расквитаться с вами за все работой.

Слепая ничего не ответила, ее темное, обветренное, печальное лицо оставалось бесстрастным, но он понял, что сказал не так, как нужно, и поспешил исправить ошибку:

— Я не то хотел сказать — не расквитаться, конечно, а отблагодарить вас.

— Вы сказали правильно. Когда человек так беден, как я, некоторые слова теряют для него свой смысл.

— Но только не слова благодарности. — Внезапно Стефена осенила новая мысль. Он сказал: — У вас в хлеву стоит наш ослик с тележкой. Нам он больше не нужен, а вам может пригодиться. Я прошу вас принять его от нас в знак нашей глубокой признательности.

Снова она ничего не ответила, и ничто не изменилось в ее неподвижном лице, но Стефен почувствовал, что его слова глубоко тронули ее. Крупные, морщинистые губы ее, так резко очерченные, словно они были вырезаны из куска темного дерева, едва приметно дрогнули, и она глубоко вздохнула. Затем неожиданно и все так же молча наклонилась вперед и указательным пальцем легонько провела по лицу Стефена. Это длилось всего несколько секунд. Слепая никак не объяснила своего поступка и не попросила извинения. Встала, взяла со стола пустую миску, оловянную ложку и чашку.

— Вам нужно отдохнуть, прежде чем пускаться завтра в путь. Постарайтесь выспаться как следует и набраться сил: никогда не знаешь, что ждет тебя впереди.

ГЛАВА IX

На следующее утро часов около десяти Стефен уже подходил к больнице Святого Мигеля. Она помещалась в тихом переулочке, спускавшемся прямо к Гвадалмедине, где несколько женщин, стоя на коленях на каменистом берегу, колотили вальками белье. До Стефена все еще долетали их веселые возгласы, когда он, нервно дернув дверной колокольчик, замер в ожидании. Появилась монахиня в синем платье и крылатом апостольнике и подошла к решетке. Стефен назвал себя, его провели в просторный внутренний дворик и попросили обождать.

Он присел на низкую каменную скамью и огляделся. Это был восхитительный внутренний дворик, уцелевший, казалось, в полной неприкосновенности с пятнадцатого столетия. В центре дворика стояла статуя дона Мигеля де Монтанеса — андалузского гранда, который, внезапно презрев легкомысленные светские утехи, пожертвовал свое состояние на устройство больницы и посвятил этому делу всю жизнь. На постаменте имелась табличка со стершейся от времени надписью, оповещавшей о намерениях основателя больницы врачевать недужных и погребать по христианскому обряду казненных преступников и нищих. В глубине двора величественная, хотя и обветшавшая от времени мраморная колоннада вела к сводчатому входу в главное здание больницы. Справа дворик замыкался монастырской стеной, из-за которой доносилось монотонное пение монахинь, слева — небольшой часовенкой в стиле барокко. За распахнутой дверью из кедрового дерева, обитой медными гвоздиками и украшенной гербом, виднелся высокий алтарь с мозаикой и позолоченными фигурами святых.

Одухотворенная и трогательная красота этого дворика не могла бы не взволновать Стефена при других обстоятельствах, но сейчас он терзался неизвестностью и тревогой, а вся эта средневековая торжественность и уединение действовали на него еще более угнетающе. Почему его заставляют так долго ждать? Беспокойство и дурные предчувствия росли в его душе с каждой минутой.

Но вот послышались быстрые шаги — они раздались так внезапно, что Стефен вздрогнул, — и из боковой двери больницы вышел доктор Кабра. Он был в коротком белом халате, с непокрытой головой. Доктор подошел к Стефену, пожал ему руку и опустился рядом с ним на каменную скамью.

— Так вы уже здесь? Простите, что заставил вас ждать. У нас не принято беседовать с посетителями во дворе, но наши добрые монахини очень снисходительны, и притом тут прохладнее, чем у меня в кабинете. — Он умолк и, бросив на Стефена сочувственный взгляд, положил руку ему на плечо. Сердце Стефена болезненно сжалось. «Случилось плохое, быть может, самое ужасное», — промелькнуло у него в голове. Он услышал слова Кабра: — Я хочу рассказать вам обо всем, что мы предприняли, чтобы спасти вашего друга. Как только мы добрались до больницы, я тотчас вскрыл рану у него на ноге и дренировал ее. После этого мы несколько раз промывали ее и одновременно делали все, что только могли, чтобы приостановить заражение крови. Однако безрезультатно.

Стефен почувствовал, как к горлу у него подкатил комок.

— Нужно было решать, следует ли прибегнуть к последнему средству — к ампутации ноги. Как я уже предварял вас, ваш друг был так слаб, кровообращение было нарушено так сильно, что смерть могла наступить мгновенно на операционном столе. Однако без операции выжить он не мог.

В воцарившейся тишине слышно было только тихое, замирающее пение монастырского хора. Кабра, сдвинув брови, смотрел прямо перед собой — казалось, он колеблется, подыскивая слова. Стефен до боли закусил губу, дурные предчувствия превращались в страшную уверенность.

— Я должен был принять решение и решил ампутировать ногу. Поверьте мне, — Кабра прижал руку к сердцу, — будь это мой родной брат, я не мог бы сделать больше того, что сделал. Операция прошла хорошо и довольно быстро. И все же... — Кабра оборвал себя на полуслове и слегка развел руками, выражая сожаление, сочувствие, печаль, — вчера к вечеру развился шок. Я увидел, что все наши усилия не привели ни к чему. Будь у меня хоть малейшая возможность тотчас сообщить вам,

я бы это сделал. — И, помолчав немного, он добавил: — Конец наступил очень быстро. Вчера же, в одиннадцать часов ночи.

Стефен и без этих последних слов уже знал все, но, услышав их, почувствовал, что не в силах им поверить. Так быстро, так внезапно это произошло: умер некто Жером Пейра, одинокий, безвестный... А он даже не попрощался с ним! Стефен не проронил ни слова, не пошевелился. Кабра пробормотал:

— Если я могу быть вам чем-нибудь полезен в предстоящих хлопотах...

Стефен очнулся.

— Он здесь?

— Нет. В морге для бедняков. Наш устав дает нам возможность устраивать скромные похороны... — Кабра слегка пожал плечами и добавил мягко и тактично: — В известных обстоятельствах. Вы не возражаете?

— Это не имеет значения. Пейра не первый и не последний художник, умерший в такой нищете, что всего его скарба не хватит, чтобы уплатить за гроб. — Стефен встал. — Простите меня. Вы были очень добры. Когда могу я зайти в морг?

Кабра взглянул на свои часы.

— Сейчас морг закрыт до вечера. Лучше всего зайдите попозже... часов в семь. Загляните сначала ко мне. Я должен составить и подписать кое-какие бумаги.

— Благодарю вас. Я найду, и вы скажете мне тогда, сколько я вам должен. Прошу вас не сомневаться, что я рассчитаюсь с вами, хотя и не сразу, но в самом непродолжительном времени.

— Вы ничего мне не должны. Когда-нибудь, быть может, вы напишете мой портрет в память о нашей встрече, столь приятной для меня и столь печальной. — Провожая Стефена до ворот, доктор Кабра неожиданно и не без некоторого любопытства спросил: — Не можете ли вы объяснить мне одну вещь? Вы говорили, что ваш приятель совершенно одинок, что у него нет ни жены, ни возлюбленной. Почему же он в бреду беспрестанно твердил: «Тереза, Тереза»?

— Это имя женщины, которую... которой он поклонялся.

— Любовная связь?

— Нет, чисто духовная.

— А! Она умерла раньше его?

— Да! — яростно выкрикнул вдруг Стефен. — Четыреста лет назад!

Он вышел за ворота и пошел наугад, низко опустив голову, устремив затуманенный взгляд в землю. С набережной он свернул в городской сад и прошел под цветущими жакарандами, потом — по аллее, обсаженной кустами тамариска, подстриженными в форме зонтиков. Где-то в отдалении играл оркестр. Выйдя на шоссе, Стефен увидел за поворотом море и направился к молу. Он задыхался, море манило его своей свежестью и прохладой, и он поднялся на каменную стену мола, уходившую далеко, в синеву.

Он чувствовал себя одиноким и опустошенным, глубоко несчастным. Уже не впервые погружался он, словно грешная душа в преисподнюю, в бездну самого черного отчаяния, но никогда еще горе его не было таким безысходным, мысли — такими беспросветными. Пейра умер. А сам он должен теперь стать солдатом и, значит, оставить живопись, а это было для него страшнее всех ужасов и тягот войны. Испытывал ли он страх? Это был пустой, бессмысленный вопрос, он не стал даже над ним задумываться. Уже давно жизнь в обычном смысле этого слова потеряла для него цену. Быть может, язвительные упреки Хьюберта все еще продолжали угнетать его? Возможно. Но в сущности, ни Хьюберт, ни семья, ни чье-то мнение не имели для него значения. По-настоящему важно было только одно — пламя, горевшее в его груди, созидательный жар. Живопись была его страстью, единственной целью его существования, силой куда более могущественной, нежели голод или жажда. Это был инстинкт, так безраздельно подчинявший его себе, что он не в силах был ему противиться.

Он дошел до конца мола и присел у подножия маяка отдохнуть. Какой-то мальчишка, примостившись на краю мола, удил рыбу. Он насаживал кусочки креветок на крючок и время от времени вытаскивал из воды крошечную серебряную рыбешку, швыряя ее в парусиновый мешок. Стефен наблюдал за мальчишкой, и рука его невольно потянулась к карману — за альбомом, к которому он не прикасался уже много дней. Альбома

в кармане не оказалось, но заглушить тоску по работе ему не удалось. Она все нарастала, она кипела, она бродила в нем, как дрожжи, а горе, одиночество и долгий период вынужденного бездействия еще усиливали эту тоску. Весь во власти этой некротимой тяги, Стефен думал: «Я должен работать, должен, не то сойду с ума».

Он долго сидел не шевелясь, весь бледный от обуревавших его чувств. Рассудок его был во власти одного клокотавшего в нем яростного стремления, которое было сильнее всего и важнее всего на свете. Внезапно, когда он мучительно пытался разобраться в сумбуре нахлынувших на него чувств, сознание его прояснилось. И в эту минуту в теплом влажном воздухе разлилось поскрипывание весел в деревянных уключинах и зазвучали голоса мужчин, поющие песню. Рыбачьи баркасы, еще не встречая пока преград, чинимых войной, уходили в море на ночной лов. Миновав мол, рыбаки сложили весла и подняли треугольные паруса. Мертвая зыбь качала баркасы, мерно подымая на свои валы, и мгновениями казалось, что то одно, то другое судно висит в воздухе между небом и водой. Потом они плавно скользили вниз друг за другом и, словно стая ласточек, исчезали в туманной дали. На западе солнце опускалось за хребты Сьерры-Невады, и края облаков пламенели, а на предгорья ложились фиолетовые тени, делая их еще более далекими и таинственными. Близкие виноградники уступами спускались с гор и были так отчетливо видны, что казались написанными твердыми, резкими мазками, а под ними четко вырисовывались силуэты башен, минаретов, кровли домов. Минуты шли. Закат пылал, огненным полукольцом охватив город. Любуясь на это диво, Стефен почувствовал, как тает боль в его груди и крепнет решимость. Когда сумерки серым саваном окутали купол собора, неподалеку от которого в морге для бедняков покоилось тело Пейра, Стефен встал и направился обратно в город. Решение его было принято.

Он спустился с мола. Когда он выходил из ворот гавани, кто-то неожиданно окликнул его. Обернувшись, он увидел Холлиса с портфелем под мышкой, спешившего к нему со стороны доков.

— Я узнал вас издали, Десмонд. Большая удача, что я вас встретил. — Холлис перевел дыхание и улыбнулся Стефену. — У меня для вас хорошие новости. Торговое судно «Мурсия» отплывает из Малаги в Ливерпуль в следующий вторник, и консулу удалось получить для вас место.

Стефен молчал.

— И это еще не все. У меня есть разрешение возвратиться на родину, чтобы тоже надеть форму. Я поплыву вместе с вами на этой старой посудине. — Холлис говорил небрежно, лениво цедя слова, однако скрыть своего радостного возбуждения ему не удавалось, он был полон энтузиазма. — Это небольшое суденышко водоизмещением всего три тысячи тонн, и, разумеется, никаких удобств. Мы, вероятно, получим места на полубака, так что прихватите с собой одеяло, если оно у вас имеется, а я раздобуду несколько банок мясных консервов. Между прочим, я не думаю, что с нами пошлют охрану, а Средиземное море полно неприятельских подводных лодок... словом, наше путешествие может оказаться довольно увлекательным.

Холлис умолк. Стефен ответил не сразу:

— Мне очень жаль, но я не предполагаю возвращаться сейчас на родину.

— Что такое? — Холлису показалось, что он ослышался.

— Я не вернусь в Англию сейчас. Я останусь здесь.

Снова наступило молчание. Лицо Холлиса отразило происходившую в нем смену чувств: изумление сменилось недоумением, затем недоверием и наконец — холодным презрением.

— И что же вы намерены делать?

— Я буду работать — писать картины.

Стефен повернулся и быстро зашагал прочь в надвигающуюся тьму.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



ГЛАВА I

Было сырое октябрьское утро 1920 года, в Броутоновском поместье завтрак подходил к концу. С пожелтевших листьев огромных буков дождь стекал прямо на террасу, и она была совсем мокрая. Кольцо Чанктонбери затянуло туманом, но в столовой, застланной красным ковром, было тепло и уютно, потрескивал огонь в камине и приятно пахло кофе, а также беконом и жареной печенкой, стоявшими в серебряных судках на буфете. Однако в атмосфере, царившей за столом, чувствовалась легкая натянутость, что, впрочем, мало заботило генерала Десмонда, приехавшего поохотиться, — гладко выбритый и подтянутый, он сидел с невозмутимым видом и намазывал джем на хрустящий поджаренный хлеб.

Молчание нарушил Джофри:

— Чертова погода. Никогда не видывал такого дождя.

— К обеду еще может разгуляться, — заметила Клэр, глядя в парк.

— Даже если мы сможем пойти на охоту, все равно в лесу будет так мокро, что дичь не станет взлетать.

Уязвленный в своем самолюбии собственника — а он не уставал все снова и снова похвалиться, особенно перед отцом, охотничьими достоинствами земель, доставшихся ему после женитьбы, — Джофри откинулся на спинку стула, вытянул под столом длинные тонкие ноги и, нахмурившись, перевернул страницу утренней газеты.

Клэр усилием воли стряхнула с себя оцепенение и повернулась к свекру. Ей все еще нездоровилось: она лишь недавно оправилась от инфлюэнцы, плохо спала и почти ничего не ела.

— Хотите еще кофе?

— Нет, благодарю, моя дорогая. — Генерал понимающе потрепал ее по руке. — Когда вы едете к вашему доктору?

— Завтра.

— Ну так скажите ему, чтобы он дал вам что-нибудь для аппетита.

Клэр улыбнулась:

— Я скоро поправлюсь. А тебе налить кофе, Джофри?

Джофри ничего не ответил. Он вдруг застыл, впившись взглядом в газету.

— Черт возьми! Нет, вы только послушайте! — вырвалось у него. И торжественным голосом, каким оповещают о сенсации, он прочел: — «Вчера в галерее Мэддокса, Нью-Бонд-стрит, открылась выставка картин Стефена Десмонда. Мистер Десмонд, чья работа „Цирцея и влюбленные“, вызвавшая много споров, была удостоена в тысяча девятьсот тринадцатом году Люксембургской премии, недавно вернулся в Англию; он — сын почтенного Бертрама Десмонда, настоятеля Стилуотерского прихода в Сассексе. Его младший брат, лейтенант Дэвид Десмонд, был убит в боях у Ваймириджа. Настоящая выставка, устроенная в Англии на средства Ричарда Глина, представляет собой собрание картин мистера Десмонда, написанных преимущественно в военные годы, которые, насколько нам известно, он провел в сравнительной тиши Иберийского полуострова. Однако мы опасаемся, что, несмотря на это великое преимущество, мистер Десмонд трудился напрасно. Мы нашли его пейзажи примитивными, а композиции — нелепыми и вульгарными. Презрев наши исконные традиции, он утратил ясность видения и погряз в эксцентричности. Хотя его полотна не лишены фантазии и в известной мере передают ощущение зноя, они не могут расцениваться нами иначе как плод изощренной и расстроенной психики. Мы воздерживаемся от употребления более сильных выражений, но, возможно, найдутся люди, которые не будут столь тактичны. Короче говоря, нам неприятно это *soi-disant*¹ искусство, и мы не можем полюбить его».

¹ Так называемое (*фр.*).

Последовало напряженное молчание; затем Джофри добавил:

— Тут помещена фотография одной из картин. Полуголая шлюха, окруженная толпой омерзительных головорезов. На мой взгляд, вещь совершенно декадентская.

Он отшвырнул газету. Клэр, сидевшая неподвижно, с застывшим лицом, усилием воли подавила неудержимое желание тотчас взять ее. Тем временем генерал поднялся из-за стола и, повернувшись спиной к камину, в хмуrom раздумье стал раскуривать трубку.

— Интересно, как воспримут это в Стилуотере.

— Плохо. Я уверен, что вся история начнется сначала.

— Я полагаю, он все-таки явится домой.

— А как же! У него, наверно, за душой-то нет ни гроша.

Генерал в задумчивости сдвинул брови.

— Боюсь, что Бертрам сейчас не в состоянии субсидировать его. Жаль... Очень жаль! Удивляюсь, как это у малого хватило духу сунуться в Англию.

— А я так несколько не удивляюсь. Он, конечно, все время не оставлял мысли явиться сюда, когда отгремят бои.

До сих пор Клэр молчала. Но сейчас она отважилась заметить:

— Интересно, так ли уж плохи его картины, как об этом пишут.

— Боже правый! Да неужели ты не слышала, как о них отзывается этот репортер?

— Слышала, Джофри. Но мне эта критика кажется пристрастной. Автор сам признает, что ему непонятны картины Стефена. Возможно, он вообще недостаточно разбирается в искусстве.

— Недостаточно разбирается?! Да это же эксперт. Иначе он не писал бы в такой газете, как «Пост».

— Ну а Глин? — мягко, но слегка покраснев, настаивала Клэр. — Это известный художник. Почему же он субсидирует выставку Стефена, если его работы никуда не годятся?

— Потому что он под статью моему героическому двоюродному братцу и радикал до мозга костей. — Джофри метнул гневный взгляд на жену, несказанно раздраженный логично-

стью ее доводов. — Я убежден, что эта идея пришла им в голову где-нибудь в парижском погребке.

— Где бы они об этом ни сговаривались, — спокойно и рассудительно заметил генерал, — эта выставка — вещь крайне неприятная для нашей семьи... Крайне. Как вспомню Дэвида... а теперь еще это. — И он направился к двери. — С вашего позволения, Клэр, я сейчас позвоню Бертраму.

— Непременно позвони, отец, — поддержал генерала Джоффри, поднимаясь из-за стола. — Встретимся в бильярдной. Сыграем по сотне и поговорим.

Оставшись одна, Клэр взяла газету, отыскивала интересовавший ее столбец, дважды прочла его и несколько минут сидела, задумавшись, — во взгляде ее притаилась тревога. Затем она порывисто поднялась и пошла наверх, в детскую. Однако Николас и маленькая Гарриэт уже отправились с няней Дженкинс на прогулку — до привратничкой и обратно. Дженкинс считала, что утром детей надо «проветривать» независимо от погоды, и Клэр, подойдя к окну, увидела две маленькие фигуры в желтых макинтошах, высоких сапожках и зюйдвестках, а между ними — дородную няню в синем пальто, которая скорее ради пущего аристократизма, чем по необходимости, держала над собой зонтик на длинной ручке. Зрелище это подействовало на Клэр успокоительно, и, сама того не сознавая, она улыбнулась. И почти тотчас вздохнула. Если не считать беспокойства за семью Стефена, у нее, собственно, не было причин особенно волноваться, узнав вдруг о его возвращении. По словам Джоффри, она давно уже списала его в архив. Она знала его недостатки и, как все прочие, осуждала их. Однако в ней теплилась надежда, что он еще может как-то искупить то зло, которое причинил своим близким, — и, скорее всего, именно с помощью своей прискорбной слабости. Чувство справедливости — а она уверяла себя, что ею руководит только чувство справедливости, — подсказывало ей, что в статье есть нотки предвзятости, что она отражает скорее суждение обывателя, чем художника, и это возбудило в ней желание стать на защиту Стефена, по крайней мере, поправила она себя, — на защиту его работ.

Дождь продолжал лить, мужчины не могли идти на охоту, унылый день тянулся без конца, и раздражение Джоффри все

возрастало. Клэр понимала, что он сердится на нее за то, что она не скрывает своего недомогания — как будто она виновата в том, что ей нездоровится, — а кроме того, подозревала, что ему предстоит не очень приятный день платежей. Но хотя обычно она чутко откликалась на его настроения, как и на настроения всех окружающих, сейчас она была слишком занята своими мыслями. Что-то зашевелилось в глубине ее души — пока еще смутно, подсознательно, но уже ощутимо.

На следующее утро Клэр, в темно-сером костюме и маленькой шапочке, оставившей открытым красивый белый лоб, отправилась на станцию в Халборо и села в поезд, шедший в Лондон. Она забилась в уголок купе, где, кроме нее, никого не было, и, уткнувшись подбородком в коричневый мех горжетки, крепко стиснув затянутые в перчатки руки, смотрела потемневшими, расширенными глазами на знакомые зеленые поля Сассекса, еще не просохшие после недавно прошедшего дождя, на подстриженные изгороди и змеящиеся вдоль них канавы, на молочно-белую Арен, текущую среди мокрой травы, порывевшей осоки и камышей, похожих на багряные копыя.

На вокзале Виктории Клэр взяла такси и поехала на Уимпол-стрит, где доктор Эннис, которого дела задержали в больнице, заставил ее прождать до четверти двенадцатого. Консультация прошла без неприятных неожиданностей, врач нашел, что состояние Клэр стало гораздо лучше, пошутил немного над ее задумчивостью и, с улыбкой, по-отечески потрепав по плечу, отпустил около двенадцати часов дня.

Клэр медленно пошла по направлению к Уэст-Энду. Впереди у нее был целый день, и все интересовало ее: сутолока на шумных улицах, яркие витрины, проносящиеся мимо автобусы, — она всегда так дорожила этими часами свободы. Может быть, зайти в клуб? Нет, ей не хотелось сегодня заниматься болтовней... Почти бессознательно пошла она по Оксфорд-стрит и завернула в маленькую французскую кондитерскую, находившуюся в конце Бонд-стрит. Здесь она заказала кофе с бриошью. Вступив в роль сельского сквайра, Джоффри требовал, чтобы к столу подавалась сытная, обильная еда, и сейчас Клэр с наслаждением съела более легкий завтрак. Затем вопреки обыкновению, словно для того, чтобы иметь повод посидеть подольше,

она закурила сигарету: доктор Эннис советовал ей не отказываться от мелких радостей жизни.

Но вот она снова очутилась на улице и сначала неуверенно, затем, словно влекомая роком, направилась к галерее Мэддокса. Галерея помещалась в узком, довольно облезлом здании, зажатом между магазином антиквара и студией модного фотографа. Клэр быстро вошла с сильно бьющимся сердцем. Скромность обстановки и полнейшее безлюдье поразили ее. Собственно говоря, в галерее было всего две женщины, которые разговаривали полусшепотом, склоняясь над каталогом, а за столом сидел, погрузившись в чтение, долговязый сонный юноша в полосатых брюках и черной, обшитой тесьмой куртке, по видимому олицетворявший собой охрану галереи.

Преодолев смущение, Клэр принялась осматривать картины. Прежде всего ей бросились в глаза смелые пятна ярких контрастных красок. Ей так хотелось справиться с волнением и попытаться трезво оценить произведения Стефена, понять их. Но по силам ли ей это? Пожалуй, нет. У нее для этого недостаточно знаний — ведь она самый обычный человек, лишь в скромной мере наделенный так называемым художественным вкусом. К тому же, призналась себе Клэр, она отнюдь не беспристрастна, ибо ей от всего сердца хочется, чтобы картины понравились ей и она могла бы их одобрить. Тем не менее она сразу почувствовала могучую силу, исходившую от этих полотен, дыхание живой, кипучей жизни. Они показались ей оригинальными по мысли и по выполнению. Это были работы далеко не заурядные.

Одна в особенности — андалузский пейзаж — надолго задержала внимание Клэр. Слепящий свет буквально резал глаза, она чувствовала, как солнце жжет бесплодные склоны холмов и чахлые оливковые деревья. На другом полотне была изображена босоногая крестьянка: старуха стояла в профиль, в рваной кофте и юбке из мешковины, с деревянной мотыгой на плече. От этой картины веяло такой грустью и достоинством, такое яркое выражение получил здесь образ угнетенного и страдающего человечества, что Клэр была взволнована до глубины души.

Она стояла перед полотном, погруженная в свои думы, как вдруг кто-то окликнул ее. Она резко обернулась и увидела Стефена. Мгновенно вся кровь отхлынула от ее лица — от удивления и неожиданности Клэр едва не потеряла сознание. Ей ни на секунду и в голову не приходило, что он может быть здесь, да и сама-то она попала сюда совсем случайно: она сделала это, не раздумывая, под влиянием порыва. И то, что об этом никто не знал, вызвало у нее ощущение, будто ее застали за чем-то запретным и постыдным.

— Клэр! Как мило, что вы пришли.

Он сердечно пожал ей руку, задержав ее на миг в своих сильных тонких пальцах. Несмотря на смятение, овладевшее Клэр, она заметила, что Стефен страшно похудел: настоящий скелет — кожа да кости. К тому же он отпустил небольшую бородку, что еще больше удлиняло его лицо, подчеркивая впадины на висках и создавало впечатление ужасной изможденности. Однако он загорел и держался очень прямо. И эта его осанка и загар — в сочетании с застиранными плисовыми штанами, фланелевой рубашкой и синей матросской курткой — придавали ему такой бодрый, энергичный вид, что Клэр успокоилась и отбросила первоначальную мысль о том, что он болен.

— Как вы мало изменились, — тем временем продолжал он. — Давайте присядем вон там — нам будет удобнее разговаривать. Вы, конечно, на весь день приехали в город. Как поживают дети и Джофри?

Она сообщила ему все новости о своей семье, но не осмелилась даже упомянуть о его родных в Стилутере. Он держался открыто и дружелюбно, без той юношеской стеснительности, от которой когда-то так страдал, и, казалось, у Клэр не было повода для замешательства. Однако, как она ни старалась, ей не удалось совладать с собой, и она сидела, почти не поднимая глаз.

— Насколько я понимаю, вы уже закончили осмотр выставки, — через некоторое время как бы между прочим заметил Стефен. — Скажите, что вы о ней думаете?

— Мне понравилось... — с запинкой, точно школьница, ответила она.

— Не бойтесь сказать мне правду, — мягко перебил он ее. — Я уже привык к ругани.

Она вдруг покраснела.

— Мы видели статью в «Пост». Мне было очень неприятно. Это так... так несправедливо.

— Ах это! Ну, это еще довольно снисходительная критика. Даже, можно сказать, с реверансами. Вы бы видели другие статьи — чего только обо мне не писали! «Сплошное бесстыдство...», «Невежественная мазня...», «Извращенная бессмыслица...» — Он усмехнулся. — А когда мы с Пейра устроили нашу первую выставку в маленькой комнатухе на улице Пигаль, единственный критик, забредший туда, посоветовал нам сжечь наши картины и открыть сосисочную.

От его спокойного тона у Клэр защемило сердце. Она сидела, опустив глаза, и вдруг заметила грубую заплатку у него на колене, а потом ей бросились в глаза его ботинки, тщательно вычищенные и аккуратно зашнурованные, но простые, тяжелые рабочие ботинки, подбитые толстыми гвоздями. И, не удержавшись, она воскликнула:

— Нелегко вам пришлось, Стефен!

Но ему было неприятно ее сочувствие.

— Зато я занимался тем, чем хотел. Это единственное, что для меня важно... без чего я не мог бы жить.

— Но ведь это должно так обескуражить, когда встречаешь одни оскорбления и ни в чем не можешь добиться успеха.

— Материальный успех не так уж важен, Клэр. Обычно к нему ведет проторенный путь избитых приемов. Главное — сама работа и то ощущение, которое она дает. К тому же некоторые мои картины получили признание. Два моих полотна висят в Гагской муниципальной галерее, одно — в Брюсселе и еще одно — в Государственном музее в Осло. — Жест удивления, вырвавшийся у Клэр, снова заставил его улыбнуться. — Это вас поражает? В конце концов, есть страны, которые покупают работы молодых художников.

Эта неожиданная новость, что картины Стефена все-таки покупают, необычайно порадовала Клэр. Взгляд ее остановился на полотне со старой испанкой.

— Мне понравилось вот это... очень.

— Луиза Мендес. Да, это была хорошая женщина. Когда у меня кончились все деньги, до последней песеты, она кормила меня. А ведь ей и самой-то едва хватало на жизнь. Но это была честная бедность. — И он добавил: — Она была слепая.

Клэр внимательно посмотрела на картину и, желая показать, что она серьезно отнеслась к его работе, наугад заметила:

— Эти грубые мазки очень выразительны.

Он усмехнулся:

— Мне было не по средствам настоящее полотно. Я писал на дерюге... Оторвал кусок от мешка из-под картошки.

— Вы приехали сейчас из Испании?

— Нет, я уже полтора года назад уехал оттуда. Мне хотелось поработать в Париже с одним человеком. Его зовут Амедео Модильяни. Отличный художник. Я был просто влюблен в него.

— Почему «был»?

— Он умер недавно в больнице для нищих. А на следующий день после его смерти молодая женщина, с которой он жил, покончила с собой.

Его бесстрастный тон испугал Клэр. Чего он только не изведет за эти годы, как низко не опускался! В волнении она исподтишка взглянула на него. Да, лицо его носило на себе следы лишений и тяжелых испытаний, словно он долгие годы прожил среди бедных и обездоленных существ и, дойдя до предела отчаяния, все-таки уцелел — не с помощью цинизма, а благодаря тому сокровенному огню, что горел в нем. Какой он странный... и все же...

Наступило молчание. В галерее появилось несколько человек; у них был такой вид, точно они пришли взглянуть на диковинку. Молодой человек, сидевший за столиком, выпрямился, провел гребенкой по волосам, откидывая их со лба. Клэр почувствовала, что он смотрит на нее.

— Вы остановились в Лондоне? — спросила она.

— Да. Глин разрешил мне воспользоваться его мастерской. Это возле Фулхем-роуд. Он уехал на несколько недель. Мэддокс тоже очень добр ко мне. Кстати, он будет здесь в три. Мне бы хотелось познакомить вас с ним.

Она нервно поежилась: это уже значило бы зайти слишком далеко. Нет, она не может, не должна оставаться. Клэр с нарочито озабоченным видом взглянула на часы.

— Я тороплюсь на поезд. — Она принялась собирать свои вещи, сложила каталог, сунула его в сумочку. Затем заставила себя задать Стефену вопрос, который считала самым важным: — Вы, конечно, поедете в Стилутотер, Стефен?

Он ответил не сразу.

— Я допустил ошибку, когда поехал туда в тот раз. И допущу еще большую, если поеду теперь. Да к тому же они едва ли захотят меня видеть.

— Ну нет, я уверена, что захотят. Вчера вечером я разговаривала по телефону с Каролиной. Они, право, очень скучают по вас.

Снова молчание — на сей раз более длительное.

— Ну, — протянул он, — если они меня пригласят...

— Я так рада! Значит, мы увидимся там, Стефен. Всего хорошего.

Когда она вышла на улицу, небо на западе еще хранило розовый отблеск зари и в вечернем воздухе чувствовалась свежесть, приятно охлаждавшая ее пылающие щеки. Клэр легким пружинистым шагом спустилась вниз к Сент-Джеймс-скверу, пересекла Пэлл-Мэлл и — вся во власти недавней встречи — направилась к вокзалу. Ей показалось знаменательным то, что она видела Стефена и разговаривала с ним. Инстинктивное желание оберегать его, покровительствовать ему, которое она всегда испытывала и в котором не было ничего противозаконного, вновь вспыхнуло в ней, и при мысли, что она может для него что-то сделать, Клэр почувствовала себя такой счастливой — счастливее, чем за многие месяцы, хотя сейчас она и не отдавала себе в этом отчета.

В поезде, мчавшемся сквозь октябрьские сумерки мимо темных лесов, голых деревьев и невидимых поселков, где в окнах домиков уже начинали мерцать расплывающиеся блики огоньков, она улыбалась, вспоминая подробности их разговора. Вдруг одна мысль пронзила ее — не мысль, а скорее наитие, заставившее ее встрепенуться и тихо ахнуть. Вот было бы великолепно, если бы это удалось! Она принялась спокойно обдумывать, как

все устроить. Правда, принимая во внимание некоторые обстоятельства, это будет нелегко, но — конечно! — она сумеет преодолеть все препятствия. Во всяком случае, постарается изо всех сил.

ГЛАВА II

Когда Стефен вернулся в Англию, у него не было в кармане и трех фунтов, но такое положение, близкое к полному безденежью, не являлось для него новинкой. К счастью, у него был кров и он мог пользоваться маленькой кухонькой в пустой мастерской Глина, но ему приходилось самому делать покупки, и послевоенные цены на продукты привели его буквально в ужас. Четырехфунтовый круглый хлеб стоит теперь шиллинг и четыре пенса; фунт самого дешевого сахара подскочил с двух пенсов до шиллинга и трех пенсов. Жизнь что ни день дорожала, рост цен тяжким бременем ложился на плечи трудового люда, обрекая на еще большие лишения тех, кто, вроде него, вовсе не имел заработка.

За годы скитаний Стефен часто возвращался мыслями в Лондон. Сейчас он с трудом узнавал город. Демобилизация, которая все еще шла полным ходом, и перемещение тысяч людей вносили в жизнь ощущение неустроенности, делали город похожим на проходной двор. В Уэст-Энде преобладало безудержное веселье. А ведь около миллиона молодых англичан погибли в войну и еще миллион вернулись калеками. И вот, то ли для того, чтобы забыть об этом, то ли потому, что об этом уже было забыто, люди толпами стекались в увеселительные места — театры, кино, рестораны и ночные кабаки. Скорбь как рукой сняло.

Но река осталась прежней, и Стефен, обойдя стороной деловые улицы, проводил немало часов, бродя по набережным Челси и Бэттерси, любуясь игрою отражений в текучей воде, бесконечными переливами различных тонов серого цвета, среди которых вдруг вкрапчивалась полоска розового или жемчужно-белого — бледный привет октябрьского солнца. Во время его краткого, но такого памятного пребывания в Степни

нижняя Темза до того заворожила его, что он ощущал острую, настоящую потребность написать ее, запечатлеть все ее прихотливые настроения. Ему особенно запомнилась излучина реки у Собачьего острова, неподалеку от Клинкер-стрит, — стоило ему вспомнить об этом месте, как его начинало неудержимо тянуть туда, хотелось оживить свои впечатления. И вот как-то утром, за день до закрытия выставки, когда ему нечего было делать, он сел на автобус и отправился в Степни.

Когда он тронулся в путь, погода была отличная — матово-серое небо и тихий прозрачный воздух, — словом, как раз то, что требовалось Стефену для колорита, но на его беду, лишь только автобус въехал в переулочек Семи Сестер, с реки поднялся туман, заморосил дождь, и устье затянуло пеленой. У «красного льва» Стефен вышел из автобуса и, взглянув на хмурое небо, с которого сыпал дождь, поднял воротник куртки и громко чертыхнулся, ругая погоду. Для живописи день погиб — никто, кроме Моне, не мог бы запечатлеть такой расплывающийся пейзаж. Но все здесь было знакомо Стефену, и при виде лавчонки на углу, где торговали рыбой с жареным картофелем, и москательной лавки, где он покупал себе краски, на душе у него стало веселее. Поддавшись неудержимому порыву, он свернул из переулка на Клинкер-стрит, поднялся по ступенькам Дома благодати и позвонил.

Долгое время никто не отзывался. «Держат фасон», — подумал Стефен. Затем слуга, похожий на отставного сержанта, коротко остриженный, в старых брюках, выброшенных за негодностью каким-нибудь священником, подпоясанный зеленой суконной тряпкой вместо кушака, открыл дверь.

— Да? — спросил он, уставясь на Стефена.

— Мистер Лофтус все еще живет здесь? Он был помощником отца-наставника несколько лет назад.

— Вы имеете в виду достопочтенного Джеральда Лофтуса? Он действительно жил здесь. Только он немало преуспел с тех пор. Еще в прошлом году он получил приход церкви Святого Варнавы.

— В самом деле? Рад слышать о его успехах. В ту пору здесь жил еще один молодой человек — мистер Джир.

— О, Джир... он тоже уехал. Только из него мало толку вышло. Он, по-моему, так и остался викарием... где-то в шахтерском поселке близ Дургама... среди всяких оборванцев.

— Вот оно что. — Стефен постоял в нерешительности. Затем спросил: — А вы, случайно, не знаете, что стало с молодой женщиной, которая работала здесь когда-то... ее звали Дженни?

— Миссис Бейнс? — тотчас откликнулся служитель. — Конечно знаю. Она живет совсем рядом на Кейбл-стрит, дом семнадцать. Вот уж кому пришлось хлебнуть горя! Но она славная женщина, и теперь ей живется неплохо.

— Пришлось хлебнуть горя?

— Ну да. У нее ведь был ребенок — так он умер. Потом она потеряла мужа. Он подцепил лихорадку где-то в Австралии, и его, как полагаются моряку, схоронили в море. А почему вы о ней спрашиваете? Она ваша знакомая?

— Да... до некоторой степени, — уклончиво ответил Стефен, затем, поскольку во взгляде отставного сержанта появилось любопытство, добавил: — Благодарю за сведения, — повернулся и сошел со ступенек.

Он спросил про Джира и Лофтуса просто так, без особого интереса. Из всех, с кем ему приходилось общаться в ту пору, когда он жил на Клинкер-стрит, по-настоящему его интересовала только Дженни, и у него потеплело на душе при мысли, что он сейчас снова увидит ее.

Кейбл-стрит находилась всего в двух кварталах от Клинкер-стрит, ближе к реке. Через десять минут Стефен уже шел по этой улочке, мимо неровного ряда низких одноэтажных кирпичных домишек, то и дело поглядывая на номера — нечетные были по правую руку. Он как раз подходил к дому № 17, когда дверь отворилась и на улицу вышла женщина в макинтоше, с непокрытой головой; в руках у нее была плетеная сумка. Он узнал бы ее где угодно.

— Дженни! — окликнул он ее. — Но неужели вы меня не помните?

Она посмотрела на него, посмотрела, широко раскрыла глаза, точно узрела призрак и не могла поверить тому, что видит. Затем, словно во сне, тихо проговорила:

— Мистер Стефен Десмонд?

— Да, Дженни. Но почему вы смотрите на меня так, точно я приведение?

— Ах что вы, сэр! Просто вы очень изменились. Похудели... Впрочем, вы и всегда-то не отличались полнотой. — На щеках ее снова появился румянец, и, все еще волнуясь, она добавила: — Рада вас видеть. Я-то как раз собралась за покупками, но ничего. Пойдемте в дом.

— Нет-нет, — возразил он. — Я лучше провожу вас.

Он взял у Дженни зонт и, держа над ними обоими, пошел рядом с ней по Кейбл-стрит.

— Сколько же мы с вами не виделись?

— Должно быть, лет восемь... Сейчас, дайте подумать... да, восемь лет и три месяца... день в день.

Точность ее ответа вызвала у него улыбку.

— Я послал вам как-то открытку из Парижа. Вы получили ее?

— Получила ли? Да она у меня и сейчас красуется над очагом в кухне. Эйфелева башня. Я часто люблюсь на нее.

— Мне это очень приятно, Дженни. Значит, вы меня не забыли?

— Что нет, то нет, мистер Десмонд, — решительно ответила она.

Когда они вышли на центральную улицу, дождь усилился; Стефен взял Дженни под руку и повел в кафе на углу Коммершал-роуд.

— Давайте переждем здесь дождь. И выпьем по чашечке чая.

— Вы, значит, не забыли про мою слабость, сэр? Я ведь всегда была охотницей до чая.

Им пришлось подождать, пока от группы прислуги, болтавшей в глубине комнаты, отделилась официантка и подошла к ним.

— Чая и поджаренных хлебцев.

— Только смотрите, чтобы они были поджарены на масле, мисс, — уточнила Дженни и, когда официантка ушла, доверительно и деловито шепнула Стефену: — Я их знаю. Стоит недосмотреть, так они живо положат маргарин вместо масла.

Чай принесли горячий, как кипяток; поджаренные хлебцы были осмотрены и одобрены.

— Ну, как же вы жили все это время, Дженни? — Он принял из ее рук чашку, которую она налила ему. — Я с сожалением узнал... что вы теперь одна.

— Да, и у меня были свои горести. Но все проходит, сэр. А я не из тех, кто любит ныть. На деньги, которые мне выплатили за страховку Алфа, я купила славный домик и, оказываясь, поступила не так уж глупо.

— Вы держите квартирантов?

— Как вам сказать, сэр... У меня есть постоянный жилец — один старик, капитан Тэпли... мистер Джо Тэпли, полностью. Хоть его и прозвали капитаном, но, чтоб вы знали, он всего-навсего работал на бирже, когда вышел в отставку, а до этого — на речном пароходике. Но он славный человек, сэр, хоть и глух как пень. Потом я еще сдаю другую комнату — на время, по рекомендациям — капитанам, пока их корабли разгружаются на дюнах, или механикам, которые приводят суда на ремонт. А когда в Доме благодати собирается слишком много народу, я беру на постой какого-нибудь священника.

— Боже мой, Дженни, неужели священника?! И это после того, как они вас выгнали? Я вижу, вы все такая же добрая и... жизнерадостная.

— А почему бы мне и не быть такой, сэр? Работу я люблю. Человек я независимый. И притом — счастливый; у меня, например, есть Флорри.

Стефен вопросительно поглядел на нее.

— Флорри Бейнс. Это сестра Алфа, очень хорошая женщина. Мы с ней очень дружны. Она держит небольшую торговлю в Маргейте. Я частенько езжу к ней и помогаю, сколько могу.

— Чем же она торгует?

— Свежей рыбой.

Это вызвало у Стефена улыбку.

— А разве можно торговать несвежей?

— Не знаю, никогда об этом не думала. — Дженни рассмеялась. — Это так торговцы говорят: свежая. Может, оно и глупо. Только ведь есть и вяленая треска, и копченая селедка, и еще какая-то. Но Флорри торгует больше креветками.

Она сидела перед ним — простоволосая, удобно положив локти на стол, распахнув макинтош на высокой груди, обтянутой дешевеньким платьем, — и, глядя на нее, он понял, почему ему всегда хотелось писать ее. В ней была какая-то заманчивая женственность — этот щедрый большой рот с пухлой нижней губой, яркий цвет лица, щеки с тончайшей сеточкой прожилок, челка густых черных волос, ласковые глаза и смелый, независимый взгляд. Он уже видел ее лежащей на синей кушетке — на этом фоне ее яркие щеки горели бы огнем, — такая миниатюрная и в то же время округлая.

— А вы как жили, сэр? У вас все в порядке?

— О да, Дженни, в полном порядке. — Он с трудом очнулся от своих грез. — Я опозорил себя даже больше, чем ожидали злейшие мои враги. Уклонился от войны, побывал «во всех зловонных ямах Европы» — это цитата из одного письма, которое я недавно получил, — и вышел из этой переделки, весьма побтрепав перышки.

— Вот уж этому я никогда не поверю, мистер Десмонд. Вы всегда были джентльменом. — Она помолчала. — Вы еще не бросили рисования?

— Вернее, оно не бросило меня. Держит за горло. И не отпускает.

— Да, — со свойственной ей рассудительностью согласилась Дженни. — Чему быть, того не миновать. Это совсем как... как моряка тянет в море, хотела я сказать, сэр.

— Как если бы тебя выбросили за борт, Дженни. И вот хочешь не хочешь — плыви.

— Что ж, — вдруг весело заявила она, — вы всегда любили воду, сэр. Помню, в Доме благодати каждый день принимали холодную ванну.

Ее скупая улыбка была полна особой прелести. Он расхохотался, она за ним. Звук этого дружного хохота заставил официантку выглянуть из задней комнаты. Неодобрительно нахмурившись, она подошла к ним и демонстративно положила на стол счет.

— Вот безобразие! — заметила Дженни, вытирая глаза. — Зато мы посмеялись всласть. Ничто ведь не веселит так душу, как добрый смех. Выпейте еще чайку.

— Нет, хватит, Дженни.

— Странно все-таки видеть вас снова здесь, мистер Десмонд. — Она произнесла это как-то удивительно просто. — Вы, конечно... приезжали в Дом благодати?

Он отрицательно покачал головой.

— Тогда для чего же?

— Мне хотелось написать несколько эскизов на реке.

— А-а! — Она опустила глаза.

— Вы знаете старую пристань?

— Ну конечно знаю.

— Вот как раз это место я и хотел написать.

— Да ведь там же одни лачуги... — начала было она и умолкла, прикусив нижнюю губу. Затем спросила: — Вы долго пробудете в Лондоне?

— Боюсь, что нет. Я уеду дня через два.

— Вот оно что.

Оба помолчали. Стефен взял счет.

— Ну, не смею больше вас задерживать: вы ведь собирались за покупками.

— Да, верно, не можем же мы сидеть тут без конца. — Она слегка вздохнула, затем с трогательной застенчивостью спросила: — А вы не зайдете к нам познакомиться с капитаном Тэпли? Я приготовила бы вам расчудесный завтрак, сэр.

Искренность ее тона и мысли о плотном горячем завтраке подействовали на него подкупающе. Но он постарался не думать о соблазне.

— Как-нибудь в другой раз, Дженни. Кто знает, может, я еще забреду сюда.

— Не забудьте заглянуть ко мне, сэр, если будете в наших краях.

— Непременно.

Дженни взяла свою сумку и зонтик; створки дверей качнулись, пропуская ее и Стефена, они пожали друг другу руки, и Дженни направилась на рынок, а он — в противоположную сторону: ему захотелось пройтись пешком до Фулхем-роуд. Дойдя до перекрестка, он невольно обернулся. Она стояла и смотрела ему вслед. Он помедлил, затем помахал ей рукой и по-

шел дальше. Пелена моросящего дождя превратилась в густой туман, и Стефену показалось, что туман этот, словно стена, отделил от него дружбу и тепло.

ГЛАВА III

Выставка Стефена закрылась в последний день ноября. Чарльз Мэддокс, владелец галереи, опасаясь бури возмущения, которую может вызвать в печати выставка произведений Десмонда, с большой неохотой взялся за ее устройство, и то после настоятельных просьб Ричарда Глина, которого он с большой выгодой для себя выставлял в течение последних нескольких лет. Однако, к его великому изумлению (если торговца картинами вообще может что-либо изумить), две картины Десмонда, наиболее высоко оцененные, — «Благоденствие» и «Полдень в оливковой роще» — были куплены чьим-то агентом в последнюю неделю выставки, что с лихвой перекрыло расходы Мэддокса по ее организации, а Стефен, за вычетом комиссионных, получил чек на триста фунтов. Сколько ни был он безразличен к материальному успеху, возможность выбраться из состояния хронического безденежья не могла не порадовать его. А кроме того, это неожиданное богатство позволяло ему в более пристойном виде предстать перед своими родными в Стилуотере. Он получил короткое, но отнюдь не враждебное письмо от отца с приглашением навестить их и уже ответил согласием. Теперь, по крайней мере, он приедет к ним не нищим.

Третьего декабря рано утром Стефен упаковал свой рюкзак, оставил в мастерской записку для Глина, который вскоре должен был вернуться в Лондон, и отправился на поезде в Сассекс. Часом позже он сошел в Гиллинхерсте — за одну остановку до Халборо: ему захотелось прогуляться в Стилуотер пешком. Стояло чудесное зимнее утро. Бледно-желтое солнце еще не растопило следы мороза, и все травинки, все веточки боярышника были покрыты серебряным налетом. С сучьев бука свисали сосульки, в которых преломлялся солнечный свет, отражаясь всеми цветами радуги. Воздух был тих, но слегка пощипывал, словно сидр. По полям бродили коровы, окруженные

облачками пара от собственного дыхания. Как часто в Испании, мучительно тоскуя в изгнании, блуждал он в жгучем одиночестве по знойным оливковым рощам, и картины английской природы неотступно преследовали его — влажная земля и безлистные деревья, мокрые луга и ручейки под плакучими ивами, казалось, звали и звали к себе.

А сейчас Стефен шел извилистыми тропинками, рассеянно вслушиваясь в гулкое эхо своих шагов по твердой, как железо, земле, и перед его мысленным взором вставали картины тех дней, когда он бегал по этим лесам и лугам со своим братишкой. Вот справа чаща, где они собирали орехи; ходили они и вон в ту рощицу, где однажды июньским полднем нашли сокровище: пятнистое яйцо крапивника — птицы с золотым хохолком на голове. Еще один поворот дороги — и сквозь безлистные деревья блеснуло Чиллинхемское озеро. Как часто они с Дэвидом приходили сюда удить серебристого окуня, скользившего и нырявшего в чистых струях среди лилий и зарослей жерухи. Боль воспоминаний заставила Стефена стиснуть зубы. В груди его вновь пробудилось чувство вины, которое почти не покидало его с тех пор, как он узнал о смерти Дэви. Терзаясь этой пыткой, он терял веру в свои творческие силы, которая обычно поддерживала его, — в такие минуты он казался себе никчемным, никудышным человеком, понапрасну растратившим жизнь, так ничего и не добившись.

Наконец он добрался до селения Стилутер и с бьющимся сердцем пошел по его мощеным улицам, извиравшимся среди старых, наполовину деревянных, наполовину каменных домов с островерхими крышами. Однако за время его отсутствия деревенька разрослась, ее коснулось дыхание современности — оно сказалось в появлении ряда новых лавок, а также кинотеатра Вулворта с пестрым тентом над входом и большим танцевальным залом, вся стена этого большого кирпичного здания была разукрашена со стороны старой хлебной биржи неоновыми надписями. Выйдя из деревни, Стефен стал подниматься в гору и вдруг замер от удивления при виде вереницы новеньких кирпичных домиков дачного типа, выстроившихся вдоль шоссе, пролежавшего немного выше проселочной дороги, которая вела к дому настоятеля. Их дешевый претенциозный стиль,

не говоря уже о названиях — тошно было смотреть на все эти «Гнездышки», «Уютные уголки», «Голубки», выведенные золотом над аляповатыми дверями, — был поистине оскорблением хорошему вкусу. А ведь он помнил, какое красивое это было место — дикое, заросшее дроком и папоротником; отсюда открывался чудесный вид на церковь, сохранившуюся со времен норманнов, и на горбатую гряду холмов Даунс.

С тяжелым сердцем Стефен свернул в сторону и торопливо стал спускаться с откоса, решив сократить путь и пройти к владениям настоятеля левее, через рощицу, по дорожке, известной под названием Тропы каноника. Но и здесь произошли перемены: тропинка заросла мхом и была густо засыпана сорванными ветром листьями. В фруктовом саду старая яблоня упала, да так и осталась лежать, опираясь макушкой на черепичную кровлю конюшни. Но после семи лет отсутствия Стефену не хотелось задерживаться и поправлять ее. Боковая дверь, ведущая в оранжерею, через которую можно пройти в дом, была открыта. Через минуту Стефен уже стоял в холле. В ответ на его вопрос: «Кто-нибудь дома?» — послышался какой-то шорох в кладовой. Заглянув туда, он обнаружил Каролину: она сидела у стола в запачканном фартуке, повязав голову цветным платком, и чистила яблоки.

— Кэрри! — воскликнул он.

Она обернулась, посмотрела на него и уронила нож.

— Ах, Стефен, как я рада, что ты приехал!

Ее приветствие тронуло его. Однако он заметил, что ей неприятно показываться ему в таком виде и что взгляд у нее озабоченный. Он решил дать ей время прийти в себя. Помолчав немного, он спросил:

— А где остальные?

— Отец уехал на конференцию в Чарминстер. Он вернется только после полудня. Мы ждали тебя лишь к вечеру.

— А мама?

— Ее нет здесь. Она, как всегда, в отъезде. Приготовить тебе что-нибудь покушать?

Он отрицательно покачал головой.

— Предупреждаю, второй завтрак у нас не очень сытный.

При этом глаза Каролины увлажнились слезами. Он сел рядом с сестрой, вытащил из кармана свой извечный красный бумажный платок и протянул ей.

— Разве я в этом виноват?

— Нет-нет... конечно, не ты... Просто... просто так уж случилось.

— Расскажи мне все.

Она вздохнула и принялась изливать душу. То, что удручало ее, можно было выразить одним словом: перемены... Перемены, происшедшие в этом чудесном мире, в котором они жили детьми... перемены, происшедшие с такой стремительной быстротой, что они потрясли и вконец сбили ее с толку.

С хозяйством настоятеля и всегда-то было нелегко справиться. А сейчас стало так трудно... просто невозможно. Бизли умерла, как только кончилась война, и после нее Каролине так и не удалось найти приличной служанки. Взрослые женщины, привыкшие много получать на военных заводах, потеряли вкус к домашней работе. Целая вереница деревенских девчонок прошла через их кухню. Наглые, невнимательные, глубоко безразличные к своим обязанностям, они только и думали о том, как бы убежать в кино или новый танцевальный зал — эту заразу, осквернявшую деревеньку. Да вот только сегодня утром она вынуждена была прогнать Бесси Гаддерби, дочку кровельщика. Вчера поздно вечером, зайдя в комнату для прислуги, она обнаружила, что эта особа распивает их дедовский портвейн с молодым человеком из Брайтона, который к тому же сидел в ее пижаме.

— Нет, ты только подумай: в пижаме! — возмущалась Каролина. — А все война виновата, эта ужасная война. Если бы я не наняла австрийскую беженку, только что приехавшую из Тироля, у меня сейчас вообще никого бы не было. Правда, Софи не говорит по-английски и умеет готовить только Apfelstrudel¹ и Wiener Schnitzel².

Стефен едва не расхохотался, но у Каролины было такое расстроенное лицо. Он заметил также, что руки у нее покрас-

¹ Яблочный рулет (нем.).

² Шницель по-венски (нем.).

нели и потрескались, ладони загубели от черной работы. Он молчал, и она продолжила:

— Перемены произошли у нас не только в доме. Отцу, как видно, туго приходится с деньгами. Фермы у нас больше нет. Мы отдали ее в аренду Мэтьюзу. Во время войны все перепахали и просто невозможно было восстановить луга, особенно после того, как мы лишились Моулда.

— Что?! Разве старик умер?

— Нет. Ушел... по наущению своего замечательного сына. — И, поскольку Стефен вопросительно смотрел на нее, она с нескрываемой горечью продолжила: — Я думаю, ты заметил новые домики на пустыре. Их построил Алберт Моулд. Они и принадлежат ему. С тех пор как ты последний раз видел его, Алберт далеко шагнул вперед. Во время войны он прибрал к рукам старые глиняные разработки, которые принесли ему фантастический доход. Он нажил кучу денег. И теперь пустился в предпринимательство: занимается всем, чем угодно, в том числе и политикой. Шутка ли: советник графства — большая сила в округе. Конечно, он ненавидит нас, он всегда нас ненавидел и в прошлом году затеял тяжбу с отцом из-за границ нашего участка.

Оба помолчали.

— А как отец?

— Сравнительно ничего. Он, конечно, уже не может работать так, как прежде, но вполне здоров.

— Ему, должно быть, очень не хватает Дэви, — сказал Стефен, не подымая глаз.

— Да. Но скучает он больше всего по тебе. Ну и конечно, как у всех нас, у него тоже есть неприятности. — На какую-то секунду Стефен подумал, что ее намек относится к нему, но Каролина тихо добавила: — Мама.

Кэрри давно взяла себе за правило никогда не говорить о матери, но, став за последние годы мягче и общительнее, она после минутного раздумья рассказала брату о свалившейся на них напасти. Эксцентричность Джулии за последнее время стала поводом для серьезных огорчений. Поскольку дела пошатнулись и ей приходилось урезывать себя кое в чем, она стала еще реже бывать в Стиллуотере, отсутствуя по неделям и остав-

ляя родных в полном неведении относительно места своего пребывания. Прежде она чувствовала себя хорошо только на каком-нибудь удаленном от моря курорте, где, наслаждаясь праздностью, могла пить по утрам лечебные воды, а под вечер, надев шляпу с перьями и великое множество бус, сидеть в картинной позе где-нибудь под пальмой во дворе «Гранд-отеля», поближе к оркестру, и слушать Штрауса, Бизе и Эйми Вудфорд-Финден. Но теперь ее ипохондрия, так же как и странности, усилилась, и от обычных врачей, которые хоть и потакали ее причудам и капризам, но, по крайней мере, удерживали ее в рамках благоразумия, она постепенно перешла к хиромантам, знахарям и шарлатанам. Сейчас она, кажется, поселилась в «Пастушьей роще», лечебном заведении одного восточного мистика, исповедующего своеобразную форму теософии, в основе которой — насколько известно Каролине — лежит слово «карма». Все это ужасно, ужасно! Правда, у Джулии есть свой небольшой капитал, однако этих средств, конечно, недостаточно, чтобы поддерживать подобный образ жизни. Впрочем, так ли это — никому не удалось выяснить, ибо она стала еще более замкнутой, во всяком случае, еще реже спускается на землю, чем раньше. Она живет в своем особом, вымышленном мире, из которого ни война, ни отсутствие Стефена, ни затруднения, испытываемые настоятелем, ни даже смерть Дэви не смогли ее вырвать.

В эту минуту прозвучал гонг, оповещающая о втором завтраке. Во время еды, которая, как и предсказывала Каролина, была простой и скверной (подавала ее без всяких церемоний неуклюжая Софи), да и потом, когда они обходили сад и Каролина объясняла брату, как она управляется с делами при наличии одного лишь работника, приходящего только летом на несколько часов, и мальчика, нанимаемого по субботам, Стефен всячески старался приободрить сестру. С самого детства между ним и Каролиной не было особенной любви. Ее ревность и обида на то, что отец больше привязан к сыну, душили в зародыше все попытки наладить отношения, которые предпринимал Стефен. Но сейчас несчастья сломили Каролину, ей хотелось опереться на помощь близкого человека.

В четыре часа пополудни приехал настоятель. Он спокойно поздоровался со Стефеном, пристально оглядел его и тут же отвел глаза в сторону, словно не желая видеть, что сделали с его сыном эти годы скитаний. Он ни о чем не спросил его и молча прошел в библиотеку, где уже пылал яркий огонь и был приготовлен Каролиной чай с поджаренным хлебом.

— Приятно посидеть у огня в такой ветреный день! — Нагнувшись, настоятель протянул руку к пламени, и в отблеске его отчетливо проступили морщины скорби, которые дотопе не были заметны на лице Десмонда-старшего. — Надеюсь, ты хорошо доехал.

— Очень. Я сошел в Гиллинхерсте и прогулялся пешком.

— Вот как. — И, помолчав немного, настоятель добавил: — У нас теперь, пожалуй, не те возможности, что прежде, но мы постараемся, чтобы тебе было удобно.

Настоятель был необычайно сдержан, и уже по одному этому видно было, какого огромного напряжения стоит ему встреча с сыном. Раздираемый между отеческой любовью и боязнью новой беды, он жаждал прижать Стефена к сердцу, однако, наученный опытом прошлого, не смел. Весь облик сына — эта борода и одежда, замкнутое, похожее на маску лицо — возбуждал в нем опасения. Постоянное крушение надежд породило в настоятеле смутный страх перед чем-то новым и непредвиденным, что способно навлечь на всю их семью еще больший позор.

Однако он решил держаться спокойно и естественно. Когда поднос с чаем и чашками был убран, он провел рукой по каминной доске и, взяв голубую вазу, вытряхнул ее содержимое на стол.

— Последнее время мы мало занимались раскопками, но недавно удалось найти вот это.

Стефен внимательно осмотрел монеты.

— Они производят впечатление очень старинных.

— Харрингтоновский фартинг — не великая находка, но две другие — стоящие.

— Одна из них — пенни «Большой крест»? — догадался Стефен, призвав на помощь свои юношеские познания. — Тринадцатый век?

— Правильно. — Очень довольный, настоятель пригнулся поближе к сыну. — Эпоха Генриха Третьего... примерно тысяча двести пятидесятый год. Видишь, хоть перекладки креста доходят до самого края монеты, однако форма у них вполне законченная, а не обрубленная. А вот это, — и он протянул сыну другую монету, — моя последняя находка. И не такая уж плохая... Я нашел ее на Северном кургане. Можешь определить, что это?

Стефен внимательно взгляделся в тоненький, как бумага, диск, от души надеясь, что сумеет правильно угадать.

— Не «Благородная роза», случайно?

— Почти угадал. «Медаль архангела». Она была выпущена вскоре после «Благородной розы». На обратной стороне видны очертания корабля, а на лицевой — архангел Михаил. Ее давали больным золотухой. И чеканили с этой целью вплоть до царствования Карла Первого.

Подержав монетки в руках, Стефен вернул их отцу. Затем, что-то вспомнив, сунул руку во внутренний карман куртки и вытащил два пакетика — покупки, которые, следуя какому-то безотчетному побуждению, он сделал в Лондоне. Один пакетик он дал отцу, а другой — Каролине.

— Что это?

— Ничего особенного, отец. Но я надеюсь, вам понравится. И тебе тоже, Кэрри. Я так давно вас обоих не видел, что мне захотелось привезти вам что-нибудь — в знак примирения.

Бертрам, подавляя дурное предчувствие, посмотрел на Стефена, потом на пакетик — так, точно он жег ему ладонь. Но Кэрри уже вскрыла свой и, ахнув от удовольствия и удивления, вынула из ватки старинную золотую брошь с аквамаринами.

— Ох, Стефен, какая прелесть! У меня давно не было такой чудесной вещицы.

Настоятель смотрел не отрывая глаз на брошь, которую Каролина тут же приколотла к платью. Медленно, словно боясь увидеть что-то страшное, он принялся разворачивать свой подарок. Это был часослов, подлинник X века, почти бесспорно работы Винчестерской школы, самой оригинальной и изысканной во всем Средневековье, — вещь, о которой настоятель мечтал всю жизнь.

— Это... это же времен Каролингов... — заикаясь, пробормотал Бертрам и умолк, глядя на сына.

— Не смотрите на меня так, отец. — Стефен улыбнулся с легкой иронией, граничившей с горечью. — Уверю вас, эту книгу я добыл самым честным путем.

— Ты... ты купил ее?

— Конечно. Я нашел ее у Добсона.

— Но... как же ты осилил такую покупку?

— Мне посчастливилось продать две картины на выставке.

— Милый мой мальчик... значит, кто-то купил твои картины? — Лицо настоятеля залил такой яркий румянец, что на него жалко было смотреть. В глазах его заблестела влага. Этот неожиданный успех, да еще на поприще искусства, которое всегда вызывало его неодобрение, пробудил в нем остатки гордости и доставил бесконечное удовольствие. Он несколько раз повторил, словно стараясь втолковать себе: — Значит, ты продал свои картины. — Затем, взглянув на подарок, добавил дрогнувшим голосом: — Я глубоко... глубоко тронут твоим вниманием.

Бертрам мог бы сказать и еще, но не сказал: он видел, что Стефену это неприятно. Однако, покончив с легким ужином, он не раз в течение этого вечера брал в руки маленькую книжечку и задумчиво, бережно перелистывал ее тонкие странички. Неужели все в конце концов обернется хорошо? Правда, Стефен уклонился далеко в сторону от того праведного пути, к которому его готовили. И сейчас трудно положиться на него, особенно если вспомнить ужасные рассказы Хьюберта о его беспутном образе жизни, вспомнить его своеобразие и постыдное поведение во время войны. Но в нем должно быть что-то хорошее. По натуре он всегда был открытым и добрым, а теперь стал старше и обязан же наконец подумать о том, чтобы остепениться.

И настоятель, уже готовый поверить в то, что это возможно, внимательно изучал своего блудного сына, который заканчивал партию в шахматы с Каролиной. Как хорошо, что он решил поиграть с сестрой, а не отправился — чего так боялся настоятель — искать развлечений в какой-нибудь кабачок Чарминстера или Брайтона. Часы показывали десять. Бертрам тихо встал

и, заперев заднюю, боковую и парадную двери, вернулся в библиотеку.

— Ты, наверно, устал с дороги?

— Да, немножко. Я, пожалуй, пойду лягу. Спокойной ночи, отец. До свидания, Кэрри.

— Спокойной ночи, мой мальчик.

Поднявшись наверх, Стефен вошел в свою бывшую комнату и остановился; луна сияла так ярко, что никакого другого освещения не требовалось. Он стоял и смотрел на покатый потолок, на полки над письменным столиком, где все еще хранились его детские книги, на старинный ящик с ботаническими коллекциями в углу, на свои первые акварели, на карту Стилуотерского прихода, которую он когда-то начертил и повесил на стене; даже запах был все тот же — мускусный запах, исходивший неизвестно от чего и, точно старый друг, неизменно встречавший его по возвращении из школы. Стефен медленно взял со стола фотографию — любительский снимок, сделанный Каролиной: на нем был изображен Дэви, стоящий с крикетной палкой на лужайке. Стефен долго смотрел на мальчика с серьезным взглядом, застывшего в напряженной позе, затем еще медленнее поставил карточку на место и, повернувшись, стиснув зубы, широко распахнул окно навстречу струе холодного зимнего воздуха.

Над холмами, окутанными дымкой лунного света, был разлит неземной покой. Сквозь голые ветви вязов виднелся граненый шпиль церкви, возвышавшейся над темными тисами, и тени их на подстриженной траве походили на поверженных лучников. Глубокая грусть, безотчетная, но непереносимая, овладела Стефеном. Эта лощина была его родиной, землей, которая должна была перейти к нему по наследству, и он сам, по собственной воле отказался от нее. А ради чего? Он подумал о прошедших восьми годах, полных лишений и нужды, о необходимости вечно изворачиваться, что-то изобретать, о бесконечных разочарованиях, работе и еще раз работе, минутах искрометной радости и мрачных периодах бесплодия... что за жизнь, что за ад он для себя избрал! Он резко отвернулся от окна и стал раздеваться, бросая как попало одежду на стул. Растянувшись на кровати, он закрыл глаза, словно ему было боль-

но смотреть на этот лунный свет и тихую ясную ночь. Но что бы он ни думал и ни чувствовал, он знал, что ему не высвободиться из-под власти сил, которые влекли его по заранее предначертанному пути к неведомым и неизбежным целям.

ГЛАВА IV

В последующие дни Стефен большую часть времени проводил за работой в саду. Он всегда любил физический труд и сейчас, когда хозяйство отца так нуждалось в уходе, с наслаждением предавался своей страсти к порядку. Он подстриг фруктовые деревья, выкорчевал упавшую «яблоню», которая — увы! — оказалась сливой, приносившей в дни его юности такие сочные желтовато-красные плоды, и расколол ее на дрова. Он собрал в кучи листья и устроил огромные костры, синие дымки которых взвивались ввысь, точно лучи прожектора на маяке. Он покрасил амбар. Вместе с Джо — мальчишкой, приходившим работать в свободное от школы время, — он починил Каролине курятник, который совсем развалился, что было на руку лисе, повадившейся наведываться сюда из Броутоновского заповедника.

Несколько раз он ходил по разным делам в деревню и неизменно замечал устремленные на него любопытные взгляды. Стефен привык к тому, что на него глазают на улицах, да и как было не обратить внимание на этого человека с ввалившимися щеками и коротко подстриженной бородкой, шагавшего размашистой походкой и к тому же так небрежно одетого: плисовые штаны, шарф, повязанный узлом, непокрытая голова. Но это любопытство нимало не трогало его. Однако сейчас интерес соседей к нему был вовсе не таким уж невинным. Два или три раза мальчишки, околавившиеся на углу возле кинотеатра, выкрикивали ему вслед оскорбления. А как-то днем, когда он выходил со склада Синглтона — плотника, к которому зашел купить гвоздей и досок, — мимо его головы пролетел ком грязи и кто-то крикнул: «Ишь, ветеран!» Стефен стиснул зубы: он понял, что весть о его возвращении уже облетела округу и что местное население не слишком расположено к нему.

Это был необычный для него период безделья. Ему не хотелось докучать семье своей живописью, и он брал кисть только для того, чтобы покрасить толстые дубовые балки амбара. Но порой, после второго завтрака, если погода стояла хорошая, он отправлялся в дальнюю прогулку по холмам, доходил до самого Чиллинхемского озера и там, укрывшись от пронизывающего ветра в высокой осоке, росшей по берегам, присаживался на пенек и заполнял альбом набросками подернутой рябью воды и по-зимнему голых деревьев.

Как-то раз под вечер, возвращаясь из такой экскурсии, он вышел на проселок у перекрестка дорог, известного под названием Лисья застава, где в свое время собирались охотники с собачьими сворами, а в дни его юности, поскольку место это находилось как раз на полпути между домом настоятеля и помещьем Броутонов, оба семейства нередко встречались здесь, чтобы вместе отправиться на пикник или куда-нибудь на прогулку. И вот сейчас, подходя в сгущавшихся сумерках к бывшей заставе, он вдруг увидел какую-то женщину без шляпы, в широком пальто, которая шла ему навстречу. Это была Клэр.

— Я так и думала, что встречу вас здесь! — Если в ее приветствии и чувствовалось легкое смущение, то оно было куда менее заметно, чем ее жизнерадостный, оживленный тон, столь необычайный для этой всегда сдержанной женщины. Она улыбнулась. — Не смотрите на меня с таким удивлением. Каролина сказала мне, что вы на озере. Вот я и решила попытать счастья: а вдруг встречу вас.

Они пошли рядом. Вставал легкий туман — испарения земли и опавших листьев, к которым примешивался слабый запах горящего где-то костра — тонкий, пьянящий аромат, само дыхание сассекского леса.

— Чудесный сегодня был день, правда?

— Изумительный, — согласился он. — Только уж очень рано начало темнеть.

— Вы работали?

— Да... понимаете, не могу удержаться.

— Так ведь в этом ваше призвание, — горячо сказала она. — Кто же может винить вас за то, что вы вкладываете в любимое дело всего себя?

Он молчал, и она продолжала все с тем же воодушевлением:

— Нам так мало удалось поговорить тогда. Но теперь мы с вами соседи. Вы рады, что вернулись домой?

Он кивнул.

— Когда возвращаешься на родину после нескольких лет, проведенных на чужбине, Англия кажется такой прекрасной, что в нее нельзя не влюбиться.

Она метнула на него быстрый взгляд, но ничего не смогла прочесть на его лице. Оба немного помолчали.

— И вы можете здесь писать?

— Писать где угодно могу. Пожалуй, в Англии — лучше, чем где-либо. Ведь это только молодежь полагает, будто творить можно лишь за границей. А крупные художники-импрессионисты писали у себя на заднем дворе.

— Ну а это — ваш задний двор, Стефен.

Он мрачно усмехнулся.

— Я бы не сказал, что я здесь *persona grata*¹. Вы и сами, наверно, слышали обо мне кучу всяких пересудов... и сплетен!

— Я не прислушивалась. Право же, Стилуотер был бы для вас настоящим... настоящим раем.

— Неужели вы думаете, что меня можно снова загнать в эту овчарню? — Несмотря на всю сдержанность, в голосе его звучали жесткие нотки. — Слишком я далек от верований и — благодарение Богу! — предрассудков моего класса. Я не из тех, кто создан жить на проценты с капитала и быть столпом общества. Нет, я для всех здесь — белая ворона и не приживусь уже в этих местах.

Он искоса взглянул на нее, и что-то в выражении его глаз больно задело ее, вызвало желание переубедить его.

— По-моему, вы ошибаетесь, Стефен. Сначала жизнь здесь и может показаться вам трудной. Но если вы останетесь, кто знает: а вдруг все так обернется, что вы сами поймете...

Внезапно она оборвала себя на полуслове, так и не досказав своей мысли. Оба долго молчали.

В тот день, когда Клэр встретила со Стефеном на выставке, она на обратном пути, в поезде, вспомнила вдруг о Мемо-

¹ *Здесь: желанный гость (лат.).*

риальном зале. Вот уже несколько лет приходский совет собора в соседнем городке Чарминстере собирал деньги на сооружение зала, которым могли бы пользоваться многочисленные церковные общины и духовные комиссии и который в то же время мог бы служить библиотекой и читальней для прихожан. Осуществлению этого плана, естественно, помешала война, а после нее изменился и замысел, приобретя более грандиозный характер. По всей стране, как грибы, выростали памятники и монументы. И вот решено было превратить будущий зал в своеобразный памятник, который будет служить не только упомянутым выше практическим целям, но и, напоминая о войне, способствовать прославлению мира. Итак, было спроектировано красивое каменное здание в готическом стиле. Через год здание было построено, и на последнем заседании комиссии обсуждался вопрос о внутренней отделке зала. Поскольку настоятель собора высказался против мозаики и витражей, считая, что здесь нужно что-то более возвышенное, подумали о том, не расписать ли стены. Однако архитектор не советовал этого делать на том основании, что дрань и штукатурка внутренних стен не те, какие требуются, чтобы удержать надолго краску, и потому было единогласно решено заказать несколько панно, писанных на холсте маслом, вставить их в рамы из сассекского дуба и повесить на пяти главных простенках. Перебрали фамилии разных художников, но в этой области никто толком не разбирался, а потому ни к какому решению так и не пришли.

Все это Клэр знала не только потому, что ее мать, близкий друг настоятеля собора, вложила немалую сумму в строительство зала, но и благодаря своей личной дружбе с двумя членами комиссии, и сейчас, подумав о том, что она может повлиять на выбор художника, была почти уверена в успехе. Вернувшись домой, Клэр так горячо взялась за дело, что это на секунду заставило ее насторожиться и даже встревожиться, но она поспешно отбросила от себя все смущающие мысли и осталась глуха к слабому голосу благоразумия. Разве она не примерная жена и мать, прочно привязанная к семье, вполне степенная замужняя женщина? Во всем этом деле она лично никак не заинтересована: ведь она питает к Стефену чисто сестринские чувст-

ва. Итак, успокоившись и подкрепив свое решение этими доводами, Клэр на следующий же день отправилась на машине в Чарминстер.

Настоятель собора, большой знаток санскрита, был человек весьма преклонного возраста, согбенный и высохший; возрастающая глухота и хронический артрит вынуждали его вести замкнутый образ жизни и выполнять лишь самые необходимые обязанности — недаром последнее время стали упорно поговаривать, что он скоро уйдет на покой. Но достаточно было Клэр назвать свое имя, чтобы ее тотчас пропустили к нему, хотя в эти дневные часы он обычно отдыхал. Настоятель тепло встретил ее и, приложив к уху руку трубочкой, выслушал ее предложение, которое она постаралась изложить поддипломатичнее. Возможно, имя Стефена, хоть он и плохо его расслышал, всколыхнуло в душе настоятеля какие-то смутные воспоминания, пробудило слабое эхо сомнений, но старческое благодушие и желание поскорее вернуться к прерванному сну взяли верх. Быть может, молодой человек и провинился в чем-то перед церковью, но он явно талантлив: совсем недавно в Лондоне была его выставка, и к тому же нельзя не принять во внимание, что он из церковной среды. Достопочтенный Бертрам, как и он, окончил колледж Святой Троицы, это отличный археолог и достойный служитель на ниве Божьей, — правда, в последнее время ему что-то не везет в делах. И потом, кто же мог предложить лучшего кандидата, чем дочь леди Броутон? Настоятель похлопал ее по руке и обещал поговорить с председателем комиссии.

Выйдя от настоятеля, Клэр как раз и направилась к председателю комиссии контр-адмиралу в отставке Реджинальду Трингу, который жил на окраине города в большой, крытой красной черепицей вилле «Воронье гнездо». Реджи был дома и несказанно обрадовался Клэр: его голубые глазки заискрились, плешь заблестела, — словом, весь облик этого низкорослого крепыша с красным обветренным лицом излучал крайнее радушие; он суетливо провел Клэр в библиотеку, где в камине горел огонь, и настоял на том, чтобы она выпила с ним чаю.

Во всей округе не было человека более сердечного, более веселого и общительного, чем Реджи Тринг. Член доброй полдюжины разных комиссий, он всегда стоял на стороне спра-

ведливости и преданно служил церкви, государству и местному крикетному клубу. Несмотря на свои шестьдесят лет, контр-адмирал обладал поистине неиссякаемой энергией. Нечего и говорить, что он был рьяным спортсменом, играл в гольф и теннис, танцевал, охотился, удил рыбу, в соответствующее время года катался на коньках и, поскольку, к его великому огорчению, скромные средства — а у него была всего лишь пенсия — не позволяли ему держать лошадь для охоты, неутомимо ходил с собаками пешком по горам и долам, делая по много миль в любую погоду.

Хотя этот добродушный толстяк отнюдь не был похож на сноба, однако он превыше всего ценил пригласительные карточки с золотым обрезом, которые время от времени присылали ему из состоятельных домов графства и благодаря которым он имел возможность небрежно заметить на следующий день в курительной комнате клуба Среднего Сассекса: «Вчера вечером... в замке Дитчли...» Поэтому он не только любил Клэр и восхищался ее красотой, но ее приглашения тешили его тщеславие. Когда, поговорив немного о том о сем, она завела речь об отделке Мемориального зала, это несколько озадачило его, как и ее просьба держать их беседу в тайне. Но он был не из тех, кто стремится докопаться до скрытых причин, лежащих в основе человеческих поступков, и потому, после минутного недоумения, решил: «Этот Десмонд... он ведь приходится двоюродным братом Джофри... сущий камень на шее у семьи... вот она и хочет ему помочь». Когда же Клэр упомянула о своем посещении настоятеля собора, Тринг и вовсе успокоился и, пообещав поговорить о ее просьбе со своими коллегами, налил ей еще чашку чая и пододвинул печенье.

Того, что сделала Клэр, было вполне достаточно. Тем не менее по пути домой она заехала еще в одно место — в Банк кафедрального собора и Южных графств, солидное, почетное учреждение, где свыше сотни лет у Броутонов был свой счет. Управляющего Марка Саттона, который заседал в комиссии вместе с Трингом, перетянуть на свою сторону было совсем нетрудно. Худощавый, анемичный, маленький, типичный клерк в крахмальном воротничке и жестких манжетах, образец почтительного внимания, он сразу решил, что нельзя упускать слу-

чай оказать услугу столь высокопоставленной даме и ценному клиенту. Он никому ничего *не обещал* и будет более чем счастлив поддержать ее кандидата.

До чего же все оказалось просто! Управляющий с поклонами проводил Клэр до дверей, и, выйдя из банка с радостным сознанием успешно выполненного дела, она поехала домой. Теперь, когда семена были посеяны, ей не терпелось увидеть, какие они принесут плоды. Прошло десять дней без всяких известий; наконец сегодня, вскоре после полудня, ей позвонил Тринг. Все прошло благополучно; правда, два члена комиссии, Шарп и Кордли, оказались довольно несговорчивыми, но им с Саттоном удалось провести свое решение. Десмонд должен предстать перед комиссией и, по ее одобрению, получить заказ.

Клэр не без чувства торжества выслушала это сообщение, подтверждавшее успех ее дипломатии. Надо немедленно сообщить обо всем Стефену. И вот, словно деревенская девушка, пришедшая на свидание, она с замирающим сердцем добрых полчаса вышагивала взад и вперед в душистой прохладе спускающихся сумерек, подстерегая Стефена у Лисьей заставы, а теперь шла с ним рядом и ни слова не могла вымолвить, не зная, с чего начать. Она действовала из самых высоких побуждений, ни одна недостойная мысль ни разу не пришла ей в голову, однако сейчас, волнуясь и дрожа, она вдруг почувствовала какую-то странную слабость, почти истому, ноги отказывались ей служить, и сердце так билось, что больно было дышать. Внезапно из-за поворота дороги выскочила машина, ярко осветив путников своими фарами, — Клэр ахнула и ухватилась за руку Стефена.

— Какой-то чудак не умеет ездить, — заметил он.

В наступившей вслед за этим кромешной тьме они добрались до сторожки у входа в Броутоновское поместье, и Стефен остановился.

— Я не пойду дальше, Клэр.

— Почему? — Она помедлила. — Джофри сегодня в городе... но он скоро должен вернуться.

Стефен покачал головой.

— Мы теперь рано ложимся. В шесть часов у нас уже ужин.

Предлог этот был столь явно надуманный, что Клэр лишь острее почувствовала ложность своего положения. Ей вспомнились слова Джоффри: «Я не потерплю, чтобы этот тип бывал у меня в доме. И если я его встречу, то даже не поклонюсь. Вся округа знает, что он отъявленный мерзавец». Возможно, поэтому Клэр и решила, что ей не следует дольше задерживаться со Стефеном.

— В таком случае спокойной ночи, Стефен, — пробормотала она. — Помните, что я верю в вас. Все может измениться гораздо раньше, чем вы думаете. — И она исчезла в тени подъездной аллеи.

Спустя час Стефен добрался наконец до Стилутера: он проделал весь путь чуть ли не бегом, чтобы не опоздать к ужину. Дом настоятеля был необычно ярко освещен, и в холле Стефена нетерпеливо поджидала Каролина.

— Наконец-то! — в волнении воскликнула она. — Я думала, что ты никогда не придешь. Отец хочет видеть тебя немедленно.

Когда Стефен вошел в библиотеку, настоятель, шагавший взад и вперед по комнате, остановился и, с увлажненным взором подойдя к сыну, взял его за руку:

— Милый мальчик, сегодня в Чарминстере мне сообщили одну большую и совершенно неожиданную новость. — От волнения старик чуть не плакал. — Твоя кандидатура обсуждается в связи с отделкой нового Мемориального зала, и вполне возможно, что тебе поручат писать для него панно.

ГЛАВА V

На следующий день, сразу после трех часов, в тесной канцелярии суда собрались четыре члена комиссии: контр-адмирал Тринг, Саттон, Джозеф Кордли и Арнольд Шарп; настоятель собора отсутствовал. Вскоре они вызвали Стефена, ожидавшего в соседней комнате.

Тринг, председатель комиссии, окинул вошедшего быстрым, но внимательным взглядом и с облегчением перевел дух: видимо, он ожидал увидеть нечто худшее. Правда, волосы и борода у этого молодого человека коротко подстрижены и дер-

жится он весьма независимо, но это, несомненно, джентльмен, одет аккуратно и скромно и вообще производит совсем неплохое впечатление. Стефена действительно уговорили снять свои неопишуемые плисовые штаны, и Кэрри приготовила ему белую рубашку и один из старых темно-серых костюмов, которые он носил, когда готовился стать священником, и который и сейчас еще вполне прилично сидел на нем.

— Добрый день, мистер Десмонд. Присядьте, пожалуйста. — Повинуясь жесту Тринга и чувствуя на себе взгляды всей комиссии, Стефен сел. — Вы, конечно, знаете, зачем мы вас пригласили, а потому перейдем прямо к делу. Речь у нас пойдет о Мемориальном зале. Мы хотим заказать для него пять панно, размером примерно шесть футов на четыре. Это должны быть благородные произведения, проникнутые сознанием героической и в то же время трагической цели, во имя которой мы воздвигаем это здание. Насколько мне известно, вы занимаетесь живописью уже немало лет, имеете несколько международных премий, выставлялись во многих крупных городах — словом, обладаете всеми данными для выполнения той работы, которая нам требуется.

— Я, конечно, постарался бы выполнить ее как можно лучше.

Наступила небольшая пауза, во время которой Стефен украдкой оглядел четырех мужчин, сидевших за длинным столом. Все чувства в нем были обострены до предела, и потому он сразу понял, что двое из них настроены к нему благожелательно, а двое — враждебно. И сейчас один из этих последних откашлялся, очевидно готовясь что-то сказать. Это был Арнольд Шарп, стряпчий из Чарминстера, тощий, бесцветный человек с головой огурцом и маленькими, хитрыми, близко посаженными друг к другу глазками. Почувствовав, что Тринг поддерживает Стефена, он решил ополчиться на художника, главным образом потому, что, выйдя из самых низов — отец его был поденщиком на близлежащей ферме, — он ненавидел людей состоятельных, однако умело скрывал это, научившись за долгое время работы в суде графства держаться с непроницаемым видом. Кроме того, он догадывался, что за спиной Стефена стоят куда более влиятельные силы, и, хотя, по соображениям

политическим, не мог открыто выступить против такой кандидатуры, решил создать для Стефена как можно больше трудностей.

— Надеюсь, вы принесли что-нибудь из своих работ, чтобы показать комиссии?

— К сожалению, нет.

— А можно спросить почему?

— Большинство моих последних картин находится у моего лондонского агента. Я с удовольствием попрошу его прислать мне кое-что, если вы желаете.

— Мне кажется, — вмешался тут Тринг, — я могу поручиться за то, что мистер Десмонд — человек вполне компетентный. То же самое может сказать и наш настоятель.

— А достаточно ли он компетентен, — с озабоченным видом произнес стряпчий, — чтобы выполнить эту работу — ведь в ней должна найти отражение минувшая война?

Сосед Шарпа, толстяк Джо Кордли, церковный староста и розничный торговец зерном и фуражом, втиснутый в слишком узкий для него черный в белую клетку костюм, повернул к Стефену тупое красное лицо.

— Вы не воевали, мистер Десмонд?

— Нет.

— Были освобождены от военной службы?

— Нет.

— Но, надеюсь, вы не сознательно уклонялись от нее?

— Я был в это время за границей.

— Вот оно что! — Кордли вздохнул и глубже погрузился своим могучим телом в кресло. — Значит, были за границей, но не в окопах: так сказать, наблюдали войну со стороны.

— Насколько мне известно, — снова заговорил Шарп, вежливо и внешне благожелательно, но без всякого выражения в рысьих глазах, — насколько мне известно, ваш младший брат все же был в армии?

— Да. Он был не очень пригоден для службы и тем не менее пошел добровольцем в первый же месяц войны.

Пауза.

— Он ведь был убит?

— Да.

— В бою?

— Да.

— Вот оно что! — Кордли, удвоивший свой капитал, продавая сено войскам, стоявшим в Чиллинхемском лагере, опустил уголки рта и закатил глаза. — Храбрый малый! Все отдал родине.

Наступившая за этим пауза была еще более напряженной, чем предыдущая. Стефен сжал губы. Он пришел на эту встречу, желая по многим причинам получить заказ, и сейчас, натолкнувшись на столь враждебный допрос, преисполнился еще большей решимости добиться его.

— С вашего позволения... хоть я и не принимал участия в боях и наблюдал войну, как вы очень точно изволили выразиться, лишь со стороны, у меня — возможно, именно поэтому — сложился вполне определенный взгляд на нее, который, пожалуй, и дает мне право претендовать на эту работу. Мне кажется, что ваш Мемориальный зал оправдает свое назначение лишь в том случае, если будет воздвигнут не только в память о тех, кто отдал жизнь за родину, но и как грозное предостережение тем, кто готовит новые войны. Если мне поручат писать панно, я поставлю своей целью отобразить в них трагическую сущность войны и, выпукло обрисовав принесенные жертвы и страдания, быть может, сумею повлиять на людей, которые будут смотреть на них, и таким образом внесу свой вклад в предотвращение нового всеобщего бедствия.

— Bravo, мистер Десмонд! — от души воскликнул Тринг. Ему понравились и эта краткая речь, и то, что Стефен, произнося ее, смотрел в упор на Шарпа. Жаль, что малый оказался таким трусом, но за время службы в армии Тринг не раз сталкивался с трусами, попадавшимися даже среди представителей лучших семей. — Поговорим теперь о сроках.

— Готовы ли вы, — вмешался снова Шарп, — представить на наше одобрение эскизы рисунков, в которых было бы отражено то, о чем вы сейчас говорили?

Стефен посмотрел на Тринга.

— Так обычно не делается.

— Вы хотите сказать, что мы должны поверить вам на слово и на этом основании дать вам заказ? — спросил Кордли.

— Художнику надо верить, — горячо возразил Стефен. — Живописец — это не бродячий торговец, который носит свои товары в заплечном мешке. Он может предложить только свое умение. Я, конечно, готов представить вам эскизы, если вы настаиваете, но, поскольку это значит проделать добрую половину — и притом самую трудную половину — работы, я могу выполнить вашу просьбу лишь в том случае, если мы договоримся относительно заказа.

— Мы не можем терять столько времени, — решительно заявил Тринг. — Ведь зал должен быть открыт в марте.

— Пятнадцатого марта, — шепотком уточнил Саттон, впервые за все время раскрывший рот. — Значит, через три месяца, считая с сегодняшнего дня.

Снова небольшое молчание.

— Вы сможете закончить работу к этому времени?

— Думаю, что смогу.

— Что вы думаете, нас не интересует, — обрезал его Шарп. — Мы должны быть уверены.

— Это не такой большой срок для пяти крупных полотен. Но когда тема увлекает меня, я работаю быстро.

— Прекрасно. Теперь насчет оплаты. Мы предлагаем вам пятьсот гиней.

— Разве мы не договаривались расплачиваться в фунтах? — буркнул торговец зерном и фуражом.

— Оплата в гинейх, мой дорогой сэръ, более джентльменская форма вознаграждения. Вас удовлетворяет эта сумма, мистер Десмонд?

— Вполне.

Тринг посмотрел на своих коллег.

— В таком случае я предлагаю заплатить нашему художнику сто гиней сейчас. В качестве аванса. Окончательный расчет — по сдаче работы.

— Я возражаю. — Шарп уставился в дальний угол потолка. — Мы должны платить по представлению работы.

— Но мистеру Десмонду, — возразил Саттон, — придется произвести значительные затраты на холст и другие материалы, не говоря уже о рамах.

— Это его дело, — мрачно заметил Шарп. — А кто нам поручится, что он не заболит, или не надует нас, или по какой-то причине не сумеет выполнить работу вовремя? Всякое может случиться. Я говорю: платить будем по представлении работы.

— Так все разумные люди поступают, Арнольд. Я поддерживаю твое предложение.

Но тут, прежде чем Тринг успел открыть рот, заговорил Стефен:

— Я не всегда имел возможность покупать холст и краски. Но сейчас, к счастью, такая возможность у меня есть. Я принимаю ваши условия. Однако я просил бы вашего разрешения работать в самом зале. У меня здесь пока еще нет мастерской.

— Думаю, что мы можем это разрешить. В любом случае вы должны ознакомиться с залом. Мы дадим вам ключ. — Тринг помолчал и, поскольку никто не возразил против этого, добавил: — Значит, мы обо всем договорились, джентльмены. Поздравляю вас, мистер Десмонд. Я уверен, что вы представите нам великолепную работу.

С ключом в кармане Стефен отправился прямо в новое здание, стоявшее на небольшом возвышении неподалеку от соборной ограды, — оно отчетливо выделялось на фоне стройных вязов, в верхних ветвях которых с незапамятных времен селились грачи. Здание сразу произвело благоприятное впечатление на Стефена не только своим местоположением и удивительной гармонией формы и цвета с окружающими каменными строениями преимущественно XIV века, но и простотою чистых архитектурных линий. Войдя внутрь через сводчатую дверь, он невольно вздрогнул от восхищения. Перед ним был правильный пятиугольник, освещавшийся сверху, и, поскольку никакие проемы окон не прорезали поверхности выбеленных известкой стен, Стефену представлялась изумительная возможность осуществить серию взаимосвязанных между собою панно. Он уже мысленно видел, как будут гореть и переливаться его краски на этом мертвенно-белом фоне! А как эффектно можно разместить пять одинаковых панно на пяти совершенно одинаковых стенах! Стефен опустился на одно колено и долго простоял так в пустом зале, среди известки и мусора, оставшихся после строителей; затем поднялся, тщательно запер

дверь и, обогнув церковь, вышел на главную улицу. Из «Голубого кабана» он позвонил Мэддоксу в Лондон и попросил выслать ему немедленно холст, краски и все необходимое для работы. Потом, все так же с непокрытой головой, глубоко засунув руки в карманы узкого сюртука, какие носят священники, он быстро зашагал по направлению к холмам Даунс, не видя ничего, кроме образов, которые, как на экране, замелькали перед его мысленным взором.

Несколько дней Стефен не приступал к работе, хотя это воздержание стоило ему большого труда. Ему хотелось как следует все продумать, прежде чем разрабатывать тему, которая была ему так мучительно близка. Потеря брата и иссушающие душу лишения тех лет, что он провел в Испании, не могли не оказать влияния на его будущий замысел. И потом, где-то в глубине его души таился источник вечного вдохновения — «Ужасы войны»; офорты эти так поразили его, что он как зачарованный часами стоял перед ними в длинной галерее Прадо. В Стефене нарастал бунт истерзанного духа, восстающего против извечной трагедии человеческой жестокости.

К концу недели он взялся за кисть. И, по мере того как его замысел принимал форму конкретных образов, он все больше и больше увлекался работой, горя желанием изобразить не только героину, но и страшные опустошения войны так, чтобы, взглянув на его картины, люди никогда уже не могли поддаться подобному безумию.

Образы, порожденные его фантазией, со всех сторон обступали Стефена, их было так много, что он часто проводил целые дни в зале — чуть ли не с рассвета и до наступления сумерек. Каждое утро Каролина совала ему в карман сверток с бутербродами, но, не желая делать перерыва, он стоял у мольберта, лишь время от времени машинально откусывал кусок хлеба с сыром. Тишина и уединенность пустого зала необычайно благоприятствовали работе, ибо он не любил писать на виду у людей, и, после того как он весьма решительно выпроводил нескольких незваных посетителей, явившихся было поглазеть, его оставили в покое. К ночи он возвращался домой, опустошенный творческим напряжением, но с радостным сознанием, что продвинулся еще дальше в осуществлении своего замысла.

Для настоятеля это упорное и поистине спартанское прилежание сына было не только поразительным открытием — ибо он никогда не предполагал, что художники, которых он представлял себе главным образом по романам Мюрже и Дюморье как распущенных, беспечных кутил и бродяг, вообще способны неутомимо трудиться, — оно принесло ему немалое удовлетворение, вначале смутное, но все возрастающее по мере того, как шли дни. Несмотря на все пережитые разочарования, огорчения и неудачи, надежда, которую он считал навеки угасшей, вновь вспыхнула в нем. Его сын вернулся домой, он ведет размеренный образ жизни, одевается как все порядочные люди и пишет панно для здания, которое будет служить религиозным целям. Ведь это может вернуть его на путь истинный!

Когда весть о том, что Стефен получил заказ на панно для Мемориального зала, облетела Стилуотер, она была встречена — и настоятель сам был тому свидетелем — весьма неблагоприятно, вызвав злобные толки в деревне и в близлежащих поместьях. Бертрам повсюду чувствовал и даже читал на лицах своей немногочисленной паствы во время воскресной службы искреннее возмущение. В местной печати было опубликовано несколько писем; наиболее неприятное из них было подписано «Pro Patria»¹ и помещено в «Каунти газет» на самом видном месте. Весьма обеспокоенные всем этим, настоятель и Каролина обсуждали вполголоса эту заметку.

— Какие жестокие нападки! — Бертрам в тревоге сдвинул брови. — На редкость ядовитые. И к сожалению, справедливые.

— Но это же нечестно, отец. При чем здесь то, что Стефен не был в армии? Ведь в этом деле главное — какой он художник.

— Возможно, Каролина. В то же время для украшения здания, воздвигаемого как памятник войны... Есть какой-то резон в том, что для этого следовало бы выбрать человека, бывшего в армии.

— Который мог бы оказаться очень плохим художником?

— Да... да, возможно. Как ты думаешь, Каролина, кто послал в газету это письмо?

— Вы не догадываетесь, отец?

¹ Здесь: патриот (лат.).

— Неужели Алберт Моулд?

— А кто же еще? У вас в целом свете нет ни одного врага... кроме него.

— Но, милая моя, он не настолько образован, чтобы составить такое письмо. И потом, подписано-то оно: «Pro Patria».

— Значит, кто-то написал по его просьбе. Среди его знакомых достаточно людей, которые могли бы это сделать.

Настоятель покачал головой, словно не в силах был поверить в такое коварство.

— Подумать только, что у этого милого старика Моулда, который честно работал у нас свыше пятидесяти лет, мог — господи прости — вырасти такой пройдоха-сын.

— Нынче время выскочек, отец. Даже старик Моулд и тот метит, как бы забраться повыше. Он обзавелся радио, его дом лучше отапливается, чем наш, и чаще имеет горячую воду, он два раза в неделю ходит в кино, а когда я на днях встретила его в деревне и спросила, прислать ли ему, как всегда, на Рождество свиной окорок, он сказал: «Нет, покорнейше благодарим, мисс. Алберт уже купил целый олений бок». И так хитро посмотрел на меня. «Может, — говорит, — послать вам кусочек?»

Оба молчали.

— Вот что, — сказал настоятель, — надо скрыть эту статью от Стефена. Мы должны его всячески поддерживать, чтобы он не пал духом.

— Он получил на днях поддержку, отец, и немалую. Помните его приятеля, Ричарда Глина?.. О, я знаю, вы не одобряли этого знакомства, но ведь он выставляется в Королевской академии... Словом, он приезжал недавно в Чарминстер, и они со Стефеном вместе завтракали в «Голубом кабане»...

— Ну и что же?

— Видите ли... Стефен рассказал ему о своем замысле, показал, что сделано... а ведь он уже набросал вчерне свои панно. И Глин был совершенно потрясен.

Настоятель хоть и не знал, радоваться ему или огорчаться, все же был взволнован этим сообщением. Наступила пауза: он думал. Затем, подняв взгляд на дочь, сказал:

— А тебе не кажется, Каролина, что, если он успешно выполнит эту работу, для него может вновь открыться праведный

путь... он может заняться росписью церквей... витражами и тому подобным? Он может найти себя в церковном искусстве. Ведь он еще так молод. Кто знает, может, когда-нибудь... трудясь на этой ниве... он и решит... принять духовный сан? — Бертрам умолк, встал и взял шляпу. — Я скоро вернусь, моя дорогая.

Она видела в окно, как он шел по дорожке, медленно, слегка согнувшись, заложив руки за спину, — высокая черная фигура в плоской шляпе священника. Каролина поняла, что он пошел в церковь молиться.

ГЛАВА VI

Среди многих, бесспорно превосходных качеств, отличавших супругу генерала Десмонда, такое скромное достоинство, как мягкий нрав, было что-то не очень заметно. Выросла она в военной среде, еще совсем крошкой была наречена дочерью полка, много лет провела с мужем в Индии, что лишь укрепило твердость ее характера, унаследованного от многих поколений английских колонизаторов, чья кровь текла в ее жилах, и усилило — возможно, благодаря особому влиянию тамошнего климата на печень — ее страсть распоряжаться и командовать. В это январское утро в ней чувствовалась какая-то особая суровость: эти сжатые губы, эти слегка раздувающиеся, порозовевшие тонкие ноздри не предвещали ничего хорошего для того, кто вздумал бы ей перечить. Отдавая приказания прислуге, она была необычайно резка. Она отчитала горничную, деревенскую девушку, которая — конечно же нарочно! — с грохотом укладывала дрова в ящик. Генеральша, в клетчатой юбке и джемпере, отлично обрисовывавшем ее статную фигуру, с ниткой жемчуга вокруг все еще грациозной шеи, сидела за письменным столом орехового дерева и просматривала почту, связанную главным образом с ее деятельностью в качестве дамы-патронессы Красного Креста, общества «Девичьих наставниц» и местной больницы. Затем, откинувшись на спинку стула, она уставилась на медное пресс-папье из Бенареса, стоявшее перед ней на столе.

«Что делать?» — без конца спрашивала она себя, ибо вопрос этот, точно надоедливый москит, ни на секунду не оставлял ее в покое с тех пор, как она проснулась. После завтрака ее муж натянул высокие сапоги и отправился на конюшню, повторив еще раз, что ему придется провести весь день в Гиллинхерсте, так как надо договориться насчет фуража на зиму. Пусть едет, она все равно не собиралась советоваться с ним: такое дело не следует выпускать из собственных рук. Но что, что предпринять?

В тот мягкий, окутанный туманом вечер несколько недель назад, когда из-за поворота возле Броутоновского поместья выскочила машина, на секунду выхватив из темноты ярким светом своих фар фигуры Стефена и Клэр, за рулем сидела она, и она была изумленным свидетелем их встречи. А ехала она из усадьбы, где ей сказали, что сын ее в Лондоне, а Клэр нет дома. И вдруг — эта картина, представшая ее взору, словно при вспышке магния. Как близко они стояли на пустынной сельской дороге... и Джофри как раз уехал... Такое стечение обстоятельств, принимая во внимание громкую репутацию «этого малого», было весьма тревожным.

Говоря по справедливости, генеральша не могла не признать, что поведение Клэр отличается безупречной порядочностью — во всяком случае, так это выглядело со стороны; правда, в Индии генеральше довелось быть свидетельницей совершенно неожиданных превращений, а потому она решила глядеть в оба, но пока никому ничего не говорить. Однако не могла же она забыть, что в юности Клэр была равнодушна к Стефену, и чем больше генеральша думала об этом, тем более чреватой всякими последствиями представлялась ей такая нелояльность Клэр — пусть вполне невинная, но все же нелояльность — по отношению к Джофри. Хотя Аделаида Десмонд, воспитанная в строгости казарменной дисциплины, с детства привыкла контролировать свои порывы, а став матерью, свела все проявления нежных чувств к изредка брошенному слову, сдержанному жесту — короче, ограничила себя строгими требованиями приличий, — она тем не менее была очень привязана к своему сыну. Его женитьба на броутоновских землях, благодаря которой он из неизвестного армейского капитана превратился в солидного

землевладельца, явилась для нее источником великой радости. Однако за этим последовали и некоторые разочарования. Оказалось, что большая часть поместья не подлежит отчуждению и передается по наследству представителям броутоновской линии, — это, конечно, было замечательно, но ущемляло права Джофри. Кроме того, значительная часть состояния леди Броутон была положена в банк на имя дочери, и, таким образом, Клэр обладала довольно крупными личными средствами. Это делало ее независимой в большей мере, чем положено быть жене, и, несмотря на покладистый характер Клэр, часто раздражало Аделаиду, а теперь, после того, что она видела накануне, представлялось и вовсе опасным.

Не так давно они были приглашены на обед в «Грэшем-парк», и ее соседом по столу слева оказался Реджинальд Тринг. Аделаида с покровительственной снисходительностью относилась к краснолицему контр-адмиралу — человеку со скромными средствами, обладавшему жалким подобием виллы и любившему посудачить, как многие холостяки. Остроты Тринга забавляли ее куда меньше, чем капельки пота, мгновенно усеявшие после горячего супа его розовую лысину, точно под нею таилось множество крошечных гейзеров. Аделаида с детских лет была предубеждена против старших офицеров, а потому считала контр-адмирала глуповатым, хотя добрым и безвредным. Ей было бесконечно скучно слушать его разглагольствования, и сначала она даже не поняла, что его простодушные похвалы относятся к Клэр. А поняв, принялась слушать внимательно, и контр-адмирал, похваляясь своими дипломатическими способностями, под строжайшей тайной поведал ей, как ловко удалось ему обделать «это маленькое семейное дельце». Клэр проявила такое благородство, в заключение сказал он, решив помочь двоюродному брату Джофри!

Не в силах произнести ни слова, генеральша глотнула воды. Впервые в жизни она лишилась дара речи. Этот идиот подтверждал все самые худшие ее подозрения. Клэр тайком — да еще с такой возмутительной неосмотрительностью! — заботится об этом подонке. Нет, этому надо положить конец, и притом немедленно, пока слетни не поползли по всему графству.

Сейчас, при холодном свете утра, генеральша склонна была винить во всем этого «ренегата». Он, несомненно, втерся в доверие к Клэр, нимало не задумываясь над тем, что может ее скомпрометировать, и упросил, чтобы она помогла ему. Бесплезно, конечно, говорить с ним и пытаться воззвать к его чувству чести. С другой стороны, всегда опасно вмешиваться в отношения между мужем и женой. Однако другого пути не было. Генеральша верила в свой такт и умение быть деликатной и ненавязчивой. Она знала, что сегодня Клэр едет в Лондон. И вот, решительно направившись к телефону, она терпеливо дождалась, пока ее соединят со Стилутером, и пригласила Джоффри приехать к ней на чай.

Он явился рано, около четырех часов, — делать ему все равно было нечего, — и, поскольку генерал все еще не вернулся из Гиллинхерста, Аделаида могла быть спокойной, что им никто не помешает.

Она отлично накормила сына, подав свежеиспеченный сассекский торт и горячий поджаренный хлеб, намазанный джемом, который Джоффри особенно любил. Затем, усевшись на кожаный пуф — прямая и стройная, — она взялась за вязание, а сын, выгнув ноги перед ярким огнем, лениво покурил сигарету, выпуская дым через нос.

Аделаида завела разговор о том, что было наиболее близко сердцу сына: сколько ему удастся настрелять дичи во время финальных состязаний охотников Стилутера; какое место займут его гончие на предстоящих соревнованиях; какой приз он может получить на скачках с препятствиями для джентльменов-наездников в Чиллинхеме.

Время приятно текло для Джоффри, наслаждавшегося звуками собственного голоса. Мамаша умела доставить ему удовольствие, она не хуже кого угодно знала толк в лошадях, ну и конечно, боготворила его. Часы пробили шесть. Погасив последнюю сигарету, Джоффри неторопливо поднялся с кресла.

— Благодарю за милую беседу и чай, матушка. Так приятно было поболтать с вами.

— Мне тоже, Джоффри. — Она вышла с ним в холл, помогла надеть тяжелое, подбитое мехом пальто, затем, стоя под газовым рожком с зеленым абажуром, создававшим в комнате

освещение подводного царства, как бы вскользь заметила: — Кстати, я слышала, что твой кузен вернулся домой.

— Да, такая неприятность. Я, конечно, не намерен встречаться с ним.

— Это разумно, Джофри. И на твоём месте я посоветовала бы Клэр держаться от него подальше.

Джофри, повязывавший в эту минуту цветастый шарф, приостановился и посмотрел на мать.

— Что вы хотите сказать этим?

— А вот что... Ты, конечно, не забыл, что вытеснил его из сердца Клэр... Это должно страшно уязвлять его. А после всех этих лет, проведенных в самых низкопробных парижских притонах... ему не очень-то можно доверять.

— Можете не напоминать мне об этом, я и сам знаю. Этот малый способен на все.

— В таком случае, чтобы я была спокойна, непременно поговори с нашей милой Клэр.

Он завязал наконец шарф и оглядел себя в небольшом зеркале у вешалки.

— Ладно, ладно. Спокойной ночи, матушка.

— Спокойной ночи, Джофри.

Она постояла в дверях, пока он заводил мотор своей спортивной машины, но вот колеса зашуршали по гравию, и автомобиль скрылся. Тогда, довольная своими дневными трудами, генеральша повернулась и вошла в дом.

Джофри ехал на большой скорости, чрезвычайно умело ведя машину. Он считал себя хорошим автомобилистом и, сидя за рулем, частенько предавался раздумью, главным образом о том, не принять ли ему участие в Бруклендских автомобильных гонках. Вот и сейчас свежий воздух, бивший ему в лицо, должно быть, заставил его мозг заработать куда энергичнее, чем могла предполагать генеральша. Так или иначе, срезая углы и ласково поглаживая при этом тонкий руль машины, он без конца спрашивал себя: «На что намекала старуха?»

Она явно не без причины позвала его на чай. В прошлом, когда он учился в школе и в Сандхертском колледже, мать часто писала ему и самое главное обычно излагала мимоходом — в приписке, словно вспомнив в последнюю минуту. Так неуже-

ли она вызвала его сегодня для того, чтобы сказать эту последнюю фразу насчет Клэр? Джофри усмехнулся и надвинул на лоб свою клетчатую фуражку. Природная самонадеянность вкупе с воспитанием, полученным в привилегированных учебных заведениях, где его приобщали лишь к искусству бить по шарам различной величины, не слишком способствовали развитию его мыслительного аппарата, но длительное общение со спортсменами, букмекерами, завсегдагатаями скачек и конскими барышниками выработало в нем своеобразную пронизательность, острое чутье на то, что он называл «подвохом». А потому он воспринял намеки матери совсем иначе, чем она предполагала, и принял решение, резко противоположное тому, что она советовала: он не станет говорить с Клэр, а будет молча, исподволь наблюдать за развитием событий.

В двадцать минут седьмого он уже был дома; Клэр, которая обычно возвращалась поездом, отходившим от вокзала Виктории в половине шестого, еще не приехала из Лондона. Поднявшись наверх, чтобы помыться и переодеться к обеду, Джофри остановился у маленькой гостиной, примыкавшей к спальне жены. В этой комнате Клэр проводила много времени, так как она была солнечная и удобно расположена. Постучав на всякий случай в дверь и не получив ответа, Джофри секунду помедлил и вошел. Комната была прелестная, выдержанная в светло-серых тонах, с бледно-розовыми портьерами и такими же ситцевыми чехлами; все здесь было хорошо знакомо Джофри: он частенько заходил сюда в отсутствие Клэр — побродит из угла в угол, потрогает одно, другое, перевернет письмо на письменном столе, визитную карточку на каминной доске, как и подobaет заботливому и, пожалуй, несколько подозрительному супругу, для которого дела жены, а особенно их финансовая сторона представляют вполне естественный и притом немалый интерес.

Сейчас, однако, его ревизия была более целеустремленной. Он подошел прямо к бюро, которое Клэр никогда не запирала, и принялся методически обследовать его. Добрых десять минут он просматривал бумаги в ящиках и отделениях. Ничего, по-ложительно ничего. Безобидность того, что он обнаружил, —

вплоть до своих старых снимков в форме Сандхертского колледжа, — вызвала легкий румянец на его щеках.

Несколько пристыженный, он уже готов был повернуться и уйти, как вдруг в верхнем отделении увидел сложенный листок. Это был оплаченный счет на четыреста фунтов стерлингов; на нем стоял штамп галереи Мэддокса, Нью-Бонд-стрит, 21, и выписан он был за две картины Стефена Десмонда — «Благоденствие» и «Полдень в оливковой роще».

ГЛАВА VII

Было начало марта, день клонился к вечеру, и ежемесячное заседание Окружного совета Западного Сассекса медленно подходило к своему долгожданному концу: обсуждался вопрос о том, стоит ли подводить канализацию к деревеньке Хетгонна-Пустоши, и споры то разгорались, то утихали. Среди четырнадцати присутствовавших на заседании членов совета сидел и Алберт Моулд; он был необычайно молчалив и все время грыз ноготь большого пальца, пряча свою тюленью голову в поднятый воротник пальто, которое он не снимал, чтобы не просквозило весенним ветерком, проникавшим сквозь ветхие стены, обшитые растрескавшимися деревянными панелями. Рядом с ним сидел его друг и коллега Джо Кордли, а через стол — неутомимый слуга народа контр-адмирал Тринг.

Молоточек председателя стукнул в последний раз, клерк, буркнув обычную фразу, объявил о закрытии заседания, не забыв, однако, упомянуть о дне и часе следующего. Послышался грохот отодвигаемых стульев, и члены совета, переговариваясь, стали расходиться. Все, кроме Алберта Моулда. Он встал вместе с Кордли у двери и, когда Тринг подошел к выходу, задержал его.

— Я б хотел сказать вам два слова, сэр, если вам это не обременительно.

Контр-адмиралу это было очень обременительно, ибо он торопился на стадион Среднего Сассекса, где его ждало поле для игры в гольф, но, прежде чем он успел придумать какой-

нибудь предлог, чтобы уклониться от разговора, Моулд продолжил:

— Очень мне неприятно об этом с вами говорить, но ничего не поделаешь. Приходится. Я насчет этих самых панно для Мемориального зала.

— Ну, что там еще? — буркнул Тринг, недвусмысленно взглянув на часы.

— А вот что, сэр. Ведь уже добрых три месяца, как он их малюет, а по моим скромным сведениям, до сих пор никто их в глаза не видел. Я знаю, разные люди пытались взглянуть, но их выпроваживали: панно свои он все время держит под замком. Так вот, сэр, нехорошо это и неправильно: ведь открытие-то зала на носу. Во всяком случае, два члена комиссии так мне и сказали. Словом, они просили меня пойти с ними и посмотреть.

— Как же вы, черт побери, будете смотреть панно, если они заперты?

— А мистер Арнольд Шарп дал мне запасной ключ.

Тринг неодобрительно посмотрел на Моулда. Он вообще не любил этого человека — не столько потому, что тот был выскочка, усиленно старавшийся вылезти за рамки своего класса, сколько из-за этой его подобострастной манеры держаться, которую он избрал для своеобразного глумления над людьми, занимавшими более высокое, чем он, положение.

— Так вот, сэр, коротко говоря, мы вчера поздно вечером побывали в зале. И должен вам с прискорбием сообщить, что нам не понравилось то, что мы там увидели.

— Да хватит вам, Моулд, — примирительно сказал Тринг. — Вы же ничего не смыслите в искусстве.

— А это не только мое мнение, хоть оно, может, и немногого стоит. — На какую-то долю секунды мутные глазки Моулда встретились с открытым взглядом контр-адмирала. — Адвокат Шарп и Джо Кордли такого же мнения.

— Правильно он говорит, — решительно подтвердил Кордли. — Могу поклясться на Библии.

— Не мне, конечно, советовать вам, только, будь я председателем, я бы пошел и взглянул на них.

Тринг почувствовал некоторое беспокойство. В глазах Моулда поблескивал огонек, который ему совсем не нравился. Подумав немного, он нехотя распростился с приятными мыслями о гольфе и сказал:

- У вас с собой этот ключ?
- С собой, сэр. И мы с Джо оба сейчас свободны.
- Тогда пошли.

Они вышли из здания Окружного совета и, сев в машину контр-адмирала, выехали на шоссе. В Чарминстере Моулд предложил прихватить с собой Шарпа и Саттона. На это потребовалось время, и, когда пять членов комиссии подъехали к Мемориальному залу, было уже темно. Моулд молча отпер дверь. Зал был пуст: Стефен ушел около часа назад. Кордли с многозначительным видом включил свет. И взорам их предстали панно.

Трингу прежде всего бросилось в глаза то, которое Стефен назвал «Дары миру». На переднем плане — молодая женщина как бы протягивает зрителю младенца, а за нею — золотистое поле пшеницы, фруктовые сады и множество народу: жницы, жнецы, веселые крестьянские лица. Глядя на эту картину, Тринг почувствовал, что тревога его улетучивается, сменяясь теплой волной облегчения. Это была хорошая, можно сказать, превосходная работа, глубоко впечатляющая, необычная, — словом, панно очень понравилось ему. Однако, когда он повернулся ко второму полотну — «Это ты, Армагеддон!» — где было изображено множество солдат и орудий, а рядом — ликующие толпы, оркестры, знамена, колышущиеся под темным грозовым небом, — в нем снова пробудились опасения, которые еще больше усилились и превратились уже в страшную уверенность, когда он поспешно, с возрастающей тревогой окинул взглядом третье панно — «Насилие над миром» и четвертое — «Плоды войны». Это были картины невероятной силы: одна (насколько мог это понять его потрясенный ум) представляла собой сложную композицию, изображающую ужасы войны, а другая — тяжкие ее последствия: голод, эпидемии, разрушенные деревни, сожженные жилища, осквернение цветущего пей-

жажа, изображенного на первом плане, и на все это, рыдая, смотрит обнаженная женщина. А от последнего полотна — «Пробуждение мертвых» — у Тринга и вовсе глаза вылезли на лоб. О чем, черт побери, думал этот парень, изображая таких людей! Да это даже и не люди, а трупы, обезображенные, голые, иные без ног, тут и женщины и мужчины, и все они выходят из могил на трубный зов архангела! Никогда, даже в самых диких кошмарах, не снилось ему такой страшной катастрофы. И в появлении этих творений повинен он, контр-адмирал Реджинальд Тринг, ибо ведь он фактически навязал этого треклятого Десмонда членам комиссии.

А они молча наблюдали за ним, ожидая, что он скажет. Контр-адмирал пожал плечами: в недостатке мужества его никогда нельзя было упрекнуть.

— Что ж, джентльмены... это очень разочаровывающее зрелище.

— Разочаровывающее?! — Кордли чуть не хватил удар от возмущения. — Да это же надругательство над нами, самое настоящее надругательство!

— Вы только посмотрите на вон этих... — Моулд кивнул на последнее панно. — Ведь они все голые... как есть голые. Мало того: тут и мужчины и женщины, и у всех все наружу.

Тринг отвел в сторону взгляд и посмотрел на Саттона. Но кроткий банкир совсем побелел и не был склонен помочь ему.

— Да, джентльмены, все это весьма огорчительно. Я должен немедленно повидать настоятеля.

Тут заговорил Шарп, дотоле молча, внимательно разглядывавший картины.

— Позвольте обратить ваше внимание на такую подробность. — И он указал на одну из деталей в сложной композиции третьего панно. — Что, по-вашему, делают тут эти солдаты? Может, кто-нибудь из присутствующих наделен бóльшим художественным воображением, чем я, и объяснит, как это называется?

— Боже правый! — невольно вырвалось у Тринга.

И среди поднявшегося ропота Моулд вкрадчиво добавил:

— Это-то и заставило нас пригласить вас сюда.

Контр-адмирал, поджав губы, решил положить конец осмотру. И неожиданно объявил:

— Назначаю на завтра экстренное заседание комиссии. Ровно в девять утра. И приглашу на него Десмонда. А пока прошу воздержаться от публичного обсуждения этого вопроса. Доброй ночи.

На следующее утро, в указанное время, Стефен, нимало не догадываясь о грозящей ему беде, предстал перед комиссией. Не зная о причинах вызова — по телефону Тринг ничего ему не сказал, — он был в превосходном настроении. Правда, он устал и нервы у него были несколько натянуты после многих недель неослабного труда, но сознание удачи окрыляло его. Работа подходила к концу, и он знал, что картины получились хорошие. Через несколько дней он покажет панно комиссии. Об этом, должно быть, они и хотят с ним поговорить.

— Мистер Десмонд, я должен сообщить вам, что мы видели ваши картины. Это совершенно скандальное зрелище.

Удар был настолько неожиданным, что Стефен растерялся. Не сумев справиться с собой, он вздрогнул и страшно побледнел, глаза его потемнели, и взгляд стал почти жестким. Но прежде чем он успел раскрыть рот, Тринг продолжил:

— Я лично просто не понимаю, как вы могли в такой оскорбительной форме воплотить наши пожелания.

Стефен с трудом перевел дух — так сдавило вдруг грудь.

— Что же оскорбительного в моей работе?

— Сама цель, во имя которой мы все это затеяли, требует чего-то благородного и героического. Группа военных разных родов войск, шагающая с флагом... Или раненый, который бредет, опираясь на плечо товарища или, скажем, сестры милосердия... — (Стефена передернуло.) — А вы вместо этого создаете... картины, совершенно чуждые нам по духу... изображаете человеческое страдание в какой-то, мягко выражаясь, патологической и унижительной форме.

— Я же рассказывал вам о своих замыслах, прежде чем начать работу. Мне казалось, что вы их одобрили.

— Ни один здравомыслящий человек не может одобрить эти панно.

— А вы достаточно компетентны, чтобы судить о них?

— Вы считали нас достаточно компетентными, когда мы вам их заказывали.

Пламя ярости вспыхнуло в груди Стефена.

— В таком случае, может быть, вы будете так любезны и уточните, чем именно вам не нравятся мои полотна?

— Уточним, уточним! — воскликнул Кордли, распаяясь и переходя на вульгарный жаргон. — Ты что, думал, нам могут прийти по вкусу твои калеки и слепые... голые бабы... шлюхи?.. Чего уж там, чистое непотребство, распутство!

— Хватит! — резко оборвал его Тринг. За время, истекшее со вчерашнего вечера, он тщательно взвесил, в какое положение попал и как из него лучше выйти. Хотя контр-адмирал и считал себя лично глубоко уязвленным, он пришел к выводу, что самое правильное — приглушить этот злополучный скандал: так будет наименее опасно. А потому он прежде всего решил не допускать на заседании детального разбора картин, ибо это даст пищу для разговоров за обеденным столом по всей округе. Придя к такому решению, он вперил в Стефена холодный взгляд своих голубых глаз, привыкших обозревать горизонт с юта, и сказал: — Позиция комиссии абсолютно ясна и изменению не подлежит. Мы не можем принять ваши картины. Я считаю, что одна из них требует серьезных исправлений, а три — полной переделки. Вы согласны с этим?

— Нет, не согласен, — не задумываясь, ответил Стефен. — Нелепо даже предлагать мне это.

— В таком случае я буду просить вас прекратить всякую работу над панно. В свое время вам будет официально вручено решение комиссии об аннулировании заказа.

Небольшая пауза. И тут раздался голос закона: надо было уточнить один вопрос, ускользнувший от внимания председателя.

— Я бы просил записать в протоколе, — сказал Шарп, — что эти картины отклонены нами единогласно и по условиям договора мы не обязаны платить за них — ни единого пенни.

Стефен продолжал неподвижно стоять, стараясь справиться с бушевавшей в груди бурей. Никогда прежде, в самые трудные минуты жизни, не испытывал он такой горечи, как сейчас!

У него дух перехватило от сознания чинимой над ним несправедливости. Ему хотелось крикнуть: «Ну и оставьте себе свои проклятые деньги... свои тридцать сребреников! Неужели вы думаете, что я вкладывал в это дело всю душу ради каких-то грязных бумажек?» Но он знал, что такой взрыв мог только еще больше ожесточить их. Единственным спасением было молчание. Он внимательно посмотрел на каждого по очереди — лица расплывались перед его глазами, и он с трудом различал их, — затем, ни слова не сказав, повернулся и вышел.

Голова у него кружилась, но ноги машинально привели его к Мемориальному залу. Он твердо решил, несмотря на запрет, закончить работу над панно. Доделать оставалось совсем немного — еще каких-нибудь два дня, и уже можно будет покрыть картины лаком. К счастью, комиссия забыла потребовать у него ключ.

Но, подойдя к зданию, Стефен увидел, что дверь заперта железным засовом, на котором висел новый крепкий замок, и сбить его, сколько Стефен ни старался, ему не удалось. Снова минута напряженного раздумья. И снова он зашагал прочь. Он шел через город, ничего не видя, устремив мрачный, застывший взор к далеким холмам, — одинокая темная фигура на фоне безбрежного неба, — но даже и здесь, среди этой величественной природы, под этим необъятным серым куполом, который так низко нависал над ним, что, казалось, вот-вот придавит к земле, он всем видом своим по-прежнему бросал вызов враждебному миру.

ГЛАВА VIII

В тот же день весть о том, что комиссия отклонила панно, стала всеобщим достоянием. Однако Тринг крепко держал в руках комиссию и в самых мрачных красках обрисовал те неприятные последствия, которые ожидают всех ее членов, если станет известен «непристойный» характер полотен, так как в конечном счете они отвечают за то, что заказ был поручен Десмонду, и потому официально было лишь объявлено, что представленная работа не удовлетворяет требованиям и, следова-

тельно, неприемлема. Однако уже сам факт отклонения работ Стефена дал повод для пересудов и вызвал злорадный вой тех, кто не одобрял его кандидатуру. Аделаида, узнавшая о решении комиссии в «Симла Лодж», была очень довольна тем, что ее предсказания сбылись. Джофри, молча страдавший от раны, нанесенной его самолюбию, следивший и выжидавший, ощутил мрачное удовлетворение, которое возросло еще больше, когда до него дошли слухи, что Стефен исчез и его нигде не могут найти. Мерзавец, должно быть, валяется мертвецки пьяный в каком-нибудь брайтонском кабаке!

Прошло три дня с начала этой злополучной недели. В четверг вечером в доме стилуотерского настоятеля царила гробовая тишина. Каролина, решив, что дольше ждать нельзя, вошла в библиотеку. Настоятель сидел в своем излюбленном кресле, глядя в огонь; на коленях у него лежали «Комментарии» епископа Дентона, откуда он теперь черпал материал для своих проповедей, но он так и не удосужился раскрыть книгу. Каролина с минуту помедлила, словно не решаясь заговорить.

— Я хотела спросить, отец... можно запереть?

Бертрам не шелохнулся.

— Он так и не появлялся?

— Нет, отец.

Настоятель выпрямился, поморгал усталыми веками:

— А может быть, он у себя в комнате?

Каролина покачала головой.

— Я уже смотрела.

— Который теперь час?

— Скоро одиннадцать. Что, если закрыть входную дверь, а боковую оставить на цепочке?..

— Нет, моя дорогая... пусть все будет открыто. А сама иди ложись. Ты, наверное, очень утомилась.

— Разрешите мне посидеть с вами.

— Нет-нет. У меня много работы. И я несколько не устал.

Спокойной ночи, Кэрри.

То, что он назвал ее уменьшительным именем, — а это случилось не часто, — тронуло Каролину до глубины души. Но она не умела проявлять нежность.

— Спокойной ночи, отец.

Нехотя, то и дело оглядываясь, она пошла наверх в свою холодную спальню, а Бертрам, выпрямившись, продолжал с озабоченным лицом дожидаться сына. Словно желая обмануть самого себя и делая вид, будто чем-то занят, он время от времени переворачивал страницы книги, но мысли его были далеко. Он то и дело поглядывал на часы, чутко прислушиваясь, не раздадутся ли шаги за окном.

Даже сейчас он с трудом мог поверить, что Стефен, который на протяжении стольких недель был образцом благопристойности, мог предаться беспутству, стремясь утопить свое горе в вине. Однако все так считали. Да и чем еще можно объяснить такое длительное отсутствие?

Конечно, оправданием ему могло служить то, что удар был нанесен действительно жестокий. Да и сам настоятель возлагал на успех сына столько надежд, что ему больно было видеть сейчас, как они рухнули и рассыпались в прах. Он глубоко вздохнул и приложил руку ко лбу.

Медленно тянулись минуты; на дедовских часах пробило одиннадцать, затем — половина двенадцатого. В двенадцать часов последний уголек в камине вспыхнул и погас. Бессмысленно ждать дольше. Настоятель встал, выключил свет и медленно прошел наверх.

На следующий день, часов около трех, Каролина, которую хлопоты по дому вынуждали рано вставать — да к тому же она всю прошлую ночь почти не сомкнула глаз, — сняла платье и прилегла отдохнуть у себя в комнате. Бертрама вызвали к кому-то из прихожан. Внезапно Каролина услышала знакомый звук торопливых шагов и поспешно бросилась к окну. Сердце у нее отчаянно колотилось. Это был Стефен; он шел с таким задорным видом, что Каролина помертвела. Она быстро накинула старенький розовый халатик и встретила брата внизу.

— Дай мне чего-нибудь поесть, Кэрри, миленькая, — без всяких объяснений (что немало разозлило ее) сказал он. — И как можно скорее. Я умираю с голоду.

— Где ты пропадал? — с мягкой укоризной спросила она, хотя голос ее и дрожал от еле сдерживаемой злости.

Он улыбнулся — во всяком случае, выражение его лица стало менее напряженным.

— Не смотри на меня так, старушка. Мне очень жаль, если я огорчил тебя. Я был очень занят.

— То есть что значит — занят? Три дня и три ночи занят?

— Очень просто... у меня была отвертка.

О чем это он? С ума сошел, что ли? И она сказала совсем другим тоном:

— Не надо шутить, Стефен... мы очень волновались. Где ты ночевал?

— А где, по-твоему, я мог ночевать? Там, где всегда. На полу. И при полных доспехах. А теперь я сбегая наверх, вымоюсь и переоденусь.

Она вздохнула, радуясь, что он вернулся, но все еще недоумевая и опасаясь услышать что-нибудь такое, что может ее огорчить. Тем не менее она самолично приготовила ему яичницу с ветчиной — Софи настолько эмансипировалась, что теперь не появлялась на кухне между тремя и шестью часами, — и заварила крепкого чаю. Усевшись напротив него, по-прежнему в халате, она подперла подбородок руками и, еще не зная толком, как себя вести, смотрела на брата, жадно уплетавшего еду. Пока он пил и ел, он не мог отвечать на ее вопросы; но вот он откинулся на спинку стула и посмотрел на сестру.

— Все очень просто, Кэрри. Мне нужно было закончить панно. И поскольку доступ к ним мне закрыли, пришлось сорвать замок.

— Сорвать замок?

— Сначала я пытался залезть туда по лестнице, но ничего не вышло... Тогда я взял отвертку и отвинтил засов.

— И ты был там... в Мемориальном зале... все это время?

— Почти что.

— И ничего не ел... целых три дня и три ночи? И спал... на полу?

— Уверяю тебя, милая Кэрри, что это меньше всего меня огорчало. — В голосе его послышались жесткие нотки. — Я хотел закончить работу... Теперь... картины покрыты лаком и готовы.

Она молчала. Хотя его бодрый тон снял тяжесть с ее души, однако она не могла не заметить, чего стоило ему это последнее усилие после долгого и упорного труда. К тому же в глазах его

появился блеск, который пугал ее. Его лучшие качества — чистосердечие и мягкость — исчезли: теперь в нем чувствовалось какое-то вызывающее упрямство.

Он посмотрел на часы:

— Мне пора.

— Ах нет, Стефен! — протестующе взмолилась она. — Останься. Отец так хотел тебя видеть.

— Я рано вернусь, — заверил он ее. — Наверняка еще до десяти. Обещаю тебе.

Его слова звучали искренне, однако за ними таилось что-то, ускользавшее от ее понимания. Через минуту он уже вышел из дому — так же внезапно, как и появился.

Там, где проселочная дорога упиралась в шоссе, Стефен остановился и стал ждать. Наконец показался местный автобус, ходивший через каждый час, и Стефен поднял руку. Дopotопная колымага была почти пуста, он вошел, и автобус тронулся по шоссе в направлении Чарминстера.

Хотя Стефен и не отличался упрямством, однако все взбунтовалось в нем сейчас, не позволяя примириться с таким отношением к себе. Шесть лет назад он бы усомнился в качестве своей работы. Теперь же он был уверен, что панно отвечают самым высоким требованиям — не только по глубине трактовки общечеловеческой темы, но и как произведения искусства. То, что они были отклонены произвольно, безосновательно, без всякой консультации с экспертами, возмущало Стефена до глубины души. Но еще больше возмущало его то, что комиссия поторопилась замять дело, прервала его работу над картинами, на которые она не имела никаких прав, так как ему не было за них заплачено, и, преградив ему доступ к ним, лишила возможности отстаивать свое детище. И сейчас, в тряском автобусе, вспомнив, с каким рвением, как добросовестно он выполнял этот заказ, Стефен прикусил губу и сжал кулаки. Нет, не может он подчиниться, да и не хочет, и, несмотря ни на что, вытащит всю эту историю на свет божий. И он стал тщательно перебирать в уме те меры, которые он для этого принял, — пусть они далеко не идеальны, но это лучшее, что можно придумать, и, как ему казалось, самое действенное. Какое счастье, что у него сейчас есть деньги. Никогда еще они не были ему так нужны.

Автобус въехал в предместье Чарминстера, и Стефен почувствовал, как напряглись его нервы. Часы на рыночной площади светились в темноте, и стрелки показывали без четверти шесть. Стефен вышел из автобуса, не доезжая до площади, и прошел кратчайшим путем к железнодорожному вокзалу. Он остановился у выхода на главную платформу в ту самую минуту, когда к станции подходил поезд, прибывавший в шесть двадцать пять из Лондона.

Из вагонов вышло всего несколько человек, и среди них Стефен сразу увидел стройную фигуру Торпа Мэддокса, направлявшегося к нему с чемоданом в руке.

— Спасибо, что приехали, — сказал Стефен, обмениваясь с ним рукопожатием.

— Всегда рад быть вам полезен, мистер Десмонд. Дядюшка просил вам кланяться.

— Я заказал для вас номер в «Голубом кабане». Хочу, чтобы вам было здесь удобно, — сказал Стефен, идя вместе с Мэддоксом к выходу. — Но сначала нам придется проделать кое-какую работу.

— Вы уже договорились о помещении?

— Я снял помещение на две недели, считая с завтрашнего дня. Как раз туда мы сейчас и пойдем.

В самом центре Чарминстера, неподалеку от рынка, находился магазин, в котором раньше была передвижная библиотека Ленгленда и продавались писчебумажные принадлежности; дела предприятия шли очень скверно, и в результате помещение стали сдавать на небольшой срок для самых разных надобностей — например, под слет бойскаутов, под избирательный участок, под распродажи, которые устраивались всевозможными благотворительными организациями, процветавшими здесь. У этого помещения и остановился сейчас Стефен.

— Вот мы и пришли. Это, конечно, не бог весть что, но сойдет. Подходящие стены, а также есть стол и стул для вас. Пройдемте во двор. Там стоит ручная тележка.

Через пять минут, взявшись каждый за ручку и толкая перед собой тележку, они направились пустынным кружным путем к Мемориальному залу. Чарминстер, именовавшийся городом только потому, что там имелся собор, на самом деле был боль-

шим селом, жители которого рано укладывались спать. В этот час улицы были почти пусты, и Стефен порадовался тому, что их экспедиция осталась незамеченной. Не прошло и двадцати минут, как они вынесли панно из зала, погрузили их на тележку, и Стефен, убедившись, что лак просох, набросил на холсты кусок мешковины. Затем он закрыл дверь, считая, что этот акт вежливости будет должным образом оценен комиссией, и привинтил засов с замком на прежнее место.

Соблюдая необходимую осторожность, Стефен и Мэддокс направились к рыночной площади; вскоре они добрались до заведения Ленгленда, разгрузили тележку и внесли панно в пустое помещение. Затем закрыли все ставни и принялись развешивать картины. Одну из них — «Насилие над миром» — Стефен поместил в витрине; вторую — «Это ты, Армагеддон!» — как раз напротив входа; остальные три панно были развешены в большой комнате, где раньше помещалась библиотека. Это оказалось делом нелегким: рамы были тяжелые, и их приходилось подвешивать на проволоке, но часов около девяти все было кончено, и Стефен остался доволен результатом. Он повернулся к своему помощнику:

— Ну, как?

Сосредоточенно нахмурившись, молодой Мэддокс сказал:

— Вы знаете, что я всегда был высокого мнения о ваших работах. Но честное слово, эти панно превосходят все, что вы до сих пор создали. Это потрясающе... Я прямо ошеломлен.

— Значит, вы не возражаете провести в их обществе недельки две?

— Конечно нет. Это будет... даже интересно. — Он помолчал. — Дядюшка их не видел?

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Я просто думаю, мистер Десмонд... Едва ли он посоветовал бы вам выставлять их в Чарминстере.

— Черт возьми, Торп, но именно в Чарминстере я и должен их показывать. А почему, собственно, нет?

— Видите ли, сэр... это маленький, захудалый городишко. Ручаюсь, что здесь не способны отличить произведение искусства от репы.

Молодой Мэддокс неспроста затеял этот разговор. Стефен ждал, что будет дальше.

— Если бы эти панно были выставлены в Национальной галерее или в Лувре, их оценили бы по достоинству. Но, мистер Десмонд, — и Мэддокс сделал пренебрежительный жест, показывая, во что он ставит художественные вкусы округа, а взгляд его молодых глаз стал необычно серьезным, — разве здесь в состоянии их оценить?

ГЛАВА IX

На следующий день утро выдалось холодное и ясное. В «Голубом кабане» Торп Мэддокс встал рано, позавтракал и отправился в так называемый магазин Ленгленда, который он и открыл ровно в девять часов, предоставляя широкой публике возможность познакомиться с картинами. В это самое время Марк Саттон, отличавшийся необычайной пунктуальностью, шел к себе в банк, находившийся на углу, на расстоянии нескольких домов от заведения Ленгленда. Он увидел в витрине большое полотно, узнал его и обмер. Четыре минуты спустя он уже был у себя в кабинете и звонил по телефону Трингу. Меньше чем через час контр-адмирал прибыл к нему и, беспомощно пожав плечами, объявил, что снимает с себя всякую ответственность.

— Я сделал все возможное, Саттон, чтобы не допустить скандала. Я делал это не ради себя, а ради тех лиц, к которым питаю глубочайшее уважение. Все было в полном порядке: комар носа не подточит. А теперь этот парень, черт бы его побрал, топит нас: надо же ему было выкрасть картины и выставить их для всеобщего обозрения!

— Картины-то, конечно, его... и он имеет право их забрать.

— В том-то и беда! Иначе я бы давным-давно сжег их.

Наступила пауза, пока Тринг набивал табаком трубку.

— Может быть, вам стоит повидать настоятеля собора? — предложил вконец расстроенный Саттон.

— Я уже пытался это сделать по пути сюда. Но он простужен и никого не принимает. Во всяком случае, его это мало трогает. Ведь все шишки посыпятся на нас.

— А вы думаете, будет... — Саттон помолчал, прежде чем произнести роковое слово: — Скандал... взрыв возмущения?..

— Нет, вы просто ничего не понимаете! Господи боже, милейший, да эти проклятые картины вызовут в Чарминстере не меньше шума, чем знаменитый пожар на пивоваренном заводе Бейли. Но я уже решил, какого курса держаться. Меня обманули. И теперь я умываю руки.

С этими словами Реджи величественно вышел из банка.

В обычных условиях любая другая выставка картин наложила бы не больший отпечаток на жизнь этого заштатного городка, чем хлопья снега, упавшие на могильную плиту. За все время существования Чарминстера в нем было всего несколько такого рода выставок, и последняя на памяти его обитателей состоялась перед войной — то были натюрморты, ценою гиней за штуку, принадлежавшие кисти парализованной дочери майора Физерстонхоу; все эти цветы разных видов и размеров, вазы с примулами, анютиными глазками и тому подобным были, конечно, первоклассными произведениями искусства, если учесть, что они созданы рукой калеки.

Но нынешняя выставка была совсем иного рода, и картины, экспонируемые на ней, изображали вовсе не цветы. Уже сами события, предшествовавшие ее открытию, равно как и скверная репутация художника, придали полотнам скандально-притягательную силу. Короче говоря, они привлекли публику именно тем, что так возмущало всех, и весь Чарминстер отправился глазеть на них, подобно тому как любопытные глазают на труп в морге. При этом люди познатнее и побогаче — какие бы суждения они ни высказывали в частных беседах — держались с отменным высокомерием, позволяя себе иной раз лишь презрительно фыркнуть, чего, правда, нельзя сказать про вдовствующую владелицу замка Дитчли, лицо которой, когда она садилась в свой «даймлер», хранило самое суровое выражение, лишь подчеркивавшее ее сходство — обстоятельство, особенно ею ценимое, — с покойной королевой Викторией. Люди же попроще — в основном работники обоего пола с окрестных ферм —

обладали, к сожалению, недостаточной культурой для понимания этих картин. Одни молча, разинув рот, смотрели на них, а другие — и таких было большинство — громко обменивались скабрёзными шуточками, не лишёнными грубоватого юмора, и весьма недвусмысленно комментировали отдельные детали композиции, при виде которых женщины помоложе возбуждённо взвизгивали. Оставались ещё промежуточные слои населения — почтенные, респектабельные, богобоязненные, законопослушные представители буржуазного класса этого соборного города, на чью долю и выпала честь занять должную позицию по отношению к этой неслыханной выставке и со всею серьёзностью взвесить то влияние, какое она может оказать на общество.

Поначалу эта прослойка была попросту ошарашена. Панно — по теме и по манере выполнения — никак не отвечали тому, что все ожидали увидеть: такая живопись оскорбляла посредственные умы, бросала вызов всем привычным представлениям, попирала вековые традиции и общепринятые вкусы. И буржуа были скандализированы с первого же взгляда. Затем, присмотревшись к деталям композиции, они постепенно различили такие элементы, которые, по их мнению, бесспорно наносили удар по приличиям, патриотизму, религии и прежде всего — морали.

Наибольшее возмущение вызывало панно, с такою дерзостью выставленное в витрине. Слишком поздно степенные лавочники и рассудительные торговцы запретили своим женам и дочерям смотреть на рыхлое тело, отвисшие груди и крепко сжатые ноги полуобнаженной крестьянки, тщетно пытающейся отбиться от похотливых притязаний обступивших ее солдат.

Сознание нанесенного оскорбления росло, заговорило чувство общественного долга, и печать, всегда стоящая на страже интересов публики, взялась за дело. В этих местах издавалось две газеты: «Каунти газет» и «Чарминстер кроникл». В «Кроникл», выходявшей по средам, появилась передовая статья, озаглавленная: «Оскорбление нашего славного города». Три дня спустя «Каунти газет» превзошла своего соперника и напечатала передовицу под заглавием: «Искусство или бесстыдство?»

Наблюдая эту бурю общественного негодования — он, правда, ее предвидел, но никак не ожидал, что она примет такие размеры, — Тринг испытывал двоякое чувство. С ним печать обошлась милостиво: члены комиссии благодаря вмешательству влиятельных лиц — кого именно, Тринг легко мог догадаться, — были изображены как люди честные, но, к сожалению, введенные в заблуждение. И хотя на него лично не падало никакой тени, Тринг почувствовал — по мере того, как разрасталась буря, — что должен помочь Клэр, которая ведь тоже оказалась жертвой. В понедельник, на следующий день после появления статьи в «Каунти газет», на дневном заседании Окружного совета пространно обсуждался злободневный вопрос, и одно слово, брошенное Шарпом, привело в смятение контр-адмирала. Весьма озабоченный, он поехал домой, а там, обдумав как следует положение, пока обгладывал косточку отбивной котлеты, решил действовать. В два часа он снял телефонную трубку и попросил соединить его с Броутоновским помещьем.

— Алло, алло! Могу я попросить к телефону миссис Десмонд?

— А кто это говорит?

— Контр-адмирал Реджинальд Тринг.

— Боюсь, что моя жена сейчас занята.

— Ах это вы, Джоффри! Рад слышать ваш голос, милейший. Что же это я не узнал вас? Как поживаете?

— Отлично. Чем могу быть вам полезен?

— Видите ли... я, собственно, хотел сказать два слова Клэр... по поводу этой... мм... выставки. Но если она занята, может быть, вы поговорите со мной?

Последовала еле уловимая пауза.

— Безусловно.

— В таком случае после того, что мне довелось слышать сегодня, я бы посоветовал вашему кузену поскорее закрыть выставку и, не теряя ни минуты, убраться отсюда вместе со своей проклятой мазней... Я не хочу ничего больше говорить по телефону, но... вы меня поняли...

— По-моему, да.

— Прекрасно. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашей супруге. Я вполне понимаю, что, когда она про-

сила меня рекомендовать вашего кузена, она и понятия не имела, чем все это может кончиться... бедняжка.

Молчание.

— Ну... Вот, кажется, и все, Джофри. До свидания, желаю здравствовать.

Джофри отошел от телефона, побелев от ярости. Эту неделю и так все шло кувырком, а теперь еще такой сюрприз! Хотя он все время подозревал что-то недоброе, ему и в голову не приходило, что его чувству собственного достоинства может быть нанесен подобный удар. Однако надо соблюдать хладнокровие. Джофри постоял немного в холле, собираясь с мыслями и чувствами, затем, придав лицу непроницаемое выражение, медленно поднялся наверх. Обычно он стучал, прежде чем войти в гостиную жены, но сейчас открыл дверь без стука.

Клэр сидела у окна в своем любимом кресле, держа на коленях раскрытую книгу; под глазами у нее залегли тени, словно она не спала всю ночь.

— Ты занята? — небрежным тоном спросил он.

— Да... впрочем, не очень.

— Что это ты читаешь? — И он быстро взял у нее с колен книгу: она называлась «Постимпрессионисты». — Хм! В последнее время ты стала проявлять что-то уж очень большой интерес к живописи!

— В самом деле?

— Такое, во всяком случае, создается впечатление. — Он присел на край дивана. — Кстати, когда мы увидим твои новые картины?

— Какие картины?

— Те две, что ты купила в Лондоне.

Она еще больше побледнела, отвела взгляд в сторону, но ничего не ответила.

— Ты уже забыла? Одна называется «Благодетение», кажется, так? Прелестное название! А другая — «В оливковой роще»?

Понимая, что он издевается над нею, Клэр заставила себя взглянуть на мужа.

— Я их пока еще не взяла.

— Зачем же лишать нас удовольствия любоваться ими? Ведь они, наверное, немало тебе стоили. — Внезапно он пере-

стал глумиться, и в тоне его появились жесткие нотки: — Чего ради ты решила подкармливать этого малого?

— Мне понравились его картины.

— Не верю. Этот пройдоха ничего путного не может нарисовать. А ты преподносишь ему четыреста фунтов, в то время как я... нам нужен каждый пенни... один этот дом содержать сколько стоит! Но тебе и этого показалось мало. — Не совладав с собой, он вскочил и, захлебываясь от злости, обрушился на нее: — Ты интриговала за моей спиной и клянчила, чтоб ему поручили писать эти панно для Мемориального зала, которые он, конечно, загубил и тем самым подвел тех, кто его поддерживал, а тебя сделал всеобщим посмешищем. Какого черта тебе надо было ввязываться в это дело?

— Я просто хотела помочь ему, — тихо промолвила она. Разве мог такой человек, как Джофри, понять томление ее сердца?

— Ты с ним виделась?

— Только однажды на прогулке... и всего несколько минут...

— Я тебе не верю. Ты с ним встречаешься.

— Нет, Джофри.

Он не знал, говорит она правду или нет. Вообще он был почти уверен, что физически она ему не изменяла, но ему хотелось сохранить власть и над ее душой. Он быстро прошелся взад и вперед по комнате, затем остановился перед женою.

— Ты, конечно, и надоумила его устроить эту чертову выставку?

— Нет, я тут ни при чем. Но я догадываюсь, почему он так поступил.

— Вот как! — Джофри метнул на жену гневный взгляд.

— Неужели ты не способен понять, Джофри, что художник не может не отстаивать свою работу, если он верит в нее? Потому-то и возник «Салон отверженных»... и такие художники, как Мане, и Дега, и Лотрек, над чьими работами сначала глумились, а потом признали их великими... все они выставлялись там.

— Ты, оказывается, здорово в этом разбираешься, — не без сарказма заметил он. — Но те художники, по крайней мере, не устраивали скандала на весь свет.

— Неправда, устраивали, — горячо возразила она. — Когда Мане, Гоген и Ван Гог выставили свои первые работы, поднял-

ся страшный вой. Люди толпились вокруг картин, кричали, что это оскорбление, плевков в лицо обществу... дело чуть не дошло до драки. А сейчас — эти же картины считаются признанными шедеврами.

Ее спокойный тон, незнакомые иностранные фамилии, которые она перечисляла, привели Джофри в полную ярость. Он шагнул к Клэр и схватил ее за руку.

— Я тебе покажу признанные шедевры! Дай мне только до него добраться — я ему шею сверну!

— И ты думаешь, это поможет?

Она смотрела на него в упор таким странным взглядом, что он невольно выпустил ее руку.

— Вот, значит, что: влюбилась.

Ни слова не говоря, она встала и медленно направилась к двери. Но прежде чем она успела закрыть за собой дверь, Джофри, кипя от бешенства, крикнул:

— Тебя надо как следует высечь, вот что!

Однако Клэр и виду не подала, что слышала.

Оставшись один, Джофри постоял еще немного посреди комнаты, сжав кулаки; лицо его потемнело от злости: он думал. Ясно одно: что-то надо предпринять, и притом немедленно, если он не хочет, чтобы имя Десмондов было втоптанно в грязь. Он нахмурился, подавляя желание немедленно расправиться со своим братцем: это удовольствие придется отложить до другого раза. Может быть, пойти и попытаться подогреть Бертрама: заставить его отправить своего мерзавца-сынка в Канаду или в какую-нибудь колонию подальше? Нет, из этого ничего не выйдет: слишком уж у них там плачевное положение и на Бертрама нельзя рассчитывать; что же до Каролины, то он давно подозревал ее в тайном стоворе с Клэр. Наконец он решил посоветоваться с родителями и, взяв телефонную трубку, попросил соединить его с «Симла Лодж».

К телефону подошел отец. Не успел Джофри поздороваться, как тот прервал его:

— Я только что собирался звонить тебе. Ты будешь днем дома? Мне надо поговорить с тобой.

— По поводу известного дела?

— Да.

— В таком случае я буду ждать вас. И захватите с собой матушку.

— Мама не может приехать. А я буду у тебя примерно через час.

Джофри ждал отца в бильярдной, сгорая от нетерпения; он без конца курил, сделал несколько ударов по шарам, не попал, ругнулся и, бросив кий, принялся шагать из угла в угол, то и дело подходя к окну. Наконец из-за высоких рододендронов, скрывавших поворот аллеи, вынырнул маленький «стандарт» с британским флажком на капоте. В комнату быстро вошел генерал Десмонд. К великому изумлению Джофри, он был в комбинезоне, который обычно надевал для работы в саду, в длинном непромокаемом плаще и резиновых сапогах. Взгляд его голубых глаз был ледяным, даже капли дождя на усах блестели, словно сосульки.

— Рад видеть вас, сэр. Разрешите, я возьму пальто — оно совсем мокрое. Принести вам чего-нибудь выпить?

— Да. Виски с содовой, мой мальчик. И себе налей тоже.

Джофри подошел к погребцу, смешал напитки, протянул стакан генералу, и тот стоя залпом осушил его.

— Надеюсь, Клэр здорова?

— Да... вполне.

— Слава богу.

Отец все больше и больше удивлял Джофри, но он решил не ломать над этим голову и прямо перешел к делу:

— С этой выставкой, которую устроил наш родственничек, получилась страшная чертовщина. Надо ее закрыть.

— Она уже закрыта, Джофри.

— Что?..

В комнате воцарилась звенящая тишина. Генерал поставил на стол пустой стакан.

— Сегодня после второго завтрака ко мне заехал начальник полиции графства. Выражал всяческое сочувствие, чуть ли не извинялся... Чарминстерские власти расправились сами, и он ничего не мог поделать... но он тоже считает, что у них был только один выход — конфисковать эти «произведения искусства».

— Ну конечно!

— Он сказал также, что постарается оберечь имя твоей жены, чтобы оно не фигурировало в скандале.

— Каком скандале?

— Твоего двоюродного братца, — изрек генерал Десмонд, роняя каждое слово так, точно оно оскверняло его гладко выбритый рот, — сегодня утром пригласили в Чарминстерский полицейский участок и официально обвинили в демонстрации непристойных картин.

— Не может быть, сэр... Вот чертовщина!

— Он должен предстать перед судом в следующий понедельник. — Голос генерала был тверд, как металл.

ГЛАВА X

Помещение Чарминстерского суда, где назначили слушание дела, было набито до отказа. Это старинное здание с полукруглой галереей и высоким куполом редко вмещало в себя такое количество не только видных горожан, но и рядовых обитателей графства. Стефену, который под охраной бравого сержанта с мучительным нетерпением дожидался начала заседания, казалось, что он, словно стеной, со всех сторон окружен плотным кольцом лиц. Глаза его застилал туман, и он никого толком не мог различить. Правда, он — благодарение Богу! — знал, что никого из родных здесь нет, зато был Ричард Глин, и мысль об этом чрезвычайно подбадривала его.

Внезапно, словно по команде, гул голосов смолк. Вошли судьи и с приличествующей случаю торжественностью заняли свои места. Затем, после минутной заминки, вызвали Стефена, сержант подвел его к скамье подсудимых, и заседание суда началось. Стефен почувствовал, как у него напряглись все нервы, когда секретарь бесцветным, тягучим голосом начал читать по бумажке:

— Стефен, сквайр Десмонд, вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка, выразившемся в том, что семнадцатого марта в городе Чарминстере, в цокольном этаже дома номер пять по Корнмаркет-стрит, будучи временным арендатором и владельцем указанного помещения, преднамеренно выстави-

ли три непристойные картины, или панно. Согласно разделу первому «Акта о непристойных публикациях» от тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, вы должны представить доказательства, которые позволили бы суду прийти к выводу, что вышеупомянутые картины, или панно, конфискованные на основании жалобы, поданной властям, и доставленные в судебное присутствие согласно ордеру, выданному в соответствии с указанным разделом указанного Акта, не подлежат уничтожению.

Секретарь закончил чтение, и взгляды всех присутствующих устремились на три панно, выставленные для всеобщего обозрения посреди зала.

- Признаете ли вы себя виновным? — спросил секретарь.
— Не признаю, — тихо ответил Стефен.

На какое-то мгновение взоры всех присутствующих обратились к Стефену, но тут с места поднялся представитель обвинения и завладел всеобщим вниманием. Это был Арнольд Шарп.

— Господа судьи, — глухо, чуть ли не скорбно начал он, — позвольте мне сказать несколько слов от себя лично и выразить глубокое огорчение по поводу того, что на мою долю выпал сей труд. Но положение адвоката при городском совете не оставляет мне права выбора и вынуждает выполнить свой долг.

- Прошу к делу, — сухо заметил судья.

Шарп поклонился, ухватившись за лацканы пиджака.

— Господа судьи, факты, относящиеся к заказу этих панно, слишком хорошо и широко известны, чтобы еще раз перечислять их здесь. На основании некоторых рекомендаций, а также самых торжественных заверений ответчика — возможно, было принято во внимание и то уважение, каким пользуется его семья, — работа эта была поручена ответчику. Учитывая цель, для которой предназначен Мемориальный зал, это было проявлением великого, святого доверия. Я опускаю вопрос о том, что пережили члены комиссии, когда увидели, как выполнен их заказ, а также о том упорстве, с каким автор воспротивился их разумным и доброжелательным намерениям не затевать скандала. Я просто прошу вас вникнуть в дело без всякой предвзятости и рассудить, сколь жестоко было обмануто великое дове-

рие, оказанное ответчику. Доказательства здесь, они доставлены в открытое заседание суда. Эти, с позволения сказать, произведения искусства перед вами.

Шарп помолчал и хмуро посмотрел на панно:

— В интересах благопристойности я не намерен долго и подробно останавливаться на разборе этих картин. Тем не менее справедливость требует, чтобы я указал на основные моменты, повлекшие за собой данное обвинение.

Взяв указку, которой он заблаговременно запасся, Шарп шагнул вперед. Он постучал ею по картине «Плоды войны», и по залу пронесся гул оживления.

— Здесь, — продолжал Шарп, — среди развалин, отнюдь не способных навести на возвышенные мысли, мы видим обнаженную фигуру женщины во весь рост, которая, по словам ответчика, изображает мир. Мы люди совсем не предубежденные и не узколобые. Мы не возражаем против обнаженных фигур вообще — скажем, на исторических полотнах старых итальянских мастеров, особенно если они, как это мы видим в творениях великих художников, соответствующим образом задрапированы. — Стефен, слушавший его, сжав губы, не удержался при этом от кривой усмешки. — Но эта женщина совсем не задрапирована, фигура ее исполнена такого сладострастия, так тщательно выписаны соответствующие места ее тела, что это не может не вызвать краски стыда у неискушенного зрителя.

Шарп помолчал и повернулся к соседнему панно.

— На этой мерзости — я думаю, господа судьи, это слово вполне оправданно — мы видим нечто, долженствующее изображать поле боя, где наши войска — а то, что это наши войска, легко определить по тому, как они одеты, — сражаются с врагом. Хотя нас здесь опять-таки прежде всего интересует проблема благопристойности, разрешите мимоходом обратить ваше внимание на то, как изображены наши храбрые воины: они лежат мертвые и раненые в окопах, словно потерпели поражение, а ведь — благодарение Богу! — мы выиграли войну. Но не в этом главное. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этих трех чудовищ, полулюдей-полуптиц, которые кружат над нашими войсками. Все мы знаем про то, как ангелы явились нашим славным доблестным воинам и помогли победить гуннов. Если

бы здесь было запечатлено это прекрасное божественное видение, изображающее ангелов с распростертыми крыльями, в развевающихся белых одеждах, это было бы благородное и возвышенное зрелище. Но вместо этого перед нами какие-то отвратительные чудища. И вот к чему, господа судьи, я веду свою речь. Ответчик со свойственным ему стремлением к непристойности, отмечающим каждый его мазок, пририсовал этим чудовищам женские формы: перед нами снова наполовину обнаженные женские фигуры, с тщательно выписанными грудью и торсом, который заканчивается перьями; конечно, только извращенный и похотливый ум мог создать такое. Ну скажите, пожалуйста, господа судьи, чем еще, если не крайней извращенностью, можно объяснить то, что ответчику пришло в голову изобразить каких-то непонятных женщин-уродов?

Тут с галереи раздался гневный протестующий голос, в котором Стефен сразу узнал голос Глина:

— А вы когда-нибудь слышали про гарпий, которых Гомер упоминает в «Одиссее», вы — невежественный осел?

Зал ахнул. Председатель суда возмущенно застучал молотком и, поскольку нарушителя порядка обнаружить не удалось, объявил:

— Еще одна такая выходка, и я потребую немедленно очистить зал заседаний.

Когда тишина была восстановлена, Шарп, несколько сбивтый с толку этой репликой, продолжал с еще большим ядом, чем прежде:

— Я еще не покончил с этой картиной. Здесь, господа судьи, на заднем плане, но достаточно отчетливо — если вы, конечно, в силах на это смотреть — нарисованы три человека: двое мужчин и женщина, которых расстреливает взвод солдат. Это зрелище — и всегда-то неприятное, но порой неизбежное во время войны — в данном случае тем более омерзительно, что три потенциальных трупа также почти наги и прикрыты лишь тряпьем. Настолько наги, что, несмотря на малые их размеры, без труда можно определить, к какому полу принадлежит каждый.

Шарп перевел дух и скромно вытер усы белоснежным носовым платком, точно эти слова могли их загрязнить. Затем он продолжал:

— Но это, господа судьи, еще не все: самое убедительное доказательство вины ответчика находится на вот этом панно. Уже самое состояние, в котором мы его видим, говорит о справедливом возмущении наших граждан. И возмущении вполне законном. — Он зловеще махнул указкой в сторону панно. — Мы отнюдь еще не покончили со всеми непристойностями. Перед нами снова полураздетая женщина. И как же она изображена? В момент, когда представители наших вооруженных сил подступают к ней с безнравственными намерениями. Короче говоря, хоть мне и не хотелось бы произносить это слово, перед нами — изнасилование. Просто трудно поверить, что у нас, в христианской стране, могли изобразить этот непристойный акт, и притом без всяких прикрас, да еще рядом поставить ребенка, который смотрит, как они катаются по земле.

По залу пронесся ропот, и приободренный им Шарп ловко перевел указку на последнее панно.

— Господа судьи, у меня нет ни желания, ни надобности затягивать эту дурно пахнущую демонстрацию. Но бросьте хотя бы беглый взгляд на эту заключительную сатурналию наготы. Посмотрите на бесстыдный, а вернее, постыдный облик этих мужчин и женщин, поднимающихся вроде бы из могил. Посмотрите и, прежде чем отвести глаза, спросите себя, не говорит ли эта омерзительная картина о самой что ни на есть настоящей извращенности?

Шарп положил указку и, ухватившись за лацканы пиджака, выпрямился.

— Господа судьи, совершенно ясно, что все эти картины, с первой и до последней, представляют собой поход против нравственности — порой завуалированный, порой откровенный и наглый, но неизменно дьявольски хитрый. Проистекает ли это от декадентских воззрений, от извращенности, просто от озорства или от порнографических наклонностей ответчика, не мое дело судить. Я лишь повторяю: эти панно не только низкопробны, вульгарны, омерзительны и неприглядны, но они вполне подходят под определение неблагонаправных и непристойных, содержащееся в законе. Непристойными называются такие вещи, которые по природе своей способны совратить умы, не подвергавшиеся дотоле аморальному влиянию, как, например, умы

наших детей, нашей молодежи, наших жен и матерей. Я полагаю, господа судьи, вы без труда сделаете вывод, что к этим произведениям полностью применим юридический термин «непристойные» и, следовательно, они подлежат уничтожению, дабы не отравлять больше чистый воздух нашего города, а их создатель — наказанию в полную меру закона.

Под одобрительные перешептывания зала, быстро, впрочем, умолкшие, Шарп закончил свою вступительную речь. Затем был вызван сержант, конфисковавший панно, который дал официальное показание о том, как это произошло. Когда он кончил, судья, посоветовавшись с секретарем, обратил взгляд на Стефена. Судья — местный церковный староста и отец трех незамужних дочерей — был человек порядочный, честный, шепетильный, справедливый, который, хоть и неукоснительно придерживался процедуры, гордился своею беспристрастностью. Вот и сейчас, почувствовав, что публика настроена против ответчика, он решил отнестись к нему особенно внимательно.

— Насколько я понимаю, у вас нет адвоката и вы намерены вести защиту сами, — благожелательно заметил он.

— Совершенно верно.

Теперь, когда настал его черед, Стефен, спокойно выслушавший ядовитые нападки обвинителя — только мускулы подрагивали на его побелевшем лице, — крепко ухватился за перила, ограждающие скамью подсудимых. Хотя бы ради своих картин, подвергнутых столь несправедливому поруганию, ради того огромного труда, который он вложил в них, он решил произвести на публику возможно более благоприятное впечатление.

— В таком случае я обязан сообщить вам, что вы имеете право под присягой дать показания — и тогда вам разрешается задавать вопросы представителям обвинения — или же, если желаете, можете сделать заявление с места.

— Я буду давать показания, сэръ, — сказал Стефен.

Сержант подвел его к месту для свидетелей, и, чувствуя какую-то неприятную сухость в горле, с мучительно бьющимся сердцем Стефен дал присягу и повернулся лицом к судьям.

— Говорите, пожалуйста.

— Прежде всего я хочу опровергнуть со всею силой убеждения, на какую способен, те обвинения, что выдвинуты против меня. В своей работе я никогда не ставил перед собой столь низкую цель, как желание пощекотать низменные чувства порочных людей. Я всегда серьезно подходил к искусству. А в настоящем случае — серьезнее, чем когда-либо. Я писал эти панно, вдохновляясь искренним и глубоким стремлением показать посредством символических образов одну из величайших трагедий человечества. Это был нелегкий труд, ибо требовалась масштабная композиция. А как вы судите о нем? Выхватываете из картин отдельные куски — как порою, скажем, выхватывают слова из контекста страницы — и по ним судите о целом. Более нелепый, более несправедливый метод оценки трудно себе представить. Если мы пройдемся с вами по Национальной галерее, я берусь набрать из выставленных там шедевров достаточно деталей, которые составят такое целое, что вы будете шокированы до глубины души. При всем моем к вам уважении я, следовательно, вынужден сделать вывод, что человек с обычным, стандартным вкусом, будь то сержант полиции или просто осведомитель, недостаточно компетентен, чтобы судить о такого рода вещах. Возможно, моя работа нелегка для восприятия. Однако существуют критики и художники, которые благодаря своему опыту могут истолковать и правильно оценить то новое, что появляется в живописи. Для подкрепления моих доводов я прошу вызвать мистера Ричарда Глина, выставяющегося в Королевской академии, который находится сейчас здесь, в зале.

Шарп мгновенно вскочил с места.

— Господа судьи, я протестую. Если б мне было дозволено вызвать свидетелей вроде мистера Глина, можете себе представить, какое количество видных лиц я мог бы пригласить для подтверждения моей точки зрения! Но в таком случае слушание дела растянется не на одну неделю.

Судьи подумали, пошептались с секретарем и важно кивнули в знак согласия.

— Мы не можем разрешить вам вызвать мистера Глина, — объявил председатель. — Вызов свидетеля для разбора чисто

художественных достоинств вашей работы абсолютно исключен.

— Но как же иначе вы можете судить о произведении искусства? — воскликнул Стефен.

— Дело ведь не в том, является ли ваша работа произведением искусства или нет, — сурово сказал судья: он не любил, когда ему задавали вопросы. — Самая прекрасная в мире картина может быть непристойной.

Потрясенный этим перлом логики, Стефен на минуту утратил дар речи.

— Значит, я не могу вызвать мистера Глина в качестве свидетеля?

— Нет.

Тут из первого ряда галереи поднялась массивная фигура; перегнувшись через перила, вытянув шею, повязанную красным шарфом, воинственно выставив вперед подбородок, человек крикнул:

— Если меня не желают вызывать, то услышать меня, во всяком случае, услышат.

— Замолчите!

— Я замолчу только после того, как выскажусь. По моему глубокому убеждению, эти панно с эстетической точки зрения являются первоклассными произведениями. По реализму и широте показа жизни их можно сравнить с работами Домье. По динамичности и драматизму можно поставить в один ряд с лучшими созданиями Эль Греко. Только вульгарные и грязные душонки могут считать эти вещи безнравственными.

— Пристав, выведите этого человека!

— Я ухожу, — сказал Глин, направляясь к двери. — Если я останусь здесь, то, чего доброго, сам скажу что-нибудь непристойное. — И он вышел.

Шум, вызванный этим гневным обличением, не смолкал несколько минут. Когда он немного утих, председатель, рассердившийся не на шутку, обвел взглядом галерею.

— Если подобное безобразие повторится, я немедленно приговорю виновного к тюремному заключению за неуважение к суду. — Он повернулся к Стефену. — Вы хотите еще что-нибудь сказать?

— Если мне не разрешают вызвать свидетеля для подкрепления моих доводов, мне остается лишь повторить то, что я уже сказал.

— И это все? — Подавляя раздражение, судья снова попытался помочь обвиняемому: — Неужели вы ничего не можете добавить в свою защиту?

— Нет.

Услышав ответ Стефена, Шарп неторопливо поднялся на ноги с таким видом, точно намеревался простоять до конца заседания.

— Разрешите, господа судьи. — Ухватившись одной рукой за лацкан пиджака, он задумчиво потупился, затем резко вскинул голову и устремил взгляд на Стефена. — Вы много тут говорили, но так и не сказали нам, почему вы сочли необходимым поместить на этих панно по меньшей мере шесть совершенно обнаженных фигур, в том числе четыре женские.

— Я сделал это по многим причинам, одной из которых является красота обнаженного человеческого тела.

— Не станете же вы утверждать, что обнаженная фигура непременно должна быть выписана во всех подробностях?

— Если это фигура обнаженная, то она должна быть обнажена.

— Не делайте вид, будто вы меня не понимаете. Разве скромность не требует того, чтобы определенные части тела были всегда прикрыты?

— Если бы это было так, то как мог бы человек мыться в ванне?

Глазки Шарпа сверкнули.

— Неуместный юмор едва ли поможет вам.

— Уверяю вас, я настроен отнюдь не юмористически. Я просто пытаюсь показать вам, насколько нелепа ваша позиция, которая мне лично представляется не более как пережитком викторианского ханжества. Из таких же вот соображений в свое время оплевывали и поносили «Завтрак на траве» Мане, ибо он нарисовал там двух обнаженных женщин. А ведь все большие художники писали с натуры. Великое творение Гойи «Маха» изображает герцогиню Альба, лежащую на кушетке без единого клочка одежды. Я не сомневаюсь, что эта картина

привела бы вас в ужас. А в «Олимпии» вы увидели бы лишь возмутительно голую бабу. Вы забываете, что похотливо и двусмысленно выглядят именно слегка прикрытые фигуры. Природа — чистая и неприкрашенная — никогда не может быть непристойной. Символика образов и драматическое содержание моих панно требовали наготы. Но это целомудренная нагота, а не похотливая, полузадрапированная, какую вы, видно, предпочитаете, тогда как я нахожу ее пригодной лишь для украшения стен в публичных домах.

Председатель, подумав о своих трех дочерях, присутствующих в зале, неодобрительно нахмурился:

— Я попросил бы вас употреблять более умеренные выражения.

— Можете не сомневаться, господа судьи, ответчик по опыту знает, как выглядят подобные дома. — И, повернувшись к Стефену, Шарп уже без всякой усмешки назидательно сказал: — Я не могу согласиться с тем, что выставлять напоказ сокровенные части человеческого тела — целомудренно и скромно. Я считаю это непристойным.

— В таком случае почему же они выставлены напоказ во всех крупнейших галереях мира? В одном только музее Прадо вы найдете несколько десятков статуй работы таких мастеров, как Микеланджело и Донателло, у которых, выражаясь вашими словами, «все сокровенные части человеческого тела выставлены напоказ».

Шарп не стал препираться и перешел к следующему вопросу:

— Мне кажется, некоторое время тому назад, говоря о своих работах, вы употребили слово «целомудренные». В таком случае потрудитесь объяснить: вы что же, считаете насилие над женщиной целомудренным актом?

— Применительно к насильнику — нет.

— Однако вы не можете не признать, что вы изобразили на своей картине самый акт... изнасилования — да простят меня за то, что я употребил это слово.

— По мне, так можете употребить его.

— Благодарю за любезное разрешение. Это, однако, не очень приятное слово.

— Но оно есть в словарях.

— И у него весьма неприятный смысл. Не будете ли вы так любезны сообщить суду, почему вы избрали именно эту непотребную тему для своей работы?

— Возможно, я руководствовался неким прецедентом.

— Каким же это прецедентом, сэръ?

— Примером старых итальянских мастеров, как вы, следуя классическим канонам, изволили назвать их, — ведь вы питаете к ним такое уважение и так восхищаетесь ими. Они постоянно прибегали к этой теме.

— И вы ждете, что мы вам поверим?

— Я не жду от вас ничего, кроме невежества и предубежденности. Тем не менее это правда. Например, Тициан, самый старый из старых итальянцев — он дожил до девяноста девяти лет и был погребен с великой пышностью, хоть и был художником, — неоднократно использовал эту тему, причем наиболее яркое свое выражение она получила в «Похищении Европы». Его же кисти принадлежит «Похищение сабинянок» — одна из знаменитейших в мире картин; потом есть еще картина Прудона «Похищение Психеи». Все эти полотна висят в Лувре, вы там, конечно, бывали и не можете не согласиться со мной, что эта галерея пользуется весьма почтенной репутацией. Да взять хотя бы одну только тему соблазнения Данаи — она была использована Тицианом, Корреджо и Рембрандтом. Правда, этот последний не принадлежал к старой итальянской школе, однако был всеизвестным художником, а у него Даная изображена в виде женщины, которая лежит на постели, совершенно нагая и ничем не прикрытая.

Воцарилось молчание. У Шарпа был несколько смущенный вид, на щеках его проступили багрово-красные пятна, и он взглянул на судей, как бы взывая о помощи. Председатель, посоветовавшись со своими коллегами, посмотрел сквозь очки на Стефена.

— А кто такая эта Даная, на которую вы тут ссылаетесь?

— Дочь царя Акрисия.

— И она была жертвой... мм... такого насилия?

— Да.

— Со стороны кого же?

Тут Стефен, на свою беду, увидел возможность свести сче-ты. С ледяной усмешкой он ответил:

— Со стороны Зевса... который накрыл ее золотым дождем.

На галерее захихикали, но Глин, стоявший теперь в толпе у дверей и напряженно следивший за происходящим, даже не улыбнулся. Он увидел, как судья вспыхнул от досады, и понял, что Стефен испортил все дело. Шарп, который не дремал, быстро воспользовался благоприятным моментом:

— Господа судьи, я считаю, что эти исторические анекдоты не имеют никакого отношения к делу. Вернемся к разбираемо-му вопросу. — И он повернулся к Стефену — Вы признаете, что намеренно нарисовали эту сцену?

— Что значит намеренно? А как же, по-вашему, могла она попасть на полотно — случайно?

— Мистер Десмонд, — сурово вмешался председатель, — я должен предупредить вас, что считаю тон ваших ответов совершенно недопустимым.

— Это только означает, ваша милость, что я и в самом деле такой, каким вы меня считаете: ведь именно в этом меня и обвиняют.

— Продолжайте, мистер Шарп.

— Ваша милость, я пытаюсь добиться от обвиняемого прямого ответа на вопрос о том, почему он изобразил сцену изна-силования.

— Вы будете отвечать, сэр?

— Я изобразил ее потому, что мне хотелось подчеркнуть зверства и ужасы, которые сопутствуют всякой войне, однако быстро забываются и изглаживаются из памяти или, что еще хуже, прославляются во имя патриотизма.

— Должен ли я понять вас так, что вы считаете и наших солдат повинными в подобных преступлениях?

— А чем они лучше других людей? Разве только противник способен быть палачом и варваром?

— Вы сейчас сказали «противник». Но вы ведь его и в глаза не видели.

— Нет.

— Отчего же — поджилки тряслись?

— Чтобы быть художником, требуется тоже немало мужества.

— При чем тут мужество?

— А при том, что приходится терпеть людское глумление.

— Разве это имеет отношение к делу, мистер Шарп? — вмешался один из судей. — Ведь мы не обвиняем мистера Десмонда в трусости.

— Ваша милость, — воскликнул Шарп, — заслуги ответчика в военное или, точнее, в мирное время хорошо известны и говорят сами за себя. Но я больше не буду этого касаться, раз вам так угодно. Однако, — и он снова повернулся к Стефену, — я хотел бы задать вам еще один вопрос. Какое вы имеете право навязывать нашей мирной богобоязненной общине свой извращенный взгляд на жизнь?

— Это не только мой взгляд. Многие художники в своих произведениях выражали протест против войны — и Калло, и Делакруа, и Верещагин. В литературе — Толстой и Золя. Это же стремился отобразить в своих офортах «Ужасы войны» Гойя.

— Гойя — это, должно быть, француз?

— С вашего разрешения, испанец.

— Это одно и то же. Вы, видно, только и считаетесь с иностранцами.

— Потому что, к сожалению, у нас в Англии было очень мало по-настоящему больших художников.

— Вы, вероятно, забываете про себя.

— Мне кажется, у меня действительно есть талант. Иначе я не избрал бы тяжкую жизнь художника, с ее разочарованиями и лишениями, и сейчас не был бы вынужден выслушивать ваши дешевые издевки.

— Дешевые? Они могут обойтись вам дороже, чем вы думаете. Вместо того чтобы строить из себя мученика, вы бы лучше отвечали на вопросы. Вы вот употребили слово «ужасы». Зачем вам понадобилось их изображать?

— Зачем? — Измученный и затравленный, словно заяц, по следам которого гонится свора псов, Стефен забыл всякую осторожность. — Я хотел, чтобы мои картины ошеломили зрителей и навсегда отбили у них охоту воевать.

— И вы избрали для этого весьма сильный способ воздействия. Почему же вас так удивляет реакция публики?

— Когда я работал, меня занимал лишь процесс творчества. Однако сейчас я не удивляюсь. Все новое в эстетической мысли и ее воплощении всегда вызывало издевки. Всякий значительный сдвиг в искусстве подвергался сначала осмеянию и порождал яростные нападки невежд. Но я ни о чем не жалею. И если бы мне пришлось писать эти картины заново, я написал бы их точно так же.

Шарп злорадно усмехнулся:

— Господа судьи, предоставляю вам самим судить об этом заявлении ответчика, в котором нет ни капли раскаяния. Думаю, мне нет надобности что-либо к этому добавлять.

И он сел под аплодисменты присутствующих, которые, впрочем, тотчас смолкли. Председатель полистал какие-то бумаги и уже отнюдь не сочувствующим взглядом посмотрел на Стефена сквозь очки.

— Вы хотите еще что-нибудь сказать? Если желаете, можете сделать заявление суду.

— Я мог бы многое сказать. Но все это ни к чему. А потому я и не стану говорить.

Он вдруг почувствовал себя совершенно разбитым, мучительно заболела голова, неудержимо захотелось присесть, но сержант, дотронувшись до его плеча, дал понять, что садиться не разрешается.

Среди воцарившейся тишины председатель, просмотрев лежавшие перед ним записи и обменявшись несколькими словами с другими судьями, а также секретарем, поднялся для вынесения приговора.

— Мы выслушали, — сказал он, — с величайшим вниманием и — учитывая недопустимые выходки кое-кого из присутствующих — с чрезвычайным долготерпением всю аргументацию сторон. Мы также с необыкновенным тщанием изучили вещественные доказательства — картины. И мы не можем признать разумным тот довод, что, коль скоро эти панно являются превосходными произведениями искусства, они не могут в соответствии с положениями закона считаться непристойными. Во-первых, кто со всею непреложностью докажет нам, что эти

работы действительно превосходны? Их автор — никому не ведомый художник, совершенно неизвестный у себя на родине. Это не Констебл и не Лендсир. Это и не сэр Джошуа Рейнольдс. Если же подходить к его произведениям с обычной меркой, то, скажем, с точки зрения такого простого человека, как я, их никак нельзя назвать шедеврами. Краски какие-то кричащие, все туманно, запутанно, ни изящества, ни утонченности. Нет, этим картинам, по-моему, далеко до шедевров. И потом, даже если предположить, что перед нами шедевры, это, как я уже пытался доказать, не исключает их непристойности. Ведь с каким бы мастерством ни была написана картина, если она посвящена похотливой или грязной теме, она подпадает под положения закона. Образно говоря, это будет шедевр непристойности.

Далее, вся история работы над панно, равно как и вызывающее поведение обвиняемого, осмелившегося их выставить, говорит не в его пользу. Вместо того чтобы стремиться выполнить пожелания тех, кто дал ему заказ, время от времени советоваться с ними и пытаться создать произведения, вполне приемлемые для них и для всех порядочных граждан нашего города — а ведь для их блага и просвещения прежде всего и были заказаны эти панно, — обвиняемый умышленно задумал и создал такие картины, которые, как он сам сейчас признал, не могли не вызвать возмущения публики. Короче говоря, он задался целью шокировать зрителей, вызвать у них чувство отвращения — и вполне преуспел в этом.

Нельзя считать основательным и то утверждение, что он делал это якобы с самыми серьезными, честными и искренними намерениями. Если человек по натуре своей испорчен и извращен, то, имея он лучшие в мире намерения, он не может создать ничего, кроме порочной, безнравственной картины.

И наконец, последнее. Позиция, занятая ответчиком, не произвела на нас благоприятного впечатления. Вместо того чтобы проявить должное уважение и покорность, он держался строптиво, говорил вызывающе и язвительно. Я могу смело сказать, что все мы питаем самую глубокую симпатию к его семье — и в первую очередь к его отцу, который, несмотря на сегодняшнее неприятное разбирательство, останется для нас человеком

с незапятнанно чистой репутацией. Тем не менее закон есть закон, и, с какой бы точки зрения мы ни смотрели на разбираемое дело, сколько бы мы ни старались быть снисходительными, нам никуда не уйти от того непреложного факта, что ответчик, нарисовав и затем выставив для всеобщего обозрения обнаженные фигуры мужчин и женщин со всеми их сокровенными подробностями, нарушил общественный порядок. А потому мы признаем вас, Стефен, сквайр Десмонд, виновным в выдвинутом против вас обвинении. Поскольку вы обвиняетесь в проступке, судебно наказуемом, мы имеем право приговорить вас к тюремному заключению. Однако, несмотря на серьезность вашего проступка, мы не хотим применять к вам самую строгую меру наказания. Вместо того чтобы подвергнуть вас тюремному заключению, мы взыщем с вас штраф в размере пятидесяти фунтов стерлингов. Кроме того, вы должны будете оплатить судебные издержки. Мне нет нужды добавлять, что в соответствии с положениями «Акта о непристойных публикациях» от 1857 года мы обязаны предать выставленные здесь картины уничтожению.

Вслед за тем судьи поднялись, и судебное заседание под грохот долго не смолкавших аплодисментов было объявлено закрытым.

ГЛАВА XI

Выйдя из здания полицейского суда, Стефен пошел прямо на вокзал. Глин договорился с ним, что будет ждать его в «Голубом кабане», но Стефен был сейчас в таком состоянии, что ему никого не хотелось видеть: им владело лишь одно инстинктивное стремление — скрыться от всех, бежать. В душе у него бушевала такая ярость и отчаяние, что его единственным желанием было забраться куда-нибудь, где бы его никто не знал и не мог увидеть. Никогда больше он не вернется в Стилуотер. И самый Сассекс и все, что с ним связано, стали вдруг глубоко ненавистны ему.

Часы показывали четыре, когда он вошел в билетный зал. Сначала ему показалось, что там никого нет. Однако, когда

Стефен направился к кассе, кто-то легонько тронул его за локоть.

— Стефен!

Нервы его были до того напряжены, что он вздрогнул. Это была Клэр — в темно-сером костюме и в темной шляпе; лицо ее под вуалью казалось смертельно бледным, а глаза сверкали, как угли. Она торопливо заговорила:

— Я так и знала, что встречу вас здесь. Я... мне необходимо было вас видеть.

— Да?

— Стефен... — Она пыталась говорить спокойно, но голос у нее чуть не срывался. — Вам, наверное, надо подкрепиться... выпить кофе с сэндвичем... Пойдемте в буфет.

— Нет, Клэр, я не могу есть.

— Тогда давайте присядем здесь на минутку. — Нервным, напряженным жестом она указала в угол пустого длинного зала ожидания. — Вы, должно быть, смертельно устали.

Он помедлил, затем подошел вместе с нею к скамье и сел.

— Да, устал, — сказал он.

— И неудивительно. Как они на вас набросились!

— Вы там были? — Слегка пораженный, он поднял на нее усталый взгляд.

— Да-да... с начала и до конца. Неужели вы думали, что я могла не пойти? Ох, Стефен, все это было до того глупо и жестоко... и страшно, чудовищно несправедливо. Мне так хотелось хоть чем-то помочь вам.

Он отвел глаза и посмотрел в сторону.

— Разве вы и так уже не помогли мне? — Тон у него был бесстрастный, но без тени горечи. — Еще прежде... когда купили мои картины.

— Значит... Джофри был у вас и рассказал?

— Во время нашей встречи мы говорили и об этом. А потом он нокаутировал меня: сказал, что вы сделали это из милости.

— Вовсе нет... мне понравились ваши картины! — страстно воскликнула она. — Мне хотелось иметь их у себя.

— Нет, Клэр. Не надо притворяться. Вы просто дали мне милостыню в триста фунтов. Как вам могли понравиться мои картины, когда вы сами признавались, что не понимаете их?

— Неправда, понимаю, — не без горячности возразила она. — Я много читала по искусству.. Мне хотелось научиться разбираться в живописи. Я знаю, к чему вы стремитесь, и понимаю, с чем вам приходится сталкиваться, какую бездну невежества и предубежденности преодолевать. Вот почему мне было так больно за вас сегодня.

— Да, они поизмывались надо мной в полное свое удовольствие. — Он крепко сжал губы. — За себя мне не так больно. Я даже хотел бы, чтоб меня отправили в тюрьму. А вот то, что они отняли у меня мои работы, — это причиняет мне огромную боль. Вы только подумайте... ведь они сожгут мои панно!

— Ничего... Вы будете работать и напишете новые.

— Конечно буду. Я продолжал бы работать, даже если бы они сожгли меня самого... Я еще не конченный человек, хоть и ухожу отсюда, как побитый пес. Но клянусь небом, я никогда и никому не дам больше возможности глумиться надо мной.

Клэр судорожно сглотнула, словно собираясь с силами. Затем, крепко сжав затянутые в перчатки руки, она нагнулась к нему — чувствовалось, что ей стоит больших усилий произнести эти трепетные и такие неожиданные слова:

— Стефен... возьмите меня с собой.

Он медленно повернул голову и посмотрел на нее. Вуаль у нее была приподнята, и он увидел, что глаза ее красны от слез, да и сейчас в них блестели слезы. Он был потрясен мертвенной бледностью ее измученного лица.

— Не надо, Клэр. Вы и так уже достаточно себя скомпрометировали.

— Ну и что же? — Она схватила его руку. — Ох, Стефен... дорогой Стефен... Я так несчастна. Не надо было мне выходить замуж за Джофри. Я ведь никогда не любила его. Никогда! А теперь... я больше так не могу.

Это пылкое отчаяние испугало его. Зная всегдашнюю сдержанность Клэр и ее спокойствие, объяснявшиеся природными свойствами характера и воспитанием и неизменно отличавшие все ее поступки, он понимал, какая буря бушует сейчас в ее груди. Душа его была полна такой горечи, что на минуту ему захотелось принять ее жертву, отомстить Джофри, оправдать дурное мнение о себе и окончательно стать изгоем. Ему при-

чинили боль, нанесли смертельную рану — почему он не может ответить тем же? Он не любит Клэр, но она человек мягкий, уступчивый, ему всегда было легко с ней. Они могли бы исколесить весь свет, и он мог бы писать, сколько душе угодно.

Но эта мысль умерла, едва успев родиться.

— Вам просто жаль меня, Клэр, — угрюмо промолвил он. — А жалость — это опасное чувство. Оно лишило вас душевного равновесия. Но это пройдет. У вас есть дети, дом и многое другое, от чего вы не можете отказаться.

— Да нет же, Стефен, могу. — Она содрогнулась от рыданий.

— Кроме того, — продолжал он, словно не слышал ее, — я слишком люблю вас, чтобы позволить вам искалечить свою жизнь. Вы ведь меня не знаете. Я не похож на тех людей, с которыми вы привыкли общаться. Я странный, у меня много причуд. Мы ни за что не уживемся. Через каких-нибудь полгода вы почувствуете себя глубоко несчастной.

— Я буду счастлива оттого, что мы будем вместе.

— Нет, Клэр, это невозможно.

Но она уже была в том состоянии, когда всякая осторожность и даже чувство собственного достоинства отходят на задний план.

— Когда любишь, все возможно.

Он отвел глаза.

— Вы сами не знаете, что говорите. Никакая любовь не выдержит того образа жизни, какой вам придется вести со мной: прозябать в нищете, кочуя с квартиры на квартиру, целые дни проводить в одиночестве, пока я буду занят работой, терпеть моих малореспектабельных друзей, мириться с лишениями, о которых вы понятия не имеете.

— У меня есть средства, которые дадут нам возможность все это изменить, сделают вашу жизнь счастливой, наполнят ее уютом.

Он посмотрел ей прямо в глаза, и она прочла в его взгляде непреклонность.

— В таком случае вы убьете мое искусство. А если это произойдет, Клэр, я возненавижу вас.

Наступило напряженное молчание. Клэр сразу вся как-то съезжилась, лебединая шея ее поникла, а в глазах, затененных

длинными светлыми ресницами, появилось отчаяние. Она сидела, сжавшись в комочек, на голой скамье в этом пыльном зале ожидания, словно раненая птица, пришибленная и жалкая. Но вот она вынула из сумки маленький полотняный квадратик и вытерла глаза. Стефен погладил ее по рукаву и, нарушая долгое молчание, сказал:

— Когда-нибудь вы будете благодарны мне за это.

— Не знаю, — сказала она каким-то глухим, не своим голосом.

Соборные колокола зазвонили к вечерне, звон у них был нежный и чистый. С глубоким вздохом, словно приходя в себя после долгого забытья, Клэр положила в сумочку платочек, встала и, двигаясь будто во сне, с каким-то странным выражением лица — уже не страдальческим, а пристыженным и огорченным — вышла из зала.

А Стефен еще долго сидел после ее ухода, охваченный глубокой грустью. Внезапно его печальные думы нарушил шум приближающегося поезда. Стефен встал, взглянул в окно и направился к выходу.

ГЛАВА XII

Выйдя на платформу, Стефен увидел, что поезд уже тронулся. Ему было безразлично, куда идет этот поезд; он вскочил на подножку, отыскал пустое купе и забился в угол. Встреча с Клэр обошлась ему дороже, чем он мог предполагать, и сейчас, оставшись один, он почувствовал, как волны отчаяния, одна за другой, накатывают на него. Голова у него кружилась, в тоске он прикрыл рукою глаза. Он дошел до предела терпения, до такой грани, когда уже не может быть возврата к прежнему. Дух его был сломлен. Неужели он никогда ничего не добьется и уделом его будет лишь пренебрежение или такое же вот черствое непонимание, которое и довело его до этой крайности? Словно вдруг очнувшись от сна, он с удивлением посмотрел в окно. Здесь берег был высокий, крутой откос испещряло множество узких водосточных труб, а на добрых семьдесят футов

ниже текла река, похожая на расплавленный металл. Стефен вздрогнул и быстро отвел взгляд.

Что же теперь делать? Уехать из Англии — поискать более благоприятных условий для творчества в другой, более солнечной и менее зараженной предрассудками стране? Нет. Не может он. Ему до смерти надоело колесить по Европе, и он чувствовал, что у него просто не хватит физических сил вновь обречь себя на жизнь, полную неожиданных трудностей и бесконечных скитаний. Последние недели он жил в таком напряжении, что сейчас, когда все вдруг кончилось, словно лопнула чересчур натянутая струна, у него появилось ощущение безумной усталости. Ладони покрылись липким потом, и при каждом вздохе покалывало в боку. Он взглянул из своего угла в засиженное мухами зеркало, укрепленное среди реклам слабительного и пива на противоположной стенке купе, и увидел в нем бледное, чужое лицо. «Я болен», — неожиданно понял он. Найти бы тихую комнатку, где бы можно было отлежаться и отдохнуть. Но разве такую найдешь? Ни за что на свете он не хотел больше эксплуатировать дружбу Глина и прибегать к его помощи. Ричард, конечно, будет ждать его и охотно предоставит в его распоряжение свою мастерскую, а это было бы превосходным убежищем. Но не может он принять такую жертву от Ричарда. Сейчас, после того, что с ним произошло, он должен скрыться от всех и побыть один. Он был точно младенец, томящийся по сокровенной темноте материнской утробы.

Поезд медленно тащился, то и дело останавливаясь, потом резким рывком двигался дальше. Глядя в окно на станции, мимо которых он проезжал, Стефен понял, что это дачный поезд и идет он в Лондон. И все время, пока длился этот нескончаемый переезд — казалось, лишь усугублявший душевную растерянность Стефена, — он пытался, несмотря на возраставшую путаницу в мыслях, решить, что делать дальше. Однако голова у него совсем не работала, и он не мог ничего придумать. Но вот, когда поезд уже миновал предместья Лондона, Стефен вдруг вспомнил про свою встречу с Дженни Бейнс. Разве она не говорила, что сдает комнату? Да, конечно, он отчетливо помнит, что говорила. И если эта комната еще свободна, лучшего

пристанница просто не придумать! Никому и в голову не придет искать его там. Из всех районов Лондона Стефен больше всего любил эту часть города, у реки, а сейчас, когда он с таким отчаянием в душе бежал из Стилуотера, укрыться в Степни показалось ему особенно заманчивым.

Его озабоченное лицо слегка просветлело, и, когда поезд, дав долгий свисток и выпустив длинный султан пара, с грохотом остановился у вокзала Виктории, Стефен прошел по платформе и сел на конечной остановке в автобус № 25. Под мелким морозящим дождем автобус тронулся в направлении Уайтхолла и Стрэнда по необычайно оживленным в это время дня грязным улицам. Уже начало темнеть, когда через час они свернули в район Степни и затряслись по выбоинам. Глядя сквозь усеянное каплями дождя окно на узкие, заполненные бедным людом улочки, где мерцали масляные фонари на ручных тележках мелких торговцев, Стефен почувствовал облегчение от одного сознания, что он как бы растворяется в этой безымянной людской массе. Здесь, по крайней мере, никто не знает его, никто не станет оскорблять и унижать. У «Благих намерений» он вышел из автобуса и, смешавшись с толпой, еле передвигая ноги и сам удивляясь своей медлительности, побрел по Кейбл-стрит. Стефен помнил, что ему нужен дом № 17, и вот он уже стоял у порога маленького кирпичного домика, одного из многих в длинном ряду рабочих жилищ, лепившихся друг к другу на этой улице.

Волнуясь, Стефен поднес руку к ярко начищенному молоточку и, чувствуя, как нарастает усталость, граничащая с изнеможением, подумал, что в случае отказа ему просто некуда пойти. Может быть, не услышали его стука? Он уже хотел постучать еще раз, как вдруг дверь отворилась и перед ним в желтом свете газового рожка предстала Дженни.

— Добрый вечер. — Как трудно было произнести эти слова небрежным тоном. — Я зашел узнать, нет ли у вас свободной комнаты.

Она вглядывалась в темноту, где он стоял, с неуверенностью хозяйки, привыкшей к разным неприятным неожиданностям (всякие тут ходят: и нищие, и бродяги, и парходные зайцы, и приезжие с Востока в длинных развевающихся одеждах — эти

являются сюда прямо из порта с грузом ковров), но, присмотревшись как следует, удивленно вскрикнула — пожалуй, даже не столько удивленно, сколько обрадованно:

— Мистер Десмонд! Ну, скажу я вам, вот уж кого не ждала! Проходите же, сэр!

Она закрыла дверь и остановилась перед ним в теплой маленькой прихожей, такой светлой благодаря обоям в желтую клетку и казавшейся совсем крошечной из-за внушительной вешалки для шляп в виде оленьих рогов. Хотя перед глазами Стефена плыл туман, он все же разглядел красные прожилки на щеках Дженни и коричневую родинку на скуле, которую впервые заметил девять лет назад.

— Вот уж чудно, сэр! Никогда бы не поверила. — Она с улыбкой покачала головой. — А ведь после того, как мы с вами тогда беседовали в кафе, я чувствовала — только не обижайтесь, пожалуйста! — прямо чувствовала, что вы непременно приедете порисовать к нам в Степни.

— Так, значит, у вас есть свободная комната?

— Конечно, сэр. Мистер Тэпли — это старик, мой постоянный жилец, я еще вам говорила про него — так он всегда живет внизу. А верхняя комната, та, что окнами во двор, — а я только эти две комнаты и сдаю — сейчас свободна. Хотите взглянуть?

— Да, пожалуйста.

Какое счастье, подумал он, поднимаясь вслед за Дженни по крутой деревянной лесенке, что ей ничего о нем не известно и она приняла его со свойственным ей спокойствием и без всякого удивления, несмотря на то что он явился так внезапно, без всякого багажа, из сырости и темноты.

Комнатка окнами во двор, хоть и походила по своим размерам на коробочку, отличалась чистотой и была приятно обставлена: гардероб из темного дуба, умывальник, плетеное кресло с подушкой и на покрытом навощенным линолеумом полу — два коврика ручной работы.

— Здесь, конечно, не очень просторно, — заметила Дженни, по-хозяйски оглядывая комнатку. — Зато уютно... есть газ... и чисто. Вы ведь помните, я всегда терпеть не могла грязи, мистер Десмонд.

— Здесь в самом деле очень мило. Если можно, я сниму ее.

— Вы желаете комнату со столом, сэр? Я даю мистеру Тэпли завтрак и ужин. Днем-то он почти никогда не бывает дома, да и вы тоже, наверное. Комната ваша будет стоять десять шиллингов без стола и фунт — со столом.

— Я думаю... со столом.

— Очень хорошо, сэр. А сейчас вы уж меня извините. Я только сбегаю к Липтону за чем-нибудь вкусным вам на ужин. Вы не возражаете против телячьей котлетки в сухарях?

— Нет... мне все равно, спасибо. — Его вдруг пробрал озноб, закололо в боку, и, пошатнувшись, он вынужден был прислониться к стене, чтобы не упасть. — Мне бы хотелось помыться.

Она понимающе кивнула и направилась к двери, тактично пояснив:

— Ванна в конце коридора. У нас там хороший душ, сэр. Надо только сунуть пенни в автомат счетчика.

Когда она вышла, он тяжело опустился в кресло и попытался собраться с мыслями. Какое счастье, что ему удалось найти эту славную комнатку! И Дженни такая хорошая. Уж она-то не будет действовать ему на нервы, а это сейчас для него главное. До чего противно чувствовать себя таким разбитым, но после напряжения последних недель ничего другого, конечно, нельзя было ожидать. Да и потом, он ведь не ел весь день, только позавтракал, а после ужина он сразу почувствует себя иначе. Но ему трудно было дышать, и это его тревожило: он узнавал старого приятеля — бронхит, который всегда подкрадывался к нему в самые неожиданные минуты. Может быть, здесь душно, вот ему и не хватает воздуха. Стефен встал, чтобы открыть окно. Однако рама слегка разбухла и не поддавалась. Он напрягся, стараясь приподнять ее, и вдруг почувствовал во рту что-то теплое — знакомый солоноватый привкус. Он приложил к губам носовой платок и, уже зная, чего следует ожидать, с отвращением взглянул на него. «Боже, — подумал он. — Неужели опять!»

И, крепко стиснув зубы, сдерживая рвущуюся наружу пенистую жижу, он бросился в ванную, поспешно **наклонился** над умывальником и открыл кран с холодной водой. Хорошо хоть,

что он ничего не испачкал! Но кровохарканье, хотя и менее обильное, чем в последний раз, в Испании, было все же сильнее, чем тогда в монастыре Гаронды, где его впервые свалила болезнь, — он видел это по количеству алой жидкости в фарфоровой, с голубыми прожилками, раковине. И Стефена охватила бессильная ярость при воспоминании о том, как проходили эти приступы, за которыми неизменно следовали лихорадка и долгий период выздоровления. Он не хочет, не должен здесь болеть. Нечего сказать, хорошенькая награда за гостеприимство этой женщины, которая, ничего не подозревая, приютила его. Прижав к затылку мокрое полотенце, он со всею страстью отчаяния молил небо о том, чтобы его минула эта несвоевременная напасть.

Наконец кровотечение стало уменьшаться и вскоре прекратилось совсем. Стефен выпрямился, осторожно вдохнул воздух, выдохнул, облегченно улыбнулся, увидев, что кровь больше не идет, вымыл умывальник и отер полотенцем онемевшие губы. Все его движения были как-то странно замедленны, точно их делал не он, а кто-то другой, где-то очень далеко. Увидев в зеркале свое перепачканное кровью землистое лицо, Стефен с раздражением больного подумал, что такой вот зеленоватый оттенок старые испанские живописцы любили придавать трупам. Он старательно умылся. В голове у него была какая-то удивительная, звенящая пустота, а ноги казались тяжелыми, точно были налиты свинцом. Однако мозг его работал четко, подстегиваемый настоящей необходимостью: он должен вернуться к себе. Вот если бы ему удалось добраться до своей комнаты, запереть дверь и лечь в постель — от ужина под каким-нибудь предлогом можно отказаться, — тогда никто бы не узнал об этом неприятном происшествии. А наутро он будет совсем здоров. Собрав последние силы, Стефен двинулся в обратный путь. Медленно, держась за стены, брел он по коридору, и это ощущение слабости было таким нелепым, что он даже улыбнулся побелевшими губами. Казалось, еще одно усилие — и он достигнет цели. Но когда он был уже почти у себя и протянул руку, чтобы открыть дверь, все вокруг вдруг заколебалось, покатилося куда-то и исчезло, осталась лишь черная

тьма, в которую он и провалился, бесшумно, точно в мягкие объятия вечной ночи.

Очнувшись от бесконечно долгого забытья, он почувствовал, что лежит в постели раздетый, а у ног его — бутылка с теплой водой. Через некоторое время, когда глаза его вновь обрели способность различать предметы, он увидел у своей кровати Дженни и какого-то старика в полосатой рубашке с целлюлозным воротничком и в подтяжках.

— Он приходит в себя. — Эта традиционная фраза, произнесенная полупшепотом, вызвала у Стефена мучительное ощущение неловкости. «О боже, — подумал он, — до чего же я оскандалился, каким тяжким бременем оказался для этой бедной женщины». И он виновато посмотрел на Дженни.

— У меня что-то голова закружилась... Должно быть, я потерял сознание.

— Надо думать, что да, сэр. — В ее дрожащем голосе слышалось облегчение оттого, что он пришел в себя. — Если бы поблизости не оказалось мистера Тэпли, уж и не знаю, как я сумела бы уложить вас в постель.

— Мне очень неприятно, что я причинил вам столько хлопот, — пробормотал он. — Завтра я уже буду на ногах.

— Ну, это мы еще посмотрим, сэр, — заметила Дженни, решительно вздернув подбородок. — Сразу видно, что вас крепко скрутило. Я вот думаю: не позвать ли доктора?

— Нет-нет. Я и так скоро поправлюсь.

— А вы как думаете, капитан Тэпли?

— Думаю, что мы его вылечим. Смотрите, вот он уже и не такой бледный. С вами бывало так раньше, дружок?

— Нет... не совсем так, — солгал Стефен. — Я в последнее время очень много работал, вот и все.

— В таком случае немножко отдыха вам вовсе не повредит. И поесть чего-нибудь тоже надо.

— Конечно, — с готовностью согласилась Дженни. — Я не стану предлагать вам сейчас котлетку, сэр... к счастью, я ее так и не поджарила. Но вы только скажите, чего вам хочется.

— Можно мне немного молока? Холодного.

— Конечно можно, сэр. И я сейчас сварю вам крепкий мясной бульон.

И Дженни вместе со стариком вышла из комнаты. Но уже минуты через три она вернулась с маленьким лакированным подносом, на котором стояли стакан и пестрый кувшин, накрытый кружевной салфеточкой с бисерными кистями. Поставив поднос подле кровати, Дженни налила Стефену молока и подождала, пока он медленными глотками выпил его. Затем унесла грязный стакан и почти тотчас принесла обратно — уже вымытый и вытертый.

— Потушить свет? — спросила она, ставя стакан на поднос, подле кровати Стефена.

— Да, выключите, пожалуйста. — У него начало ломить виски, но холодное молоко подбодрило его, и он добавил, сам не веря тому, что говорит: — Я, пожалуй, посплю.

— Вам правда ничего не нужно?

— Истинная правда.

— Спокойной ночи, сэр.

— Спокойной ночи, Дженни.

Она потушила свет, и комната погрузилась в темноту, но он чувствовал, что Дженни еще тут. Немного погодя, стремясь облегчить душу, она тихо и почтительно проговорила, второпях переходя на простой народный говор:

— Не беспокойтесь вы только, мистер Десмонд. И не думайте вы об этом ни минуты. Вы были так добры ко мне на Клинкер-стрит. Вот уж чего я век не забуду. И теперь я только рада, что так ли, эдак ли могу отплатить вам добром.

Дверь за нею закрылась. Стефен лежал, вытянувшись, на спине, в незнакомой маленькой комнатке, неглубоко и с трудом дыша, и сколько ни старался справиться с нахлынувшими на него чувствами, из-под его сомкнутых век все же выкатились две скучные слезинки и медленно поползли по щекам.

ГЛАВА XIII

Хотя Стефену очень хотелось поскорее встать, он чувствовал такую слабость, что вынужден был сдаться на уговоры, и почти неделю не выходил из комнаты. Несмотря на владевшую

им апатию, он все снова и снова благословлял счастливый случай, который привел его в район доков, в этот домишко на окраине. Как часто в прошлом приходилось ему ютиться в жалких комнатенках — грязных, неуютных, плохо прибранных, где белье меняют редко, воды горячей почти не бывает, кормят ужасающе, у двери часами стоит грязный поднос с остатками завтрака и нет ни минуты покоя. А скопидомство и жадность корыстных хозяек, которые открыто тягостятся постояльцами и только думают о том, как бы их обобрать, просто не поддаются описанию! Здесь же все сверкало чистотой. Дженни без усталости хлопотала по дому, и лицо у нее было такое спокойное, точно она никогда не знала дурного настроения, волнений, никогда не падала духом от того, что в мире не все обстоит наилучшим образом... Натура на редкость независимая, Дженни всегда была всем довольна и, невзирая на смущенные протесты Стефена, старалась услужить ему чем могла.

Во второй половине дня к нему неизменно являлся Джо Тэпли и помогал коротать время, насколько ему позволяли глухота и неумение поддерживать разговор. Старик Джо большую часть жизни проработал на Темзе — многие годы в качестве совладельца угольной баржи, а затем капитаном на речном пароходике, совершающем еженедельные рейсы в Хэмптон. Сейчас он ушел на покой, но с рекою не расстался: на свои сбережения он купил небольшую пристань, сдавал на ней в аренду причалы и держал лодку для желающих покататься. Он не мыслил своего существования без реки и каждое утро после завтрака отправлялся на пристань, садился там в деревянном сарайчике на конце мола у печурки и медленно, с трудом продвигаясь от слова к слову, прочитывал сообщения о прибытии и отправлении судов, печатавшиеся в «Гринвич меридиан». Иногда он отрывался от этого занятия, чтобы взглянуть сквозь очки в стальной оправе на проходящие мимо суда — как знакомые, так и незнакомые — и ответить на приветствие приятеля-капитана, скорее угаданное, чем услышанное.

Когда Стефен вернулся после своей первой — короткой и весьма неуверенной — прогулки по Кейбл-стрит, капитан уже отсидел положенное время у реки и находился дома. Будучи

человеком общительным, он не закрывал двери своей комнаты и окликнул соседа, когда тот медленно поднимался по лестнице. Зайдя к нему, Стефен увидел Дженни — она сидела у окна и штопала носок.

— Ну, — спросил Джо, — как мы себя чувствуем после прогулки?

— Неплохо, благодарю вас. Только ноги немного дрожат.

— Еще бы им не дрожать. Присаживайтесь.

Стефен сел и, посмотрев сначала на одного, потом на другую, почувствовал, что в воздухе пахнет заговором.

Молчание длилось долго. Наконец Дженни, все это время с особым усердием штопавшая носок, нарушила его:

— Я собираюсь, мистер Десмонд, поехать недельки на две к золовке, ее зовут Флорри Бейнс. Это, понимаете ли, сестра моего бедного Алфа. Я всегда езжу к ней в эту пору, перед тем как она откроет торговлю в ларьке. И вот мистер Тэпли считает, что вам нельзя здесь оставаться. — И она торопливо добавила, как бы извиняясь: — Он-то всегда сам о себе заботится, когда меня нет. Но ведь вы — другое дело... Вы такой больной... нипочем один не справитесь.

— Да, конечно. — Стефен понял, что они задумали, и его сразу охватила невероятная усталость. Он не винил их за то, что они хотят избавиться от него.

— Так вот, — продолжала Дженни и одним духом, прежде чем он успел сказать хоть слово, выпалила: — Мистер Тэпли считает, что вы должны поехать со мной. Вы нигде не поправитесь так, как в Маргейте. Морской воздух — он чудеса делает.

— Воздух Маргейта живо поставит вас на ноги, — с назидательным видом кивнул капитан.

На душе у Стефена потеплело. Но он был еще слишком подавлен и настроение у него после стольких дней горестного раздумья было слишком грустное, чтобы пускаться в такое путешествие. И он отрицательно покачал головой:

— Что вы, это будет для вас чересчур обременительно. Я и так уже слишком злоупотребляю вашей добротой.

— Нисколько вы нас не обремените, сэр. Флорри будет только рада. — И, заподозрив, почему он отказывается, Дженни

добавила: — Вы будете платить ей за стол... ровно столько, сколько платите мне.

Стефен был еще так слаб, что у него не хватило сил противиться их уговорам, тем более что эти люди желали ему только добра и хотели, чтобы он снова стал здоровым. Да к тому же кратковременная прогулка на ветру по улице Степни основательно поколебала его надежду на то, что он скоро сможет взяться за работу — если вообще когда-нибудь сможет. Он понял, что не создаст ничего путного, пока не восстановит силы, а потому самое разумное — принять дружеское предложение Дженни.

В тот же вечер было написано письмо Флорри Бейнс, а в следующий понедельник, после второго завтрака, Стефен и Дженни сели на вокзале Чаринг-Кросс в поезд и отправились в Маргейт. Дженни, на чью долю выпадало довольно мало радостей, была в веселом, приподнятом настроении и болтала без умолку, пока они мчались через Дартфорд и Чатам, через болота в устье Темзы, а затем выбрались на Кентскую равнину. Щеки Дженни так и пылали, точно она долго терла их щеткой, а глаза горели живым огнем. На ней было темно-зеленое бархатное пальто с воротником и капюшоном, отделанными тесьмой, — оно хоть и немного вытерлось на швах, но очень шло ей. Свои маленькие, огрубевшие от работы руки Дженни упрятала в белоснежные нитяные перчатки; на ногах ее блестели тщательно начищенные черные ботинки на пуговках. Зато шляпа была сущий кошмар: на макушке Дженни высилось хитроумное сооружение из атласа и каких-то немислимых перьев, похожее на диковинную птицу в гнезде. Стефен положительно не мог оторвать от нее глаз, так что в конце концов Дженни, заметив его зачарованный взгляд, доверительно улыбнулась:

— Я вижу, вам нравится моя шляпка. Мне так повезло тогда — на январской распродаже. И потом, красная — это мой цвет.

— Шляпа в самом деле замечательная, Дженни. Но лучше снимите ее. А то вдруг влетит в окно искра и прожжет дырку.

Она тотчас послушалась. Волосы ее были недавно вымыты и лежали на лбу пушистой челкой. Без шляпы она снова стала самой собой — живая, безыскусственная невысокая женщина

в белой бумажной блузке, чуть располневшая, не то что в Доме благодати. Какая она была тоненькая тогда, когда приходила к нему убирать комнату и заодно пришивала оторвавшиеся пуговицы, Стефен исподтишка разглядывал ее: она сидела в профиль, так что короткая верхняя губка и чуть вздернутый нос особенно бросались в глаза. Приличия ради она держала на коленях дамский журнал, который он купил ей в киоске и который она даже не раскрыла, и словно замороженная смотрела на мелькавшие мимо ветряные мельницы, сушильни для хмеля и ярко-красные кирпичные амбары.

— Поглядите-ка, мистер Десмонд, — воскликнула она, — сколько тут жердей для хмеля — и не сочтешь!

— А вы любите хмель, Дженни?

— Иной раз не брезгую пропустить стаканчик пивка. Прямо скажу — не прочь! — серьезно ответила она, затем взглянула на него и рассмеялась. — Но уж крепче ничего в рот не беру.

И она весело продолжала болтать на своем «кокни». Вскоре она поднялась и, сняв с багажной сетки сумку, достала пакет; не обращая внимания на двух других пассажиров, она развернула его и вынула сэндвичи с ветчиной и языком.

— Давайте перекусим, сэр. Нечего стесняться-то, — уговаривала она его. — Я обещала капитану, что вы у меня будете есть как надо. А уж если я не заставлю, так Флорри заставит. Одно могу про нее сказать: готовит она отменно. Надеюсь, вы любите рыбу?

— Люблю, Дженни, — сказал он, откусывая сэндвич. — Насчет еды я не беспокоюсь. Тревожит меня другое: понравлюсь ли я вашей рыбнице... я хотел сказать — Флорри.

— Флорри, она славная. И голова у нее работает что надо. Она ведь такая самостоятельная. Со всем сама управляет, и помогает-то ей один только мальчонка — Эрни Вуд, племянник. Правда, жизнь у нее была нелегкая. Да и сейчас она часто прихварывает: все простужается. И ноги у нее больные. Но в общем вы с ней поладите.

— Надеюсь.

— Конечно, многого не ждите... Домик у нее малюсенький.

— Надеюсь, я не развалю его.

— Что вы, сэр, — со всею серьезностью возразила она. — Мы там вполне разместимся: я буду спать с Флорри, а вы — в моей постели.

При этом она взглянула на него и вдруг, поняв всю двусмысленность своих слов, мучительно покраснела. Наступило неловкое молчание, она отвернулась и принялась смотреть в окно.

Но они были уже почти у цели. В Маргейт поезд прибыл около трех часов дня, и едва Стефен вышел на открытую платформу, как его точно током ударило — такой здесь был терпкий воздух: насыщенный испарениями реки и океана, запахом соли, ракушек, водорослей и целебной грязи, он одарял озоном скромных приезжих из лондонского Ист-Энда и был, конечно, плебейским, однако непревзойденным во всей Англии. Как и предполагала Дженни, на станции их встречал Эрни, низкорослый, но славный мальчик лет пятнадцати. Багаж погрузили на тележку, запряженную пони, втиснув пожитки между двумя пустыми ящиками, и, разместившись втроем на переднем сиденье, направились в старинный город Маргейт.

Дом Флорри находился прямо у гавани, на набережной, где выстроились старые и довольно ветхие домишки, пахнувшие смолою и морем; перед ними пролежала булыжная мостовая, а за нею смутно виднелся лес мачт, снасти, груды канатов, бочки, ящики, горы нанесенного прибоем ила, длинный мол и бьющие в него серые волны Северного моря. Лавка Флорри, помещавшаяся в доме № 49, низеньком и кособоком, была выкрашена в ярко-голубой цвет; за витриной виднелся мраморный прилавок, а над дверью висела вывеска, на которой было выведено золочеными буквами: «Флоренс Бейнс. Свежая рыба. Креветки и моллюски в большом выборе». Над лавкой помещались жилые комнаты, куда вела снаружи каменная лестница.

Эрни проводил гостей в парадную комнату с удобной мебелью, где уже стоял накрытый стол, но не было ни одного живого существа, кроме пушистой рыжей кошки. Эрни тотчас помчался вниз, чтобы сменить в лавке тетушку, и та вскоре появилась в гостиной — худощавая, угловатая женщина лет сорока, с крупным носом. Спустив на покрасневшие руки закатанные выше локтя рукава, она дружески расцеловалась с Дженни, вни-

мательно оглядела Стефена и протянула ему влажные, холодные, как ее креветки, пальцы.

— Вы, конечно, не откажетесь от чайку. Садитесь, я сейчас подам.

Энергичная и подвижная, она быстро принесла из задней комнаты большой поднос, на котором стояла тарелочка с хрустящим хлебом, чайник и внушительных размеров блюдо с жареной рыбой, затем, держась очень прямо, села за стол и принялась угощать гостей, всем своим видом показывая, что уж кто-кто, а она голову никогда не теряет.

— Ну, как дела, Флорри? — спросила Дженни, отхлебнув чаю и слегка причмокнув от удовольствия.

— Не могу пожаловаться. Только вот с ларьком хлопотно.

— Ведь это всегда так, Флорри.

— Всегда.

— Опять этот дурацкий городской совет?

— Ну конечно совет с его фокусами. Думают, раз я женщина, так надо мной можно сколько угодно измываться.

— Ничего, недельки через две все устроится.

— Через три, милочка.

— Не важно. Все эти хлопоты с лихвой окупятся, Флорри.

— Иной раз я не очень-то в этом уверена.

Флорри покачала головой, подавленная своими бесконечными тяжбами с чинушами: и почему только мир устроен так несправедливо, почему в нем господствуют мужчины? Кажется, она хмуро припоминала все беды, все, что вытерпели и выстрадали представительницы ее пола со времен грехопадения Евы.

Дженни улыбнулась Стефену, желая вовлечь его в разговор.

— Летом торговля здесь на славу. Флорри арендует ларек около бульвара. Ее все знают: креветки и моллюски у нее замечательные!

— Мне так думается, что я известна и мелкой камбалой. — Флорри была явно оскорблена тем, что Дженни забыла упомянуть об этом немаловажном обстоятельстве.

— Ну конечно, дорогая.

— Та, которую мы сейчас едим, просто великолепна, — вежливо заметил Стефен.

— Это не мелкая камбала, а крупная, — мрачно поправила его Флорри. — Кушайте на здоровье. В море ее сколько угодно.

Еда была вкусная и обильная, комната уютная, в камине весело потрескивал уголь, однако Стефену было не по себе: он чувствовал, что с самого начала возбудил недоверие хозяйки. Ему-то это было глубоко безразлично, но он счел необходимым — не ради себя, а ради Дженни — завоевать расположение торговки рыбой. Простою вежливостью, как он понял, тут ничего не добьешься — скорее наоборот. Он заметил, что Флорри равнодушна к рыжему коту, усевшемуся на ручку ее кресла, — она то и дело давала ему куски со своей тарелки, — и, вынув из кармана блокнот и карандаш, принялся, пока обе женщины были заняты немногословной, однако дружеской беседой, рисовать кота.

Десять минут — и рисунок готов. Стефен оторвал листок и молча протянул его Флорри.

— Ну... скажу я вам... — На ее подвижном лице отразились удивление, нерешительность, боязнь опростоволоситься — самые разнородные чувства, сменившиеся наконец удовольствием. — Да ведь это Рыжик — как живой. Вы, значит, будете художник?

— Если рисунок вам понравился, вы, надеюсь, согласитесь принять его от меня на память?

— Этак у вас и денег никогда не будет: разве можно раздавать вещи?

Хоть это и было сказано не без иронии, тем не менее Флорри была явно довольна. Когда Стефен после чая заявил, что пойдет немножко прогуляться, она крикнула ему вслед:

— Остерегайтесь ветра. Ведь Маргейт смотрит прямо на Северный полюс.

Этот географический факт был абсолютно точен, но в противоположность Флорри Стефен любил холод: он всегда хорошо себя чувствовал в прохладную погоду. И сейчас, выйдя на приморский бульвар — пустынный в это время года, поскольку курортный сезон еще не начался, — он сразу ощутил прилив сил в своем ослабевшем после болезни теле. Целительный воздух, колючий, словно ледяное шампанское, без усилия напол-

нял его легкие, вызывал краску на щеках, бодрил. Впервые после суда в нем вспыхнула искорка оптимизма, однако он решил, что еще недели две не будет браться за работу — не будет даже делать наброски или писать маслом, как предполагал ранее, — а постарается раз и навсегда избавиться от этого дурацкого заболевания, которое на протяжении стольких лет то и дело докучало ему. Стоя один на бульваре в сгущавшихся сумерках, среди безбрежного серого простора, где небо сливалось с морем, а ветер гудел и вздыхал у него в ушах, словно в большой морской раковине, и песок, завихряясь, опадал у его ног, Стефен почувствовал, как кровь быстрее побежала у него по жилам, и, подняв голову, устало подумал:

«Может быть... я еще докажу... что я не совсем конченный человек... кто знает».

ГЛАВА XIV

Шли дни, и настроение Стефена все улучшалось. Как ему было хорошо с этими простыми женщинами, которых люди его класса, несомненно, сочли бы «вульгарными»! А ему было с ними так легко, больше того: ему казалось, что он и сам такой же. Жизнь этого пропахшего солью района у гавани, приход и уход рыбацких шхун, выгрузка улова — все интересовало его, отвлекало его ум от горьких размышлений. Рано утром он ходил с Флорри на рыбный рынок, где наблюдал за тем, как она ловко покупает товар, вовремя лова взгляд аукционщика, чей охрипший голос вел постоянную войну с грохотом лебедек. Постепенно Стефен стал удлинять свои прогулки по прибрежным скалам, спал с открытым окном, не боясь бриза. Но самым замечательным было купание. Хотя купальный сезон еще не наступил и в воде действительно чувствовалась близость Северного полюса, на что не без сарказма не раз указывала Флорри, удержать Стефена было невозможно. Каждое утро он отправлялся на мол и бросался в воду, не отставая от местных смельчаков — членов клуба «Купайся круглый год», — те и в самом деле, как сообщил один из его новых знакомых, купались,

даже когда на земле лежал снег. Это резкое погружение в холодную воду как раз и оказалось тем стимулирующим средством, которое больше, чем что-либо, ускорило выздоровление Стефена, возродив в нем не только желание писать, но и то, что было куда важнее: веру в свои творческие силы.

Он много времени проводил один: Флорри либо хлопотала, добывая разрешение на аренду, либо наблюдала за сооружением ларька, у Дженни полно было дел в лавке, а Эрни каждый день объезжал клиентов на тележке. Тем не менее в среду решено было «всем семейством» отправиться на экскурсию.

— А вы сможете поехать? — спросил Стефен Флорри.

— Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем, — изрекла она, затем, решив просветить этого невежественного человека, добавила: — В среду мы закрываемся в середине дня. Так что вполне можем поехать за креветками.

— За креветками?

— Вы что, в первый раз это слово слышите? Да сами же вы мне все уши про них прожужжали! Ну вот я и покажу вам, где, когда и как мы их ловим. После этого — к вашему сведению — мы вскипятим чайник и попьем чайку. А вы, если пожелаете продрогнуть до костей, сможете принять свою ледяную ванну. Это вас устраивает, мистер Михель Анжелло?

— Мне представляется это божественным, Флорри, — настолько любезно ответил он, что торговка даже слегка улыбнулась.

По мере того как проходили дни, она стала терпимее относиться к нему, хотя и старалась этого не показывать. Она не могла забыть, как он нарисовал ее Рыжика, и, тщательно избегая разговоров на эту тему, все же отнесла потихоньку рисунок к некоему Смиуту, чтобы окантовать его и вставить под стекло. Затем неоднократные предложения Стефена посидеть в лавке — хотя Флорри отклоняла их самым решительным образом — привели к тому, что она перестала считать его «азнайкакой», особенно после того, как однажды вечером застала в рубашке с закатанными рукавами за мытьем посуды после ужина.

Наступила среда, день выдался пасмурный, но без дождя. Ровно в два часа лавку заперли, и вся компания, взгромоздившись на тележку, запряженную пони, выехала за город и пока-

тила по прибрежной дороге на восток, в направлении Клифтонвилла. Проехав миль пять, Эрни свернул с шоссе на проселок, вившийся между двумя рядами набухшего почками боярышника, а затем переходивший в заросшую травой тропу, которую чуть дальше перегораживала калитка из ивняка; миновав ее, они выехали в поле, поросшее репейником и жесткой прибрежной травой. Здесь пони распрягли и оставили пастись, а Флорри с видом заправского гида повела своих спутников через щетинившиеся пучками травы дюны к уединенной песчаной бухточке, окруженной с трех сторон скалами.

— До чего же чудесное место! — воскликнул Стефен.

— Вода как раз схлынула, — заметил практичный Эрни. — Вот тут-то мы их и наловим.

— Поныряешь со мной, малыш?

— Мне еще нужно набрать палок для ловли моллюсков, — извиняющимся тоном сказал Эрни и деловито побежал куда-то.

— Я вам составлю компанию, — предложила Дженни и, заметив изумление на лице Стефена, громко рассмеялась. — Давайте наперегонки.

Они разделись за двумя скалами, стоявшими не слишком близко друг к другу. Несмотря на, казалось бы, большую сложность дамского туалета, Дженни опередила Стефена и, бросившись в воду, нырнула под волну.

— Где это вы научились плавать? — Стефену лишь с трудом удалось нагнать ее.

— На пристани у Джо Тэпли. В детстве мы все время прыгали с нее в воду.

Она перевернулась на спину и, закрыв глаза, поплыла. Ее упругое тело казалось таким молодым, точно годы, прошедшие со времени их первой встречи, не оставили на нем никакого следа. Стефен смотрел на эту свежую, соблазнительную женщину и удивлялся, что она до сих пор не нашла себе мужа. Любопытство одержало в нем верх над врожденной застенчивостью, и он спросил:

— Дженни... почему вы так и не вышли больше замуж?

Она перевернулась на живот, взмахнув руками, подняв фонтан брызг, посмотрела на Стефена и тряхнула головой.

— Должно быть, случай не представился. Ну да... наверно. Увивалось тут за мною несколько парней. Да мне что-то ни один не нравился. — Она вдруг улыбнулась. — Вы ведь знаете, как это бывает, мистер Десмонд. Обжегшись на молоке, дуешь на воду.

И прежде чем он успел что-нибудь сказать, она стремительно поплыла к берегу.

Одевшись, но оба босиком они направились к скалистой части бухточки, где их поджидали Флорри и Эрни с сачками для ловли креветок; сачки эти были прикреплены к длинной палке с перекладной, наподобие грабель.

— Лучше поздно, чем никогда, — язвительно приветствовала их Флорри. — Возьмите сачки у Эрни. И если вы готовы, начнем.

Опустив конец палки с перекладной в море, она двинулась по мелководью, толкая впереди себя сачок и поднимая со дна тучи песка. Эрни и Дженни неторопливо следовали за нею, а на некотором расстоянии позади шел Стефен. Вода была такая прозрачная, что — удивительная вещь! — он различал впереди смутные очертания креветок, шевелящих тоненькими усиками, различал, несмотря на то что студенистые тельца их совсем прозрачны, а по окраске они напоминают переливчатый песок, — их выдает лишь крошечный черный, точно агат, глазок, видимо являющийся своеобразным жизненным центром этих хрупких существ и как бы предупреждающий их об опасности, ибо при его приближении все они вдруг начинали отчаянно метаться. Многие избегали ожидавшей их участи, и все же, когда сачки были извлечены из воды, в них оказалось достаточно поживы.

— Принеси ведро, Эрни, — скомандовала Флорри. — Оставляй только самых больших, а мелкоту брось обратно в воду. Вы вдвоем продолжайте заниматься креветками, а я поищу моллюсков среди камней.

Дул легкий ветерок, солнце выкатилось из-за туч, словно огненный апельсин. Они ходили по колено в воде, прочесывая дно, и через час наловили полное ведро креветок. Тут из-за скал, где потрескивал и дымил костер, сложенный из валявшихся на

берегу коряг, донесся призывный крик Флорри. Они пошли к ней. На гладком сухом выступе скалы была расстелена белая скатерть, придавленная по краям круглыми мраморными камешками. Чай уже был готов, и на огне стоял железный котелок, в котором кипела вода.

— У меня теперь совсем ноги отнимутся, — заметила Флорри, протянув к огню посиневшие ступни. Затем, кивнув на креветок, добавила: — Бросай, хватит на них любоваться.

— Страсть какая, — пробормотала Дженни и слегка вздрогнула, когда трепыхающаяся студенистая масса исчезла в кипящей воде. — Бедняжки!

— Да они же ничего не чувствуют, — заверил ее Эрни. — У них нет нервов — не то что у нас. Правильно я говорю, мистер Десмонд?

Стефен, пристально смотревший на Дженни, едва ли слышал вопрос. Она стояла, задумавшись, с сачком на плече, слегка нагнувшись вперед, широко расставив босые ноги. Невысокая, крепкая, с ярким румянцем на исхлестанных соленым морским ветром и песком щеках, с иссиня-черными, растрепавшимися волосами, в подоткнутой юбке, из-под которой выглядывала белоснежная нижняя юбка в оборках, и в блузке с закатанными рукавами, распахнутой на груди, она вырисовывалась четким силуэтом на фоне унылого, ничем не примечательного заката. У Стефена не было с собой ни карандаша, ни бумаги, но художник заговорил в нем вдруг с такою силой, что он подумал: «Боже мой, если бы я мог написать ее сейчас, передать эти ярко-красные и синие тона, это сумрачное, темное небо!..»

Чай оказался крепким, черным, как пережаренное мясо, и обжигающим, как кипяток. Флорри настояла на том, чтобы они выпили по целой кружке, «а то все внутри заглодало». Затем, поглядывая на Стефена, она подала моллюсков и, заметив удивление, отразившееся на его лице, когда он их попробовал, многозначительно поджала губы.

— Не думали, что так вкусно, а? — с усмешкой спросила она. — Жижу надо тоже глотать.

— Куда до них устрицам! — заметил Эрни, накладывая себе полную тарелку.

Моллюски были восхитительны; каждый лежал в белой приоткрытой раковине, нежный и солоноватый, настоящий морской деликатес, сохранивший весь аромат океана, — быть может, первое творение на земле.

Затем наступила очередь креветок — их ели прямо из горшка, с толстыми ломтями хлеба, намазанного деревенским маслом; сочные, нежно-розовые, серпообразные, они легко отделялись от своей брони. Потом выпили еще чаю. И закончили пиршество ватрушкой, которую испекла накануне вечером Дженни. Все молчали, слышно было лишь, как негромко, ритмично шуршит, набегая на берег, прилив. Никому, видимо, не хотелось двигаться. Чувствуя во всем теле странную, но приятную истоми, Стефен смотрел, как в еще светлом небе нарождается бледная луна, и от души желал, чтобы этот дивный час продлился подольше. Наконец Флорри встрепенулась:

— Становится темно. Пора и домой.

Собрали остатки пиршества, впрягли пони в тележку, зажгли подвешенный к оглобле фонарик, и Флорри с Эрни уселись на переднем сиденье. Стефен, уже тоже занявший свое место в повозке, протянул руку и помог Дженни взобраться на заднее сиденье рядом с ним. Крепко сжав ее пальцы, он заставил ее придвинуться ближе. И этот простой жест был подобен удару грома — с такою силой пробудилось вдруг к жизни чувство, которое весь день медленно зрело в душе Стефена: он ощутил несказанное блаженство от пожатия ее теплой сухой руки. Пьянящий восторг захлестнул его, и сердце вдруг заколотилось так неожиданно, так буйно, что он не мог слова вымолвить.

Эрни тронул вожжи, и пони потрусил рысдой. На заднем сиденье стояла корзина с уловом, и Дженни со Стефеном вынуждены были сидеть, тесно прижавшись друг к другу. От прикосновения ее теплого бедра и руки трепет пробегал по телу Стефена. Вот уже сколько лет, со времени его злополучного увлечения Эмми Вертело, ни одна женщина не возбуждала в нем желания. Это чувство умерло в нем; возможно, он убил его самодисциплиной, решив обречь себя на безбрачие. А вот сейчас ни за какие блага мира он не мог бы связно произнести ни слова! Понимает ли она, думал он, какое томление вдруг охватило

его? А может быть, она разделяет его чувства? Она тоже была как-то уж очень молчалива и, пожалуй, чересчур сдержанна. А этот огонь, обжигающий его всякий раз, как их ноги соприкасаются в темноте, — этот пожар в его крови? Или, может быть, и в ее?

Они въехали в город, встретивший их сиянием фонарей, отражавшихся в маслянистой воде у пристани. На набережной Флорри прозаично воскликнула:

— Ох уж эти креветки — до чего же после них пить хочется! Не пропустить ли нам в «Дельфине» по стаканчику пивка?

— Давайте, — сказал Эрни. — А я выпью минеральной воды.

— Таких, как ты, туда не пускают, надо еще прежде дорасти до восемнадцати лет.

— Но, тетушка Фло...

— Нет, — решительно отрезала Флорри. — Я совсем забыла про тебя. Придется и нам потерпеть до дому.

Они доехали до конца набережной, где помещалась конюшня; Эрни, несколько уязвленный в своем самолюбии, упрямил Дженни побыть с ним, пока он распряжет пони, а Флорри и Стефен вдвоем направились к лавке. Они медленно шли по набережной, и Стефен, несмотря на владевшее им волнение, почувствовал, что его спутница исподтишка сверлит его взглядом.

— Славно мы провели денек, — заметила она, чтобы как-то начать разговор.

Он пробормотал что-то в знак согласия.

— Дженни у нас такая хорошая, — без всякой видимой связи продолжала Флорри. — И неглупая... но уж больно простая душа. Работает как лошадь... нелегко ведь ей приходится. А до чего добра! Очень я надеюсь, что найдет себе хорошего, степенного парня... Не хотелось бы мне, чтоб она промахнулась. Ей нужен муж с приличным постоянным заработком, ну и конечно, заботливый.

Наступила пауза. Затем Флорри заговорила опять — все тем же бесстрастным тоном, словно думала вслух:

— Вот, например, есть тут у нас один парень, Хоукинс, владеет на паях новешеньким траулером — не шутка. Мы, наверно,

встретили бы его, если б зашли в «Дельфин». Компанейский малый. И острогу здорово мечет. Так вот очень ему наша Дженни нравится.

Стефен молчал, не зная, что сказать. Несмотря на кажущуюся небрежность тона, чувствовалось, что Флорри говорит не зря. Совершенно ясно, на что она намекает, и возражать тут было нечего.

Они поднялись по каменной лестнице и вошли в дом. На кухне Флорри повернулась к Стефену и неестественно веселым тоном, лишний раз убедившим его в том, что все предыдущее говорилось неспроста, предложила:

— Не хотите ли сэндвич? Или, может, глоточек эля?

Нет, не мог он сейчас остаться здесь и встретить Дженни в этой делано дружеской обстановке. Он выдавил из себя улыбку.

— Я немножко устал, поэтому мне лучше, пожалуй, лечь. Спокойной ночи, Флорри.

Он вошел к себе, закрыл дверь и долго в задумчивости стоял, терзаемый противоречивыми чувствами; затем почти машинально потянулся к альбому: непременно надо запечатлеть эту сценку на пляже, пока она не стерлась в его памяти. Проработав этак с час, он сделал несколько пастельных набросков, но ни один из них не удовлетворил его; отчаявшись, он махнул рукой и, отбросив альбом, принялся раздеваться.

Улегшись в постель, он выключил свет и вытянулся на холодных простынях. Сквозь широко раскрытое окно, освещенное невидимой луной, белел кусочек неба, на котором безмятежно и, казалось, совсем близко мерцал Сириус. А на душе у Стефена было отнюдь не безмятежно. Тело его после целого дня, проведенного на целительном морском ветру, горело как в огне.

Вскоре в соседней комнате раздались шаги, и сквозь тонкую перегородку Стефен услышал, как тихо двигаются, переговариваясь шепотом, две женщины, прежде чем лечь спать. Стефен быстро накрыл голову подушкой. Однако если он мог преградить доступ звукам и не слышать, как раздевается Дженни — как потрескивает корсет, хлопает резинка, отстегнутая от чул-

ка, как стучат каблуки, когда она переступает с ноги на ногу, снимая нижнюю юбку, — то от врезавшейся в память четкой, как рисунок на венецианском стекле, картины на фоне закатного неба, где странным образом перемешивались ветер, море и песок, было не так-то просто отделаться. Наконец мысли Стефена стали путаться, и, опьяненный свежим воздухом, он заснул.

ГЛАВА XV

Две недели пребывания Стефена в Маргейте истекали в субботу — значит через три дня придется уезжать. И Стефен надеялся, что, призвав на помощь всю свою волю и крепко взяв себя в руки, он сумеет прожить этот краткий период, не наделав глупостей. Он решил поработать: написать несколько морских пейзажей. В четверг он взял пачку матовой светло-кремовой бумаги, которую обнаружил во второсортной лавочке неподалеку от набережной, и направился в гавань. Он начал писать гуашью: набросал вытянувшиеся в ряд у причала рыбацьи шхуны, за ними два траулера в обрамлении сетей, раскинутых для сушки на изъеденных ветром деревянных жердях. Но писал он без души и, еще не закончив работы, уже знал, что творение его не менее безвкусно, чем картинки на календаре. Испортив целых два листа драгоценной бумаги, он понуро побрел в «Дельфин» и, усевшись в уголке, позавтракал хлебом с сыром и пинтой обыкновенного пива пополам с имбирным.

Не лучше шло дело и во второй половине дня: солнце точно играло в прятки с облаками, и Стефен не успевал схватить изменчивую игру света на воде; а когда он в четвертый раз принялся переделывать этюд, траулеры вдруг снялись с якоря и, пыхтя, направились к выходу из гавани — в композиции образовалась пустота, словно во рту с вырванными передними зубами. Стефен чертыхнулся и поднялся с места. Однако он не пошел в лавку, а, сунув бумагу под мышку и руки — в карманы, поднял плечи и отправился бродить по городу. Чтобы убить время, он разглядывал витрины лавок, где красовались товары

судовых поставщиков, продавцов снастей и канатов, торговцев керосиновыми моторами.

Неужели он в самом деле влюблен? Эта мысль показалась Стефену настолько дикой, что он постарался тут же выбросить ее из головы: ведь ему уже тридцать лет, и хотя чувствует он себя неплохо, но это, вероятно, явление временное, поскольку легкие то и дело дают о себе знать; родные окончательно отвернулись от него, в кармане — пусто, и он навеки связан с этой разорительной любовницей — живописью. Ну а Дженни?.. Она ведь тоже не девчонка, хотя и выглядит очень молодо, — это женщина из рабочей среды, далеко не юная, низкорослая, краснощекая, совсем необразованная, знающая о живописи не больше какого-нибудь дикаря и к тому же отличающаяся ужасным вкусом по части шляп. И потом, разве Флорри не дала ему понять настойчиво, но тактично, чтобы он не заглядывался на Дженни? Значит, во имя благоразумия надо выбросить из головы все мысли о ней. Но логика не помогала, он не мог ничего поделать с собой.

В порыве отчаяния Стефен ускорил шаг и пошел вдоль моря. Когда он проходил мимо «Гранд-отеля», находившегося в самом центре бульвара, из вертящихся дверей вышел человек с квадратным черным чемоданчиком, в котелке и поношенном пальто с бархатным воротником и направился в сторону Стефена. Что-то в его фигуре, в характерном покачивании плеч показалось Стефену знакомым. И в самом деле, подойдя ближе, оба тотчас узнали друг друга.

— Черт возьми, да ведь это же Десмонд! Вот неожиданность! Рад тебя видеть, старина.

Это был Гарри Честер. Схватив руку Стефена, он крепко потряс ее, бурно выражая свою радость и без конца удивляясь тому, как тесен мир и как удачно свел их случай.

— Я зашел в «Гранд» пропустить стаканчик, хотел было выпить еще, да раздумал. А ведь если бы я не передумал, ни за что бы не встретил тебя. Провидение, старина. Ничего другого не скажешь.

Со времени их последней встречи Честер пополнел, на шее у него образовалась жирная складка, а узкий клетчатый пид-

жак спортивного покроя не мог скрыть округлившегося животика. Лицо его, все еще красивое, погрубело, и, хотя взгляд отличался прежним простодушием, он старательно избегал смотреть собеседнику в глаза, что не могло не показаться подозрительным даже тому, кто не знал его.

— Зайдем на минутку, я хочу выпить с тобой.

Они зашли в бар отеля; Честер улыбнулся барменше, привычным движением поставил ногу на медный обод и сдвинул на затылок котелок.

— Что будем пить? По кружечке пива? Мне — шотландского виски и чуть-чуть содовой.

— Что это привело тебя в Маргейт? — спросил наконец Стефен, когда ему удалось вставить слово.

— Дела, мой мальчик. Южное побережье — моя слабость. Я здесь живу во всех отелях по очереди.

— Ты бросил живопись?

— Господи, конечно! Давным-давно. В делах человека рано или поздно наступает прилив... Это еще Шекспир сказал, старина... У меня есть работа... и неплохая, черт возьми... — Он сообщил эту небылицу с беспечной улыбкой, поглаживая небритый подбородок. — Внедряю гигиену.

— Каким образом?

— Продаю мыло, старина... от фирмы братьев Глакстейн. Чертовски хорошая фирма. Я у них закрепился как следует... По правде говоря, собираюсь стать компаньоном. — И он поправил галстук в светло-голубую полоску, который, как только сейчас заметил Стефен, явно указывал на то, что в жизни Гарри произошла перемена к лучшему: это был галстук Итонского колледжа. — Работа — одно удовольствие. Я ведь люблю путешествовать.

Наступило молчание. Веселость Честера, бурная радость, которую вызвала в нем встреча со старым приятелем, не могли скрыть того, что в уголках его глаз залегли морщинки, а его обаяние, как и ворс на бархатном воротнике пальто, несколько поистерлось. Ногти у него — для человека, радеющего о гигиене своего народа, — были уж слишком грязные.

— Ты что-нибудь слышал о Ламберте? — помолчав, спросил Стефен.

— О Филипе? — На лице Честера появилось зловеще-сосредоточенное выражение. — Он потерпел полный крах. Элиза ведь ушла от него. Уехала с австралийским офицером, вернувшимся с фронта. А Филип рисует обои для какой-то захудалой фирмы в Шантильи — это последнее, что я о нем слышал. — Он умолк и покачал головой. — Насчет Эмми... ты, конечно, знаешь?

— Нет.

— Господь с тобой, старина! Да ты что, газет не читаешь? Однажды, примерно через полгода после твоего отъезда, она, как всегда, поднялась под купол для своего номера. Расследование потом установило, что трамплин был мокрый и плохо освещен, но Эмми перед этим где-то поужинала, и, по моему глубокому убеждению, ей было море по колено. Словом, она неправильно взяла старт, потеряла равновесие, перекувырнулась, упала и сломала себе шею.

Стефен молчал. Он знал, как Честер умеет врать, но тут не сомневался, что это правда. Известие о гибели Эмми, правда, потрясло Стефена, но вместе с тем он воспринял это так, точно к нему самому оно не имело прямого отношения, а лишь указывало на окончание давно забытой истории, уже не игравшей никакой роли в его жизни. Да, впрочем, у Стефена не было и времени над этим раздумывать, так как Честер снова заговорил о себе — на этот раз его болтовня была, пожалуй, и не ложью, а скорее самообманом наглеца: закрывая глаза на то, что он всего лишь мелкий коммивояжер, работающий на комиссионных, забывая о неоплаченных долгах, о выключенных ссудах, о рюмках вина, выпрошенных у друзей, о ночевках в дешевых гостиницах, о том, что его уже десятки раз выгоняли с работы, Честер придавал своим рассказам такую убедительность, что собеседник почти начинал верить его праву носить галстук старинного колледжа для избранных как символ величайшего преуспевания в жизни. Если не считать нескольких поверхностных вопросов, Честер явно не интересовался делами Стефена. Право же, в этом легкомысленном шарлатане, никогда ни на секунду не впадавшем в уныние и не опускавшемся до горьких глубин истины, было что-то чуть ли не героическое, вызывавшее

восхищение. Но вот он взглянул на часы над стойкой бара и неожиданно оборвал свои разглагольствования.

— Боже! — воскликнул он. — Уже половина седьмого! Через семь минут уходит мой поезд в Фолкстон. Надо бежать. До свидания, старина. Очень рад был повидать тебя. Спасибо за угощение. — И, еще больше сдвинув котелок на ухо, он пожал Стефену руку, кивнул барменше и, покачивая черным чемоданчиком с образцами, вразвалку направился к двери.

Стефен машинально расплатился и в наступившей темноте вышел на набережную. Эта случайная встреча воскресила в его памяти первые годы жизни во Франции и, несмотря на свою мимолетность, заставив его лишь острее почувствовать все преимущества своей нынешней жизни, показала, какими людьми он был окружен тогда. После дешевого фанфаронства Честера так приятно было вспомнить о веселом скромном уюте теплой кухоньки в доме № 49. Он перестал колебаться и с внезапной решимостью поднялся на крыльцо.

На кухне он обнаружил Эрни, сидевшего у стола, и Дженни, которая хлопотала у плиты.

— Слава богу! — радостно приветствовала она Стефена. — Я все не снимаю с плиты ваш ужин и боюсь, что он перестоит-ся. Мы уже добрых полчаса как поужинали.

Эта радушная встреча, яркий огонь, пылавший в неприятельской комнатке, показали Стефену сущим благословением. Он сел рядом с Эрни, старательно изучавшим еженедельный журнал под названием «Блестки юмора».

Приоткрыв ногой дверцу духовки, Дженни взяла посудное полотенце, вынула глубокую сковородку, на которой подогревался картофельный пирог с мясом, и поставила на стол, лишь до половины застланный скатертью.

— Осторожнее, он горячий. Отодвинься-ка, Эрни, вместе со своей премудростью.

Стефен сел и принялся за еду — пирог был свежий и ароматный, с толстой рыжеватой корочкой из зажаренного картофеля, — а Дженни, усевшись напротив, не могла нарадоваться его аппетиту.

— Вы работали?

— Пытался... потом бродил по гавани.

— И это идет вам на пользу. Вы здесь очень поздоровели.

— Я стал совсем другим человеком, Дженни. И все благодаря вам.

— Прямо уж! Попробуйте этот маринованный лук. Флорри наконец получила разрешение. Этот тупица-советник все-таки сдался.

— Рад слышать.

— Она вернулась в четыре. И отпустила меня из лавки на весь вечер. Потому-то я и смогла подняться наверх и испечь вам пирог. Нравится?

Вместо ответа он протянул тарелку, чтобы она положила еще кусок.

— Я помогу вам потом вымыть посуду.

— А там и мыть-то нечего. Одна ваша тарелка. Минутное дело.

Пока Дженни убирала со стола, Стефен прошел к себе, умылся и вернулся на кухню. Дженни только что кончила вытирать посуду — от рук ее еще шел пар — и вешала выжатое полотенце на край плиты. Взгляд ее упал на хихикавшего Эрни.

— У тебя ум за разум зайдет, Эрни, если ты будешь так много читать. А что сегодня пишут про Растяпу Вилли?

— Просто живот можно надорвать от смеха. Я читаю нарочно медленно, чтобы наподольше хватило.

— А мне казалось, что ты хотел пойти в кинематограф.

— Я? И не думал. На этой неделе нет ковбойских фильмов.

Наступила пауза. Стефена, сидевшего, засунув руки в карманы, на краю кухонного стола, вдруг осенило:

— А вы бы не хотели пойти в кино, Дженни?

Она улыбнулась, но отрицательно покачала головой.

— Ну пойдемте!

— Я, право, не очень-то люблю кинематограф. Да еще в такой чудесный вечер. — Она глянула в окно. — Посмотрите, какая красота. Небо такое ясное, и тепло.

Проследив за ее взглядом, он увидел круглую серебряную луну, встававшую над гаванью. Настроение Дженни передалось ему, и он сказал:

— В таком случае давайте пройдемся.

Она просияла: видно было, что предложение пришлось ей по душе.

— Вот это неплохо — прогуляться после целого дня взаперти. Я мигом — только пальто накину.

Он прождал ее не больше минуты. Затем, попросив Эрни, который едва ли услышал хоть слово из того, что она сказала, присмотреть за печкой и передать тетушке Флорри, что они вернутся через полчаса, Дженни в сопровождении Стефена спустилась по лестнице, и они пошли по набережной к бульвару. Ночь была великолепная — теплая и ясная; луна ярко сияла среди мерцающих звезд, и Млечный Путь переливался серебром. Когда они проходили мимо «Дельфина», Стефен вопросительно взглянул на Дженни:

— Не хотите перекусить?

Она снова отрицательно покачала головой:

— Нипочем не могла бы сейчас ни пить, ни есть. Слишком уж хорошо на дворе. Такая луна... и звезды.

И в самом деле, когда они подошли к бульвару, цепочка фонарей казалась лишь бледным подобием алмазной россыпи звезд. На скамейках, держась за руки, неподвижно сидели парочки, будто ослепленные и зачарованные этим волшебным светом. Море переливалось мириадами блесков — словно огромная змея свивала и развивала свои кольца. Стефену казалось, что они слишком быстро дошли до конца эспланады, а ему так не хотелось обрывать эти чудесные мгновения, и он нерешительно предложил:

— Сейчас совсем светло, может быть, прогуляемся по пляжу?

Дженни не возражала, и, когда они спустились на песчаный пляж, ставший еще шире из-за отлива, Стефен заметил, как бы думая вслух:

— А знаете, Дженни, ведь мы с вами впервые гуляем вдвоем.

— Чудно! — Она несколько смущенно рассмеялась. — Да что поделаешь. Так уж получалось.

— И все же у меня такое ощущение, будто я знаю вас всю жизнь.

Наконец он произнес эти слова — признался, что ему хорошо с ней! Она ничего на это не сказала. И они молча долго шли по гладкому, твердому песку, в котором, словно упавшие звезды, поблескивали наполовину зарытые в песок белые раковины. Позади них город отступал все дальше, окутанный призрачным светом; они были совсем одни на пустынном берегу.

Но вот Стефен почувствовал, что надо поворачивать назад: слишком далеко они ушли. А так не хотелось возвращаться! И он предложил:

— Давайте посидим немного и полюбуемся на луну.

Они нашли небольшую выемку в дюнах, укрытую от ветра и поросшую жесткой травой, — откуда хорошо был виден весь сверкающий небосвод и глухо вздыхающее море.

— Надо было вам взять пальто, — сказала Дженни. — Здесь может быть сыро. Садитесь на мое.

И, расстегнув пальто, она заботливо разостлала полу, чтобы он мог сесть.

— Как обидно, что послезавтра надо уезжать, — через некоторое время со вздохом заметила она. — В Маргейте так хорошо в это время года.

— Мне здесь очень понравилось.

Оба помолчали.

— Вы, наверное, уже решили, что будете делать дальше?

— Мм... в известной мере.

Она не смотрела на него — взгляд ее был устремлен куда-то вдаль.

— Мне не хотелось бы показаться назойливой, сэр, и вы понимаете, что говорю я так не из-за денег, но надеюсь, вы еще немного поживете у меня. Вы ведь собирались рисовать реку. А у меня как-то на душе спокойнее, когда в доме такие жильцы, ну вот вы да капитан Тэпли.

— Мне и самому хотелось бы пожить у вас, но пора снова в путь.

— И как только вы живете! Страшно подумать: один-одинешенек, кочуете с места на место, некому и присмотреть-то за вами. — В голосе ее звучала неподдельная грусть. — Неужто вам в самом деле надо ехать?

Он не ответил. Она сидела совсем рядом — живая и теплая, — и ощущение ее близости сводило его с ума. Волна страсти захлестнула его. Не в силах больше противиться желанию, он просунул руку под пальто Дженни и обнял ее за талию. Она сразу умолкла, и он почувствовал, как напряглось ее тело.

— Не надо, сэр, — очень тихо сказала она.

— Ради всего святого, не зови ты меня сэром, Дженни. — Он с трудом произнес эти слова. И вдруг поцеловал ее — порывисто и крепко. Губы у нее были мягкие и сухие, слегка обветренные и теплые, как слива на солнце. От неожиданности Дженни подалась назад, потеряла равновесие и опрокинулась на спину. Она лежала на песке и казалась в эту минуту такой незащищенной. Она смотрела в небо, и в глазах ее отражалась луна.

Сердце у Стефена отчаянно колотилось — никогда еще он не испытывал такого неудержимого влечения. Все, что он знал до сих пор — мимолетное чувство к Клэр, непонятная тяга к Эмми, — меркло перед этим сладостным томлением. Он считал себя странным, противоестественным существом, для которого навеки заказана радость разделенной любви. Все это была ложь. Он лег рядом с Дженни и, осторожно просунув руку в низкий вырез ее платья, почувствовал под ладонью мягкую грудь. От буйного тока крови она была еще жарче, чем ее губы, и трепетала под его пальцами, словно пойманная птица. Он нежно ласкал ее; но вот от движений его руки пуговицы на лифе Дженни расстегнулись, и он с судорожным вздохом прильнул щекою к гладкой белой коже, как бы моля утешить его и приласкать. «О боже, — подумал он, — вот то, чего я так жаждал и искал, к чему я так стремился! Вот оно — исцеление, вечная Лета: положить голову на мягкую женскую грудь и забыться в объятиях подруги».

Он почувствовал, как она задрожала, как слабеет ее тело, и радость опалила его. Опершись на локоть, весь пылая, но решив пережить сполна прелюдию свершения, он посмотрел на Дженни: она бурно дышала, и глаза у нее были закрыты, лицо казалось совсем маленьким, словно сведенным судорогой, от ресниц на щеки, вдруг сразу запавшие и похудевшие, легла легкая тень. Когда он снова прильнул губами к ее губам, она стра-

стно ответила на его поцелуй, потом вздрогнула и в последней тщетной попытке избежать неизбежного отвернула голову.

— Нет... нехорошо это, — прошептала она. — В такую-то ночь!

Вместо ответа он крепче прижал ее к себе. Тогда она подняла руки и оплела ими его шею. Губы ее раскрылись в ожидании поцелуя. Земля заколебалась, луна покатиалась куда-то. Наступило мгновение, неотвратимое, как смерть. Потом — покой, тепло и молчание... долгое молчание, когда они лежали неподвижно в объятиях друг друга.

Наконец слеза медленно скатилась по ее щеке и упала на его щеку. Он поднял голову, покоившуюся на ее плече, и заглянул ей в глаза.

— Дженни, в чем дело?

Она уткнулась лицом в его грудь, и ее голос, пристыженный, приглушенный, слабо долетел до него:

— Второй раз в жизни так со мной получается. И теперь я даже не могу свалить все на виски.

— Но ты не жалеешь о том, что произошло? Ты ведь любишь меня?

— Люблю, вы знаете, что люблю! — И она с новой силой прильнула к нему. — Всю жизнь любила. Всю жизнь... с первого дня. Даже когда была с Алфом, все думала о вас. Не должна я была, конечно, думать, да и теперь тоже... Ну что ж, поделом мне... так ведь и замуж никогда не выйдешь.

Он с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Взяв ее маленькую руку, шершавую от прилипшего песка, он крепко сжал ее.

— Не волнуйся, Дженни. Если ты не против, мы завтра же поженимся в мэрии. Теперь мы с тобой на всю жизнь связаны — на радость и на горе.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ



ГЛАВА I

В то осеннее утро 1928 года Стефен проснулся еще прежде, чем первый штифтик света прорезал темноту спальни, помещавшейся на первом этаже дома на Кейбл-стрит, окнами во двор. Некоторое время он лежал неподвижно, чувствуя рядом упругое тело жены, прислушиваясь к ее ровному дыханию; затем тихонько, стараясь не разбудить ее, вылез из постели и принялся одеваться, ощупью находя в темноте разложенную на стуле одежду — фланелевый жилет, саржевые брюки и толстый синий шерстяной свитер, который Дженни связала ему. В одних носках он вышел в коридор, трижды громко постучал в дверь Джо Тэпли и направился на кухню.

Газ мягко вспыхнул под уже налитым чайником. Стол тоже был, как всегда, накрыт. Через десять минут к Стефену присоединился капитан, и они вместе сели завтракать: на столе был горячий чай, хлеб со свежим маслом и сосиски. Они ели молча, и только уже перед самым концом Тэпли заметил:

— Ветер сегодня с запада.

Стефен **кивнул** и нагнулся к самому уху старика:

— **Непременно** надо поработать, пока тучи не рассеялись.

— Сегодня **жди** волны, будем надеяться, что руль выдержит. Я совсем **разучился** справляться с ним.

— Это **вам прострел** мешает.

— И **нисколько**: за весла я в любую минуту могу сесть.

Стефен **встал**, налил чашку чаю и отнес в спальню; накрыв чашку блюдечком, он поставил ее на столик у постели — иногда Дженни просыпается, когда они, уходя, захлопывают дверь. Затем он вернулся на кухню, надел ботинки и укориз-

ненно посмотрел на Тэпли, который принялся было раскуривать трубку.

— Надо поторапливаться.

— А я готов.

Закрыв строптивную дверь с возможно меньшим шумом, они вышли на улицу и быстро зашагали к реке: ничто не отягощало их, ибо все необходимое находилось в сарае на пристани.

После того как они ушли, дом погрузился в глубокую тишину. Однако в половине седьмого зазвонил будильник. Дженни открыла глаза, поморгала, увидела возле себя на столике чашку с чаем, потрогала — холодная как лед. Она укоризненно покачала головой и села в постели. Комната по-прежнему тонула в сероватом сумраке: деревянный мольберт, который Стефен смастерил себе, загораживал часть света. Дженни, одеваясь, просовывая руки в проймы рубашки, натягивая розовые шерстяные панталоны — быстро, ловко, с безотчетной грацией, несмотря на расплывшуюся, отяжелевшую фигуру, — подумала, что Стефен, наверно, успел добраться до Гринвича еще до рассвета.

Она мигом «запустила дом на полный ход», как она любила выражаться, и к восьми часам утра уже успела позавтракать, проветрить белье с обеих постелей, разжечь огонь под баком для кипячения белья и отнесла мисс Пратт поднос с завтраком. Без четверти девять мисс Пратт, постоянная жиличка, занимавшая теперь верхнюю комнату, выходящую во двор, отправлялась в школу-интернат в Степни, где она вела подготовительный класс. Дженни прибрала дом, застелила постели и, выглянув в заднюю дверь, с удовлетворением обнаружила, что на дворе дует свежий ветерок. А ведь был понедельник — день, отведенный ею для стирки.

Рассортировав белье и засунув крупные вещи в медный бак, она бессознательно принялась что-то напевать. Правда, получалось это не очень умело, но ее натуре была свойственна веселость. А кроме того, она считала себя счастливой женщиной, раз ей выпало на долю любить и обихаживать такого необыкновенного человека, как ее муж.

Она не понимала его и, видно, толком никогда не поймет. Да она и не пыталась, а лишь с нежным и ревнивым удивлением

наблюдала за сменой его настроений, когда упорное молчание перемежалось взрывами восторга, а потом наступал упадок, — все это было так не похоже на ее собственную уравновешенность и здравомыслие. Его безразличие к еде, одежде и соблюдению условностей вызывало у нее изумление, и она только покачивала головой. Подумать только: она готовит ему такие сытные завтраки, а он забывает взять их и потом, проголодавшись, мчится в первую попавшуюся булочную, покупает кусок хлеба, разламывает и глотает на ходу.

Однако на его страсть к живописи она смотрела с мягкой снисходительностью. Это джентльменское занятие как раз по нему, он находит в нем отдых и удовольствие, — словом, «какое ни на есть, а все-таки дело». Особенно одобряла она его увлечение речными пейзажами, так как это надолго уводило его из дома и заставляло бывать на свежем воздухе. Ибо если ее что-нибудь и тревожило — а она порой вдруг застывала, недокончив начатое, и озабоченная морщинка появлялась меж ее бровей, — так это состояние его здоровья... Не нравился ей этот кашель, ставший теперь постоянным, как неотъемлемая часть его существа. А он и не думает обращать на это внимание.

Но сегодня Дженни захлопоталась так, что не имела времени размышлять об этом. Когда все белье было развешено на заднем дворе и весело заплескалось на ветру, она приготовила себе второй завтрак — поджарила хлеба с сыром и решила побаловать себя крепким чаем. Затем сняла халат, надела платье получше, взяла корзину и вышла из дому. Сегодня к ужину придут Глины, и она решила приготовить тушеное мясо с овощами. После долгих препирательств с мясником, забрав несколько кусков, она наконец получила то, что хотела. Затем она зашла к бакалейщику и в молочную, по пути заглядывая в витрины и уже несколько иначе, более пристально поинтересовавшись костюмом-тройкой, выставленным в «Ист-Лондон эмпориум», — она давно облюбовала его для Стефена «на случай выхода в свет». Вскоре она уже была дома и принялась резать мясо и чистить овощи. Она радовалась тому, что вечером у них будут гости, — ей нравилась Анна, которую она считала себе «ровней»: ведь Анна тоже сама вела хозяйство в маленьком

домике на Тайт-стрит, который Глин купил четыре года назад, после того как, став человеком respectable, узаконил свои отношения с Анной и женился на ней. А кроме того, Дженни знала, что Стефен всегда рад Ричарду; если не считать капитана Тэпли, это был теперь его единственный друг и вообще единственный человек, ради которого Стефен соглашался нарушить однообразие своего уединенного существования.

До этой минуты день Дженни протекал, как всегда, тихо, спокойно, без всяких происшествий. Но часов около двух, только она собралась снимать высухшее белье, у входной двери позвонили. В первую секунду она подумала, что это, должно быть, дневная почта — принесли письмо из Маргейта, ибо Флорри в последнее время регулярно писала им, сообщая все новости об Эрни, который собирался поступить в обучение к адвокату.

Однако, открыв дверь, она увидела такси, заворачивавшее за угол, а прямо перед собой — худощавого, гладко выбритого человека в довольно поношенном рыжеватом пальто. Он приподнял шляпу.

— Мистер Десмонд дома?

— Нет, — ответила она, пристально оглядывая посетителя. Затем добавила: — Он вернется только к вечеру.

— А не могу ли я поговорить с вами? Моя фамилия Мэддокс. Чарльз Мэддокс. А вы, вероятно, миссис Десмонд. Я являюсь или, вернее, являлся агентом вашего супруга.

Дженни помедлила. Она не имела обыкновения приглашать в дом незнакомых мужчин, однако этот господин держался так просто и открыто, что едва ли принадлежал к тем, кто пытается всучить вам ненужную вещь.

— Войдите, пожалуйста, — сказала она.

Проведя незнакомца в маленькую гостиную, безукоризненно чистенькую и прохладную, обставленную дешевой мебелью, — единственным ее украшением было пианино да папоротник в горшочке на окне, — Дженни выжидающе повернулась к гостю: она продолжала смотреть на него с опаской, хотя ее и расположила в его пользу та тщательность, с какою он вытер ботинки о коврик у двери.

— Не желаете ли чашку чаю?

— С удовольствием, если это не слишком вас обременит.

Без излишней суетливости она принесла ему чаю и горячего поджаренного хлеба.

— Очень вам благодарен. Я сегодня весь день на ногах и еще не успел позавтракать. — Он помолчал. — А вы не присоединитесь ко мне?

— Нет, благодарю вас. — Она несколько сухо отклонила его предложение, решив, что такая фамильярность ни к чему. — Наконец-то погода наладилась.

— Да, сегодня чудесный день.

Оба помолчали.

— Миссис Десмонд, — с неожиданной решимостью заговорил Мэддокс, принимая из ее рук вторую чашку чаю. — Вы кажетесь мне очень здравомыслящей женщиной, а потому я и хочу прибегнуть к вашей помощи. Я приехал просить вас уговорить вашего супруга, чтобы он позволил мне быть его посредником.

— Но ведь вы же сказали, что являетесь его агентом.

— К сожалению, я только им числюсь. За последние восемь лет в моей галерее не было ни одной работы Десмонда. Однако я уверен, — и он бросил на нее вопросительный взгляд, — что в мастерской у него полно новых картин.

— Да, — скромно подтвердила она, немного растерявшись. — Они все вон там. Но он не хочет с ними расставаться. Он мне так и сказал. После того случая он поклялся, что никогда в жизни не выставит больше ни одной картины.

— Это было давно, и с тех пор утекло немало воды. Искусство, миссис Десмонд, — при этом гость слегка наклонился к ней, — любопытная штука: оно долгие годы развивается по прямой, а потом вдруг метнется куда-то в сторону. Одно время картины вашего мужа было почти невозможно продать. А сейчас, судя по тем сведениям, которые я получил из Парижа, есть все основания полагать, что они найдут сбыт у избранной и тонкой публики.

Он надеялся вызвать у нее возглас удовольствия или удивления. Но она лишь спокойно улыбнулась: ее ничуть не потряс-

ли его слова, а тем более упоминание незнакомого города, который назывался так чудно.

— Ну и что же?

— Как что?! А в материальном отношении... Это может произвести немалую перемену в вашей жизни.

— Мой муж, — она произнесла это слово с нежной гордостью, — мой муж ни во что не ставит деньги. И если не считать красок и тому подобного, он вообще не тратит на себя ни копейки.

— Однако человек он по натуре независимый — я хорошо знаю, что это так... — Мэддокс слегка помедлил, но тут же довел свою мысль до конца: — И его должно унижать... мм... вы уж меня извините... то, что вы содержите его.

— Да он об этом и не думает, — решительно возразила Дженни, — и, надеюсь, никогда не будет думать. — Она поднялась с места. — Все, что у меня есть, принадлежит ему в такой же мере, как и мне, мистер Мэддокс, и для нас двоих этого вполне достаточно. У нас есть дом, за который полностью выплачено, два постоянных жильца, ну и фунтов тридцать вложено в акции Строительного общества. Лучше жить мы просто не можем, даже если б и хотели.

— И все же, — безуспешно, но упорно стоял тот на своем, — вы могли бы устроиться совсем иначе, будь у вас больше денег. — Он окинул взглядом ужасающе убогую, крошечную гостиную, удивляясь тому, как человек со вкусом и обостренной чувствительностью Десмонда может здесь жить. — Вы могли бы... иметь более просторный дом. Потом, я уверен, что вы очень много работаете. Вы могли бы нанять себе помощницу... хорошую служанку.

Она расхохоталась ему в лицо, весело, с присущим ей очарованием, словно он сказал что-то очень смешное.

— Я сама была служанкой, мистер Мэддокс, и, надеюсь, неплохой. А что до работы, так я бы померла со скуки, если бы мне нечего было делать. Скажу вам прямо: я не была бы счастлива, если бы мы жили иначе. Я просто уверена, что жизнь наша не была бы и вполовину такой славной.

Окончательно сбитый с толку, Мэддокс молча смотрел на нее, и в нем росло уважение к этой женщине, хоть он и не сумел

ничего от нее добиться. Уродливые часы — подделка под черный мрамор, — стоявшие на каминной доске, показывали двадцать пять минут третьего.

— Тем не менее, — рискнул он, — я надеюсь, вы разрешите заглянуть в мастерскую вашего мужа?

Ее отказ был верхом любезности и такта. Дело в том, что робость ее гостя и его непрезентабельный вид навели Дженни на мысль, что перед нею человек, который тщетно пытается заработать на чем-то весьма непрактичном, граничащем с фантастикой, и это тронуло ее и расположило к нему.

— Лучше бы вы все-таки поговорили сначала с мистером Десмондом.

— А я говорил с ним. — Весь вид Мэддокса указывал на то, сколь безрезультатен был этот разговор. Помолчав немного, он взял шляпу и встал. — Будьте любезны передать вашему супругу, что я заходил.

— Конечно передам. Только, по-моему, ничего из этого не выйдет, так что вы лучше не обнадеживайтесь зря.

Когда он ушел, Дженни вернулась на кухню и некоторое время постояла в растерянности, затем, пожав плечами, выбросила из головы мысль о посетителе и пошла снимать белье.

В пять часов у входной двери снова позвонили. К этому времени Дженни уже успела переодеться и была готова принять гостей.

— Вы уж нас извините, — сказала она, здороваясь с Глинми, — только Стефен еще не вернулся.

— А мы пришли немного раньше. — Глин повесил шляпу и шарф на оленьи рога в передней. — Кстати, к вам сегодня не заходил некий агент по фамилии Мэддокс?

— Заходил, — сказала Дженни, сразу настораживаясь. — Мистер Чарльз Мэддокс.

— И, я надеюсь, вы дали ему две-три картины Стефена?

— Упаси боже, конечно нет. Как же можно — не спросив Стефена? — Дженни улыбнулась. — Да мне бы перед ним потом вовек не оправдаться.

— Понятно, — сказал Глин и, помолчав, добавил: — Ну вот что: вы побеседуйте вдвоем, а я загляну в мастерскую.

Выйдя через кухню на выложенный плитами задний дворик, он пересек его, отыскал под матом ключ и вошел в ветхий деревянный сарайчик, где работал Стефен. Если не считать викторианской софы с поломанной спинкой, стоявшей у одной из стен, там было совсем пусто, неуютно и холодно, так как помещение даже не отапливалось, зато в нем было сухо и через окно, выходившее на север, падал превосходный свет. В центре мастерской на мольберте стояло большое незаконченное полотно, изображавшее реку, а в одном из углов были составлены как попало картины самых разных размеров — все без рам.

Ричард внимательно осмотрел незаконченную работу, пока набивал трубку табаком и раскуривал ее, затем снял картину с мольберта, поставил на него другую, которую взял из груды в углу, и, присев на ветхую софу, принялся ее изучать. Минут через пять он поставил на мольберт новую картину, снова сел и снова погрузился в задумчивое созерцание. Так он проделал несколько раз.

Во всех движениях Глина появились теперь продуманная целеустремленность и зрелость, так подходившие к облику этого массивного человека с крупной головой. В пятьдесят лет это уж не был прежний пылкий и необузданный художник, который обожал богему, попирал все ортодоксальные воззрения и плевал на авторитеты, — подлинный и заслуженный успех укротил или, вернее, смягчил его. Работы Глина, проникнутые уверенностью в своей силе, отличавшиеся независимостью мысли и в то же время солидностью, были признаны — и вполне справедливо — ценным вкладом в английское искусство. Дни бродяжничества канули в прошлое — теперь это был степенный женатый человек, владелец дома в Челси, член совета Академии, привыкший к своему положению и постепенно полюбивший его, хоть оно и противоречило его взглядам. Однако сейчас, просматривая работы Стефена, такие разнообразные, такие смелые по краскам, по пророческому отсутствию раболепства перед традициями, по самобытности образов и изображению перспективы, по богатству и изяществу фактуры (как тщательно скрыт искусной лессировкой жесткий остов композиции!), — просматривая эти картины, чуть таинственные, с большим подтекстом, где всегда что-то недосказано, Глин почувствовал,

что какие бы перемены ни произошли в нем, в глубине души он по-прежнему за тех, кто восстает против рутины, за бунтарей. Полотна, стоявшие в углу этого дощатого сарая, были намного лучше его работ — это он спокойно и без всякой зависти понимал; по мастерству исполнения и оригинальности замысла они могли быть поставлены в один ряд с творениями величайших мастеров. И Глин подумал о том, что Десмонд уже целых семь лет неустанно трудится в полной безвестности, никто о нем не слышал, не знает, он ведет жизнь аскета, затворника, похоронившего себя в трущобах Ист-Энда; отказываясь общаться с внешним миром и не давая зарубцеваться ране, он, конечно, имеет все основания чувствовать себя обиженным, но такое состояние духа опасно для него самого. И Глин решил, что настало время действовать: пора положить конец этому затянувшемуся отшельничеству. Собственно, он пришел сюда с готовым уже решением: сам он за эти годы сумел занять прочное положение, и естественно, что мысли его потекли по вполне определенному руслу. Выход для Стефена мог быть только один — добиться признания. Это сыграло огромную роль в его собственной жизни. Это может сыграть решающую роль в жизни Десмонда. Говорить об этом со Стефеном, конечно, бесполезно. Глин не раз пытался — и тщетно. Он знал заранее о предстоящем посещении Мэддокса — он уже давно обсуждал этот шаг с агентом и сейчас, когда его посещение не достигло цели, понял, что действовать надо самому.

Нахмурившись, он с решительным видом встал, взял картину, на которой заранее остановил свой выбор — «Хэмпстедскую вересковую пустошь», — завернул ее в оберточную бумагу и обвязал веревкой. С несвойственной ему стремительностью он вышел из мастерской, запер ее и через заднюю дверь выбрался в тупичок. Ему потребовалось не больше трех минут, чтобы дойти до угла, а там, нырнув в кабачок «Благие намерения», он выпил стакан эля и попросил бармена подержать до вечера у себя пакет. К шести часам, никем не замеченный, он вернулся во двор и оттуда прошел на кухню.

Стефен только что вернулся домой и радушно приветствовал друга. Здороваясь с ним, Глин невольно подумал о том, какая большая перемена произошла в Стефене со времени их

первой встречи в Слейде. И дело было не только в том, что Стефен страшно похудел — скулы у него торчали, а на висках образовались глубокие впадины. Казалось, что этот человек, с длинными худыми руками и с вымазанной в саже от речного пароходика щекой, в грубых, перепачканных краской штанах и куртке, со старым шарфом, переброшенным через плечо, держится на ногах лишь огромным усилием воли, напряжением всех своих сил. Правда, пятна румянца на скулах и горящие глаза несколько сглаживали это впечатление, придавая лицу Стефена необычайно живое, энергичное выражение.

— Удачный был день? — спросил Глин.

— Вполне. Я чуть свет отправился в Гринвич.

— Как поживает старушка Темза?

— Мучает меня, как всегда. А чем ты сейчас занят?

Ричард помедлил, повертел цепочку от часов — уже не потрепанный обрывок шнура, а настоящую золотую цепочку внушительной толщины, с брелоками, подарок убогого заказчика.

— Вообще говоря, собираюсь приступить к портрету лорда Хаммерхеда.

— Ты что-то уж очень много стал писать портретов. Это опять заказ?

— Да.

— Мне знакома эта фамилия. Твой заказчик, случайно, не пивовар?

— Мм... Это одна из многочисленных сфер его деятельности.

— А другой сферой является искусство? Живопись только и существует благодаря таким молодцам, как он.

Глин искоса взглянул из-под бровей на приятеля: не иронизирует ли он? Но лицо Десмонда было по-прежнему приветливое и веселое. Последовало небольшое молчание, но тут появилась раскрасневшаяся от долгого пребывания у плиты Дженни с дымящимся блюдом в руках и весело пригласила всех к столу.

Еда была простая, но сытная: душистое рагу, картофель в мундире, затем домашний сливочный торт и большая миска

абрикосового компота на десерт. Глин, который с годами стал еще большим сластолюбом, что заметно сказалось на его внушительных габаритах, с удовольствием предавался чревоугодию, но хоть и был поглощен едой, все же не мог не заметить, как безразличен к еде Стефен. Он, казалось, даже не замечал, что глотает, да и вообще пища нисколько не интересовала его: если бы не Дженни, тарелка его так и простояла бы пустой. Но настроение у Стефена было необычайно жизнерадостное, красивые глаза его оживленно блестели, когда он принялся подробно рассказывать о том, как ругался с капитаном, чья баржа чуть не опрокинула их посередине реки:

— И какими только крепкими словечками мы друг друга не обзвали! — весело заметил он в заключение. — После этого у меня совсем пропал голос.

— Что?! — воскликнула Дженни, бросив на него встревоженный взгляд.

— Это пустяки! Ведь когда я работаю, мне голос не нужен. — Стефен с улыбкой повернулся к Глину. — Тэпли глух как пень. Иногда я, как уйду из дому, целый день рта не раскрою.

Глин неодобрительно погрозил ему вилкой.

— Но это же ненормально, — сказал он. — Ты совсем как Анна. Иной раз от нее тоже за целый день слова не дождешься.

Анна посмотрела на него — как всегда, смиренная и серьезная, только уголки губ приподнялись в иронической усмешке.

— Это было первым условием, которое ты мне поставил, когда я переехала к тебе.

— Переехала ко мне! — возмутился Глин. — Да неужели ты не можешь запомнить раз и навсегда, что ты теперь почтенная замужняя женщина?

— Иногда я даже думаю, что мы стали слишком почтенными.

— Что ты хочешь этим сказать? Тебе не нравится, как мы живем? Посмотри, с какими людьми ты встречаешься.

— О, мы действительно встречаемся с уймой людей. Мы наряжаемся и ездим по приемам, где все время стоишь, а вокруг такой шум, что собственного голоса не слышно. Мы бы-

ваем на торжественных обедах, сидим на сквозняках, слушаем длинные напыщенные речи. Мы действительно очень заняты. Но только в Париже мы жили куда веселее, когда ты швырял в меня ботинками и обзывал потаскухой.

Стефен расхохотался, но Дженни была несколько шокирована, а Глин явно рассердился:

— Ты несправедлива, Анна. Мы теперь стали старше. У нас есть определенное положение в обществе, определенные обязательства и, следовательно, определенные обязанности. — Он повернулся к Стефену. — А вот ты... ты ведешь неправильный и притом вредный для тебя образ жизни. Мы должны вытащить тебя на свет божий.

— В самом деле? — с улыбкой заметил Стефен. — Интересно, как же вы за это приметесь?

— Обеспечив тебе то признание, которого ты заслуживаешь.

Стефен покачал головой: слишком уж назидательным был тон Глина.

— Если б кто-нибудь сказал тебе такую гнусность двадцать лет назад, ты бы стукнул его по уху. Мне не нужен успех. У меня нет на это времени. Успех, особенно успех у публики, скывывает дух. Я же могу всецело отдаться моей работе, потому что уже не жажду его.

— Послушай, Десмонд, — несколько запальчиво начал Глин. — Давай подойдем к этому вопросу разумно, без излишней горячности. Оставим публику в покое... никто не намерен принуждать тебя писать в угоду публике. Но неужели ты хочешь сказать, будто тебе безразлично, что думают о твоей работе люди, действительно в этом понимающие, например твои собратья по искусству?

— Ни один художник не должен заботиться о том, чтобы снискать похвалу или хотя бы одобрение своих коллег. Его работы должны прежде всего удовлетворять его самого.

— Вот как! Значит, ты не хочешь никому показывать свои картины?

— Вначале я страстно хотел показывать их людям, добиться признания, славы. Сейчас же мне это безразлично. Я не хо-

чу ничего продавать. Я люблю свои картины, мне доставляет удовольствие иметь их под рукой, перебирать их, трогать. Достаточно того, что я сам знаю, чего они стоят.

— Черт побери! Но человек не может не жаждать признания.

— Хвала, как и хула, способна лишь мимолетно затронуть того, чье преклонение перед красотой делает его самым суровым критиком своих работ. И не ругай меня за эти слова. Их сказал не я, а Китс.

Глин хотел было разразиться возмущенной отповедью, но сдержался и стал набивать трубку. Однако, раскуривая ее, он дал себе слово не отступаться от своего намерения и непременно выполнить его. И уже другим, более мягким и примирительным тоном сказал:

— Во всяком случае, ты не можешь не признать, что последнее время стал совсем отшельником. Нехорошо человеку по долгу быть одному.

— Ну а если этот человек работает?

— Я ведь тоже работаю. Однако мне приходится довольно много бывать в разных местах. Это не всегда удобно, но ничего не поделаешь. И, откровенно говоря, мне это стало даже нравиться. Вечером я встречаюсь со своими коллегами у Фраскати, заглядываю в «Гаррик-клуб», посещаю заседания академических комиссий. Мне кажется, тебе давно пора выбраться из твоей норы. У меня как раз есть два билета в «Ковент-Гарден». Там в четверг дают «Дон Жуана». Мне прислала их мадам Леман — помнишь, я писал ее портрет в прошлом году. Пойдешь со мной?

Стефен медленно покачал головой. Слово «нора», которое употребил Глин, показалось ему неуместным и обидным.

— Я пятнадцать лет не был в театре.

— В свое время ты любил туда ходить.

— Сейчас я слишком занят.

— Какая ерунда! Я настаиваю. А потом мы поужинаем в «Кафе Ройял».

— Конечно пойди, Стефен, — принялась уговаривать его Дженни. — Это будет для тебя приятным отдыхом.

Стефен посмотрел сначала на одного, потом на другую без легкого раздражения: видно было, что он дороже всего ценит свою свободу, что малейший намек на принуждение, на необходимость терпеть чье-то присутствие выводит его из равновесия. Он слишком хорошо знал себя, свои вечные опасения и страх перед неизвестным, подстерегающим его за углом, и искал спасения в этом затворничестве, за которое его так порицал Глин, забываясь в работе, в счастливой безвестности своей жизни вдвоем с Дженни. Он уже готов был отказаться от приглашения, но сегодня он особенно хорошо потрудился, и редкостное удовлетворение работой, желание доставить удовольствие жене и Глину побудили его отступить от своих правил.

— Хорошо, — сказал он. — Я пойду.

— Отлично, — обрадовался Глин и с довольным видом кивнул.

ГЛАВА II

Спектакль в «Ковент-Гарден» окончился, и зрители выходили из здания оперы на прохладный свежий воздух. Для Стефена, так редко выбиравшегося из дому, этот вечер и в самом деле оказался приятным развлечением: его не столько пленили изящные мелодии Моцарта — ибо, как человека чисто зрительно-го восприятия, его почти не трогала музыка, — сколько увлекли наблюдения за ее «облагораживающим» влиянием на Глина: подмечая, что в антрактах публика поглядывает на него и узнает, он держался, несмотря на живописную богемную внешность (а был он в плисовой куртке, серой рубашке и красном галстуке — одеянии, резко выделявшемся среди черных фраков и белых манишек), с достоинством академика, который может потребовать пятьсот гиней за поясной портрет и настоять, чтобы его работы на выставках висели на видном месте. Перемены, которые произвела слава в могучей личности Ричарда, были не слишком печальными, но они были налицо.

Друзья некоторое время простояли у входа на станцию метро «Бау-стрит».

— Ты уверен, что не хочешь выпить хоть рюмочку?

— Нет, благодарю. Я сейчас пойду на автобусную остановку на Оксфорд-стрит.

— В таком случае — до скорой встречи. А к тому времени, я думаю, у меня будут для тебя интересные новости.

Это был самый ясный намек, на который Глин отважился в течение вечера, но, как и все предыдущие, он, видимо, не дошел до сознания Стефена. И все же Ричард считал, что известный сдвиг сделан.

Они обменялись рукопожатиями, Глин направился к Стрэнду, а Стефен — в противоположную сторону. И чуть не столкнулся с женщиной, выходящей из театра. Он машинально отступил, пробормотав какое-то извинение, и в ту же секунду узнал Клэр.

— Вы! — еле слышно прошептала она.

По выражению ее лица — сначала испуганному, потом вдруг застывшему — он понял, как мучительна ей эта встреча; они неподвижно стояли рядом на почти безлюдной улице, молча глядя друг на друга, словно две восковые фигуры из расположенного неподалеку заведения мадам Тюссо. Именно это сравнение и пришло в голову Стефену, но, прежде чем он успел положить конец нелепому молчанию, Клэр заговорила — торпливо, сбивчиво:

— Стефен! Просто глазам своим не верю! Вот уж никогда бы не подумала, что встречу вас здесь! Вы были в опере?

— А вы полагаете, что я вышел из учреждения напротив?

Он не мог не съязвить, но сосредоточенное и покорное выражение, сразу появившееся на ее лице, и взгляд, который она бросила на синюю лампочку полицейского участка напротив, побудили его добавить:

— Да, в виде исключения я был сегодня в опере. А вы, наверно, ходите сюда довольно часто.

— На все спектакли сезона. Музыка для меня — большая радость.

Но тон, каким это было сказано, говорил, что музыка была для Клэр не радостью, а скорее утешением; о том же говорило и скорбное лицо, которое, утратив краски и мягкие очертания

юности, стало почти угловатым, под глазами залегли тени, нос словно бы удлинился, а подбородок вытянулся. Черное платье, хотя и сшитое с превосходным вкусом, однако лишенное каких-либо украшений, равно как и черный кружевной шарф, который она накинула на голову, придавали ей не просто строгий, а почти суровый вид.

— Вы один? — спросила она после мучительного молчания.

— Сейчас — да. Мой приятель уже ушел.

Она помедлила, собираясь с духом.

— В таком случае, может быть, зайдете ко мне побеседовать? Не можем же мы стоять так на улице. Я живу совсем рядом, на Найтс-бридж.

Приглашение было сделано деловитым тоном, и хотя Стефен спешил домой, он все же кивнул в знак согласия, возможно, правда, его заинтересовала происшедшая в ней перемена. Ее машина — темно-синий открытый «даймлер» — стояла неподалеку, и через несколько минут они уже быстро катили на запад по пустынным улицам.

— Какая роскошь, Клэр! — насмешливо заметил он. — Эта штука, пожалуй, лучше вашей старой «де дион».

— Эта машина взята напрокат, — возразила она. — У меня теперь нет собственной. Я беру ее из гаража. По вечерам я вполне могу обойтись и метро. А днем пользуюсь ею... езжу на работу и с работы.

Его слух неприятно резанула нотка жалости к себе, прозвучавшая в ее тоне. К чему эта поза мученицы, добровольно обрекшей себя на неудобства лондонского метрополитена? Но он спросил лишь:

— Вы работаете?

Она наклонила голову.

— В приюте Святого Варнавы для бедных девушек. Я там почетный секретарь. А руководит всем этим наш уважаемый отец Лофтус.

— Лофтус! — воскликнул он.

— Да, это изумительный человек. Он был для меня... — Она помедлила: — Большой моральной поддержкой.

Стефен хотел было что-то сказать, но промолчал. Вскоре они добрались до Слоун-стрит, где она снимала квартиру на

верхнем этаже бывшего особняка. Она провела его в гостиную — длинную, довольно узкую, но приятно обставленную комнату, выдержанную в серовато-серебристых тонах, с пушистым ковром и строгой мебелью. На стенах, друг против друга, в рамках из белой полированной сосны, висели его картины, которые она купила семь лет назад.

— Они хорошо здесь выглядят, правда? — спросила Клэр, заметив его взгляд, и, прежде чем он успел что-либо сказать, продолжала с наигранной живостью, по-видимому скрывавшей душевное волнение: — Вы, очевидно, узнаете здесь кое-что из моих старых вещей. Я многое перевезла из Броутона. Я ведь почти все время провожу здесь. Езжу только к детям на каникулы. Николас уже учится в Веллингтоне, а Гарриэт — в Родине. Вот их портреты, на бюро.

Она указала на фотографию в серебряной рамке и, пока Стефен рассматривал снимок, сняла шарф и перчатки и подошла к небольшому столику, на котором стоял термос и накрытое салфеткой блюдо.

— Хотите чего-нибудь выпить? Садитесь, пожалуйста. Тут у меня горячее молоко. Но может быть, вы предпочтете виски с содовой?

Он мог бы поклясться, что она вздохнула с облегчением, когда он сказал, что предпочитает молоко. Несмотря на ее оживление, он чувствовал, что она очень нервничает, хочет довериться ему и вместе с тем ужасно боится уронить себя в его глаза. Пока она наливала молоко, он исподтишка изучал ее. От ноздрей ко рту у нее пролегли морщины разочарования. Она стала более разговорчивой — ему казалось, что она все время подстегивает себя, стараясь поддержать беседу. На письменном столе стояла картотека, лежало несколько блокнотов, список прошений — словом, разные бумаги, связанные с ее благотворительной деятельностью, а над всем этим, рядом с фотографией детей, — большой портрет священника, красивого, с высоким целомудренным челом, от которого, казалось, так и веяло величественным спокойствием. То был, бесспорно, Лофтус. Стефен подошел поближе, чтобы рассмотреть его.

— Это и есть священник приюта Святого Варнавы?

— Вы знаете отца Лофтуса?

— Когда-то знал. Он жестоко обошелся с Дженни... моей женой... когда она работала в Доме благодати. — И небрежно добавил: — У него здесь вполне откормленный вид.

— Ах, Стефен, как можно так! Вы только посмотрите, какое у него благородное лицо.

— На фотографии человека можно сделать каким угодно, Клэр. — Он улыбнулся без тени ехидства. — А вот если бы я вздумал написать его, я бы проник под этот толстый слой жира. — Внезапно он расхохотался — это был короткий спазматический смех, закончившийся приступом кашля. Он вытер глаза выпачканным красками платком. — Извините. Мне просто пришло в голову, что я ведь и сам чуть не стал таким.

Она молчала и даже не сказала того, что само просилось на язык. Он снова сел.

— Как поживает Джоффри?

Она мучительно покраснела, но ответила совершенно спокойно:

— Полагаю, что хорошо. Мы не виделись с ним несколько месяцев.

Теперь ему уже нетрудно было сложить вместе разрозненные кусочки мозаики. Хотя Клэр не порвала с Джоффри, она, во всяком случае, старалась видеться с ним возможно реже, а жизнь свою заполняла — быть может, с несколько чрезмерным пылом — благотворительностью, участием в различного рода комиссиях, всякой благовоспитанной филантропией. И все же сколько одиноких, горьких минут познала она в этой красивой комнате, где было так прохладно сейчас после жары и духоты театра и где так приятно пахло лавандой!

Молчание грозило стать тягостным, а этого ни в коем случае не следовало допускать. Клэр поднялась и предложила Стефену сэндвич — тоненький треугольничек белого хлеба, с обрезанными корочками, на котором лежал кусочек плавленого сыра и половинка маслины.

— Боюсь, что это не очень сытно.

— Я не голоден, — сказал он. — Я съел целый котелок рубца с луком перед тем, как идти в оперу.

Клэр вспыхнула и быстро взглянула на него. Ну почему он все так огрубляет? Бессознательно или нарочно? И у нее захолонуло сердце: она в смятении спросила себя, зачем пригласила его в это убежище, которое ей стоило таких трудов создать и куда не ступала нога ни одного мужчины, кроме отца Лофтуса, ну а он — священник и в счет, так сказать, не идет. Неужели человек, что сидит сейчас перед нею, действительно Стефен Десмонд? В этом ужасном готовом костюме и дешевых коричневых ботинках (которые Дженни — чего Клэр, конечно, не могла знать — заботливо выбрала в «Ист-Лондон эмпориум») он выглядел точно простой рабочий — какой-нибудь мастерской, принарядившийся ради воскресного вечера. Правда, в его манере держаться, в этой гордо откинутой голове чувствуется известное благородство, но Клэр почему-то смутили коротко остриженные волосы Стефена, лишь подчеркивавшие худобу его лица, а особенно смущало ироническое спокойствие взгляда. Его красивые руки огрубели, ногти были обломанные, запущенные и покрытые пятнами от красок.

Но Клэр постаралась не думать об этом: она решила, что должна что-то сделать для него. Стремление оказать поддержку, помочь, развитое деятельностью на благо обездоленных, заговорило в ней полным голосом.

— Стефен, — вдруг прервала она молчание, — где вы жили все эти годы?

— В Ист-Энде, — неопределенно ответил он. — У реки.

— Где доки?

— Да, на Кейбл-стрит, в Степни. А что?

Потрясенная, она в изумлении смотрела на него.

— А не кажется ли вам, что пора положить этому конец? Я хочу сказать... разве эта жизнь — для вас? В таком окружении... среди таких людей?

— Художник не должен замыкаться только в своем кругу. К тому же я люблю простой народ.

— Но вы должны жить среди красивых вещей... где-нибудь в деревне... пусть даже в совсем маленьком домике.

— И рисовать розы, что растут в палисаднике?

Нет, Клэр, я черпаю вдохновение в грязи нашей славной Темзы. И пожалуйста, не жалейте нас. У нас есть свои развлече-

ния. В субботу вечером мы, как правило, отправляемся в местный кабачок выпить по кружке пива. А иной раз выезжаем и за город. Летом мы проводим две недели в Маргейте у золовки моей жены по первому мужу. Она держит рыбную лавочку и изумительно делает заливное из угрей.

Клэр прикусила губу. Он что, смеется над ней или в самом деле настолько опустился и стал таким низменным в своих вкусах? Мысль о том, что он живет в убогом домишке, с этой девкой-служанкой, о которой отец Лофтус отзывался с таким возмущением и чья разнузданность, должно быть, повинна в падении Стефена, в том, что он утратил всякую стойкость, вызвала у Клэр негодование и почти физическую тошноту.

— Мне казалось...

Он улыбнулся почти совсем как прежде:

— Не волнуйтесь, Клэр. Важно не то, где я живу, а могу ли я там писать. Только это имеет значение. Я должен работать, когда и как хочу.

— Значит, — медленно сказала она, — вы не собираетесь возвращаться в Стилутотер?

— Ни в коем случае.

— А вы когда-нибудь вспоминаете о ваших родных, которые остались там?

— Вероятно, вы будете шокированы... Нет, не вспоминаю.

— И вы даже не знаете... как они живут?

Он отрицательно покачал головой.

— Я ничего о них не знаю.

— А что, если им недоставало вас... если вы были им нужны?

— Этого быть не может.

— А ведь там произошли перемены, Стефен... большие перемены... и не к лучшему.

Она произнесла это таким торжественным, чуть ли не злобным тоном, что он не выдержал и усмехнулся. Клэр вспыхнула, задетая и оскорбленная его безразличием, этой его спокойной усмешкой. Неужели его ничто не в силах тронуть? Или, может быть, в своей отрешенности, замкнувшись в этом противоестественном уединении, не общаясь ни с кем, не получая писем, не читая газет — иначе он, конечно, наткнулся бы на

какую-нибудь статью, связанную с его матерью, — он утратил способность что-либо чувствовать и его уже ничто не интересует, кроме нанесения красок на кусок холста? На какое-то мгновение Клэр захотелось в свою очередь причинить ему боль, рассказав обо всех бедах, свалившихся на обитателей Стилуотера. Но она снова сдержалась — не столько из соображений христианского милосердия, сколько решив, что это ее не касается и что своим вмешательством она может только еще больше напортить.

Маленькие французские часики тихонько пробили на каминной доске, и Стефен вздрогнул.

— Уже поздно. Я и так слишком долго злоупотреблял вашим вниманием.

Она промолчала. Он встал и протянул ей руку. Когда она подала ему свою, Стефена вдруг охватила шемящая грусть, возникло ощущение утраты и сожаления. Неожиданно для себя он положил руку ей на плечо.

— Мы ведь по-прежнему друзья, правда?

На ее лице появилось выражение, которое он почти ожидал увидеть, — испуг, чуть ли не панический страх от его близости, — и в глазах его промелькнула усмешка.

— Я рад, Клэр. Теперь я вам уже безразличен.

Он убрал руку с ее плеча. Они прошли в маленькую переднюю.

— Непременно заходите, — еле слышно промолвила она, пытаясь говорить непринужденно.

Он улыбнулся, ничего ей не ответил и через секунду исчез. И вдруг она ясно почувствовала, что никогда больше не увидит его. Медленно, опустив голову, она прошла к себе в спальню — лицо ее снова стало матово-бледным и по-юному свежим, совсем как в былые дни, только она этого не видела, хоть и стояла перед зеркалом. Стефен выглядел таким усталым — и физически, и морально — и казался таким странным. Неужели правда, что ее чувство к нему умерло? Она не знала. Слезы повисли у нее на ресницах и медленно потекли по щекам.

«По крайней мере, мне известно теперь, где он живет. Надо поговорить с Каролиной. Я обязана это сделать».

ГЛАВА III

Более семи лет жизнь Стефена текла мирно, без каких-либо серьезных происшествий, но сейчас волна событий, поднявшаяся после посещения Глина, неожиданно захлестнула его. Дней через двенадцать после его встречи с Клэр пришло письмо на Кейбл-стрит со штампом Стилутера. Дженни, простая душа, не ведающая гордыни и привыкшая уважать родственные чувства, часто в глубине души желала, чтобы Стефен помирился со своими родными — пусть даже они откажутся признать ее, — и сейчас, приняв письмо, положила его на тарелку мужа, который еще не пришел с реки.

Вернувшись домой, Стефен сел за стол и сразу взял письмо, думая, что оно от Глина, ибо неоднократные намеки Ричарда подготовили его к мысли, что он должен получить какое-то известие, но, взглядевшись в почерк на конверте, нахмурился и снова положил его на тарелку. Однако после ужина он вскрыл письмо и, заметив через некоторое время, с каким напряженным интересом смотрит на него жена, сказал:

- Это от Каролины... Она хочет, чтобы я с ней встретился.
- И ты встретишься, конечно?
- Ну кому это нужно?
- Неужели тебе не хочется повидать сестру?
- Пустая трата времени.
- Но она ведь тебе родная — одной с тобой плоти и крови, как говорится.

Он перестал хмуриться и невольно улыбнулся. Его позабавили не только сами слова, но и та серьезность, с какою они были сказаны. Он погладил ее руку. Рассудительность Дженни, ее прямодушие и простота, казалось, неизменно возвращали его к действительности из той причудливой дикой страны, где он бродил один. И он снова — уже в который раз — подумал о том, сколь многим он обязан не только ее веселой, здоровой, щедрой натуре, ее сдержанности и добродушию, но и ее чутью, ее инстинктивному пониманию человеческой природы. Ее сочувствие — молчаливое сочувствие, которое она дарила ему, когда он впадал в уныние, — действовало как целительный бальзам.

Ее скромные вкусы и желания, сводившиеся к «чашечке крепкого чайку» или приобретению нового половика для кухни, отсутствие зависти, ее поистине детский интерес к более богатым и счастливым, чьи фотографии печатают в журналах, которые она внимательно изучала, казались ему необычайно трогательными. А разве не чудесным даром была эта спокойная деловитость, с какой она хозяйничала в доме, и это умение сохранять присутствие духа в трудную минуту! В ней была подлинная романтика, романтика здравого смысла и доброты, романтика женщины, с которой можно мирно спать в теплой постели. Какими нелепыми и никому не нужными казались сейчас Стефену его скитания и злоключения в сравнении с жизнью в этом доме, куда она егопустила и где он обосновался прочно и навсегда.

— Я люблю тебя, Дженни. И поэтому я встречу с Каролиной. — И, чтобы не впасть в сентиментальность, добавил: — Поделом мне! Нечего было ходить в эту проклятую оперу.

Она улыбнулась ему — сочувственно, тепло и мудро.

На следующей неделе, в среду, он нехотя вышел из дому и отправился на вокзал Виктории, где под центральными часами его должна была ждать Каролина. Утро выдалось хмурое и дождливое, так что работать все равно было невозможно, и это несколько смягчило дурное настроение Стефена, умерило нежелание, с каким он делал эту никому не нужную уступку родственным чувствам. В последние несколько дней он почему-то испытывал невероятную усталость. Его всегда огорчало наступление в Лондоне поры осенних туманов, и, поскольку из-за кашля он не спал добрую половину ночи, на душе у него, когда он подъезжал к вокзалу, было далеко не весело.

Сойдя с автобуса, он стал протискиваться сквозь толпу на платформе и тут заметил, что часы показывают уже больше одиннадцати. Неужели Кэрри, это олицетворение пунктуальности, могла опоздать, подивился он. И в ту же секунду увидел у книжного киоска невысокую женщину средних лет, с седеющими волосами, одетую в мешковатый коричневый шерстяной костюм, — что-то в ней показалось ему знакомым. Тут и она заметила его, и ее широкое озабоченное лицо осветилось улыб-

кой. Она быстро направилась к нему и, взволнованно ахнув, схватила его за руку. Это была его сестра, хотя он с трудом узнал ее.

— Ну и утро! — воскликнула она, пытаясь в этом тривиальном замечании о погоде обрести душевное равновесие. — Льет как из ведра.

— Ты, наверно, порядком вымокла, пока ехала до Халборо.

— Да, очень. Автобуса не оказалось, так что мне пришлось идти пешком. И зонтик у меня, как на грех, вывернуло. — Снова неестественно хмыкнув, она со вздохом указала на зонтик — жалкие черные лохмотья на погнутых спицах, — который держала в руке. И добавила: — Я думаю... его все же можно будет починить.

Оба помолчали. Затем он сказал:

— Тебе не мешает выпить чашечку кофе. Пойдем в буфет?

Но ее, видно, привела в ужас перспектива очутиться в толчее и сутолоке привокзального ресторана.

— Мы там не сможем поговорить. Среди такого шума! Есть тут одно местечко — «Медный чайник»... там совсем по-домашнему... и близко: через дорогу, возле «Паласа».

Они вышли из вокзала, обогнули конечную остановку автобуса и в тупичке, ответвлявшемся от Виктория-стрит, обнаружили это заведение, выкрашенное блекло-зеленой краской, в витрине которого, среди банок с джемом и черствых булочек на железном подносе, спала большая черная кошка. Поднявшись наверх в маленькую комнату, где гулял сквозняк и в этот час почти никого не было, они сели за столик из мореного дуба, на котором стояла шаткая ваза с бумажными цветами, кружка для пожертвований в фонд приюта доктора Барнардо и колокольчик, какой в Швейцарии подвязывают коровам. Стефен позвонил — раздался невероятный трезвон, и в зале появилась высокомерная особа в сером вязаном жакете; через некоторое время она принесла им две чашки бурого, чуть теплого пойла и горку худосочных пирожных.

В присутствии владелицы заведения Каролина для отвода глаз оживленно болтала о погоде, о видах на урожай, о перспективах предстоящей охоты на лисиц, но как только они остались

одни, плечи ее поникли, она умолкла и принялась уныло помещивать жидкость в выщербленной чашке.

— По-видимому, — сказала она очень тихо, предварительно удостоверившись, что их никто не подслушивает, — мне придется начать сначала. Ты ничего не знаешь?

— Ничего.

— Ну так вот... в дополнение ко всем неприятностям... — она собралась с силами перед мучительным признанием, — мы расстаемся с усадьбой.

Стефен, казалось, не понял ее.

— Расстаетесь? Почему?

— Мы вынуждены продать дом.

Он в изумлении посмотрел на нее.

— Но ведь... это собственность церкви, и он не может быть продан.

— Церковная комиссия разрешила это отцу... принимая во внимание наши обстоятельства... при условии, что мы будем жить по-прежнему недалеко от церкви.

Наступила пауза.

— Куда же вы переезжаете?

— В ужасный маленький домишко на пустыре. Один из тех, что выстроил Моулд, — без всякого вида из окон, без сада, всего четыре комнаты и такие крошечные, что негде повернуться. Ах, боже мой, боже мой, это просто невыносимо!

Даже несмотря на отчаяние, с каким она, запинаясь, выговаривала эти слова и снова переживала постигшую ее беду, Каролина не могла не заметить, как мало взволновали брата эти страшные вести. Он с поистине непостижимым спокойствием молча смотрел на нее. Затем сказал:

— А мне казалось, что тебе нравятся небольшие коттеджи. Я часто слышал, как ты жаловалась, что наш дом слишком велик и старомоден и тебе трудно поддерживать в нем порядок. Вполне может статься, что этот кирпичный домик ты найдешь более удобным.

— Да как ты можешь так говорить?! — внезапно вспыхнула она. — Это был дом Десмондов на протяжении двухсот лет. Ты знаешь, как гордится им отец, как он его любит. Сама земля, на

которой он стоит, священна для нашей семьи. Неужели все это тебе безразлично?

— Совершенно безразлично, — сказал он после минутного размышления. — Когда-то для меня это много значило. А теперь нет. — Он помолчал. — Кто же его покупает?

— Ты не догадываешься?

— Моулд?

Она кивнула. На глазах ее выступили слезы горечи.

— Он скупил уйму земли вокруг Стилуотера. Поговаривают, что он собирается поставить цементный заводик на холмах Даунс, возле старой каменоломни, как раз напротив нашего дома. Это просто неслыханно... весь чудесный пейзаж будет испорчен... исчезнет вся красота. Как подумаю, до чего изменится Сассекс, хочется сесть и заплакать. Все красивые места испоганены, поместья гибнут, землю делят на клочки, повсюду дешевые кинематографы и танцульки, ни одной приличной горничной не наймешь, в лавках и магазинах — одно хамство: о вежливости и элементарных приличиях и думать забыли.

Он вернул ее к прежней теме разговора:

— Ты не рассказала мне, как же это случилось.

Она чуть не подавилась сухим пирожным, от которого машинально откусила кусок.

— Все получилось из-за мамы. Ты ведь знаешь, какая она всегда была... никакой экономии, никакой бережливости, ни малейшего представления о стоимости денег. Когда она уезжала в санатории и на курорты, мы считали, что у нее есть свои средства, какой-то небольшой капитал, о котором она нам не говорила. И представь себе, мой дорогой, все это оказалось не так. Ровно год назад мы неожиданно выяснили, что она попала в лапы ростовщиков — двух отвратительных типов из Сити, которые однажды явились к нам и стали угрожать отцу судебным преследованием, если он не заплатит маминых долгов. Понимаешь... — Каролина запнулась. — В последние несколько лет мама... мама подписала довольно много векселей на солидную сумму.

— Сколько же это составило?

— Почти десять тысяч фунтов. Конечно, — поспешила пояснить Каролина, — на руки она получила гораздо меньше, но проценты оказались такие неслыханные, что в результате долг ее вылился в эту сумму. Это было самое настоящее вымогательство, шантаж, если угодно, но отец решил уплатить, чтобы его не таскали по судам, так как против мамы, конечно, был бы возбужден процесс. «Лучше с честью разориться, — сказал он, — чем вынести еще и этот позор...»

— В дополнение к тому, которым я покрыл его, — мягко закончил за нее Стефен.

Она отвернулась и некоторое время смотрела печальным и в то же время осуждающим взглядом на панораму печных труб, расплывавшуюся за неровным оконным стеклом.

— А разве Хьюберт ничем не мог помочь? Или Джофри?

Она отрицательно покачала головой.

— Им самим нелегко приходится. Хьюберта совсем замучили налоги и высокие ставки, которые он был вынужден установить рабочим. Фруктовый сад не дает больше никакой прибыли. А Джофри, насколько мне известно, заложил Броутон. — Помолчав немного, она добавила: — Мы вообще почти не видим их.

— М-да! — сказал он наконец. — Мама, конечно, пожила в свое удовольствие. И я в известном смысле всегда восторгался ею: делала все, что хотела. А где она сейчас?

Каролина выпрямилась, затем сдавленным голосом, с видом человека, вынужденного открыть последнюю мучительную тайну, сказала:

— В частной психиатрической клинике в Дулвиче.

Стефен с минуту смотрел на нее удивленными глазами, затем громко расхохотался. Каролина побелела: пораженная и расстроенная, она глядела на него, не в силах слова вымолвить от возмущения. Господи боже, что с ним такое, как он может так постыдно вести себя? Она вспомнила слова Клэр, которая в одной из своих долгих бесед с нею, пытаясь оправдать Стефена, сказала, что все художники — люди крайне неуравновешенные. Неужели он тоже не вполне нормален? Она в тревоге нагнулась к нему и потрясла его за плечо.

- Не смей! Ты что, с ума сошел?
- Извини, пожалуйста, — сказал он, совладав наконец с собой. — Мне просто показалось это занятным окончанием удивительно веселой жизни.
- Веселой! Да у тебя нет сердца! Мне... мне стыдно за тебя.
- Послушай, Кэрри, не надо всех подряд жалеть, в том числе и себя. Я знал людей, чья жизнь была куда более тяжелой, чем твоя сейчас или когда-либо прежде. Я жил в Испании у одной старой слепой женщины. Трудно представить себе, как она существовала: вечно полуголодная, чуть не замерзая зимой и едва дыша от зноя летом, она не только жестоко страдала от нужды, но и познала весь ужас полного одиночества, и все же никогда не жаловалась. Не надо так унывать.
- Да как же я могу не унывать, когда все так плохо? Если бы еще ты был хорошим сыном, жил дома, стал священником и помогал отцу управляться с делами, в том числе и с мамой, мы бы сейчас по-прежнему жили в Стиллуотере. Ты пользовался бы любовью, уважением...
- А теперь меня ненавидят и презирают...
- Стефен! — Она снова нагнулась к нему и просительным жестом положила ему руку на плечо. — Ведь и сейчас еще не поздно. Ты так нужен отцу. Он все еще...
- Ради всего святого, Кэрри! — резко оборвал он ее. — Ты же знаешь, что я женат. Неужели ты хочешь, чтобы в вашем четырехкомнатном домике поселились еще мы двое? Право же, у тебя гениальная способность предлагать совершенно невыполнимые вещи.
- В таком случае нам не о чем больше говорить. — Она вздохнула, натянула мокрые нитяные перчатки и взяла свой искалеченный зонт.
- Постой, — остановил он ее, внезапно вспомнив что-то. — Разве это заведение в Дулвиче не из самых дорогих? Откуда же вы берете столько денег?
- Нам помогает Клэр. Она так добра. — И Кэрри добавила: — Я как раз еду к маме. Тебя это, конечно,нисколько не интересует, но она часто говорит о тебе.

— В таком случае не поехать ли мне с тобой? Я бы с удовольствием навестил ее.

Каролина в изумлении уставилась на него, не зная, принимать ли его слова всерьез или считать очередной выходкой этой странной натуры, и только было хотела высказать свое одобрение, как он лишил ее этой возможности, сказав со странной усмешкой:

— Сегодня плохое освещение и писать все равно нельзя.

Внизу у конторки Стефен уплатил по счету, они вышли из кафе, пересекли площадь и, подождав немного на вокзале, сели в поезд, направлявшийся на южную окраину Лондона. Путешествие это было недолгое, и, миновав дымный грязный район Центрального Лондона, они вскоре прибыли в Дулвич, где легче дышалось и было, к счастью, сухо. Психиатрическая лечебница, расположенная на пустыре, недалеко от станции, помещалась в изъеденном непогодой сером каменном особняке, похожем на замысловатый баронский замок, с двумя башнями, зубчатым фронтоном и стрельчатыми окнами в готическом стиле; в начале Викторианской эпохи это было, по всей вероятности, поместье с большими угодьями, огороженное высокой кирпичной стеной, утыканной заостренными железными наконечниками. У входа Каролина показала пропуск, и привратник повел их к дому по усыпанной гравием аллее, обсаженной высокими вязами. По другой аллее мирно и степенно вышагивали, совершая ежедневную прогулку, обитатели этого дома — их темные силуэты четко вырисовывались на фоне серого неба. Другие большие, видимо принадлежавшие к более скромной общественной категории, неторопливо ковырялись в огороде. Направо, вдалеке, виднелась лужайка, обнесенная тисовой изгородью, и там два джентльмена среднего возраста лениво играли в теннис, перебрасывая мячи через провисшую сетку. На соседней лужайке несколько дам с крокетными молотками гоняли через ворота шары. А рядом, в беседке с красной черепичной крышей, сидела группа мужчин и женщин под присмотром няни, и оттуда то и дело доносились взрывы смеха. Повсюду царила атмосфера отрешенности и покоя, что вместе с запахом гниющих листьев и растений, обилием самшита, темной листвою

кустов, скрывающих полуразрушенный грот, где среди папоротников стояла греческая статуя — к несчастью, разбитая, — и высокими готическими башнями создавало впечатление чего-то нездешнего, нереального, величественного и застывшего.

У главного подъезда они позвонили, и их провели через вестибюль, выложенный черными и белыми мраморными плитами, в приемную, обставленную, пожалуй, несколько вычурно и старомодно, но солидно: тяжелые драпировки, мебель в стиле буль — вдоль каждой из стен стояло по четыре стула. Здесь тоже чувствовалась какая-то жизнь: в соседней комнате слышались негромкие голоса и веселое позвякивание спиц, а откуда-то сверху доносились звуки штраусовского вальса, который кто-то громко барабанил на таком разбитом и глухом пианино, что Стефен отчетливо представил себе, как мелькают пожелтевшие клавиши под бурным натиском пальцев. Под мелодичные звуки «Сказок Венского леса» перед ними и предстала Джулия, заботливо подталкиваемая сзади чьими-то руками.

Она стояла перед ними, переводя взгляд с сына на дочь и улыбаясь с тем отрешенным видом, который даже в минуты самых тяжких домашних неурядиц отличал ее. Она была в платье с пышной юбкой, отделанном — сообразно ее представлениям о моде — кружевами, с газовым шарфом вокруг шеи и розовым бантом на каждом из запястий; волосы ее были завиты «а-ля Помпадур», лицо обсыпано пудрой, — казалось, будто это белая маска с бархатными, обведенными чернотой глазами; в общем Джулия производила впечатление женщины эксцентричной, но интересной и элегантной.

— Как вы сегодня чувствуете себя, мама? — спросила Каролина.

— По обыкновению, хорошо. Я всегда хорошо себя чувствую в дни под знаком Стрельца.

— Видите, Стефен приехал навестить вас.

— Значит, ты вернулся из Парижа? — Не обращая внимания на Каролину, Джулия подошла и с самым радушным видом опустилась на стул подле него. — Ну, как тебе понравились французы?

— Приятные люди. И так же приятно повидать вас.

— Спасибо, Стефен. Ты по-прежнему живешь с той женщиной? Ну, с той самой, которой так опасался твой отец?

— Нет. Я решил для разнообразия остепениться.

— Неужели вы не помните, мама? — поспешно вмешалась Каролина, желая предотвратить дальнейшие бестактности, и с готовностью, страдальческим голосом пояснила: — Стефен ведь давно вернулся из Франции. С тех пор он уже успел побывать в Испании.

— Ах, в Испании... Помню, когда меня девочкой отец возил в Мадрид, мы изрядно намучились с лакеем, который не желал кипятить для нас воду..

— А сейчас, — упорно следуя своей линии, продолжала Каролина, — он работает над своими картинами в Лондоне.

— Да, конечно, — кивнула Джулия и, снова повернувшись вполоборота к Каролине, обратилась к Стефену: — Ты ведь пишешь картины. Я только на днях вспомнила, как ты совсем маленьким мальчиком любил ходить по галерее в Хейзелтон-парке с моим милым папочкой, — это было до того, как он продал картины и занялся вертолетами. Однажды мы даже решили, что ты пропал или, может быть, утонул в озере. Поднялся страшный переполох. А потом тебя нашли в картинной галерее: ты сидел совсем один на полу перед какой-то картиной.

— Верно, верно. — Стефен утвердительно кивнул. — Там была одна поистине страшная картина с множеством окровавленных воловьих туш: «Мясная лавка» Тенирса. Она мне очень нравилась.

— Вот тогда, — оживленно продолжала Джулия, — твой отец и подарил тебе ящик с красками.

— С этого, по-видимому, все и началось, — рассмеялся Стефен.

Джулия не поддержала его. Она могла оставаться совершенно серьезной, когда вокруг все смеялись, и неожиданно рассмеяться, когда все остальные были вполне серьезны.

— Нет-нет, мой дорогой. — Она покачала головой и назидательно подняла палец. — Что в человеке заложено, тому он и будет следовать, что бы ни говорили другие.

Стефен никак на это не откликнулся, но про себя подумал: «А ведь это самое разумное высказывание, какое я слышал за

сегодняшний день». Последовало молчание; затем, движимый не столько любопытством, сколько несвойственной ему заботливостью, Стефен спросил:

— Вам здесь нравится?

— Очень. Ничто меня не раздражает и не утомляет. Здесь вроде курорта — а это мне всегда нравилось — и в то же время обстановка более интимная и публика более изысканная. У нас отличный врач — молодой человек, но хорошо разбирается в терапии мочевого тракта и, по-моему, чрезвычайно внимательный. Сиделки, бедняжки, очень услужливы — готовы расшибиться для тебя в лепешку. Жизнь здесь спокойная: утром я с удовольствием гуляю, днем довольно много сижу, а по вечерам у нас начинаются светские развлечения — концерты, иной раз даже балы. Случается, к нам приезжает фокусник, а кроме того, у нас собственный оркестр из двенадцати человек. Хотите верьте, хотите нет, но один из наших джентльменов просил меня, — о, вполне корректно, конечно! — просил меня спеть. Когда я была романтической девушкой и увлекалась религией — это было еще при жизни покойного каноника Пьюзи, — я мечтала о том, что когда-нибудь стану монахом... то есть, я хотела сказать, — быстро поправилась она, — монахиней. Теперь, когда я, видимо, обречена жить чуть ли не в заточении, я пришла к выводу, что здесь все-таки лучше, чем в монастыре.

Стефен сочувственно кивнул, пораженный разумностью суждений Джулии: сейчас он отчетливее, чем когда-либо, понял, как много у него общего с этой странной женщиной — его матерью. От нее, конечно, он и унаследовал это пренебрежение к условностям и ненависть ко всему банальному, полное безразличие к тому, что происходит вокруг, и, несомненно, эту тягу к уединению, побуждавшую его считать себя своеобразным уродом, исключением из общего числа. Он бы не возражал, если бы все эти странности привели его к веселой беспечности Джулии, но у него, к сожалению, это вылилось в нечто прямо противоположное. В то время как его мать безмятежно парила в облаках, он неотвратимо погружался в бездну отчаяния.

Вот о чем он думал, пока Каролина с сосредоточенным видом тихо беседовала с матерью по поводу всяких практических

дел. Были обсуждены проблемы белья, стирки и потребности в теплых вещах на зиму, Джулия выслушала все это и тут же забыла. Затем были переданы и приняты с добродушной иронией наказы Бертрама Десмонда. Тут по всему зданию пронесся гул гонга, через минуту в дверь постучали, она приотворилась, и чей-то голос вкрадчиво доложил:

— Время завтракать, миссис Десмонд, душенька.

Джулия посмотрела на обоих своих детей с таким видом, точно под большим секретом хотела сообщить им: видите, как за нами ухаживают! — затем покорно поднялась, разгладила юбку, поправила бантики на запястьях и с жеманным видом спросила:

— Как вам нравится мое платье? — Она кокетливо дотронулась до пышных оборок, как бы предлагая детям полюбоваться ими. — Сестра не советовала мне отделявать его кружевом, но, по-моему, это так мило.

— Платье просто великолепное, — сказал Стефен. — И оно идет вам. И если вы будете беречь его, я как-нибудь на днях приеду и напишу вас в этом платье.

— Ах, Стефен, миленький, приезжай, пожалуйста, — тихо промолвила она со своей прежней чарующей улыбкой и направилась к выходу. — В любой день... лучше, если можешь, в дни Стрельца... только не в дни Скорпиона.

Выйдя на улицу, Стефен с Каролиной обнаружили, что все небо обложено свинцовыми тучами, которые ветер нагнал со стороны города, и льет сильнейший дождь — обстоятельство весьма неприятное, поскольку у Стефена не было пальто, а был лишь шарф, который он всегда носил на шее, зонтик же Каролины, конечно, не мог служить им защитой. Оба молча шли по аллее, согнувшись, чтобы косой дождь не так сильно хлестал в лицо.

Несмотря на сумятицу мыслей, Стефен не мог не пожалеть о том, что не имел возможности сделать набросок с Джулии, когда она стояла у порога в своем немислимом платье, изящная, обаятельная и нелепая. Каких удивительных, причудливых эффектов он мог бы добиться, изобразив ее в этом странном месте, в этом прибежище призраков, где воздух, казалось,

вечно звенит от ударов молоточков по крокетным шарам, от хихиканья и дребезжащих звуков бравурного штраусовского вальса. Лишь когда они укрылись от дождя на станции метро, Стефен очнулся наконец от своих дум.

— Мне показалось, что она не в таком уж скверном состоянии, — заметил он, желая несколько приободрить сестру. Но на Кэрри это не возымело никакого действия.

— Ты не видел, какая она бывает, когда на нее находит.

Он досадливо прикусил губу.

— Во всяком случае, ее нельзя назвать несчастной.

— Нет, — со вздохом согласилась Каролина. — Пожалуй, нельзя. Но доктор говорит, что ее разум будет постепенно все больше слабеть. Он называет это размягчением мозга.

Очувтившись в вагоне, Каролина села к окну и за все время, пока поезд то мчал их сквозь туннели, то выскакивал под открытое небо (и тогда взору их представляли мокрые крыши домов, запруженные автомобилями улицы и вереницы исхлестанных струями дождя зонтов, которые, казалось, ползли, словно черепахи, по мокрым панелям), ни разу не повернулась к брату. Достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что она вовсе не смотрит в окно, а тихонько плачет, зажав уже промокший платок в руке. Хотя Стефен ненавидел хныканье, эта нескончаемая скорбь все же подействовала на него. От его недавней беспечной веселости и следа не осталось — он чувствовал себя несчастным и подавленным, его одолевали приступы самоуничужения, лезли в голову мысли о том, сколь он никчемен в этом суетном мире. В конце концов, разве в поведении Каролины было что-либо противоестественное? В семье все идет прахом. Вполне понятно, что она обратилась к брату за помощью. А он не мог да и не хотел оказать ей эту помощь. Сейчас — в большей мере, чем когда-либо, — никакая человеческая привязанность, никакая сила на земле не способна была совлечь его с того пути, который он для себя избрал и по которому, словно одержимый, он будет идти до своего горького конца. Внезапно он почувствовал головокружение. Вечно он забывает о еде, а у него ведь есть несколько монет в кармане, и он вполне мог бы заглянуть в Дулвиче в какое-нибудь кафе

и перекусить вместе с Кэрри; этим, должно быть, и объясняется его подавленность. Однако он вообще чувствовал какое-то странное недомогание: ноги у него промокли и совсем заledenели, в висках стучало, и снова появилась эта загадочная сухость в горле.

На площади Виктории они вышли из метро и направились к главному вокзалу. В расписании значилось, что поезд в Халборо отходит через три минуты.

— Если я побегу, то успею, — забеспокоилась Кэрри. — Спасибо, Стефен, что пришел. До свидания.

— До свидания.

Они как-то неловко и торопливо пожали друг другу руки. Кэрри, точно вспугнутая утка, побежала, задыхаясь, мимо контролера по платформе. Стефен проследил за ней взглядом и, когда она села в поезд, повернулся и пошел. Выходя из вокзала, он столкнулся с мальчишками-газетчиками, которые, громко выкликая названия статей, тащили кипы раннего выпуска вечерних газет. Стремясь как можно скорее добраться домой, Стефен не обратил внимания на то, что они кричат, но, как ни далеко были его мысли, отдельные слова все же дошли до его сознания, и наконец он постиг их смысл. Он остановился, точно громом пораженный, и, словно во сне, с возрастающим ужасом и противным сосущим чувством под ложечкой прочел на стенде у газетного киоска:

СЕНСАЦИЯ В АКАДЕМИИ

Новый скандал с чарминстерскими панно

Академик подает в отставку

ГЛАВА IV

Стефену казалось, что трамвай ползет нестерпимо медленно, пока он, пригнувшись к газете, сдвинув брови, читал и перечитывал плясавшие перед глазами слова. Было пять часов, когда он добрался до Кейбл-стрит, а там на углу, у автобусной остановки, его поджидал, шагая взад и вперед, Глин.

— Я подумал, что сумею перехватить тебя здесь. Дженни сказала, что тебя нет дома. — Глин помолчал, на секунду остановил на Стефене обеспокоенный, неуверенный взгляд и тотчас отвел глаза. — Пойдем выпьем.

— Я иду домой, — сухо сказал Стефен.

— Нет, подожди, тебе не стоит пока идти туда. — И Глин многозначительно посмотрел через плечо в конец улицы. — Я должен прежде поговорить с тобой.

Стефен помедлил — на его застывшем лице не отразилось никаких чувств, — затем, ни слова не говоря, направился вместе с Глином через дорогу в кабачок. В низкой комнате с земляным полом, посыпанным песком, было пусто, и, пройдя в угол, где стояла модель баркаса «Благие намерения», давшего название кабачку, Глин заказал две двойные порции грога. Видно было, что ему не по себе, но он держался с достоинством и даже слегка агрессивно. Лицо его покраснелось, глаза горели почти как в былые дни. Когда им подали грог, он сказал:

— Выпей-ка. Я уже пропустил парочку, пока дожидался тебя. Немножко перебрал лишнего, но пусть это тебя не тревожит.

Стефен глотнул обжигающей жидкости. Чувство бесконечной горечи нахлынуло на него, но он напрягал все силы, стараясь не распускаться.

— Теперь ты все знаешь, — внезапно заговорил Глин. — Я взял твою «Хэмпстедскую пустошь» и отослал в Академию.

— Не спросив меня.

— А если бы я спросил, ты бы позволил?

— Нет... никогда.

Ответ прозвучал так резко, что Глин вскинул глаза на Стефена.

— Словом, я ее взял. И это не было сделано наобум. Прежде я поговорил с тремя членами комиссии — Стидом, Элкинсом и Прозеро, — все трое чертовски славные ребята и хорошие художники. Да не смотри ты на меня так! Во всяком случае, сделай одолжение, позволь мне объяснить, как все произошло.

— Говори же, бога ради.

Глин, который тоже был немало раздражен, еще больше покраснел и с трудом сдержал готовую сорваться с языка резкость.

— Можешь ругать меня, сколько душе угодно. Но запомни: я действовал из самых лучших побуждений. — Помолчав немного, он продолжил: — Заседание отборочной комиссии состоялось сегодня утром в одиннадцать часов. Ты, наверное, знаешь, как это происходит. Члены комиссии — во главе с председателем — сидят в креслах, поставленных полукругом в одной из галерей Берлингтонского дворца. Служители вносят одну за другой картины, ставят их на постамент, и члены комиссии голосуют. В случае одобрения поднимают руку или палец, в случае отклонения держат руки на коленях. Ну, должен тебе сказать, что в этом году картины были на редкость плохие — ничего интересного, кроме каких-нибудь двенадцати полотен, а все остальное — обычная мазня, серенькие пейзажи, цветы во всех видах и унылые портреты. В таких условиях комиссии приходилось быть особо снисходительной — ничего иного ей не оставалось делать, так как в противном случае выставку просто пришлось бы отменить.

Глин вновь умолк и провел рукой по волосам.

— Мы уже почти заканчивали просмотр, когда внесли твою «Пустошь», — по правде говоря, я специально так подстроил. И должен тебе сказать: после всего, что ей предшествовало, — тут Глин хватил кулаком по столу, — она действительно произвела сильное впечатление. Воцарилась тишина, какая редко бывает в этой комнате. Мои коллеги так и впились в картину глазами. Я сразу понял, что они ошеломлены. Я поднял руку, а за мной и те трое, про которых я тебе говорил. Потом поднялась еще одна рука. И еще... словом, пять голосов — все из числа тех членов Академии, которые не оплевывают все новое, восхищаются Матиссом, Боннарром и Люрса и могут отличить хорошее от плохого.

Несмотря на свое решение слушать спокойно, Стефен почувствовал, как дрожь прошла по его телу, и он не сводил напряженного взгляда с собеседника. А тот продолжал:

— В конце комнаты сидит другая группа, они держатся всегда вместе. Это старый сэр Мозес Стенсил, леди Дора Даунз, Каррингтон Вудсток и Мансей Питерс. Все это старая гвардия, и силу их мы всегда недооцениваем. Стенсил пишет только коров: он написал их больше, чем Купер, больше, чем

Арпиньи написал овец; говорят, он держит свою любимицу — голштинскую корову — у себя в студии в Блумсбери. А Вудсток — тот собачник, типичный здоровяк-сквайр, который запечатлел на своих полотнах, по-моему, всех охотничьих собак Англии и даже на заседания в Академию является в бриджах и белом галстуке; леди Дора занимается кенсингтонскими интересами — ты, конечно, видел репродукции в приложениях к рождественским номерам журналов; а Питерс — это просто Питерс. Тут я ничего больше не могу сказать. Я и не ожидал, что этой компании понравится твоя картина. Да кому нужно, чтобы она им понравилась? Тут двух мнений быть не могло. Однако я не беспокоился. Есть такое неписаное правило: если хоть один академик голосует за картину, все остальные автоматически соглашаются с ним. Итак, я уже был уверен, что все в порядке, как вдруг поднялся Стенсил, просеменил к постаменту, покачал головой и, повернувшись к нам, сказал:

«Я искренне надеюсь, что комиссия вспомнит о своей ответственности перед нацией, прежде чем высказать благоприятное суждение об этой работе».

Вообще-то, не было случая, чтобы кто-либо выступал с речью по поводу какой-нибудь картины, и потому все смутились и в комнате воцарилось молчание. Тут вылезла леди Дора:

«Это, конечно, безобразно новаторское полотно».

«Ну и что же в этом плохого? — спросил я. — Нам нужна свежая кровь».

«Только не такая, — возразил Вудсток. — Это совсем не то, что нам надо».

Эта маленькая перепалка приостановила голосование, и Стенсил, продолжавший стоять у твоей картины, посмотрел на меня:

«Вам нравится эта живопись, мистер Глин?»

«Очень».

«А вы не находите, что картина слишком темна и непонятна?»

«Нисколько».

«В таком случае, может, вы будете любезны объяснить мне, что означают эти многочисленные черные тени в нижней ее части?»

«Это идут люди».

«Неужели я так выгляжу, когда иду по Пикадилли?»

«Возможно, и не так. Эти люди моложе вас».

«Вот как. Благодарю за напоминание о моей древности. А что это за экипаж слева на переднем плане?»

«Это тележка уличного продавца, запряженная ослом».

«Ничего подобного, — вмешался Вудсток. — Разве это осел? Вы только посмотрите, какие у него бабки».

«Но это же не цветная фотография, хотя, по-видимому, только такая манера письма вас и устраивает. А здесь передано настроение — и с большим чувством».

«При таком варварском рисунке?»

«Это сделано намеренно и говорит о большом мастерстве. Неужели вы считаете это произведение хуже тех рабски подражательных полотен, которые многие из нас представляют из года в год, старательно копируя натуру?»

Стенсил, очевидно, решил, что я имею в виду его коров. Он гневно выпучил на меня глаза:

«Никто не заставит меня отказаться от законов рисунка, принятых со времен Джотто».

«Но это же реакционный взгляд на вещи. Значит, вы считаете, что если художник отходит от омертвевших канонов, его следует осудить?»

Старик начал терять хладнокровие, и, хотя я решил держать себя в руках, я тоже почувствовал, что теряю власть над собой.

«Я безусловно осуждаю это. Здесь нет ни одной простой, четкой линии, ничего натурального, это не картина, а какая-то мазня».

«Но это искусство или нет?»

«Почем я знаю, искусство это или не искусство! — гаркнул Стенсил. — Я знаю только, что это мне не нравится. Гром и молния, мы же не для того здесь сидим, чтобы над нами издевались, мы не можем позволить, чтобы какой-то авантюрист швырнул публике в лицо горшок с красками. Ни одному истинному британцу не придется по вкусу такая картина».

«Согласен. Вы не могли бы сделать ей лучшего комплимента».

«Вот как, сэръ? Значит, вы порицаете вкус нации?»

«Безусловно. После того как нация столько лет питалась вашими коровами и собаками Вудстока, она не может не страдать хроническим несварением желудка».

Я знал, что захожу слишком далеко, но кровь у меня закипела, и я уже не мог сдержаться. В наш спор вмешался председатель:

«К порядку, джентльмены, к порядку. Все это совершенно неслыханно. Если уж вы хотите обсуждать эту работу, то прошу вас держаться в рамках приличия и не переходить на личности».

Но Стенсил уже сорвался с цепи. Он изо всех сил стукнул об пол своей тростью с набалдашником из слоновой кости — мне показалось, что его сейчас хватит удар.

«Господин председатель, джентльмены, члены комиссии, я уже тридцать лет состою членом Королевской академии. Все это время я всемерно старался держать в чистоте основы британского искусства. Упорно отказываясь признавать все иностранные влияния и новшества, всякие эксперименты, все эти экспрессионизмы и экзотицизмы, я при всей моей скромности должен признать, что помог сохранить в первозданной чистоте наше культурное наследие. Я всегда мог честно смотреть в глаза людям и утверждать, что здесь, на выставках Королевской академии, народ нашей страны увидит лишь солидные, благопристойные и здоровые произведения».

Глин помолчал и глотнул грога.

— С нашего конца комнаты слышались возражения. Но Стенсил продолжал:

«Что представляет собой это так называемое современное искусство? Сейчас скажу. Дурацкая, бессмысленная мазня — и ничего больше. Один наглец посмел на днях заявить, что Ренуар более крупный художник, чем Ромней. Если бы я при этом присутствовал, говорю вам прямо, я бы отлупил его палкой. Что означает яркая мазня французов? Маскировка, прикрывающая плохую технику. Если человек пишет зеленый луг, то это должен быть луг, а не серо-зеленые пятна. Не нужно нам это жонглерство формой и красками, которое не может прийтись

по душе ни одному разумному человеку. Все вы знаете, что недавно за счет налогоплательщиков в одном из общественных парков нашего города была установлена некая ультрасовременная статуя. По мысли автора, это должно было изображать женщину — упаси бог наших жен так выглядеть! Словом, эта статуя так возмутила и разгневала добропорядочную публику, живущую поблизости, что однажды ночью честные граждане вымазали ее дегтем и облепили перьями, после чего — хвала провидению! — ее вынуждены были убрать. Должен вам сказать, что я считаю эту картину не менее вредной. Она оскорбляет взор, в ней все неправдоподобно, безобразно и гнусно. И так же похоже на «Хэмпстедскую пустошь», как эта моя палка. Все здесь построено на опасном отступлении от общепринятых представлений. Это же социализм в самой неприкрытой его форме! Джентльмены, мы не можем одобрить вещь, которая говорит об упадке изящества и хорошего вкуса и способна лишь смутить и развратить умы молодого поколения наших художников. Никто не знает, когда может разразиться революция. И наша обязанность — придушить ее в зародыше».

Еще раз постучав палкой, Стенсил сел. К этому времени я уже кипел от ярости. Передо мной стояло твое прекрасное полотно, а рядом — этот... этот рисовальщик коров, которому недоступна ни одна твоя линия, ни один мазок. И я увидел, как все эти кретины бросились поздравлять старикана. Я вскочил на ноги.

«Вы говорите, что наша обязанность — душить. А я считаю, что наша обязанность — поощрять и поддерживать. Бог мой, мы же не полисмены! Почему мы должны убивать все молодое и смелое в искусстве? Все оригинальные художники прошлого столетия пали жертвой такого убийства. Курбе и Делакруа — оба получили удар ножом в спину, в то время как Барбизонская школа изготавливала свой традиционный хлам и восхвалялась до небес. Насмешки и оскорбления преследовали импрессионистов. Сезанна называли бездарным маляром, деревенщиной, Ван Гога — психопатом, Гогена — недопеченным любителем, от чьих работ будто бы несет дохлой крысой. „Диких“ освистали, Брака поносили, Сера и Редона объявили сумасшедшими. Вы

все это можете проверить, это написано черным по белому. Всегда находился какой-нибудь чертов поклонник отживших традиций, который считал талантливую работу выпадом против себя лично, оскорблением, подрывом основ и, снедаемый завистью, выступал против нее с усмешечкой на устах и камнем за пазухой. Но несмотря на это, творения этих художников живут, а человека с усмешечкой никто даже и не помнит. И можете сколько угодно надо мной издеваться, но я готов держать пари, что картина, которая стоит сейчас перед нами, будет жить после того, как все присутствующие в этой комнате давно подохнут и будут забыты».

Немножко успокоившись, Глин снова отхлебнул из стакана, затем покачал головой:

— Я не должен был так вести себя, Десмонд, но, клянусь небом, я ничего не мог с собой поделать. Некоторое время все растерянно молчали. Затем, поскольку никто, по-видимому, не собирался говорить, председатель — а он славный малый, и ему хотелось поскорее кончить эту свару — предложил проголосовать. И тут произошла совершенно дурацкая история. Я чувствовал, что в целом комиссия настроена благоприятно. Могу поклясться, что это было так. Они были за тебя и уже собирались поднять руки, как вдруг Питерс, который за все время ни разу рта не раскрыл, сказал:

«Одну минуточку».

Все уставились на него, а он нагнулся и сквозь сползшее на кончик носа пенсне принялся разглядывать твою подпись. Затем снова опустил в кресло.

«Джентльмены, — сказал он, — до сих пор я воздерживался от участия в споре, ибо у меня возникло смутное подозрение, что я уже видел нечто подобное несколько лет тому назад. Теперь я убежден в этом. Должен поставить вас в известность, что автор этой картины не кто иной, как художник, чьей кисти принадлежат печальной славы чарминстерские панно. Он был осужден в открытом судебном заседании за „создание и экспонирование непристойных произведений искусства“».

Это, разумеется, произвело сенсацию, и — бог мой! — хотел бы я, чтоб ты видел, как засияла от удовольствия физиономия Стенсила.

«Я же говорил, что это мазня дегенерата. И вот видите, я прав!»

А Питерс продолжал:

«Как же мы можем взять на себя ответственность за поощрение такого человека? Согласившись выставить эту картину, мы тем самым вынесем одобрение автору и всему его творчеству».

Я понял, к чему клонится дело, и снова вскочил:

«По поводу чего мы все-таки выносим свое суждение — по поводу панно, которые были сожжены из-за полного невежества, или по поводу этой картины?»

Не помню уже, что я еще говорил, — я был так разъярен, что сам не знал, какие употреблял выражения, могу сказать только, что они были смелыми и страстными. Но все это ни к чему не вело, и я это прекрасно сознавал. Даже те, кто прежде готов был поддержать тебя, сейчас не пошли бы на скандал. Мне оставалось только одно. Я сделал это по доброй воле и, клянусь, с великим удовлетворением. Я немедленно заявил, что подаю в отставку. И я чертовски рад, что поступил так. Размяк я за эти годы, Десмонд, стал рыхлым, слабохарактерным, и работы мои ничего не стоят в сравнении с прежними. Надоело мне до смерти малевать по заказу портреты Хаммерхеда и ему подобных, опостылело выписывать ордена на выпяченной груди наших пэров. Снаряжу-ка я, как прежде, свой караван и подамся вместе с Анной в Северный Уэльс. Может, мне удастся написать там что-нибудь стоящее. А теперь, когда я выложил тебе все как на духу, надеюсь, что ты не будешь на меня очень сердиться. Сейчас я признаю, что поступил неправильно.

Попробуйте-ка втолковать этим тупицам — членам комиссии, что перед ними шедевр! Рембрандту пришлось столкнуться с этим, когда его в Амстердаме притянули к суду за долги. То же самое довелось испытать и Эль Греко, когда он стоял перед испанской инквизицией. Надеюсь только, что ты не станешь слишком близко принимать это к сердцу. Что нам за дело, в конце-то концов, до общественного мнения, раз это общество невежд! Выпьем еще!

Стефен молча глядел на приятеля, лицо его было бледно и бесстрастно. Слушая пространный рассказ Глина, которым

тот стремился отчасти оправдаться в собственных глазах, он испытал гнев и отчаяние, сменившиеся теперь холодным безразличием. И все же нанесенная ему рана была глубока, и он знал, что она будет ныть. Хоть бы уж Ричард оставил его в покое, не вмешивался больше, просто оставил бы в покое. Но в измученном сердце Стефена не было горечи, и он ничем не выдал перед приятелем своих новых мук, которые тот разбредил в нем. Он протянул ему руку.

Глин уже выпил свой грог и, заметно захмелев, дружески хлопнул Стефена по плечу:

— Пошли! Я провожу тебя домой, и, если что не так, мы, черт побери, сумеем за себя постоять.

ГЛАВА V

Не следует забывать, что искусство, как один из элементов национальной культуры, — вещь немаловажная. Громкий скандал, разразившийся в Королевской академии, был для газет поистине манной небесной: он пришелся на мертвый сезон, когда за скудостью материала репортерам приходилось прибавляться каким-то банальным убийством в Глазго и малоувлекательным светским бракоразводным процессом, дабы удовлетворить своих падких до сенсаций читателей. Судебным процессом в Чарминстере заинтересовалась в свое время главным образом местная пресса. Новый скандал получил куда более широкую огласку — тут особенно постарались те воскресные газеты, которые, стоя на страже английской нравственности, видят свой долг в том, чтобы как можно полнее освещать наиболее пикантные нарушения границ благопристойности в наши дни. С их легкой руки новый скандал разворошил пепел старого. Извлеченные из архива подшивки «Чарминстер кроникл» были тщательно проштудированы на предмет выуживания наиболее лакомых подробностей. Из «Каунти газет» был перепечатан портрет Стефена на скамье подсудимых. Арчибалд Догетти, первейший оплот и поборник английской нравственности, чьи статьи в «Юниверс ньюс» читались миллиона-

ми подписчиков, сам Арчибальд Догетти, только что поднявшийся еще на одну ступеньку славы за публичное бичевание незадачливой романистки, написавшей книгу под названием «Одинокое сердце», мертвой хваткой вцепился в эту скандальную историю. Под уничтожающим заголовком «Живопись бесноватого» справедливое негодование излилось с его пера. Что, вопрошал Арчибальд, стряслось с нашей доброй старой Англией, если одному из ее наиболее ценных, наиболее почитаемых и почтенных институтов нанесено подобное оскорбление, если в его бастионы насильственно вторглись безвестные революционные творения, созданные заведомо порочной, развращенной кистью?! Впрочем, не все вопли звучали столь же высокопарно. Периодические издания более легкомысленного направления отозвались на это ироническим смешком, с эстрадных подмостков прозвучали шуточки, а в одном из иллюстрированных еженедельников появилась карикатура, на которой был изображен подозрительного вида субъект, атакующий почтенного академика в цилиндре на ступеньках Берлингтонского дворца. Подпись под карикатурой гласила: «Не угодно ли приобрести хорошую порнографическую открытку, сэр?»

Все эти дни Стефен продолжал работать с тем полным отсутствием интереса к событиям внешнего мира, которое приняло у него теперь форму равнодушного презрения. Снова без какой-либо провинности с его стороны он был прикован к позорному столбу и выставлен на всеобщее осмеяние. Как это могло случиться, что именно он, человек по натуре столь тихий, скромный и замкнутый, всю жизнь стремившийся только к одному — чтобы его оставили в покое и не мешали заниматься любимым искусством, — что именно он должен был вызвать против себя такую бурю возмущения? Один предприимчивый журналист счел необходимым в интересах читателей познакомить их «в общих чертах» с биографией Стефена и, старательно перечислив все, что произошло с художником за последние годы — разрыв с церковью, с семьей и, главное, с Англией, — обрисовал его как презренного выродка, вполне заслужившего ненависть своих соотечественников.

Жизнь научила глубоко впечатлительного по натуре Стефена выдержке и самообладанию, что помогло ему оставаться

хотя бы внешне невозмутимым под ударами судьбы. Но так больно били его враги, так часто язвили насмешками, что он достиг в конце концов той степени свободы духа, которая позволяла ему не слышать, что о нем говорят, не замечать, что с ним происходит. И лишь порой бывали минуты, когда он терял почву под ногами и его внезапно охватывал необъяснимый страх. Тогда жизнь начинала казаться ему нереальной, она пугала его, и он чувствовал, что у него нет больше сил бороться с судьбой. Он видел, что утратил нечто, ценимое им превыше всех благ: ощущение собственной безвестности и спокойную уверенность в том, что ты никому не нужен, никто тебя не замечает, ты — песчинка, затерянная в безграничном людском океане. Нервное напряжение сказывалось, как ни пытался Стефен это скрыть, и, когда начала стихать шумиха, он почувствовал себя совсем разбитым, и впервые в жизни его стали одолевать дурные предчувствия.

Он привык теперь засиживаться допоздна в хижине Тэпли у реки. Часами сидел он здесь, понурившись, глядя на черную, подернутую рябью от резких порывов ветра воду, на буксирный пароходик, выплывавший из-под моста, волоча за собой вереницу барж, мигающих в ночи зелеными и красными глазами. Плеск воды, красота и незримое обаяние ночи умиротворяли его душу, но он не позволял себе расчувствоваться и думал только о работе, которой занимался сегодня и которую продолжит завтра. Потом, во мраке, возвращался домой на Кейбл-стрит, держась в тени строений, словно желая остаться незамеченным.

Однажды в субботу он задержался у реки дольше обычного. Вернувшись домой, он почувствовал себя смертельно усталым. Ему казалось, что горло, которое побаливало целый день, теперь как-то странно онемело. Дженни быстро собрала ему поужинать, достала из печки горячий деревенский пирог и присела к столу напротив мужа. Стефен с облегчением принялся за еду, а она молча наблюдала за ним. Она поняла, что ему не хочется разговаривать. Его измученный вид тревожил Дженни, но она была слишком сдержанна и тактична, чтобы говорить с ним об этом.

Поужинав, Стефен занял свое обычное место у очага. Положив альбом с набросками на колени, он не отрываясь смотрел в огонь, на возникавшие из золотистого пламени благородные героические фигуры, создаваемые его воображением. Дженни перемыла посуду, сняла фартук и принялась за вязание. Очнувшись от своей задумчивости, Стефен поглядел на жену. Наступил тот час, когда они обычно беседовали друг с другом, избегая, однако, касаться неприятных событий последних дней. Чаще всего их беседа ограничивалась незначительными, будничными домашними делами, но она давала им ощущение близости, делала Дженни счастливой, и Стефен знал это. Сегодня он особенно остро чувствовал эту близость. Безыскусная женственность Дженни, созданная ею атмосфера тепла и уюта притягивали к ней Стефена. Он начал рассказывать ей о том, что делал днем. Внезапно голос у него сорвался на полуслове и перешел в хриплый шепот. Это случилось с ним уже не впервые, но сейчас произошло столь неожиданно, что Дженни подняла глаза от вязанья и пристально поглядела на мужа. Стефен уловил тень тревоги, пробежавшую по ее лицу. Немного помолчав, он прохрипел, с трудом выговаривая слова:

— Ну вот опять. Весь день я чувствовал, что потеряю сегодня голос. Так оно и есть.

— Ты простудился. — Она говорила рассудительно, с оттенком мягкого укора (ведь сколько раз пеняла она ему на то, что он не бережет себя), но все это было лишь притворством, которым она старалась прикрыть обуревавшую ее тревогу.

Стефен покачал головой:

— Нет, горло у меня не болит.

— И глотать не больно?

— Нет.

— Дай-ка я взгляну.

Он покорно подчинился. Она достала из буфета ложку, прижала ему язык и тщательно осмотрела горло.

— Ничего не вижу. Ни красноты, ни опухоли.

— Ничего и нет.

— Может быть, и нет, — твердо сказала она, — но только завтра ты на реку не пойдешь. Разве что потихоньку от меня. Это тебя там продуло. И я сегодня же предупрежу капитана.

— Ладно... У меня есть над чем поработать и в мастерской.
— Только если будешь чувствовать себя получше. А сейчас тебе нужно выпить чего-нибудь горячего.

Она приготовила ему питье из рома, разбавленного кипятком, и черносмородинового джема, который сама варила. Этот напиток Дженни считала панацеей при любых болезнях горла. Стефен выпил полный стакан обжигающей жидкости и почувствовал благодатную испарину. После этого Дженни заставила его лечь в постель.

На следующее утро голос к нему вернулся, и он до полудня работал над этюдом Темзы. Но после второго завтрака он снова охрип, и в четыре часа, со смущенным видом выйдя из мастерской, жестами дал понять Дженни, что совсем потерял голос.

— Ну, значит, решено, — непреклонно заявила Дженни. — Нужно посоветоваться с врачом.

Он пытался протестовать, что в его положении было нелегко, но Дженни осталась неумолима.

— Нет, — решительно сказала она. — Мы должны знать, что это за напасть такая. Одно дело, когда понимаешь, что за болезнь, а тут мы как в темном лесу, и я сейчас же иду за доктором Перкинсом.

Дженни была встревожена не на шутку и ухватилась за представившуюся ей возможность показать Стефена врачу местной страховой кассы — она уже давно хотела это сделать, но Стефен всякий раз раздраженно отмахивался. Поэтому теперь она с решительным видом накинула дождевой плащ, ушла и почти тут же вернулась с известием, что доктор Перкинс уехал куда-то отдохнуть на несколько дней. Однако экономка пообещала прислать его помощника, как только тот вернется после дневного обхода.

Не успела она сообщить это, как к Стефену внезапно вернулся голос и он опять заговорил, будто ничего и не было.

— Вот видишь, — сказал он с досадой. — Ты поднимаешь шум из-за пустяков. Обыкновенная простуда или нервы, словом, какой-то вздор.

Он ушел в мастерскую работать, а Дженни, пожав плечами, поглядела ему вслед. Она была сбита с толку и спрашивала

себя, не поддавалась ли она и в самом деле излишней панике. Не зная, на что решиться, она принялась чистить овощи на ужин. Прошел час, но доктор не появлялся. В субботний вечер прием у доктора Перкинса всегда был большой, и Дженни уже начала сомневаться, что его помощник вообще придет. Но в эту минуту зазвенел дверной колокольчик, и, отворив дверь, она увидела перед собою молодого человека, который, не мешкая ни секунды и не дожидаясь приглашения, шагнул через порог.

— Я доктор Грей. Где ваш больной?

Дженни провела его на кухню, кликнула Стефена и оставила их вдвоем. Доктор положил сумку, снял шляпу, но остался в пальто, всем своим видом давая понять, что ему дорога каждая секунда. Он был уже не так юн, как могло показаться с первого взгляда, лет тридцати, и его грубоватое, хотя и не лишнее приятности лицо выражало крайнюю степень усталости и досады: вот, мол, извольте работать до упаду, да еще в такой обстановке, от которой тебя с души воротит!

— Это вы больной? — спросил он с резким северным акцентом. — И что же вас беспокоит?

— Да какие-то пустяки, ерунда, в сущности. Но вот жена встревожилась. У меня временами пропадает голос.

— Вы хотите сказать, что по временам вы совсем не в состоянии говорить?

— Да. Во всяком случае, не могу говорить так, чтобы меня было слышно.

— А в остальное время говорите нормально?

— Мне кажется, да. Небольшая хрипота бывает, пожалуй.

— А горло болит?

— Нисколько.

— Какие еще жалобы?

— Никаких. Да, вот еще: горло как будто немеет. Фантазия, вероятно.

Доктор Грей нетерпеливо прищелкнул языком. Разумеется, фантазия, опять один из этих проклятых неврозов, подумал он, быть может, истерическая афония. Впрочем, стоявший перед ним человек не производил впечатления истерического субъекта, это явствовало хотя бы из того, что он не придавал большого значения своей болезни.

— Позвольте, я вас осмотрю. — Стефен расстегнул ворот рубашки, и врач нетерпеливо прибавил: — Да нет, нет. Этого мало, разденьтесь до пояса и сядьте на стул.

Слегка покраснев, Стефен сделал, как ему было велено. Доктор вынул из сумки круглое зеркальце, укрепил его у себя на лбу и, направив луч света на зеркальную поверхность ларингоскопа, тщательно исследовал горло Стефена. Затем, не произнеся ни слова, достал стетоскоп и принялся выслушивать легкие, после чего вздумал поинтересоваться кончиками пальцев Стефена. Весь осмотр занял не больше пятнадцати минут, хотя и был произведен довольно тщательно.

— Можете одеться. — Доктор сложил инструменты в сумку и резко щелкнул замком. — Давно вы кашляете?

— Кашляю? Да... В последние годы у меня частенько бывает бронхит.

— Ах вот как — бронхит?

— Ну да. У меня всегда были слабые легкие.

— Всегда? А не можете ли вы припомнить, когда вы в первый раз схватили сильную простуду и у вас появилась боль в боку, которая держалась довольно долго, и вы никак не могли от нее избавиться?

Внезапно перед глазами Стефена встал Ла-Манш, пароход, переправа под проливным дождем и затем — Нетье.

— Могу, — сказал он, — это было лет пятнадцать назад.

— А после этого у вас шла когда-нибудь горлом кровь?

— Шла.

— Как часто?

— Всего два раза, — ответил он, умалчивая о первом приступе кровохарканья в Испании.

— Когда шла впервые, сколько лет назад? Лет четырнадцать примерно?

Снова прошлое ожило в памяти Стефена: белая монастырская келья и лицо преподобного Арто, склонившееся над ним.

— Да.

— Ну конечно! — Доктор уже вымыл руки над раковиной и вытирал их кухонным полотенцем. — Все это время у вас были не в порядке легкие и дважды шла горлом кровь. И вы ни

разу при этом не попытались уяснить себе причину этих недомоганий?

— Я не думал, что это серьезно. И я всегда был очень занят.

— Чем именно?

— Живописью.

— Вы художник?

— Да.

— Вот оно что! — Доктор Грей, уроженец солидного индустриального Манчестера, израсходовал, казалось, на это воскливание весь имевшийся у него в наличии запас иронии.

Неожиданно у него мелькнула какая-то мысль.

— Черт побери, уж не тот ли вы художник, из-за которого было столько шума в газетах?

— Разве это имеет какое-нибудь значение?

Молчание.

— Да нет... Нет, конечно.

Доктор с любопытством и даже — несмотря на свою профессиональную черствость — не без сочувствия посмотрел на Стефена. Какая цепь событий, какое беспечное, бездумное, упорное пренебрежение к своему здоровью могло незаметно для него самого привести этого странного человека, явно джентльмена по происхождению и воспитанию, к такому плачевному концу, о котором он сам еще не подозревает? И что можно тут поделывать? А главное, как ему об этом сказать?

Доктор был человек способный и честолюбивый. Он пошел в помощники к ист-эндскому врачу с единственной целью — немножко подработать, чтобы потом иметь возможность заняться научной деятельностью и получить степень. Медицинская практика такого рода не вызывала в нем никакого интереса, и он обычно разговаривал со своими больными откровенно, даже почти грубо. И сейчас перед его глазами уже маячила душная, пропахшая потом приемная, битком набитая пациентами. К тому же он еще ничего не ел с полудня. И все же что-то заставило его удержаться от обычных резкостей. Он присел на подлокотник кресла.

— Вот что, — сказал он. — Я должен сообщить вам, что вы больны довольно серьезно.

— Что же у меня такое?

Доктор опять немного помолчал.

— Порядком запущенный туберкулез легких.

— Вы шутите?!

— Увы, нет. У вас старая каверна в правом легком. А теперь и в левом легком идет активный процесс... и задета гортань...

Стефен побледнел и оперся рукой о стол.

— Но как же так, я не понимаю... Я всегда был на ногах... Чувствовал себя хорошо...

— В этом-то вся подлость этой окаянной болезни. — Доктор Грей с мрачным ожесточением покачал головой. — Она коварна. Ее токсины создают даже ощущение хорошего самочувствия. *Spes phthisica* — называется это на нашем медицинском языке. К тому же эта болезнь может на какое-то время затихнуть, а затем вдруг происходит вспышка. Так было и с вами.

— Понимаю. Что же нужно делать?

Доктор уставился глазами в потолок.

— Вам нужно переменить обстановку.

— А точнее?

— Уехать в санаторий.

— Мне это не по средствам.

— Ну, тут существуют различные возможности... Это можно устроить... через одну из больниц... — В голосе доктора звучала наигранная бодрость.

— Сколько времени придется мне там пробыть?

— По крайней мере год, а может, и больше.

— Год! А я смогу там писать?

Доктор Грей решительно покачал головой.

— Ни под каким видом. Вы будете лежать на спине в постели, дорогой сэр, на свежем воздухе.

Стефен молчал, глядя прямо перед собой в одну точку.

— Нет, — сказал он. — Этого я не могу.

— Для вашего же блага...

— Нет, доктор. Я должен работать. Если я брошу работу, это меня убьет.

— Боюсь, что если вы будете продолжать работать... — Доктор не договорил, слегка пожал плечами и сурово поглядел Стефену в глаза.

Снова наступило молчание. Стефен провел языком по пересохшим губам.

— Скажите мне правду. Если я останусь дома и буду продолжать работать, что тогда?

Доктор Грей хотел было что-то сказать, затем передумал. Ходить вокруг да около было не в его натуре, и все же что-то мешало ему выложить правду напрямик, и он ответил уклончиво:

— Трудно сказать. Если повезет, вы можете протянуть довольно долго.

Оба стояли молча. Затем доктор, казалось, спохватился, вытащил из кармана пальто блокнот с бланками рецептов, быстро прописал лекарство, вырвал листок и протянул его Стефену.

— Закажите в аптеке. Здесь тонизирующее и креозот для горла, это должно принести вам некоторое облегчение. Поберегите себя, пейте как можно больше молока, глотайте по столовой ложке рыбьего жира три раза в день и попросите вашу жену — вы ведь, кажется, женаты? — заглянуть ко мне в приемную завтра утром. Мой гонорар — три шиллинга шесть пенсов.

Стефен расплатился, доктор кивнул, взял сумку, надел шляпу и, сказав, что его можно не провожать — он сам найдет дорогу, вышел из кухни. Хлопнула входная дверь, за окном прозвучали шаги и смолкли. Воцарилась необычная тишина. Стефен стоял не двигаясь. Затем в кухню вошла Дженни, и он обернулся.

Она медленно приближалась к нему, и, увидев ее напряженное, испуганное лицо, заметив, какие отчаянные усилия она делает, чтобы держать себя в руках, Стефен понял: она слышала все. Они посмотрели друг другу в глаза.

— Ты поедешь полечиться, Стефен?

— Ни в коем случае.

— Ты должен.

— Нет, я ненавижу больницы, не хочу разлучаться с тобой и не могу бросить работу.

Она подошла к нему совсем близко. Мысли у нее путались, внезапность этого удара ошеломила ее.

Впрочем, разве неясное предчувствие беды не томило ее уже давно? Она яростно корила себя за то, что потакала Стефену, когда он беспечно относился к своей болезни, оказавшейся такой серьезной. Глотая слезы, вид которых всегда раздражал Стефена, она молила его образумиться, но в ответ на все ее уговоры он только упрямо мотал головой.

— Если у меня действительно эта штука, так здесь уж мало чем можешь. Но доктора тоже не всё знают. Возможно, я все не так уж серьезно болен, как ему кажется. И во всяком случае, он сказал, что мне нужен только свежий воздух.

При этих словах он вскинул голову. Какая-то мысль внезапно озарила его. Маргейт! Он всегда поправлялся там. Вот уж где к его услугам будет сколько угодно чудесного воздуха. В самом деле, он ведь был так серьезно болен и совсем оправился в Маргейте. Он любил это место, самые счастливые воспоминания были связаны с ним... И, кроме того, он сможет продолжать там свою работу в тишине и покое. И Стефен сразу — не сознавая, насколько это само по себе типично для его состояния, — воспрянул духом. Дженни, обуреваемая мучительной тревогой, смотрела на мужа и ждала, что он скажет, и тень улыбки промелькнула по лицу Стефена.

— Вот что мы сделаем. Мы попросим мисс Пратт и Тэпли обойтись как-нибудь без тебя недельку-другую, соберем пожитки и, если Флорри нас примет, проживем немножко в Маргейте.

ГЛАВА VI

Поздним вечером Флорри с кошкой на коленях грелась у печки в маленькой кухоньке над рыбной лавкой. Лампа под зеленым абажуром разгоняла осенний мрак. Флорри безмолвно, но пытливо смотрела на Дженни, сидевшую напротив нее за столом. Чайник с чаем и тарелка с ломтями хлеба, намазанного маслом, стояли перед ними на подносе. В кухоньке было необычайно тихо, слышалось лишь неторопливое тиканье часов. Наконец, сделав над собой усилие, Дженни встrepенулась.

— Рыжик линяет, — сказала она.

— Все они в это время линяют. — Флорри погладила свернувшееся клубочком животное и стряхнула с кончиков пальцев желтые пушинки. — Славная у него шубка.

— Сколько мы уже здесь живем, Фло? Недель семь?

— Да около того. Время летит.

— Ты очень добра к нам. Мы ведь, правду сказать, сели тебе на шею. Да только свежий воздух и впрямь как будто идет ему на пользу. — Дженни помолчала. — Ты замечаешь, что он стал поправляться, Фло?

— Я замечаю перемену... и немалую. — Флорри не спеша отхлебнула чаю и поставила чашку обратно на стол. — И чем скорее ты посмотришь правде в глаза, моя дорогая, тем лучше для тебя.

— С горлом у него не так уж плохо. Он теперь реже теряет голос.

— Это все пустое.

Дженни наклонила голову, закусила губу. Эти последние недели она делала все, что было в ее силах, и готова была сделать еще больше. Но когда ей вспоминались все эти лекарства, которыми она пичкала Стефена без всякой пользы, все ее неустанные заботы о нем, так мало достигавшие цели, безысходное отчаяние охватывало ее и ей трудно было не пасть духом. Какие муки испытывала она ночь за ночью, прислушиваясь в тишине к его сухому кашлю! Дженни ни за что не соглашалась спать в другой постели: с таким здоровьем, как у нее, чего ей бояться! Вот если бы можно было поделиться им со Стефеном!

Но Дженни мужественно старалась не поддаваться унынию.

— Мне так хочется, чтобы он пришел попить с нами чаю, — сказала она, поглядывая на дверь. — Но зови не зови — все рано не придет.

— Чтобы человек в его состоянии все время рисовал и рисовал, затворившись в душной комнате... — Флорри возвела глаза к потолку, давая понять, что это никак не укладывается у нее в голове. — Что же ты не пьешь свой чай? Давай я налью тебе погорячее.

— Не нужно, Фло.

— Послушай, надо же хоть немного подкрепиться.
— Мне, право, не хочется.
— Но ты всегда была большой охотницей до чая! — удивленно воскликнула Флорри. — Помнишь, как мы выпивали по одиннадцати чашек?

— Чай мне что-то опротивел теперь.

Рука Флорри, державшая чайник, застыла на мгновение в воздухе. Флорри испытующе, поглядела на невестку, затем поставила чайник, накрыла его стеганым колпаком. Помолчав еще с минуту, она спросила:

— И хлеба с маслом не хочешь?

Дженни отрицательно покачала головой.

— Ты ни крошки в рот не берешь. Сегодня утром съела кусочек селедки, и все. Да и вчера тоже...

Она умолкла. Под пристальным взглядом золовки Дженни мучительно покраснела, затем краска медленно сбегала с ее лица, и она отвела глаза. Наступила напряженная тишина. Подозрение и недоверие на лице Флорри постепенно сменились изумлением и наконец испугом.

— Неужто в самом деле? — с расстановкой спросила она.

Дженни, все так же глядя в сторону, молчала.

— Не может быть! — сказала Флорри, понизив голос. — Только этого не доставало! И давно у тебя нет?

— Шестую неделю, — чуть слышно ответила Дженни.

— Боже милостивый! Подумать только... Да ведь это... ведь это... Нет, я, кажется, сейчас лопну! Будто мало того, что он сам сидел у тебя на шее все эти годы. Палец о палец не ударит, барин такой. Ты работаешь до седьмого пота, как каторжная, а он слоняется без дела и только мажет красками по холсту. А теперь, когда, можно сказать, его песенка спета, ему еще понадобилось оставить тебя с ребенком.

— Перестань, Фло! — в исступлении вскричала Дженни. — Не брани его! Это я во всем виновата. Это случилось в ту ночь, когда доктор сказал ему...

Голос у нее сорвался, и она умолкла, еле сдерживая слезы. Где взять слова, чтобы передать то, что чувствовала она в ту ночь? Страсть, жалость, отчаяние — они обрушились на нее

с такой невиданной, с такой всесокрушающей силой, сделали ее безвольной, податливой, как воск, и осталось одно стремление — отдать всю себя, раствориться в другом... Уже тогда она знала, что зачала ребенка.

— Ну что ж, желаю тебе счастья в таком случае. — Голос Флорри звучал сухо, недружелюбно. — Но только как ты упрaviшьсь со всем этим, моя дорогая, вот вопрос.

— Не будь так сурова, Фло. Я справлюсь. Ты же знаешь, что у меня есть пара крепких, здоровых рук.

— Рук! Еще бы! — мрачно подтвердила Флорри. — А вот где, спрашивается, была твоя голова? — Она помолчала. — Ты сказала ему?

— Пока нет. Скажу, когда вернемся домой. Глядишь, к тому времени он снова оправится.

Сделав над собой усилие, что было не в ее привычках, Флорри прикусила язык. По ее мнению, упрямство Дженни, ее нежелание признать то, что «всем и каждому бросалось в глаза», только ухудшало и без того отчаянное положение. Когда Стефен приехал, он, по словам Флорри, выглядел «не хуже, чем всегда». Однако вскоре его состояние начало ухудшаться, и теперь он производил впечатление человека, который без оглядки катится в пропасть. Две недели назад врач, которого Дженни сама пригласила к мужу, сказал ей без обиняков, что состояние Стефена безнадежно, и произнес роковые слова: «Скоротечная чахотка». В любую минуту у него может опять хлынуть горлом кровь, и это будет конец.

— Поступай как знаешь. — Флорри с покорным видом покачала головой. — Только почему ты вечно должна приносить себя в жертву, этого я никак в толк не возьму.

— Ни тебе, ни другим никогда не понять его.

Флорри сердито фыркнула.

— Конечно, мне никогда не понять, что, собственно, сделал он для тебя хорошего.

— Он сделал меня счастливой.

За дверью раздались шаги, и разговор оборвался. Обе женщины постарались придать лицу спокойное, безразличное выражение. В кухню вошел Стефен.

— Я опоздал к чаю? — спросил он и улыбнулся.

Эта вымученная улыбка на исхудалом — кожа да кости — лице с торчащими скулами и ввалившимися щеками резанула Дженни по сердцу, как ножом. Стефен теперь не позволял жене даже заикаться о его здоровье, он предпочитал полностью игнорировать свою болезнь, и эта его замкнутость, отрешенность, его мужество и умение страдать молча, никогда не жалуюсь, до глубины души трогали Дженни. Но она ничем не проявляла своих чувств, зная, что Стефен этого не любит, и сказала самым обычным тоном, наливая ему чашку чаю:

— Мы собирались кликнуть тебя. Но я подумала, что, может, ты занят — кончаешь работу.

— Между прочим, я ее действительно кончил. Остались кое-какие мелочи. И в общем я доволен. — Он потер руки, взял с тарелки, которую протянула ему Дженни, ломоть хлеба с маслом и присел к окну.

— Значит, картина готова? — спросила Флорри, поглаживая кошку.

— Да. Я сделал все, что мог. И кажется, получился толк.

— Ну а еще кому-нибудь будет от нее толк? — спросила Флорри, бросая многозначительный взгляд на Дженни.

— Кто его знает, — небрежно проронил Стефен.

Дженни из своего уголка украдкой наблюдала за ним и почувствовала, что он взволнован, хоть и старается не подавать виду. Глубоко запавшие глаза его блестели, рука, державшая чашку с чаем, слегка дрожала. Дженни сказала участливо:

— Ты немало потрудился над этой картиной.

— Шесть месяцев. Это было не так-то легко технически — передать сущность простых, элементарных вещей... Реку... воду... И весь этот фон: землю, воздух. И притом так, чтобы это было единое целое, выражало основную идею.

Обычно Стефен никогда не говорил о своей работе, но сейчас он был еще весь во власти творческого порыва и продолжал высказывать вслух роившиеся в мозгу мысли.

— А что же вы будете делать дальше с этой картиной? — спросила, когда он умолк, Флорри, сидевшая все время, поджав губы.

— Сам не знаю, — рассеянно ответил Стефен.

— Надеюсь, с этой не будет такого безобразного скандала, как в прошлый раз.

— Надеюсь, нет, Флорри. — Стефен миролюбиво улыбнулся. — Мне кажется, это вполне почтенная картина. И чтобы окончательно вас успокоить, обещаю, что не стану ее выставлять.

Но его ответ не только не умилил ее, а разгневал еще больше.

— Вот уж и впрямь разодолжили! Да какой же тогда, спрашивается, от нее прок? Какой прок стоять, и стоять, и стоять день-деньской, малевать и малевать, если потом и показать нечего? У нас в зальце-то теперь не повернешься, не комната, а сарай. А вам что же — наплевать, получите вы хоть пенни за свою картину или нет?

— Да, мне все равно. Важно то, что я ее написал. — Стефен поднялся. — Пойду немножко пройдуся.

— Лучше не стоит, — озабоченно встрепелась Дженни. — На дворе холодно нынче. И уже смеркается.

— Мне необходимо прогуляться. — Стефен ласково поглядел на Дженни. — Ты сама знаешь, что свежий воздух мне полезен.

Дженни не стала спорить и вышла вместе с ним в прихожую. Она помогла ему надеть теплое пальто, которое сама ему купила, подала палку, вошедшую с некоторых пор в его обиход. Он спускался с лестницы, а она, стоя в дверях, смотрела ему вслед с мучительной тревогой, никогда теперь не покидавшей ее, и в голове у нее уже зрели всякого рода планы. Стараясь заглушить заползавшее в душу отчаяние, она с неистребимой любовью думала о том, как исцелить Стефена от его недуга.

Стефен медленно брел по улице. Когда дорога почти неприметно для глаз пошла в гору, он сразу это почувствовал и понял, как мало осталось у него сил. Ноги, казалось, были налиты свинцом. Обходя стороной шумные кварталы, Стефен направился к порту. В начале набережной стоял круглый киоск с зеркальцами вместо окошек, и, проходя мимо, Стефен мельком

увидел свое отражение: невообразимо худое, изможденное лицо с глубоко запавшими темными глазами, сутулые, как у старика, плечи... Он невольно скорчил гримасу и поспешил отвести взгляд. Он сам лучше всех понимал, как чудовищно нелепо с точки зрения здравого смысла поступает, разгуливая сейчас по улицам. Однако он твердо решил, что нипочем не даст уложить себя в постель. Одна мысль о том, чтобы сидеть взаперти, была для него непереносима.

Наконец он добрался до цели своего путешествия — до скамьи за молом в изгибе бухты. Обычно скамья пустовала, и с нее открывался прекрасный вид на море. Задыхаясь, Стефен опустился на нее и с чувством облегчения глубоко втянул в легкие прохладный чистый воздух.

Неяркий, но ослепительно прекрасный закат таял на небосклоне, отливая по краям оранжево-желтым и нежно-зеленым. Все краски и все оттенки казались необыкновенно ясными и чистыми на фоне серо-сизого моря, но в них уже чувствовалось холодное дыхание приближающейся зимы. «У Тернера нет ни одного такого заката», — подумал Стефен, с почти чувственным восторгом взирая на розовую полосу на горизонте. Он сидел, уткнув подбородок в грудь. Мысли его на мгновение перенеслись к этому проникновенному живописцу, тончайшему мастеру колорита, сварливому чудаку, затворившемуся под старость в грязной лачуге на берегу Темзы и получившему от окрестных мальчишек кличку Сухопутный Адмирал. «Все мы свихнувшиеся — совсем или хотя бы наполовину, — думал Стефен. — Отщепенцы, погибшие души, вечно в ссоре с обществом, злополучные дети беды, обреченные с колыбели. — И тут же сделал мысленно оговорку: — Все, кроме тех, кто идет на компромисс». Сам он никогда на это не шел. Еще с отроческих лет он был одержим одним стремлением — освободить от оков красоту, разлитую повсюду в природе, но не всегда лежащую на поверхности вещей. И он боролся в одиночестве, идя предначертанным ему путем. Только кому дано понять безысходность этого одиночества, холодную печаль этих часов и дней, лишь изредка перемежавшуюся вспышками упоения и востор-

га? Но он не испытывал сожалений. Удивительный покой и мир царили в его душе. Ведь из этой боли, горечи, разочарования и муки, из борьбы с враждебным ему миром рождалась красота. Он заплатил за нее дорогой ценой, но игра стоила свеч.

Он следил, как гаснут на небе бледные краски заката, и все его творения неторопливой чередой проходили перед его глазами, все, вплоть до огромного, только что завершенного полотна. Этот последний, как бы заключительный взлет его духа, этот странный плод болезни и вдохновения принес ему удивительное ощущение восторга и отрешенности, торжества над жизнью и смертью, приобщения к вечности. Болезнь подтачивала его силы, но таинственный родник питал его дух, обновляя его, возрождая к жизни. И все же Стефен знал, что он обречен. Источник жизненных сил, скрытых в нем, иссяк, безграничная усталость сковывала тело. «Сегодня же вечером поговорю с Дженни, — думал он. — Пора возвращаться домой. На этой неделе надо перебраться к себе на Кейбл-стрит...» Затем родилась новая мысль: «Рафаэль умер тридцати семи лет... Я не имею права жаловаться».

По телу его пробежала дрожь, он поежился и поднялся на ноги. Уже почти совсем стемнело, и он побрел домой. Быстрые, энергичные шаги раздались у него за спиной, и чей-то бодрый голос окликнул его. Стефен оглянулся и увидел невысокую, подвижную фигуру Эрни, который спешил за ним. В темном костюме и котелке, с зонтиком под мышкой юноша выглядел очень деловито.

— Стойте! Я так и знал, что разыщу вас здесь. — Эрни замедлил шаг, тактично стараясь попасть в ногу со Стефеном. — Ну, как дела?

— Отлично, Эрни. А ты домой? Из конторы?

— Нет, я уже был дома и напился чаю. Иду на вечерние курсы. А тетя Флорри попросила меня разыскать вас и проводить домой.

«Господи помилуй, — уныло подумал Стефен, — неужели я стал такой развалиной, что они посылают мне провожатых?» И в эту минуту его спутник, исполненный самых благих намерений, подхватил его под руку, чтобы помочь ему спуститься

по ступенькам с набережной. Однако он тут же рассеял подозрения Стефена, воскликнув:

— К вам ведь не так уж часто заглядывают гости. И дома у вас нипочем не хотят, чтобы вы его упустили.

— Кого это? Что за гости?

— А бог его знает. Какая-то важная шишка с виду. Приехал в роскошном автомобиле.

Стефен озабоченно нахмурил брови. Что бы это могло означать? Неужто отец или Хьюберт решили его проведать? Нет, быть того не может. Какой-нибудь посыльный от сердобольной Клэр? Еще одна неуместная попытка оказать ему помощь из жалости? Это предположение испугало его.

— Может, это какой-нибудь знаменитый врач приехал полечить вас, — с наигранной беззаботностью размышлял Эрни вслух. — Какой-нибудь крупный специалист. Черт побери, может, он в два счета поставит вас на ноги. У вас ведь такие важные родственники, кто-нибудь из них вполне мог пригласить его. Вот было бы здорово! Если вы совсем поправитесь, мы с вами летом опять будем искать на пляже моллюсков, как раньше бывало.

Они шли по притихшим улицам, пустынным в этот час, когда большинство магазинов уже закрыто, и Эрни продолжал болтать с притворным оживлением, чистосердечно стараясь поднять дух Стефена. Они завернули за угол, и Стефен увидел автомобиль: длинный, черный ландолет стоял перед дверью рыбной лавки, уже закрытой ставнями.

— Вот он, видите? — сказал Эрни с довольной улыбкой. — Ну, ступайте теперь. А мне надо бежать, не то опоздаю.

Поднявшись по лестнице, Стефен остановился, чтобы перевести дух, и в ту же секунду Флорри распахнула перед ним дверь.

— Тут какой-то господин ждет вас. Иностранец. — У нее был растерянный и вместе с тем странно многозначительный вид, и это лишь подтвердило догадку Стефена, что произошло нечто необычное. Флорри добавила: — Мы провели его в залу.

Стефен ничего не сказал, хотя она явно ждала вопросов и приготовилась к ним. Он не спеша снял пальто, и на этот раз

она даже помогла ему. Повесив пальто, шляпу и шарф на вешалку, он направился в залу. Это была небольшая комнатка, которой пользовались редко, лишь в тех случаях, когда собирались гости, но сейчас мольберт Стефена с большим холстом совершенно ее загромоздил. За черной решеткой наспех растопленного камина дымили и сипели сырые дрова. В единственном кресле, протянув ноги к огню, сидел невысокий смуглолицый человек и разговаривал с Дженни. При появлении Стефена он проворно вскочил.

— Мистер Десмонд! Счастлив познакомиться с вами.

Его изысканные и вместе с тем подчеркнута сдержанные манеры превосходно гармонировали с безукоризненно строгим костюмом, с черной жемчужиной в галстук, с начищенными до ослепительного блеска ботинками. Казалось, он без малейшего усилия со своей стороны внес в эту крошечную гостиную атмосферу утонченного вкуса и значительности, совершенно подавив своим величием дешевых фарфоровых собачек на убогой каминной полке, которых Эрни выиграл в лотерею на маргейтской ярмарке. Стефен сразу узнал этого человека и потому едва взглянул на вощеную визитную карточку, которую протянул ему посетитель. Дженни, пробормотав извинение, выскользнула из комнаты.

— Как приятно, что мы с вами свели наконец знакомство, дорогой мистер Десмонд!

— Разве мы уже не встречались однажды?

— Где же, дорогой мой сэръ?

Стефен хладнокровно разглядывал торговца.

— В Париже, пятнадцать лет назад. Я пропадаю тогда, буквально погибал с голоду, у меня не было ни сантима, и я пытался продать вам мои холсты. Но вы не пожелали даже взглянуть на них.

Веки Тесье чуть приметно дрогнули, но его изысканные манеры служили ему надежным щитом, спасая от неловкости в любом щекотливом положении. С подкупающе сокрушенным видом он развел руками:

— В таком случае позвольте заверить вас, что теперь мы квиты, ибо я проделал весь этот путь из Парижа в Лондон с единственной целью разыскать вас. И должен признаться,

это была чудовищно трудная задача. Прежде всего я написал Чарльзу Мэддоксу, но не получил удовлетворительного ответа. Тогда я отправился к нему, и мы вместе поехали в Степни, но не нашли вас там. Однако я проявил величайшее упорство и все-таки раздобыл ваш адрес у мистера Глина. Так что судите сами, как горячо стремился я к этой встрече.

— Очень сожалею, что явился причиной такого беспокойства, — сказал Стефен.

— Дорогой сэр, это не беспокойство, а удовольствие.

Тесье снова опустил в кресло и, уравнив шляпу на колене, внимательно взгляделся в Стефена, сохраняя, однако, приличествующее случаю умеренно восторженное выражение.

— Даже если бы я не видел этого великолепного полотна, — Тесье отвесил благоговейный полупоклон в сторону мольберта, — все равно при одном взгляде на вас я бы не мог не распознать большого мастера. Такие руки, как у вас... такое лицо... Но не будем терять время, — внезапно оборвал он себя. — Мистер Десмонд, на мою долю выпало счастье сообщить вам, что за последние месяцы в Париже наблюдается всевозрастающий интерес к вашим работам. Не так давно одно из ваших полотен — «Монахини, возвращающиеся из церкви», — принадлежащее торговцу красками, некоему Кампо, было выставлено в витрине довольно захудалой торговой фирмы Соломона. Здесь его увидел Жорж Бернар, самый известный, пожалуй, у нас ныне критик и искусствовед. Ваша картина очень понравилась Бернару... прошу прощения, «понравилась» — это не то слово... а имя ваше было ему знакомо по некоторым неблагоприятным отзывам о ваших работах в связи с нападка-ми на французских импрессионистов, промелькнувшими в парижских газетах. В прошлый четверг в «Ревю Голуаз» в большой статье на целую колонку Бернар с величайшей похвалой отозвался о ваших «Монахинях». На другое же утро картина была продана.

Кампо — безвестный мелкий торговец, но ему за семьдесят, и он далеко не дурак. У него имеется не меньше двадцати ваших холстов, преимущественно раннего французского периода, и среди них — несколько цирковых композиций, в том числе великолепный этюд «Лошади в грозу». Кроме того — кое-какие

работы испанского периода. По-видимому, некоторые из них вы оставили ему в заклад в то время, когда работали с Модильяни. Кампо отнес их все Бернару, предложил ему одно полотно на выбор в виде подарка (тот выбрал «Лошадей») и попросил взять на себя устройство вашей выставки. Выставка состоялась два месяца назад — к сожалению, снова у того же Соломона. К сожалению, повторяю я, ибо в результате все картины до единой были немедленно проданы по цене, которая через несколько лет покажется вам просто смехотворной. Скажу больше, аппетиты знатоков разгорелись до такой степени, что во всем Париже уже нельзя было сыскать ни единого непроданного холста кисти Десмонда. Впрочем, — поправился Тесье, — я не точен. После первого же *frisson*¹ в Париж прибыла — и как бы вы думали, откуда? — из Нормандии от какого-то деревенского бакалейщика восхитительная пастель: две детские головки. Подписи нет, но, без сомнения, это ваша работа. — Тесье вопросительно посмотрел на Стефена. — Вы припоминаете эту вещицу?

— Безусловно... Это дочки Крюшо.

— Вот именно, Крюшо. Возможно, вам небезынтересно будет узнать, что пастель эта была тут же куплена ни больше ни меньше как за пятнадцать тысяч франков.

— Очень хорошо, — равнодушно сказал Стефен. — Мадам Крюшо будет чрезвычайно довольна.

— Так вот, мистер Десмонд, я не хочу докучать вам дальнейшими подробностями, все ясно и так. Вам наконец воздали должное. Коллекционеры ищут ваши работы, требуют их. А вы... выражаясь профессиональным языком, в сущности, монополизировали рынок. Ведь основная, подавляющая масса ваших работ находится у вас. Так что, если вы окажете мне честь, сделав меня вашим представителем, — а мое положение в мире искусства вне, так сказать, конкуренции, — ручаюсь, что вам не придется об этом жалеть.

Стефен слушал все эти удивительные сообщения стоя, облокотившись о каминную доску. Он чувствовал слабость и дур-

¹ Ажиотажа (*фр.*).

ноту, ему не хватало воздуха, кашель подступал к горлу — один из тех продолжительных пароксизмов, после которых исчезал голос. Если это случится, сразу станет ясно, как отчаянно тяжело он болен. Невероятным напряжением воли он заставил себя выпрямиться.

— Благодарю вас за внимание. Но у меня нет ни необходимости, ни желания продавать мои работы.

Совершенно огорошенный таким непредвиденным ответом, Тесье все же быстро овладел собой.

— Разумеется, мистер Десмонд, — увещевающе заговорил он, — для такого художника, как вы, дело не в одних только деньгах. Здесь имеются другие соображения, например... известность. Настало время, чтобы вас узнали.

— Это не моя забота. Такого рода тщеславием может тешить себя только посредственность.

— Но все же... вас не может не привлекать слава.

— Слава столь же мало определяет, чего я стою, как моя безвестность. Я никогда не стремился кому-то угодить — мне важно угодить самому себе.

— Мистер Десмонд... *chér maître*¹ — позвольте мне называть вас так, — вы в самом деле огорчаете меня. У вас есть что подарить миру, вы — обладатель больших ценностей. Вы не имеете права зарывать их в землю. Вспомните, что говорится в Священном Писании.

Эта ссылка на Священное Писание в устах самого прожженного из всех парижских антикваров-спекулянтов вызвала на исхудалом лице Стефена, все еще мучительно боровшегося с приступом кашля, едва заметную горькую усмешку. Он сказал спокойно, без злобы:

— Я уже подарил миру однажды кое-что ценное. Мой труд сожгли.

— Забудьте это. Сейчас рынок... то есть, — спохватился Тесье, — я хочу сказать, время и обстоятельства благоприятствуют вам. Прошу вас, *chér maître*, осчастливьте меня правом положить лавровый венок на вашу голову.

¹ Дорогой мэтр (*фр.*).

Стефен со сдержанной иронией глядел на своего собеседника. Лицо его оставалось напряженно-бесстрастным, только по бескровным губам пробегала дрожь.

— Нет. Я создал свою собственную манеру письма. Я стремлюсь воплотить красоту так, как я ее понимаю. Если мои работы хороши, они со временем — после того, как меня не станет, — найдут свое место... Так было почти со всеми художниками. А пока что... я всю жизнь старался не разлучаться с моими картинами, хочу и умереть среди них.

Наступило молчание. Тесье сидел, закинув ногу на ногу, кругообразно вращая ступней. Выражение лица Десмонда, напряженное и вместе с тем равнодушное, странным образом смущало коммерсанта, лишало его уверенности в себе. «Назло мне он так поступает, что ли? В отместку за то, что я когда-то отверг его полотна? — размышлял Тесье. Он был убежден, что почти все художники способны на самые непредвиденные поступки. — И все же нет, — заключил он свои размышления, — этот человек говорит искренне. Просто ему и в самом деле наплевать, возьмусь я, Тесье, сбывать его картины или нет». Болезненный вид Стефена, безграничная усталость, которая чувствовалась в нем, обратили наконец на себя внимание Тесье, и какая-то догадка мелькнула у него в уме. Внезапно он все понял.

— Мистер Десмонд, — произнес он с расстановкой, без всякой рисовки, — нет нужды говорить о том, как глубоко огорчил меня ваш отказ. Я не хочу быть назойливым. Возможно, моя профессия не располагает к доверию. Да, я коммерсант, это верно. И вместе с тем я ценю красоту и люблю ее. Это полотно, которым я в ожидании вас любовался с волнением и восторгом, это полотно — позвольте мне сказать вам это — превосходно. И если вы разрешите мне приобрести его по цене, которую вы сами назовете, я даю вам мое *parole d'honneur*¹, что в течение трех месяцев представлю эту картину через министра изящных искусств к Люксембургской премии. Ну как... Вы видите, я го-

¹ Честное слово (фр.).

ворю совершенно серьезно, и мотивы, которые мною руководят, не так уж низменны.

Во время этой тирады взгляд Стефена понемногу смягчался, но лицо его оставалось все таким же напряженным и печальным. Медленно, грустно он покачал головой.

— Вам придется примириться еще с одной моей причудой. Я должен отказать вам. Однако, — продолжал он, заранее прерывая возможные протесты собеседника, — я могу вам кое-что и пообещать. Вы назвали срок — три месяца... Возвращайтесь, когда минет этот срок... Загляните на Кейбл-стрит в Степни... Думаю, что вы не будете разочарованы.

Наступило продолжительное молчание. «Боже милостивый! — подумал Тесье. — Он, видно, и в самом деле очень болен, он скоро умрет. И он знает это». Тесье пробрала дрожь: он любил жизнь со всеми ее удовольствиями, и всякое упоминание о смерти было ему в высшей степени тягостно. Но он постарался скрыть свои чувства, улыбнулся и воскликнул:

— Отлично! Принимаю ваше предложение. Будем считать, что мы обо всем договорились и пришли к соглашению. А теперь... Вы ведь работали целый день, устали... Я чрезмерно злоупотребил вашим временем... — Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что этому свиданию пора положить конец, и как можно скорее. Он взял свой портфель, встал, протянул Стефену руку.

— Au revoir, chér maître¹.

— Прощайте.

Кинув последний взгляд на полотно, Тесье повернулся и неожиданно для самого себя, повинувшись какому-то внезапному порыву, обнял Стефена. Несколько театрально, быть может, но со своеобразным достоинством он поцеловал Стефена в обе щеки и молча удалился.

Когда дверь за торговцем закрылась, Стефен облокотился о каминную полку, уронил голову на руки и дал волю кашлю. Приступ длился несколько минут, а когда он наконец утих, Стефен долго не мог отдышаться. Согнувшись в три погибели,

¹ До свидания, дорогой мэтр (фр.).

он прислонился спиной к камину, и в таком положении и застала его Дженни, когда она тихонько вошла в комнату.

— Кто это приезжал к тебе, Стефен?

— Один человек, с которым я был знаком в Париже. — Голос с трудом повиновался ему.

— В жизни не видала такого франта. А чего он хотел?

— То, что он мог бы иметь давным-давно. Он еще вернется, Дженни... через три месяца... чтобы купить мои картины. Ты можешь довериться ему. Он не хуже других...

Стефен умолк. Дженни с тревогой всматривалась в его лицо.

— Родной мой, да ты еле на ногах держишься! — Она обхватила его руками. — Пойдем, я уложу тебя в постель.

Он уже готов был последовать за ней, но нечеловеческим усилием воли заставил себя выпрямиться.

— Пожалуй... сначала я... кончу покрывать лаком мою «Темзу»... — Он шагнул к мольберту, обнял Дженни за талию и остановился, глядя на холст. Слабая улыбка тронула его губы. — Ты знаешь... Тесье ведь и в самом деле считает, что это превосходно.

ГЛАВА VII

Как-то апрельским вечером 1937 года некий пожилой господин — точнее сказать, священник — и с ним мальчик-подросток в темно-синем пальто, желтых чулках и башмаках с пряжками сошли с автобуса на северной стороне Воксхоллского моста, свернули на Гросвенор-роу, прошли по набережной и вступили в тихие кварталы Милл-бэнка. Был восхитительный день. В свежем, но теплом воздухе чувствовалось ароматное дыхание весны. В Вестминстерском парке ветерок покачивал головки бледно-желтых нарциссов, а веселые пестрые тюльпаны стояли, вытянувшись, как солдаты на смотру. Цветущие каштаны рассыпали белоснежные коврики по зеленым, аккуратно подстриженным газонам. Темза, серебрясь на солнце, безмолвно и величественно катила свои воды под мостами, как в незапамятные времена. На синем небе с редкими пушистыми облачками вырисовывались чистые, изысканно строгие линии

Вестминстерского аббатства, дальше виднелось здание парламента. На горизонте, среди ослепительного созвездия церковных шпилей и колоколен, сверкала на солнце величественная полусфера — купол собора Святого Павла. Дворец, скрытый от глаз, находился отсюда на расстоянии полета стрелы, а плескавшееся на ветру полотно штандарта оповещало о том, что королевское семейство пребывает сейчас в своей резиденции. Биг-Бен неторопливо отзвонил часы — упали три низкие глубокие ноты, — и настоятель, шагавший рядом с юным Стефеном Десмондом, внезапно ощутил, невзирая на бремя лет, необычный подъем. Красота этого весеннего дня и еле уловимое дуновение ветерка, напоенного ароматом примул, взволновали его, нахлынули непрошенные воспоминания, и он подумал: «Здесь бьется сердце Англии. Не так спокойно и ровно, быть может, как в былые дни, но все же оно бьется».

Неторопливо, прогуливаясь, они шли по набережной; тощая фигура Бертрама Десмонда была еще по-прежнему пряма, но ревматизм уже сковывал его движения, что особенно было заметно в том, с каким вежливым и привычным терпением принаравливался к его шагам мальчик. В конце улицы они перешли на другую сторону и поднялись по ступенькам внушительного здания, стоявшего в глубине чистенького, тщательно возделанного садика, обнесенного решеткой. Сняв шляпу, старик обернулся, на секунду задержался в портале, с трудом переводя дыхание, и в последний раз бросил взгляд на раскинувшуюся перед ним широкую панораму неба, реки и величественных строений. Затем заскрипел турникет, и дед с внуком прошли в галерею Тейт.

Народу здесь было немного. В длинных залах с высоким потолком царил та гулкая тишина, которую так любил настоятель. Все тем же привычным шагом они прошли по центральным залам, мимо пламенеющих полотен Тернера и серебряных — Уистлера, мимо Сарджента, Констебла и Гейнсборо, затем свернули налево и наконец остановились посредине большого зала, на западной стене которого — словно рябь на поверхности воды — играли солнечные блики. На противоположной стене висели три картины в красивых рамах. К этим

трем полотнам и были в молчании прикованы взоры пришедших: мальчик смотрел почтительно и как бы выполняя некий священный долг, старик — задумчивым, отсутствующим взглядом. Наконец, не сводя глаз с полотен, настоятель заговорил:

— Ну, ты уже привык? Хорошо чувствуешь себя в Хоршэме?

— Очень хорошо, благодарю вас, сэр.

— Тебе нравится школа?

— Там неплохо, сэр.

— Первый год, конечно, всегда довольно труден. Но потом мало-помалу ты освоишься и свыкнешься с тамошними порядками. Надеюсь, ты уже подружился с кем-нибудь?

— Да, сэр. С двумя мальчиками: с Джонсом-младшим и Пигготом.

— Тебя там не обижают?

— О нет, сэр. Нужно только, когда староста велит что-нибудь сделать, не показывать виду, что ты его боишься или не понимаешь. Если все выполнять, как требуется, и не шкодить, то в общем поладить можно.

— Прекрасно.

Разговор этот, так странно похожий на беседы с Дэвидом и с другим Стефеном, старшим, много-много лет назад, воскресил былое, и сердце старика мучительно заныло. Так давно это было, и вместе с тем, казалось, так недавно — будто только вчера ездили они со Стефеном в Мальборо, и Стефен так волновался перед предстоящим испытанием, что почти не слышал его напутствий. Да, он стареет, и воспоминания прошлого все чаще и чаще преследуют его и порой так сливаются с настоящим, что вот он, старый, отживший свое чудак, смотрит на этого мальчика, которого тоже зовут Стефен, и ему мерещится, будто перед ним его дорогой сын. Правда, они похожи: у этого Стефена такое же бледное лицо и нежная кожа, и такой же высокий лоб, и глубокие синие глаза, и тот же гордый посад головы, и тоже слишком узкие плечи. Благодарение небу, в мальчике чувствуется порода, он настоящий Десмонд. И школа Святого Креста — хорошее, добропорядочное учебное заведение. Там мальчика воспитают в твердых правилах, хотя сам он,

конечно, предпочел бы Мальборо. Впрочем, при нынешних обстоятельствах он должен быть счастлив, что внука удалось устроить в школу, существующую на средства благотворительного фонда. Сейчас всем приходится туго, и попасть туда было не так-то легко. Эта форма сидит на мальчике вполне сносно. Сегодня, когда они завтракали на Стрэнде, у Симпсона, он читал в устремленных на них взглядах добродушный интерес и одобрение, и это льстило ему и согревало его душу больше — куда больше, — нежели бокал сабли, выпить который он решил себе по случаю праздника. Да к тому же и вино-то теперь не то, не идет ни в какое сравнение с прежним.

Стремление заронить в эту юную душу доброе семя, неотвязное ощущение, что это его долг, заставило настоятеля, даже как бы против волн, подготовиться к маленькой проповеди.

— Мы все ждем, что ты хорошо зарекомендуешь себя, мой мальчик. Ты должен очень постараться и оправдать надежды семьи. Как ты справляешься с уроками?

— В общем хорошо, благодарю вас, сэр. У нас были экзамены перед каникулами.

— И как ты их выдержал?

— Я хорошо отвечал по английскому языку и по арифметике.

Черная тень набежала на лицо Бертрама Десмонда. Он едва нашел в себе силы задать мучивший его вопрос:

— Вас обучают рисованию?

— Да, сэр. Но это у меня плохо получается. Должно быть, я никогда не научусь рисовать.

Настоятель невольно с облегчением перевел дух и взглянул на внука, а тот продолжал:

— Мама велела мне непременно сказать вам, что у меня очень хорошие отметки по Закону Божьему.

— Молодец... Молодец... — пробормотал старик. Как знать? Быть может, именно теперь наконец-то, на склоне дней, осуществится величайшая мечта его жизни, если только Всемогущий даст ему дожить до этого. Он положил худую руку с голубыми прожилками на голову внука и ободряюще погладил его по волосам.

Эта ласка заставила Стефена покраснеть и украдкой оглянуться по сторонам — не заметил ли кто-нибудь. Несмотря на то что дед пробуждал в нем смешанное чувство почтительного страха и неловкости, а порой казался ему чуть-чуть смешным — неизбежная и печальная участь пожилого возраста, — мальчик все же любил эти редкие прогулки вдвоем, особенно если они приходились не на каникулярное время. Обычно прогулка начиналась шикарным завтраком, причем Стефену предоставлялось право выбора блюд, затем следовало посещение кино, если шла какая-нибудь подходящая картина, после чего программа развлечений завершалась галереей Тейт, и все это вместе вносило очень приятное разнообразие в рутину школьных занятий. Но сегодня был первый день пасхальных каникул, и Стефену не терпелось встретиться с матерью, которую он не видел девять недель. Она будет ждать его на вокзале Ватерлоо и заберет домой... Он уже несколько раз тактично осведомлялся у деда, который час, и только что собирался повторить свой вопрос, как в зал вошла группа школьниц в сопровождении руководительницы.

Школьниц было человек двенадцать — все в темно-зеленых юбках, фланелевых курточках того же цвета со значком на кармашке и в соломенных шляпках с зеленой ленточкой и резинкой под подбородком. На всех были одинаковые черные чулки и башмаки и темно-коричневые перчатки. Наставница, бледная, величественная, в строгом грубошерстном костюме, в очках и башмаках без каблуков, держала в руке блокнот, в который она, исполняя обязанности гида, время от времени заглядывала. Она остановила своих экскурсанток как раз против деда и внука, словно их тут и не было.

— А здесь, девочки, — громко произнесла она, — мы видим три характерных полотна кисти Десмонда, приобретенных музеем в тридцатом году. Первая называется «Цирк» и относится к раннему, французскому, периоду творчества художника. Ее отличает изумительное чувство колорита и композиции. Обратите особое внимание на группу клоунов на переднем плане, а также на то, сколько движения в фигуре молодой женщины на велосипеде.

Со второй картиной — «Синий халат» — вы, без сомнения, знакомы по репродукциям. Это портрет жены художника. Здесь мы наблюдаем удивительную свободу композиции и отказ от банальной условности и шаблона, столь характерные для работ Десмонда. Вы видите, что женщина, послужившая художнику моделью, немолода и ее нельзя назвать красивой, однако тончайшая гамма красок и благородная простота и гармония линий создают необыкновенное ощущение прекрасного. Заметьте также, как чудесно написана улица и несколько оборванных ребятишек, играющих в мяч за окном, возле которого сидит женщина. Кстати, это послужило сюжетом для другой широко известной картины Десмонда «Играющие дети», которая находится в Люксембургском музее в Париже.

Третье, самое большое, полотно — это последняя и, как принято считать, самая лучшая работа художника. Вы видите, что это очень сложная композиция. Здесь изображено устье Темзы, показана многообразная кипучая жизнь судоходной реки... — Тут руководительница начала заглядывать в блокнот. — Посмотрите, девочки, перед вами не просто живописный пейзаж. Заметьте, с каким искусством очерчены предметы, какая смелость красок, как выразителен каждый оттенок, с какой силой автор передал на полотне внутреннюю драму художника. Вы видите, каким светом все озарено: кажется, что картина сама излучает свет — живой, мерцающий, исполненный движения, — и это придает необычайную жизненность всему пейзажу. Эта интенсивность света, эта яркая выразительность в какой-то мере напоминают нам полотна Рубенса. Десмонд лишь отчасти революционен в своем творчестве. Подобно тому как импрессионисты шли от Тернера, так он в свои ранние годы отталкивался от Мане, Дега и Моне. Впрочем, в последнее время некоторые исследователи утверждают, что в испанский период на творчество художника оказал влияние Гойя. Но хотя Десмонд, несомненно, учился у великих мастеров, он шел своим путем. Он умел находить красоту во всем, в чем бы она ни проявлялась, а его совесть художника заставляла его вырабатывать свою собственную манеру письма. Его творчество в полном смысле слова самобытно, и даже в тех случаях, когда Десмонд брал узкую тему, он умел отразить в ней целый мир. Большой,

оригинальный живописец, всегда находивший в себе силы противостоять соблазну повторений, он нашел для своего искусства совершенно новые средства выражения. Когда мы смотрим на его полотна, нам становится ясно, что он не зря прожил жизнь.

Тут руководительница оторвалась от записок и заговорила обыкновенным, будничным голосом. Окинув взглядом воспитанниц, она спросила деловито:

— Есть у кого-нибудь вопросы?

Одна из девочек, стоявшая рядом с наставницей, спросила тоном первой ученицы и любимицы:

— Он умер, мисс?

— Да, Доррис. Жизнь его оборвалась довольно трагически, когда он был еще довольно молод и почти неизвестен.

— Но ведь вы сказали, мисс, что он был великий художник?

— Правильно, Доррис, но, как и многие другие, чтобы стать великим, он должен был умереть. Помните, я рассказывала вам, в какой нищете жил Рембрандт, и как Хальс был похоронен на кладбище для нищих, и как Гоген часто сидел без гроша и не находил покупателей на свои картины, и как Ван Гог...

— Да, мисс... Люди не понимали их и ошибались...

— Мы все можем ошибаться, милочка... Глэдис, перестань сопеть...

— Извините, мисс, у меня насморк.

— Тогда возьми носовой платок и высморкайся... Как я уже говорила, Доррис, Англия не сумела оценить Стефена Десмонда, но она щедро искупила свою вину. Вот здесь, в галерее, висят три полотна Десмонда, и мы все можем на них любоваться. Ну а теперь идемте дальше, девочки, не разбредайтесь, следуйте за мной, мы сейчас посмотрим картины Сарджента.

Негромко переговариваясь, школьницы скрылись в конце длинного зала, а Бертрам Десмонд как замороженный продолжал глядеть на картины, не двигаясь с места. Как часто за последние годы приходилось ему слышать хвалы своему сыну! Сначала робкие, они все возрастали, сливаясь в громкий хор, и высокопарные слова вроде тех, что только что произносила молодая наставница, повторялись снова и снова. Категорические суждения недругов, мнивших себя знатоками, были нако-

нец опровергнуты, то, что считалось безнадежной неудачей, получило признание, и вот его сын Стефен — великий художник... Да, даже такое слово, как «гений», без оглядки пускалось теперь в ход. Но настоятель, думая об этом, не испытывал ни гордости, ни торжества — лишь смутную, тревожную печаль. И, вспоминая муки и разочарования целой жизни, слишком поздно, лишь посмертно, увенчанной признанием, он спрашивал себя: стоила ли игра свеч? Стоит ли хоть одна картина на свете — пусть даже величайшее произведение искусства, — чтобы за нее платить такой ценой? Что же такое, в конце концов, красота, ради которой люди готовы перенести столько страданий и даже пожертвовать жизнью, подобно святым мученикам, умиравшим когда-то за веру? Бертраму казалось, что этот спор между жизнью и искусством никогда не будет разрешен.

Пристально взглядываясь в висевшие перед ним полотна, он тщился открыть в них достоинства, которых не сумел обнаружить прежде, и медленно, печально покачал головой. Он и теперь их не видел. И снова он покорно склонился перед мнением специалистов, как уже склонился однажды, много лет назад, хотя, в сущности, творения его сына по-прежнему оставались для него непостижимыми, оставались такой же загадкой, какой был для него и сам сын всю жизнь, в каждом своем поступке, а превыше всего — в последние минуты, когда он с такой поразительной, необъяснимой беспечностью принял свою кончину, не проявив при этом ни малейшего сожаления или раскаяния. Об этих последних минутах настоятель не мог вспоминать без тупой боли в сердце.

Был тусклый, серый рассвет, когда он вместе с приехавшим за ним Глином поспешно вошел в тесную спальню в доме на Кейбл-стрит и нашел своего сына уже почти в агонии. Он был белым как мел, едва дышал, а говорить не мог совсем, не мог даже глотать, так глубоко была поражена болезнью гортань, и все же рука его сжимала карандаш, а на постели лежал альбом с набросками и — словно этого было еще недостаточно — длинная трость с насаженным на конце кусочком угля, и этим углем он, беспомощный, бессильно распростертый на спине, всего лишь день назад чертил на стене какие-то загадочные фигуры.

Настоятель, сердце которого разрывалось от горя, пытался в этот предсмертный час сказать сыну слова любви и утешения, пытался привести эту заблудшую душу к Богу, но, когда он начал читать молитву, Стефен, с трудом нацарапав несколько слов на клочке бумаги, протянул ему записку: «Как жаль, отец, что мне не довелось написать твой портрет, у тебя такая красивая голова». И тут же, хотя этому и трудно поверить, он начал, откинувшись на подушку, набрасывать в своем альбоме портрет настоятеля в профиль. Последний портрет... ибо вскоре карандаш выскользнул из его пальцев, они слабо, инстинктивно потянулись за ним и застыли в неподвижности, как и все тело. Десмонд-старший, убитый горем, еще сидел сгорбившись у постели сына, когда вошел Глин и с холодным мастерством профессионала сразу же начал снимать маску с бесстрастного, заострившегося лица.

— Боже милостивый! — вскричал настоятель. — Разве вам так необходимо делать это сейчас?

— Да, — угрюмо ответил Глин. — Во имя искусства. Быть может, когда-нибудь на эту маску будут с благоговением и верой взирать будущие художники и это укрепит их дух.

Хорошо, что хоть похороны были в Стилуотере и тело Стефена ныне покоится с миром там, в церковном склепе, рядом с гробницей его предка-крестоносца, и ветры Южной Англии, пролетая над ними, поют им свои колыбельные песни.

Сделав над собой усилие, старик встал. Прошлого не воротишь, и сокрушаться бессмысленно.

— Пойдем, мой мальчик. Ты должен еще получить свое мороженое у Бусарда, а потом мы поедем встречать маму.

Они доехали на автобусе до Оксфордской площади и уселись за мраморный столик в старомодной почтенной кондитерской.

— Вкусно? — спросил настоятель, глядя, как внук ест земляничное мороженое.

— Ужасно вкусно. — Мальчик поднял на него глаза. — А вы не хотите тоже съесть мороженого, сэр?

Дед был тронут, но отрицательно покачал головой.

— Я любил мороженое, когда был в твоём возрасте. Они тут делают еще пастилу из кокосовых орехов — это тоже превос-

ходная штука. Мне покупали ее, когда я был маленьким мальчиком. — Улыбка тронула его губы, и он добавил: — Они делают эту пастилу уже почти целое столетие.

Направляясь к выходу, он приостановился у прилавка красного дерева и купил внуку фунтовую коробку бело-розовой пастилы. «Полезная штука, — подумал он, принимая аккуратную запечатанную коробку. — Мальчику от этого вреда не будет».

До вокзала было недалеко. А там, приехав загодя, уже ждала их, стоя под часами, мать Стефена, все такая же моложавая и, как всегда, аккуратная, скромная, в черном саржевом костюме — такую и не заметишь в толпе. Но мальчик сразу увидел мать и бросился к ней. Она нагнулась, крепко прижала его к себе.

Стоя несколько поодаль, настоятель деликатно отвел взгляд. И все же он не мог не заметить, что это была очень нежная встреча. Вот она, вдова его сына... она и в самом деле очень достойная, славная женщина... Живет теперь вдвоем с золовкой в маленьком домике в Клифтонвилле — бесспорно, лучшей части Маргейта. Продажа картин Стефена приносит ей постоянный и даже все возрастающий доход. Настоятель почувствовал, что траур, который эта женщина все еще продолжает носить, — дань настоящему горю... Как видно, она любила его сына сильнее, да, куда сильнее, чем можно было предположить. Вот она вместе с мальчиком направляется к нему.

— Я надеюсь, Стиви вел себя хорошо?

— Очень хорошо. — Это уменьшительное «Стиви» несколько покорило старика. — Мы очень мило провели время.

— Спасибо вам, что вы доставили такое удовольствие мальчику.

— И вам спасибо, что вы отпустили его со мной.

Они дружелюбно побеседовали еще немного. Затем наступило молчание. Дженни выразительно посмотрела на сынишку.

— Большое вам спасибо, сэр, я так хорошо провел время.

Мать и сын по очереди распрощались со стариком и ушли, взявшись за руки, а он все смотрел им вслед, смотрел, пока они совсем не скрылись из виду. Он вздохнул. Вокзальные часы висели у него над головой, но он достал свои. Его поезд отхо-

дил через пятнадцать минут. Каролина, вероятно, отправилась в Халборо на рынок и будет поджидать его на станции, чтобы поехать вместе домой на автобусе. Теперь, после смерти Джулии, которая скончалась два года назад, Каролина уже не так обуреваема тревогами, как прежде. Она очень мило обставила их маленький домик, и настоятель даже как будто полюбил это новое жилище — во всяком случае, ему в нем уютно. Это, в сущности, крохотный коттедж, но там и зимой тепло и славно. Да, она добрая душа, Кэрри. А в тот день, когда Клэр подарила ей щенка кокер-спаниеля, она совсем развеселилась и казалась почти счастливой. Ах, Клэр, Клэр... Вот если бы... Нет, какой смысл воскрешать прошлое и сокрушаться по поводу всех этих «если бы...». Приостановившись у книжного киоска, настоятель пробежал глазами корешки. Что за книги теперь издают! Ну просто читать нечего — вздор всякий, бульварный хлам! В конце концов он взял «Корнхилл мэгэзин». Быть может, найдется что-нибудь для воскресной проповеди. Из сочинений епископа Дентона он извлек уже все, что мог. Пожалуй, он даже слишком часто прибегал к мудрости старика: в последние годы темы для воскресных проповедей начали иссякать, теперь они уже не приходили в голову так быстро и легко, как когда-то.

Он нашел себе местечко у окошка в вагоне третьего класса — дни, когда он ездил первым классом, давно канули в вечность — и, как только поезд тронулся, углубился в чтение. Но сгущались сумерки, вагон освещался плохо, а зрение у него в последнее время стало слабеть. Внезапно он почувствовал усталость и легкую тяжесть под ложечкой: быть может, сказывался завтрак, заказанный внуком, — мясо, жаренное на рашпере (правда, он ел его с большой осторожностью), а быть может, виной всему шабли — с непривычки. Откинувшись на спинку сиденья, Десмонд-старший закрыл глаза. Спал ли он? Или прислушивался к стуку колес, которые, казалось, повторяли снова и снова имя покойного сына?

Быстро надвинулась ночь, поезд с грохотом мчался вперед, врезаясь в темноту.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	101
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	215
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	273
ЧАСТЬ ПЯТАЯ	397

Кронин А.

К 83 Памятник крестоносцу : роман / Арчибальд Кронин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018. — 480 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-13494-2

Жизнь Стефена Десмонда была предопределена с самого рождения — сын священника, он был отправлен, согласно семейным традициям, изучать теологию, чтобы затем стать настоятелем в сельской глубинке. Однако душа Стефена воспротивилась подобной судьбе, он давно принял решение стать художником, увидеть мир и запечатлеть его в красках и линиях. Вопреки воле отца Стефен отправляется в погоню за мечтой, навстречу тяжелым испытаниям, горьким разочарованиям и великим надеждам.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

АРЧИБАЛЬД КРОНИН
ПАМЯТНИК КРЕСТОНОСЦУ

Ответственный редактор Кирилл Красник
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректор Лариса Ершова

Подписано в печать 20.12.2017. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 30. Заказ № 0513/18.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



Y-ILN-21677-01-R

Brooklyn Public Library



3 4 44 92815 5597

brooklynlibrary.org

Арчибальд Десмонд — шотландский писатель, в России известен российскому читателю романы: «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь Шеннона», «Памятник крестоносцу». Свой первый роман «Замок Броуди» он написал всего лишь за три месяца. Этот роман имел сенсационный успех и принес Кронину заслуженное признание в литературных кругах.

В романе «Цитадель» Арчибальд Кронин рассказал о преданных своему делу врачах; в книге «Ключи от царства» поведал захватывающую историю о людях, посвятивших себя Богу; в «Памятнике крестоносцу» Кронин пишет о великом художнике, чье призвание заставило его пожертвовать всем — здоровьем, семьей, друзьями, положением в обществе и карьерой.

Жизнь Стефена Десмонда была предопределена с самого рождения — сын священника, он был отправлен, согласно семейным традициям, изучать теологию, чтобы затем стать настоятелем в сельской глубинке. Однако душа Стефена воспротивилась подобной судьбе, он давно принял решение стать художником, увидеть мир и запечатлеть его в красках и линиях особым образом, как никто не делал этого прежде. Вопреки воле отца Стефен отправляется в погоню за мечтой, навстречу тяжелым испытаниям, горьким разочарованиям и великим надеждам.

В оформлении обложки использована

картина Клода Моне

©Diomedia.com / DeAgostini / A. DAGLI ORTI

ISBN 978-5-389-13494-2

01



9 785389 134942

www.azbooka.ru